

ЧАЙКА – АЛЬМАНАХ

№ 5

Январь – Июнь

2017

CHAYKA – ALMANAC
№ 5
January 2017– June 2017

Copyright © 2017 Irina Chaykovskaya

Editor: Irina Chaykovskaya

Cover Illustration: Sandro Botticelli “La Primavera” (Detail)

Chapter Illustrations: © Lev Saksonov

Layout: Alex Marin

Printed in the United States of America
CreateSpace Independent Publishing Platform
North Charleston, SC

All stories, memoirs, and poems are copyright of their respective creators as indicated herein.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission from the author(s).

Library of Congress Control Number: 2016901652

ISBN-13: 978-1548593117

ISBN-10: 1548593117

The Publisher and author(s) don't have any liability nor responsibility to anyone or entity to any damages, loss, etc. from the content of this book.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ
Выходит два раза в год

ЧАЙКА

№ 5
январь – июнь
2017

Проза
Стихи
Статьи
Эссе

Редактор-составитель
ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	7
Часть 1. ВОЙНА, ТЕРРОР И ПАМЯТЬ.....	11
<i>Владимир Спектор.</i> В Освенциме сегодня тишина	12
<i>Ирина Роскина.</i> Память войны. Из переписки моих родственников в военные годы	13
<i>Анна Андреева.</i> Моё белорусское детство: до войны, в войну и после войны	25
<i>Игорь Домбек.</i> Неотправленное письмо. Из пережитого	36
<i>Лев Визен</i> Москва 1941-го. Забытый октябрь. Из повести «Метель из лиц вождей»	46
<i>Яков Ратманский.</i> Семочка, не возвращайтесь!	60
<i>Яков Лотовский.</i> Жизнь прекрасна! К 20-летию выхода на экран фильма Роберто Бенини «Жизнь прекрасна»	64
ПАМЯТИ УШЕДШИХ	
<i>Ася Лапидус.</i> Азарий Мессерер.....	68
<i>Михаил Синельников.</i> Памяти Евгения Евтушенко	73
Часть 2. АМЕРИКА, РОССИЯ И МИР	77
<i>Элеонора Мандалян.</i> Америка глазами россиянина. Мое первое знакомство с Америкой.....	78
<i>Вадим Массальский.</i> Нью-Йоркская графиня, или прыжок к Свободе....	85
<i>Виктор Родионов.</i> Есть такая партия. Правый марш в Аппалачах.....	100
<i>Борис Казинец.</i> Грузия: признание в любви	105
<i>Даша Кашина.</i> Россия и Украина. Субъективные заметки.....	107
<i>Роман Солодов.</i> Американские президенты и Израиль. Джордж Буш-старший	110
<i>Ольга Соловьева.</i> Таинственные места Петербурга. Из записок «на коленке»	126
Часть 3. О ЛИТЕРАТУРЕ	129
<i>Владимир Солунский.</i> Нас мало, нас может быть четверо!	
Поэты 1960-х	130
<i>Марина Бондарюк.</i> Об Окуджаве. Если б молодость знала	147
<i>Александр Половец.</i> Булат Окуджава и Америка.....	151
<i>Анатолий Валюженич.</i> Бренд «Лиля Брик»	165
<i>Бенгт Янгфельдт.</i> Об Анатолии Валюжениче, Осипе Брикe и Владимире Маяковском.....	170
<i>Елена Пацкина.</i> Беседа с Мишелем Монтенем о любви и браке. Из цикла «Воображаемые беседы с мудрецами».....	174
Часть 4. О ЖИВОПИСИ.....	179

<i>Александр Сиротин.</i> Нидерландские заметки. В музее Ван Гога	180
<i>Ефим Сомин.</i> Боттичелли и поиск божественного. Выставка работ Сандро Боттичелли в Музее изящных искусств Бостона	184
<i>Вера Чайковская.</i> Синий лев. Выставка Льва Саксонова в галерее на Чистых прудах	187
<i>Лазарь Фрейдгейм.</i> Эхо-искусство как ипостась мистификации	191
<i>Сергей Голлербах.</i> Русский романтик вне России. Памяти художника и поэта Владимира Шаталова. К 100-летию художника	205
<i>Руфь Деминг.</i> Шаталов. Из архива Валентины Синкевич	208
Часть 5. О КИНО И ТЕАТРЕ	213
<i>Александр Сиротин.</i> «Лжец» в Нью-Йорке	214
Жизнь и смерть еврейского театра. Факты семейной биографии.	216
<i>Борис Голубицкий.</i> Уроки Эфроса	227
<i>Элеонора Мандалян.</i> Кинообозрение от Элеоноры Мандалян. The Promise – наследие магната-филантропа	233
<i>Цалий Кацнельсон.</i> Андрей Тарковский. Ваяние из времени. К 85-летию Андрея Тарковского	241
<i>Ирина Чайковская.</i> «Дантов Рай» режиссера Андрея Кончаловского ..	246
ЧАСТЬ 6. НАУКА. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ	255
<i>Михаил Голубовский.</i> Ландшафт науки и споры о гомеопатии	256
<i>Генрих Голин.</i> Герои и антигерои атомного проекта. Человек-легенда: Андрей Сахаров	264
Часть 7. ПРОЗА	277
<i>Владимир Резник.</i> (Дебют) Уроки музыки	278
<i>Жан Гали.</i> (Дебют) Однажды в полете	284
<i>Евсей Цейтлин.</i> Осень светлого мальчика. Из старой тетради	288
<i>Григорий Яблонский.</i> Новый Дориан	297
<i>Майя Гельфанд.</i> Заметки на полях от Майи Гельфанд. Обгорелый жетон	302
<i>Ксения Кривошеина.</i> Звуки. Четыре коротких истории	304
<i>Сергей Голлербах.</i> Жужа	312
<i>Яков Фрейдин.</i> Судьба Музыканта. Документальный рассказ	316
<i>Вера Чайковская.</i> Прорыв. Из триптиха «Кружение времени»	329
<i>Павел Товбин.</i> Легенда ушедшего племени	339
<i>Соня Тучинская.</i> Приключения желтого чемоданчика	344
<i>Виталий Шрайбер.</i> Вслед Михаилу Козакову. Литий, натрий, барий, кальций.	353
<i>Сергей Кузнецов.</i> Memento mortuum tuum.	363

<i>Ирина Чайковская. Симонетта Веспуччи</i>	368
Часть 8. ПОЭЗИЯ.....	383
<i>Елена Антипычева. Одно стихотворение. Уйдя из матерьяльного в астрал (Дебют)</i>	384
<i>Виктор Райзман. Из Эмили Дикинсон. Я не могу жить с Вами (перевод с английского)</i>	385
<i>Владимир Спектор. Одно стихотворение. Запах «Красной Москвы»</i> ...	388
<i>Евгений Сливкин. Одно стихотворение. Колыбельная</i>	389
<i>Валерий Скобло. Два стихотворения. Вот мы вышли на первую линию</i>	390
<i>Лариса Миллер. Два стихотворения. Не думай – «быть или не быть»</i>	392
Часть 9. ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ.....	395
<i>Лилия Зыбель. Веселый портной (Сказка)</i>	396
<i>Игорь Калиш. Два стихотворения</i>	399
<i>Владимир Резник. Бумка (Рассказ)</i>	400
<i>Юлия Комаровская. Лето светлое, разноцветное</i>	402
Часть 10. ЮМОР	403
<i>Григорий Яблонский, Михаил Голубовский. Крым наш!</i>	404
<i>Некто Гадюкин. Я служу на границе</i>	408
<i>Илья Криштул. Страничка юмора от Ильи Криштула.</i> <i>Богач, бедняк</i> . . .	410
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	413

От Составителя

В Пятом номере Альманаха ЧАЙКА читатели найдут лучшие материалы, напечатанные в нашем электронном журнале за полгода – с января по июнь 2017–го. В нем приняли участие 53 автора из США, России, Германии, Израиля, Канады, Франции, Швеции, Украины, Беларуси и Казахстана. Всего из 10 стран, причем львиная доля материалов, как и в прежних выпусках, принадлежит Америке и России.

Мы постарались сохранить привычную структуру сборника. Материалы размещаются по тематическому принципу в 10 частях. Неизменной осталась первая часть, посвященная войне, террору и памяти.

Мы благодарны Анне Андреевой, родом из Белоруссии, ныне живущей в Петербурге, и Игорю Домбеку из Германии, приславших нам свои материалы о пребывании на оккупированной территории и в немецком плену.

К разделу памяти примыкают две статьи, посвященные людям, ушедшим от нас в этом году. Это Азарий Мессерер, статью о котором написала Ася Лапидус, и Евгений Евтушенко, о нем вспоминает его младший коллега-поэт Михаил Синельников.

Во второй части «Америка, Россия и мир» размещены публицистические материалы.

Среди прочего вы найдете здесь эссе о Грузии и заметки об Украине, написанные первая – в ностальгическом ключе народным артистом Грузии Борисом Казинцом, вторая – в резко полемическом киевлянкой Дашей Кашиной. Тема бывших Союзных республик – новая для нашего Альманаха. Мы сохранили рубрики «О литературе», «О живописи», «О кино и театре». Начатый в прошлом сборнике очень важный для нас раздел «Наука» продолжен и в пятом номере.

В этот раз особое внимание в Альманахе уделено прозе, ее представляют 14 авторов, в том числе двое дебютантов, Владимир Резник и Жан Гали, оба из Америки.

Отдел поэзии также начинается со стихотворения дебютантки Елены Антипычевой из Московской области; традиционно он включает, кроме оригинальных стихов, еще и переводы.

Вот уже второй раз мы публикуем перевод Виктора Райзмана, представившего стихотворение американки Эмили Дикинсон.

Поэтический раздел в этот раз небольшой, но в нем такие замечательные поэты, как Владимир Спектор, Евгений Сливкин, Лариса Миллер и Валерий Скобло. Два последних поэта из России, Евгений Сливкин живет в США, Владимир Спектор, уроженец Луганска, ныне

проживает в Германии, Лариса Миллер – москвичка. Все участники этого раздела, кроме дебютантки, публикуются уже не в первом Альманахе.

Завершают наш сборник «Детский альбом» – в этот раз он целиком состоит из произведений, победивших в экспресс-конкурсе «Здравствуй, лето!» (Лиля Зыбель Игорь Калиш, Владимир Резник – взрослые авторы из Америки, и Юлия Комаровская, юная поэтесса из России), а также отдел юмора, представленный Григорием Яблонским и Михаилом Голубовским, нашим постоянным автором Ильей Криштулом и двумя авторами из С.-Петербурга, пишущими под псевдонимом «Некто Гадюкин».

В № 5 Альманаха ЧАЙКА вы найдете своих любимых авторов, ветеранов журнала – Элеонору Мандалян, Александра Сиротина, Виктора Родионова; профессионалов пера, таких как Евсей Цейтлин, Сергей Голлербах, Ксения Кривошеина, Лев Визен, Сергей Кузнецов, Вадим Массальский, Соня Тучинская, Александр Половец, Яков Лотовский; и тех, кто пришел уже в электронную ЧАЙКУ, но успел себя прекрасно проявить: Яков Фрейдин, Лазарь Фрейдгейм, Елена Пацкина, Цалий Кацнельсон, Григорий Яблонский и Михаил Голубовский, Виталий Шрайбер, Марина Бондарюк, Яков Ратманский, Павел Товбин, Ольга Соловьева и Даша Кашина.

Мы рады участию в нашем Альманахе режиссера из С.-Петербурга Бориса Голубицкого, актера из Большого Вашингтона Бориса Казинца, искусствоведа из Москвы Веры Чайковской и друга журнала из Израиля Ирины Роскиной, чьи архивные материалы мы публикуем практически в каждом номере.

Вот уже во втором выпуске мы помещаем статьи исследователя из Астаны Анатолия Валуженича, активно занимающегося маяковсковедением и историей семьи Брик. Поместили мы – и тоже с большой радостью – рецензию на книгу Валуженича известного слависта Бенгта Янгфельдта, нашего шведского автора и друга. Бостонец Ефим Сомин написал по заказу редакции статью о выставке Сандро Боттичелли, помещенную в Альманахе.

В этом выпуске представлены все авторы, ведущие журнальные рубрики: «Кинообозрение» и «Америка глазами россиянина» Элеоноры Мандалян, «Заметки на полях от Майи Гельфанд», «Записки на коленке от Ольги Соловьевой», «Поэтический альбом Владимира Солунского», «Страничка юмора Ильи Криштула», «Герои и антигерои атомного проекта Генриха Голина», «Американские президенты и Израиль» Романа Солодова и «Калейдоскоп новостей» Даши Кашиной.

В заключение хочу назвать тех, кто вместе со мною работал над Альманахом. Это Александр Марьин, сделавший всю полиграфическую

работу и макет. Марк Мейтин, помогающий в технических вопросах. Евсей Цейтлин, чьи замечания и советы учитываются нами при составлении каждого номера. А также московский художник Лев Саксонов, картины которого удивительно подошли к десяти частям нашего сборника и стали его украшением.

Благодарю всех замечательных авторов, без которых не было бы Альманаха, благодарю и читателей, незримое присутствие которых давало нам импульс для нашей работы.

Наш Альманах ЧАЙКА № 5 летит к своим читателям.

Ирина Чайковская

30 июня 2017

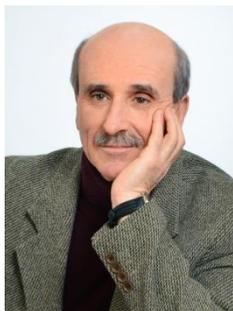
Часть 1

Война, террор и память



Владимир Спектор

Германия



27 января — международный День памяти жертв Холокоста

В Освенциме сегодня тишина

В Освенциме сегодня тишина.
Не слышно стонов, выстрелов, проклятий,
Хотя почти забытая война
Не выпускает из своих объятий

И тех, кто обживает небеса,
И тех, кто на земле еще покуда.
А память воскрешает голоса,
Которые доносятся ОТТУДА.

Они звучат сегодня и во мне,
Живые строки Нового Завета,
Где жизнь сгорает в бешеном огне.
За что и почему? – И нет ответа.

За что и почему? – Ответа нет.
Да и вопросы забываются с годами.
И, кажется, чернеет белый свет –
Под бормотанье: «Было, но не с нами...»

Потомки Геббельса – как сорная трава,
Напялившая незабудок маски.
И кругом – от неправды голова

В Нью-Йорке, и в Варшаве, и в Луганске.

Мол, там совсем не мучили, не жгли
В тех лагерях, где жизнь страшнее смерти.
Но стон доносится из-под земли:
Вы слышите: «Не верьте им, не верьте...»

В Освенциме сегодня тишина,
И не седеют волосы убитых.
Приходят и уходят времена
И, проявляясь на могильных плитах,

Бессмертны имена познавших ад,
И в небеса ушедших без ответа.
За что и почему? Они молчат.
И словно божий суд, молчанье это.

Ирина Роскина

Иерусалим, Израиль



Память войны. Из переписки моих родственников в военные годы

Многие мои близкие были в 1941-42 годах эвакуированы из Ленинграда. Сейчас их называли бы «выживший в Катастрофе». Но никто из них не дождал до этой возможности – погибли, умерли, статус не получив.

Моя прабабушка, мамина бабушка Роза, Роза Наумовна Рабинович (урожд. Матусовская, 1880-1951) рано осталась вдовой с тремя детьми. Всю жизнь нам было известно, что бабушкин муж – военный врач Давид Моисеевич Рабинович – умер, заразившись сыпным тифом во фронтовом госпитале во время Первой мировой войны. Только недавно я сообразила, что в 1919 г. в Сочи война шла Гражданская, а не Первая мировая и, видимо, он участвовал в ней на стороне белых, чем и объясняется некая туманность, с которой нам в советское время о той их жизни рассказывали.



Роза Наумовна с девочками Надей и Лидой

Овдовев, Роза Наумовна перекладывала на продажу миндальные пирожные, печатала на машинке, работала библиотекарем, в общем поднимала детей, а потом и воспитывала внуков. Считалось, что нельзя растить детей без уроков музыки и иностранных языков.

Старшая дочь Розы Наумовны, Надежда Давыдовна Роскина (урожд. Рабинович, 1901-1938), когда они вернулись в Петроград из Сочи, училась на историко-филологическом факультете Петроградского университета, но вынуждена была его бросить, чтобы зарабатывать на жизнь стенографией и машинописью. Она умерла в 1938 г. Попала,

задумавшись, под трамвай, ей ампутировали ногу, но началась эмболия. Осталось двое детей: Наташа Роскина (1927-1989; моя мама, ее в детстве называли и Пуша, и Туся) от писателя Александра Иосифовича Роскина (1898-1941) и Алеша Спасский (Лека; 1934-1943) от поэта Сергея Дмитриевича Спасского (1898-1956).

Средняя дочь Розы Наумовны, Лидия Давыдовна (урожд. Рабинович, 1905-1971), микробиолог, вышла замуж за Марка Иосифовича Гринберга (1896-1957), специалиста в области энергетического машиностроения, главного конструктора паровых и газовых турбин Ленинградского металлического завода (ЛМЗ). У них было двое сыновей Сережа (1930-1978) и Женя (1934-2004).

Близким им всем человеком была сестра М.И. Гринберга писательница Изабелла Иосифовна Гринберг (1898–1956).

Младший сын Розы Наумовны, Григорий Давыдович (Гога; 1910-1953), математик, работавший в Государственном оптическом институте (ГОИ), к началу войны еще не был женат.

Родственные отношения поддерживались с двоюродной сестрой Розы Наумовны Саррой Борисовной Дыховичной (урожд. Матусовской; ум. 1942) и ее семьей: ее дочерью, Ниной Лазаревной Френк (урожд. Дыховичной; 1902-1942), мужем Нины архитектором Григорием Харитоновичем Френком (1893-1942) и их дочкой Катюшей (род. 1929).

За исключением москвича А.И. Роскина, все вышеупомянутые до войны жили в Ленинграде.

1941 – Начало войны и дорога в эвакуацию

В 1941 г. Сергей Дмитриевич Спасский выхлопотал в Союзе писателей литфондовскую дачу, чтобы поселить там на лето Наташу и Алешу с их бабушкой Розой Наумовной, а также свою дочь Веронику с ее теткой Klarой Гитмановной Каплун (1892-1953). Вероника Спасская (1933-2011) – дочь С.Д. Спасского и его жены Софьи Гитмановны Спасской-Каплун (1901-1962) – родилась всего на несколько месяцев раньше Алешки. В 1938 году – уже после смерти Надежды Давыдовны – Софья Гитмановна была арестована, и Веронику воспитывала ее сестра, с которой Спасский с какого-то момента стал жить одной семьей. При этом все, как мы видим, были пока что в хороших отношениях.

Переехали на дачу поздновато, так как погода была прохладная.

И вот война уже началась – знаменитая речь Молотова с сообщением о начале войны транслировалась по радио 22 июня в 12 часов 15 минут,

– а моя тринадцатилетняя мама Наташа Роскина пишет своему отцу (она называла его прозвищем Зек), еще ничего не зная.

Дорогой Зек!

Ну, вот я и на даче. Мы с С<ергеем> Д<митриевичем> приехали на грузовике. В этот день погода была чудесная и мой нос очень обгорел, стал таким красным, что все ужасались (теперь он уже потемнел). Дачка у нас неплохая, речка рядом, но я еще не купалась, м. б., сегодня начну. Напротив нас архфондовский лагерь, в котором живет Катя Френк. Ребятам прививают трудовые навыки и заставляют стирать свое белье, мыть на кухне посуду и полоть грядки в колхозе. Я взяла с собой из еще не прочитанного том Тургенева и Достоевского, да еще «Семью Оппенгейм»¹. Крокетная площадка здесь есть, но ее нужно расчистить, и мы пока в крокет не играем. Вообще я не могу сказать, что мне очень скучно (конечно, не слишком и весело, как всегда на даче). Мы ходим гулять, катаемся на лодке.

Зек, напиши мне, когда же ты к нам приедешь?

В начале июля к нам, кажется, собираются Гриша с Ниной Георгиевной².

Целую тебя крепко, дорогой Зечек, пиши.

Бабушка и Алеша шлют привет. (22 июня 1941)

Кроме этого письма от военного времени сохранились еще два письма Наташи отцу. Видимо, написанные в июне 1941 г. на московский адрес, они остались в комнате Роскина в коммунальной квартире, когда он ушел на войну, а дальнейшие, посланные уже на фронт, пропали вместе с ним.

Дорогой Зек! Получили твои письма. Мы вчера вернулись с дачи. Грузтаки не было и мы запаковались и сдали вещи в багаж, а сегодня получили их. До вокзала наши вещи везла телега, которой пришлось совершить два рейса, т. к. у нас вместе с Вероникиной тетей, Кларой Гитмановой, было огромное количество вещей – ведь мы рассчитывали на грузовик. В результате у нас оказалось 450 килограммов. Получив вещи из багажа, мы на тележке (т. е. не мы, а грузчик) везли их домой.

¹ Так было переведено название романа немецкого писателя Лиона Фейхтвангера (1884-1958) «Семья Опперман» (советский фильм 1938 г. по этому роману тоже называется «Семья Оппенгейм»).

² Брат А.И. Роскина Григорий Иосифович Роскин (1892-1964), гистолог, и его жена Нина Георгиевна Клюева (1898-1971), микробиолог, жили в Москве (как и А.И. Роскин, и младший брат художник В.И. Роскин) и приезжали навестить мать – Веру Львовну Роскину, которая жила в Ленинграде, как и ее брат-холостяк детский врач Абрам Львович Дынкин и сестра Рахиль Львовна Кац со своей семьей.

Но в общем, настроение у нас хорошее. Погода тоже хорошая. Я читала твою статью в «Известиях»³. Мне было очень интересно. Вообще твои



Надежда Давыдовна и Александр Иосифович Роскины

статьи о Горьком и особенно о Чехове очень приятно и интересно читать, т. к. в них чувствуется большая теплота и любовь. И написаны они очень как-то осторожно и внимательно. Ну, всего хорошего. Очень бы хотелось тебя повидать, но, видно, теперь опять откладывается наша встреча. Очень хочется мне тебя увидеть и обнять, но пока приходится ограничиваться воздушным поцелуем. И так – тысяча воздушных поцелуев. Не забывай меня, дорогой Зек. Н<аташа>. На-днях бабушка тебе ответит. (26 июня 1941)

Дорогой Зек, сегодня уезжаем. Мы с Алешей едем с Литфондом. Там масса знакомых – напр., Сережа и Женя Гринберги, Катя Френк (Архфонд к нам присоединился) и много других. М.б., бабушка поедет с нами, но это еще неизвестно. По приезде, конечно, немедленно сообщу адрес. У меня настроение сейчас хорошее, думаю, что нам там будет хорошо. Взяли несколько книг, шахматы, шашки и др. Целую тебя крепко, дорогой, любимый Зек. Твоя Н<аташа> (5 июля 1941)

³ Видимо, имеется в виду опубликованная в июне 1941 г. статья Роскина «О чеховском искусстве».

Эвакуация женщин и детей из Ленинграда началась 29 июня 1941, так что они не были первыми отъезжающими, но все-таки это было еще в самом начале.

Не знаю, каким образом мальчики Гринберги эвакуировались с Литфондом. Возможно, благодаря родству с литератором тетей Беллой – Изабелла Иосифовна Гринберг, которая, видимо, была активна в Ленинградском отделении Союза писателей. Во всяком случае, во время блокады (она эвакуировалась позже) за подписью И.И. Гринберг можно увидеть решения Комиссии помощи семьям писателей фронтовиков (см. «Голоса из блокады: ленинградские писатели в осажденном городе, 1941-1944», составитель Захар Дичаров, Наука, 1996, стр. 25).

Совсем неясно мне, почему Спасский не отправил с этим эшеленом свою дочь Веронику.

Вспоминают, что отъезд осуществлялся из Дома писателя на улице Воинова, где в переулке стояли приготовленные автобусы до Московского вокзала, откуда уезжали днем в обычном составе, состоящем из жестких вагонов (известно, что позже отправляли и электричками вплоть до Перми).

Зря Наташа надеялась, что с ними поедет и бабушка, на бабушку не хватило места – она потом добиралась сама.

Катя Френк говорила мне, что в эшелоне литфондовские и архфондовские дети были в разных вагонах и не виделись. Мама мне про военные годы почти не рассказывала. Но был эпизод, который она часто вспоминала со смехом: в поезде они выбросили в окно взятую с собой в дорогу жареную курицу – им показалось, что курица уже пахнет. Ну, ясное дело, как потом об этой курице много лет жалели.

Ниже, в письмах детей (маленькие диктовали Наташе) из Гаврилов-Яма, небольшого городка на реке Которосль в 46 километрах от Ярославля, куда был эвакуирован Детский лагерь-интернат Литфонда (его по-разному называют, но суть одна), не описывается (возможно, по цензурным соображениям), как долго они ехали, сколько стояли в поле, пережидая бомбежки (Бологое бомбили начиная с 1го июля), но все-таки чувствуется, как им одиноко.

Дорогая бабусенька, едем ничего себе. Многие мамы сели «фуксом»⁴, но им очень трудно, масса работы, а ночью они не спят. Примерно через час после отхода поезда я пробралась к ребятам и нашла их в прекрасном расположении духа. Надеемся сегодня приехать на

⁴Фуксом - не по праву.

место, но еще не известно. Катю и Сережу я не видела (только на вокзале).

Дорогая бабушка, приезжай к нам как можно скорее. С нами едут Над<ежда> Аб<рамовна> Копел<янская>⁵. и Фридланд⁶. «Фуксом». Над<ежда> Аб<рамовна> совершенно очаровательна. Завтра напишу. Н. Крепко целую и привет всем. (6 июля 1941).

Дорогая бабушка, еще не приехали. Алеша чувствует себя прекрасно, и вчера я с его согласия перешла в соседний вагон к школьникам, но часто к нему захожу. У них организовано очень хорошо, но мне не было места для спанья (ночь на 6-е я лежала, но не спала, только часок подремала, а сегодня спала хорошо). Имеются некоторые затруднения с водой, но в общем ничего. Женя живет хорошо, Сережу вчера встретила, Катюшу нет. Крепко тебя целую, дорогая бабушка, скорей, скорей приезжай. Позвони всем. Н. (7 июля 1941).

С конца июня Роскин уже на казарменном положении: услышав объявление о начале войны, он сразу пошел в военкомат. Он был, по воспоминаниям очевидцев, человеком умным и мрачным, то есть войну он предвидел и собственный конец тоже.

По приказу от 23 июня 1941 года мобилизации подлежали лица от 1905 по 1918 год рождения включительно. Роскин был старше, ему уже исполнилось 43 года, как доброволец он был зачислен в Народное ополчение.

6 июля ополченцы – не знаю, все ли, или только района Красной Пресни (по расположению Союза писателей) покинули казармы, находившиеся в помещении ГИТИСа.

В очерке «Памяти Александра Иосифовича Роскина» В.С. Гроссман описывает свою последнюю встречу с Роскиным: «В последний раз я видел Роскина 5 июля 1941 года, за день до ухода ополчения из Москвы на фронт. Он стоял среди пыльного пустого переулка и смотрел вслед близкому ему человеку, женщине, уходившей после прощания с ним. Вот она дошла до угла, свернула в переулок, а Роскин все стоял среди мостовой... Я не окликнул его. То было прощание с жизнью... Часовой,

⁵ Надежда Абрамовна Копелянская была популярной актрисой и певицей, у которой – как пишут биографы – «вокальное мастерство, музыкальность, лиричность сочетались с искрометной комедийностью...» (<http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/375304/bio/print/>). Рабиновичи-Гринберги, видимо, были в дальнем родстве с Копелянской через Раю Перл (Елена Львовна, мать Нади и Миры Копелянских, была урожденная Перл).

⁶ С писательницей Надеждой Филипповной Фридланд (псевдоним Надежда Крамова) Рабиновичи были знакомы через брата А.И. Роскина, художника Владимира Роскина, который работал когда-то в Окнах РОСТА и дружил с Маяковским, с которым дружила и Н.Ф. Фридланд.

стоявший у дверей казармы, с любопытством смотрел на высокого человека, застывшего среди улицы. Роскин махнул рукой и решительным, быстрым шагом пошел к двери... Вот таким я его помню и сейчас, седого, высокого, быстрым шагом идущего навстречу своей благородной и суровой судьбе».

http://www.pseudology.org/evrei/Roskin_AI.htm



1941 А.И. Роскин в Ялте

По словам Б. Рунина (см. его воспоминания «Писательская рота» <http://smol1941.narod.ru/runin.htm>), ополченцы «ушли на войну» в буквальном смысле слова: они шли пешком на запад, в сторону Смоленска, пройдя сначала всю Москву и остановившись почему-то у входа в Клуб писателей, естественно, не зная, что через несколько лет там установят мемориальную доску с фамилиями погибших московских писателей, среди которых будет и А.И. Роскин, из-под Смоленска не вернувшийся. Писательское ополчение попало в окружение. Никто не видел ни гибели Роскина, ни его пленения. Кто-то сочинил романтическую версию о его самоубийстве с целью избежать плена, но она не подтвердилась.

Письма Роскина из действующей армии полны тревоги за близких.

Дорогая Роза Наумовна, совершенно не знаю, где Вы находитесь. Что касается меня, то я в ополчении, и также не знаю, где буду находиться в ближайшее время. Если выяснится точный адрес Ваш и Наташи – то пока единственный выход писать на мой московский адрес, так как мне в конце концов передадут. Я достал немного денег, но куда и на чье имя их послать? О Наташе знаю только одно, что она в Ярославской обл. в Гаврилове яме⁷ (или яре? – м. б. телеграф перепутал?). Крепко жму вашу руку. Ваш АР (10 июля 1941).

Дорогая Наташа, я нахожусь на военной службе (в ополчении) и поэтому мне пока трудно будет поддерживать с тобой регулярную переписку. Однако ты обязательно пиши на мой московский адрес. Мотя⁸ будет как-нибудь мне доставлять твои письма. Я очень беспокоюсь насчет того, что ты без денег, но пока еще никак не могу уладить этого вопроса. Надеюсь, что в ближайшее время все это благополучно разрешится. Будь здорова, спокойна, весела, кланяйся Алеше. Крепко целую тебя и обнимаю, пиши поподробнее. Папа. (16 июля 1941).

Дорогая моя Наташа, обстоятельства сложились так, что я в течение некоторого времени не смогу вести достаточно регулярную переписку, так как мой почтовый адрес часто меняется. Я нахожусь в очень приятной живописной местности. От строевой службы меня освободили и причислили к санитарной службе. Понемногу осваиваюсь с новым своим положением и новой работой. Часто вспоминаю тебя, очень хочется знать, где ты и что с тобой. Будь спокойна и весела, все будет еще хорошо. Очень нежно и крепко целую тебя, мою дорогую. Я попросил Бетти Львовну⁹ получать за меня твои письма и извещать тебя обо всех переменах. Еще раз целую тебя. Папа. (25 июля 1941).

Дорогая Наташа, пожалуйста, пиши мне по адресу: п/о Глазово Московской обл. Почтовый ящик 47 литера 21. Целую тебя крепко. Папа. (26 июля 1941).

Дорогая Наташа, я послал тебе сегодня записку со своим новым адресом, но на всякий случай сообщаю тебе его еще раз (см. адрес на обороте). Очень хочется знать, что с тобой. У меня пока все сравнительно благополучно, хотя работа, которой я занимаюсь, мне еще мало знакома. Но постепенно осваиваюсь. Целую. Папа. (28 июля 1941).

⁷ Сейчас пишут Гаврилов-Ям через черточку, а в то время – во всяком случае, мои родственники – писали без дефиса, да еще и склоняли оба слова (например, «в Гаврилове Яме»), я хочу оставить такое написание. С 1938 Гаврилов Ям в административном порядке признали городом, но, видимо, он все же больше походил на поселок.

⁸ Матрена Филипповна Оношко, соседка А.И. Роскина по коммунальной квартире, помогавшая ему по хозяйству.

⁹ Бетти Львовна Федотова. Перед войной у нее был роман с А.И. Роскиным.

Дорогая Наташа, получила ли ты мои письма, в которых я сообщал тебе свой адрес? На всякий случай – вот он еще раз: Полевая станция 527, почтовый ящик 33/2 литера 21. От тебя я не имел ничего, совсем не знаю, что с тобой и где ты. Это меня очень огорчает и беспокоит. Но надеюсь, что все же какие-нибудь сведения в конце концов получу. Со мной пока все благополучно, товарищи по службе в большинстве симпатичные, работы пока не очень много. Сегодня мы переезжаем в другое место. Крепко целую тебя, дорогая, будь здорова, спокойна, не забывай меня, привет Алеше, бабушке. Папа. (2 августа 1941).

Дорогая Наташа, я до сих пор не имел от тебя никаких известий. Это меня очень волнует. Еще раз сообщаю мой адрес: Действующая армия, полевая почтовая станция 571. Об. 22 сп, санчасть. Не забудь, на чье имя и как слать тебе деньги – а то ведь я до сих пор не знаю даже этого. Я пока благополучен, надеюсь, что и в будущем все сложится более или менее благополучно. Пока же главное – получить о тебе хоть какие-нибудь известия! Целую тебя много раз, будь здорова, моя любимая. Твой папа. (23 августа 1941).

Дорогая моя Наташа, до сих пор ни одного письма от тебя не получил. Вообще за все время я получил только одно письмо от бабушки Веры и одно от Гриши. Я толком не знаю твоего адреса (Гаврилов Ям Ярославской области – ну, а точнее), кроме того, бабушка написала мне, что вас собираются оттуда увезти¹⁰. Я надеюсь, что в случае отъезда ты догадаешься оставить на почте свой новый адрес. Как быть с посылкой тебе денег? На какой адрес их слать и на чье имя? Все это меня очень волнует, пожалуйста, ответь. Мой адрес: Действующая армия, 3, почт. полевая станция, 22 СП, санчасть. А. Роскину. Адрес, как видишь, часто меняется, но сейчас письма по нему, кажется, начнут приходить. Что мне написать о себе? О многом поговорим, когда Бог даст, увидимся, пока же остается сказать, что ничего дурного со мной не случилось, жив, здоров, физически чувствую себя не плохо, но, конечно, бывает, что тоскую по близким людям. Раньше у нас в полку было несколько моих друзей, в том числе Фраерман¹¹, теперь их перевели в другие части, и в общем я довольно одинок. Что же касается всяких трудностей и неудобств, то я к ним уже привык и чувствую их во всяком случае не сильнее, чем другие. Дорогая моя, старайся писать мне как можно чаще.

¹⁰ Тема предстоящего переезда детского лагеря волновала многих. Например, в письме К.И. Чуковского от того же числа сыну Николаю Корнеевичу Чуковскому, жена которого Марина Николаевна была с детьми в Гаврилов Яме: «Знаешь ли ты, что Литфонд дал большую дотацию на детей Гаврилова-Яма? Кажется, их направляют в Ташкент. Но это только слухи». (<http://mag.russ.ru:81/znamia/2004/1/chu9-pr.html>)

¹¹ Р. И. Фраерман. Наташа была знакома с Фраерманом по лету, проведенному в Солочи в 1933 г. О дружбе Роскина с Фраерманом см. в очерке К.Г. Паустовского (тоже с ними дружившего) «Рувим Фраерман» http://lib.ru/PROZA/PAUSTOWSKII/ruwim_fraerman.txt.

Передай привет бабушке Розе, Алеше, крепко, крепко целую тебя, моя дорогая. Твой папа. (25 августа 1941).

Дорогая моя Наташа, сегодня наконец получил от тебя два письма, которые ты написала мне в армию. Самое неожиданное для меня в них то, что бабушка Роза с тобой в Гаврилове Яме. Об этом я не имел ни малейшего понятия, так как считал, что она в Ленинграде. Боюсь, что это письмо уже не застанет тебя в Гаврилове Яме, пишу в надежде, что оно все же как-нибудь к тебе попадет. У меня ничего нового, т.е. все мы живем преимущественно ожиданиями. Что же именно принесет будущее – сказать трудно. Мой адрес: Действующая армия, 33 Полевая почтовая станция, 22 СП, Санчасть. Очень прошу по этому адресу написать мне, куда и на чье имя слать деньги. Кроме того, надеюсь, что ты сдержишь обещание и на самом деле будешь писать мне очень часто. Письма – единственная радость в нашей жизни. Итак, надеюсь, что теперь переписка у нас как-нибудь наладится. Целую тебя крепко, моя дорогая. Твой папа. (29 августа 1941).

Дорогая моя Наташа, только что получил твою открытку от 31- VIII. Я писал тебе в Гаврилов Ям много раз, но, очевидно, письма не дошли. Потом, получив от тебя письмо, в котором ты сообщаешь о предстоящем отъезде, я больше не писал в ожидании нового адреса. Этим и объясняется, что ты давно от меня ничего не получала. Я жив и здоров, пожалуйста, напрасно не волнуйся. Тебе не следует волноваться и в дальнейшем, когда мы, очевидно, станем не только пассивными, но и активными участниками событий, о к-ых тебе приходится читать в газетах. Время такое, что надо запастись терпением и спокойствием. Ничего, как-нибудь все обойдется и мы снова увидимся в мирной обстановке. Но тогда уже надо будет сделать так, чтобы никогда больше не расставаться. Я много раз просил тебя сообщить, куда и на чье имя прислать мне деньги для тебя, до сих пор не могу добиться ответа. Между тем, в ближайшие дни рассчитываю получить небольшую сумму от Литфонда. Непременно сообщи. Бетти Львовна находится в Чувашии, в деревне. Ее адрес: Чувашская АССР, Б. Сундырь, дер. Токшики колхоз «Парижская коммуна», Б. Л. Федотовой. Совершенно не могу понять, почему мои письма не доходят до тебя. Я столько раз писал! Когда уедешь из Гавр. Яма, не забудь оставить на почте свой новый адрес – м. б. задержавшиеся письма будут позже доставлять. Я очень рад, что в вашей компании находится Л. Н. Каверина¹² – она очень милая, и иногда, в какие-то моменты, напоминала мне твою маму. Передай ей мой сердечный привет. В ближайшее время мы, м. б., переведемся

¹² Каверина Лидия Николаевна (урожд. Тынянова, 1902-1984), детская писательница, жена писателя В. А. Каверина, младшая сестра писателя Ю. Н. Тынянова.

подальше. Возможно, что письма будут пересылаться еще менее регулярно. Пусть это тебя не слишком беспокоит. Во всяком случае я буду стараться писать почаще. Кланяйся Розе Наумовне, Алеше, тебя я очень нежно целую. Твои письма меня очень радуют и трогают, ты у меня очень хорошая, помни, что я очень тебя люблю. Твой папа. Мой адрес: Действующая армия, 33 Полевая почтовая станция, 22 СП, Санчасть. Целую тебя еще раз. (12 сентября 1941).

Дорогая моя Наташа, сегодня я послал заявление в Литфонд, чтобы он выслал деньги (около 900 р.) в Гаврилов Ям на имя бабушки (адрес я сообщил такой: Гаврилов Ям Ярослав. обл. 1 Советская улица д. 21 – правильно?). Надеюсь, что в ближайшее время деньги дойдут до вас. Если же вы уедете, обязательно оставьте распоряжение, куда эти деньги переслать. У меня все по старому. Вчера получил от тебя две открытки. Помни, что твои письма для меня большая радость, пиши, как можно чаще, не смущаясь тем, что писать «не о чем». Очень рад, что Сергей Дмитриевич дома. Как это произошло?¹³ Крепко целую тебя, передай самый сердечный привет бабушке Розе. Твой папа. (16 сентября 1941).

Дорогая Наташа, письма твои получаю довольно аккуратно. Пиши мне почаще. Попробуй их нумеровать, чтобы я знал, не пропадают ли они. На днях поручил одному знакомому послать тебе телеграфный перевод на 300 р., кроме того, написал в Литфонд, чтобы они переслали тебе около 900 р., которые Литфонд мне должен. От бабушки Розы я также имел письмо. Передай ей мой привет. С нетерпением жду разрешения вопроса о вашем переезде. Живу скучновато. Ничего не читаю, с собой у меня только томик стихов Пушкина. Перечитываю их без конца. Я послал Моте доверенность на получение моих денег из сберкассы. Она будет посылать их тебе, а также и мне снаряжать посылки – многого не хватает. Целую тебя крепко. Папа. (20 сентября 1941).

Дорогая Наташа, так как я не уверен, что все мои письма доходят, то повторяю то, что сообщал уже раньше: я передал 300 р. для пересылке тебе телеграфом и кроме того распорядился, чтобы Литфонд (тоже телеграфом) пересылал бы тебе около 900 р. Как только получишь, извести, пожалуйста. Мой адрес немного переменялся – см. на оборот. Пиши именно так. Новостей у меня особых нет. Вчера очутился ненадолго в одном маленьком городке, и после долгой жизни по деревням было особенно приятно пользоваться благами культуры. Крепко тебя целую. Твой папа. (На обороте: Действующая армия, Полевая почтовая станция 33, вч 1299, санчасть. А. Роскин). (22 сентября 1941).

¹³ Обстоятельства того, как Спасский выбрался из окружения и вернулся в Ленинград, мне неизвестны.

Больше писем от отца Наташа не получала. Она еще долго – много лет – пыталась узнать о его судьбе, надеялась, что он жив и вернется.

Анна Андреева

С. Петербург, Россия

Моё белорусское детство: до войны, в войну и после войны (в сокращении)

Эти записки были присланы в редакцию ЧАЙКИ из Лондона нашим постоянным автором Лейлой Александер-Гарретт. Они принадлежат ее маме, Анне Федоровне Андреевой, в девичестве Шишко, чье детство пришлось на годы фашистской оккупации Белоруссии. Материал показался нам важным и интересным, предлагаем его читателям.

Редакция

Во время войны мы жили в деревне. В семье было четверо детей, я самая старшая. Родилась я 20 января 1929 г., но когда в войну сгорели все документы, в суматохе мне написали, что я родилась 8 марта. Так я и справляю свой день рождения в Международный женский день 8 марта. От родственников я слышала, что мамины предки жили когда-то в Кракове, а местный старожил рассказывал, что солдаты по фамилии Шишко попали в белорусскую деревню из Болгарии после поражения Османской империи в Русско-турецкой войне в 1877-1878 годах. Сами родители о прошлом не говорили – боялись. У отца – Федора Тимофеевича Шишко – были очень густые черные волосы и темные глаза, а у мамы – Ольги Тарасовны длинные до пояса косы. Отец был долгие годы председателем колхоза, в этой должности и застала его война, которая началась 22 июня 1941 г.

Мама работала в колхозе на разных работах, жили мы трудно и бедно. Работали очень много – и взрослые, и дети. В летнее время по 12-14 часов, а потом ещё и дома. Денег за работу не платили. Работа была изнурительной: жатва серпом, уборка картофеля мотыгой. А что получал колхозник за свой тяжёлый труд? В лучшем случае, если был хороший урожай, на один трудодень 1 кг. картошки и 200-300 грамм зерна. Перед

войной, продав корову, мама (после долгих уговоров в сельсовете) впервые поехала в Москву купить нам, детям, пальто и ботинки, так как в деревне невозможно было что-то купить. Как мы обрадовались, когда увидели обновку! А еще мама купила нам конфеты-подушечки, которых мы в жизни не видели.



Анна Андреева

Жизнь в колхозе можно назвать крепостным правом. Первое крепостное право отменил Александр II в 1861 году. А вот второе крепостное право наступило сразу же после революции 1917 года. Вплоть до 1965 г. у крестьян не было паспортов, а у стариков – пенсии. Хорошо, если были дети, а если нет, то старикам приходилось работать до самой смерти. В сталинское время нужно было оглохнуть, ослепнуть, онеметь, ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не говорить, а иначе можно было попасть в сталинские застенки (в тюрьму, в лучшем случае, в худшем – расстрел). Я это видела своими глазами: в нашей деревне жил уважаемый всеми, трудолюбивый мужчина.

Он собственными руками построил хороший дом, обустроил двор, сад. У него было трое детей. С младшей дочерью я дружила, вместе ходили в школу. Их раскулачили, отняли дом, хозяина сослали куда-то в Сибирь. Вестей от него не было, зато в его доме поселился сельский совет, а его жена и дети, а их было трое, жили в баньке. А мою тётю, родную сестру отца, раскулачили только за то, что в их семье было две коровы и хороший дом, построенный хозяином собственными руками. А ведь в их

семье было семь человек – трое детей, тётя с мужем и его родители. Вот такие богачи! И таких людей по стране было очень и очень много.

А если рассказать, как мы жили до войны и после войны! И до войны и после войны наши крестьяне долгое время ходили в лаптях, а мы, дети, до поздней осени ходили в школу босыми, плохо одетыми. В октябре уже начинались заморозки, земля припорошена снегом, а мы бежали в школу босиком, полураздетые и полуголодные. Мама очень рано вставала, чтобы испечь нам драники – такие картофельные блины.

Первой радостью для крестьян было то, что рядом с деревней построили хорошую шоссеиную дорогу. Шла она от Москвы до Бреста. Нас туда не пускали, так как строили её политзаключённые, а вот когда достроили, мы все побежали смотреть. Сколько же было восторга! Широкая, чистая магистраль. Нам, детям, надо были идти в школу за три километра, а теперь – не по грязи, и не надо было мыть ноги, входя в школу, в корыте с холодной водой. Но радость наша была недолгой. Началась война с Польшей. По этой дороге от Москвы до Бреста пешком прошагали наши красноармейцы. Наш отец был призван на эту войну. Сборы были в Орше, он нам сообщил, что приблизительно в такое-то время их полк будет проходить рядом с нашей деревней. Я с братишкой каждый день ходила на эту дорогу. Набирали корзиночки яблок, брат – поменьше, я – побольше. Мне в 1939 году было 10 лет, брату Володе 7.

В один прекрасный солнечный день, это был сентябрь, в саду у нас созрели яблоки, мы увидели колонну солдат, идущих быстро-быстро. Когда они подошли ближе, в первом ряду мы увидели нашего отца. Он был рослый и красивый мужчина. Мы со своими яблоками выбежали на дорогу к отцу. Нас оттолкнули, и наши яблоки полетели в разные стороны; отец не сказал ни слова, а мы всё бежали и бежали – и кричали ему вслед, что умерла бабушка, его мать. Полк остановился на отдых в лесу, рядом с нашей деревней. Лес этот назывался Курганы. Бабушка нам рассказывала, что в этом лесу хоронили французов, а позже я прочитала, что в г. Толочине умерло 11000 французских солдат. Их трупы сжигали и хоронили недалеко от нашей деревни.

Раньше в Толочине было 3 церкви, 3 синагоги и польский костел. Наполеоновские солдаты разграбили синагоги, еврейские склады, две церкви сожгли. В третьей Наполеону пришлось заночевать, а когда его генералы сообщили ему, что город Борисов и мост через реку Березину уже занят русским генералом Милорадовичем, Наполеон не поверил: «Как этот мерзавец мог меня опередить!» Это тот Милорадович, которого в 1825 г. застрелил Каховский, за что по приказу Николая I был повешен. Милорадович, увидев извлеченную из груди пулю, воскликнул: «Слава Богу! Это пуля не солдатская!»

Пока солдаты отдыхали в нашем лесу, отец прибежал домой, чтобы повидать нас и проститься со своей матерью, ведь он шёл воевать и мог никогда больше не увидеть нас. Не успел он зайти в дом и подойти к гробу матери, как за ним на лошади примчался командир. Он ворвался в сени, выхватил пистолет из кобуры и закричал: «Сейчас расстреляю!» Мы, дети, окружили его и стали плакать: у нас умерла бабушка! Он зашёл в зал, где в гробу лежала бабушка, к нему бросились женщины и стали уговаривать не стрелять. Только тогда он смягчил свой гнев и положил пистолет в кобуру. И тут же погнал отца. Отец бежал по деревне. За ним, погоняя плетью лошадь, ехал командир, а мы – трое детей бежали вслед за ними. Только теперь я понимаю, какое это было унижение для отца, ведь он был уважаемым человеком в деревне. Его в течении десяти лет выбирали председателем. Это был лучший колхоз в районе, тут люди хоть что-то получали. Этот урок жестокости мне запомнился на всю мою жизнь.

Отец с этой войны вернулся очень больным. Где-то на плотках они переплывали реку, и в этот плот угодил снаряд; отец чудом выжил, выплыл на бревне на берег, позже у него обнаружился туберкулёз лёгких; он кое-как вылечился, но всю жизнь осенью и зимой сильно кашлял.

Другой радостью для нашей деревни было то, что перед самой войной нам провели радио. Такой большой чёрный рупор висел у нас в доме. Политические новости мы не слушали, а вот музыку и песни, которые пела Русланова «Валенки-валенки, не подшиты, стареньки», мы слушали с удовольствием. Были и другие песни: «Катюша», «Броня крепка, и танки наши быстры» и др., такие, как «Дорогой товарищ Сталин, мы пошлём тебе навстречу самых лучших лошадей». Русланова пела свои «Валенки» на ступенях Рейхстага, а после войны была посажена в сталинские застенки. А наш деревенский кузнец был арестован за слова из песни «Дорогой товарищ Сталин, мы пошлём тебе навстречу самых лучших лошадей». В пятницу проходило очередное колхозное собрание, на нём присутствовал кто-то из районных представителей.

Один из них обратился к колхозникам со словами, что стране нужно помочь с кормами, а у колхоза не хватало корма для своих лошадей. Кузнец был человеком с большим чувством юмора, он вышел на середину зала и пропел слова из песни: «Дорогой товарищ Сталин, мы пошлём тебе навстречу самых лучших лошадей». И добавил, что этих лошадей в колхозах поддерживают на верёвках, чтобы они не упали. В субботу была баня, её топили в деревне два раза в месяц, а работа в деревне была грязной, но не хватало дров, хотя деревню со всех сторон окружал лес. И вот в субботу вечером, прямо под нашими окнами остановился «чёрный ворон» – машина, в которой возили людей в

неизвестном направлении и откуда никто не возвращался. Мама бледнее белой скатерти упала на кровать, она думала, что заберут отца, а мы станем «врагами народа».

Слава Богу, пронесло! Как только мужчины вышли из бани, тут же кузнеца привели в наш дом: руки вверх, и стали шарить по карманам. А он опять зло пошутил, что в его кальсонах пистолет, который стреляет только мочой. Его увёз «чёрный ворон», а вскоре и его жена с тремя детьми куда-то исчезли, больше мы их не видели. Вот так было, и я это видела собственными глазами.

Из этого чёрного рупора мы и услышали, что началась война, в воскресенье 22 июня 1941 г. Крестьяне в воскресенье ездили или ходили в город, что-то продать, что-то купить. Базар начинался очень рано, в 5-6 часов утра. Помню, как родители купили мне в Толочине книгу по истории. Я перешла в пятый класс, мне было 12 лет. Тогда детей принимали в школу с 8 лет. Когда я открыла книгу, на первых страницах увидела портреты красивых людей в военной форме. Думаю, что это были Тухачевский, Блюхер и др. Только почему-то их лица были крест-накрест перечёркнуты, и текст под ними был зачёркнут, а сверху надпись – враг народа.

Не могу понять (хотя тогда я не задумывалась над этим), или у государства не было средств для переиздания книг, или это делалось специально, чтобы дети и их родители знали, кто их враги, а иначе, как это объяснить? Дедушка купил нам на базаре бублики. Он был хороший бондарь и винокур. В городе он продал бочки и купил нам подарки, но радость была недолгой. Часов в 10-12 из рупора мы услышали, что началась война. Говорил Молотов о том, что фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну. И чтобы люди не создавали паники. Враг будет остановлен, бойцы Брестской крепости жестоко отражают нашествие фашистов, и победа будет за нами. Вот только враг подошёл к самой Москве, а победа далась нашей стране страшной ценой и большой кровью. В Белоруссии погиб каждый четвёртый её житель.

Итак, война. В понедельник рано утром приехал командир из военкомата и у нас стали забирать мужчин на войну. Помню, как рыдали женщины, провожая своих мужей и сыновей, словно чувствуя, что они уже их никогда не увидят. Рыдала вся деревня, провожая своих детей, братьев, мужей. Из тех мужчин, которые были призваны в армию в 1941 г. никто не вернулся живым. Только в нашей родне погибло 10 человек. Всем им было от 20 до 35 лет отроду. После освобождения Белоруссии каждый день шли похороны: ваш сын или муж погиб, кто под Ленинградом, кто под Сталинградом. Опять горе, опять слёзы.

А вскоре началось другое горе. По шоссейной дороге отступали наши солдаты, а немецкие самолёты бомбили дорогу. Мы побежали прятаться в лес, он был недалеко от деревни. Родители убежали с младшими детьми первыми, а я где-то заигралась с ребятами и потом бежала по полю одна. Немецкий самолёт летел надо мной: я бегу, а он за мной, и только когда я зацепилась за кочку, упала и долго не могла подняться – подвернула ногу, он улетел. Когда я встала, то рядом с собой увидела много пуль и ни одна меня не задела. Наверно, надо было жить, чтобы сегодня рассказать об этом моей внучке. Мы знали, что немцы уже близко. Отец запряг колхозную лошадь, мы уложили в повозку наши скудные пожитки, посадили в нее младших детей, а родители и я шли пешком километров 15-20. Деревня, куда мы приехали, называлась Латышево. Там жили мамыны родственники, Соколовские. Деревня была небольшая, вокруг лес, речка, хороший песчаный берег, в лесу поспевала земляника и мы, дети, собирали ее и очень радовались. Деревня стояла высоко, дорога чистая. Как долго мы там были, точно я не помню.

И вот через 65 лет после войны, мы снова посетили эту деревню. Мы с братом и его женой ехали на машине из Минска, где навещали наших сестер. Минск нас обрадовал своей красотой, чистотой и порядком. Мы гуляли по городу и нигде не увидели ни одной бумажки, ни одного окурка, ни одной банки и бутылки, которые в Питере валяются даже на Невском проспекте, в парках и садах. Когда брат свернул с дороги, мы спросили его, куда он нас везёт, на что он ответил: «Я везу вас в деревню, в которой мы скрывались в войну от немецких бомб». Что же мы увидели? Дома, в котором мы жили, уже не было, как не стало и самой деревни. Почти у всех домов были заколочены окна и двери. Подъехали к одному двору, но никто нам не ответил.

В конце деревни увидели красивый домик: покрашен в синий цвет, высокий забор. Брат остановил около дома свою машину, залаяла собака, и к нам навстречу вышла 85-летняя старуха. Оказалось, она наша родственница – Соколовская Александра Тарасовна. Она нам поведала, что в деревне живут только две женщины 85 и 75 лет. Мужья умерли, а дети живут в Минске. Я спросила: а как же вам не страшно двум одиноким женщинам жить в деревне, где кругом лес и вблизи нет никого? Она ответила: «А куда нам деваться? Сын и дочь в Минске, у них двухкомнатные квартиры и по двое детей». – А как же, если заболете? Она сказала, что у неё есть мобильный телефон, телевизор, дети часто звонят, и на всё лето приезжают внуки.

Два раза в неделю из города приходит машина и привозит продукты. Вокруг тоже стояли деревни с заколоченными окнами. Вместо бывших

цветущих садов теперь растёт один бурьян. Ещё она рассказывала, что её отца и отца мужа моей тёти расстреляли сталинцы, а их раскулачили. Муж маминой сестры воевал в Финляндии, был ранен, попал в окружение, пришёл обмороженным, голодным. Он не мог наестся картошки, а позже пошёл на войну в 1941 и был убит под Ленинградом. Оставил жену и двоих детей.

Возвращаюсь к войне. Через некоторое время в Латышово приехал наш дедушка. Он жил в другой деревне, в 3 километрах от нашей, в деревне Евлахи, звали его Агеенко Тарас. В деревне его все уважали, он был хорошим бондарем, делал бочки, корыта, ведра, ложки из дерева, а ещё гнал хороший самогон. Он нам и сказал, что немцы проехали мимо нашей деревни, не заезжая в неё. Они спешили скорее взять Москву! Минск, Борисов, Орша, Смоленск уже были в их руках. Немцы оставляли свои небольшие войска в городах, в районных центрах, где были железнодорожные вокзалы.

Мы вернулись домой. Недели через две мы впервые увидели немцев. Они заехали в нашу деревню на отдых. Заняли дома получше: наш дом, дом нашего дяди и несколько других. Тут же у колодца стали умываться, бриться. Играли на губных гармошках. У всех были небольшие немецко-русские словарики. И тут же мы услышали: «Матка-кура, матка-яйка!»

Они решили устроить вечеринку. Мы пришли посмотреть на это чудо. Танцующие немцы – молодые, рослые, здоровые парни. Это была кадровая армия Гитлера, вышколенная, вооружённая до зубов. Красивая шерстяная форма, шёлковое бельё, одеколон, душистое мыло, которого мы в глаза не видели! И люди стали удивляться: как же так, нам всегда говорили, что за границей живут плохо, а тут мы увидели совсем другое. Наши солдаты – в ботинках с обмотками, в хлопчатобумажной форме и с винтовками за плечами, а эти – благоухающие, с автоматами. Помню, две женщины из нашего села, их мужей посадили в 37-ом, встречали немцев хлебом-солью. Что касается душистого мыла, то крестьяне в глаза его не видели, даже простого мыла не было постирать бельё.

Знаете, чем мыли голову? Собирали берёзовый пепел, просеивали его, а потом пропускали через полотно горячую воду. Вот этой водой мы мыли голову и стирали бельё. Дня через три немцы уехали и до конца 1942 года не появлялись. Они остановились в Толочине, в 3 километрах от нас. Там проходила железная дорога, а через неё шли немецкие эшелоны на Москву. Правда, через месяц к нам приехал немецкий комендант с переводчиком, хотя он и сам говорил на ломаном русском. Подъехала машина к нашему дому и остановилась. Переводчик спросил отца: «Вы были председателем колхоза?» – «Да», – ответил отец. «Соберите всех крестьян». Все собрались. Переводчик спросил: «Вы довольны своим председателем?» «Да», – сказали крестьяне.

Комендант поинтересовался, сколько земли в колхозе и сколько лошадей? Отец ответил, сколько земли и сколько лошадей. Тогда комендант приказал разделить всю колхозную землю, которая уже была засеяна, всем поровну на каждого члена семьи. Так и сделали, на каждого человека приходилось по одному гектару земли. Лошадей было мало, одна лошадь на два хозяйства. Впервые за четыре года оккупации крестьяне вдоволь наелись хлебом и мясом. Многие вырастили по две коровы, разводили свиней, кур, гусей и т.д.

Первый год немцы не брали налога, им было некогда. Они торопились завоевать Москву и Сталинград. Позже, в сентябре, снова приехал немец с очень красивой молодой женщиной и спросил, есть ли в деревне школа. Школа в деревне была для начальных классов – с первого по четвертый класс. Переводчица нам сказала: «Отныне вы будете изучать немецкий язык и говорить только по-немецки!» Нам велели принести все книги в школу.

Книг было мало – и сразу же из этих книг запылал костёр. Проучились мы в этой школе всего пять дней, ночью школа тоже запылала огнём. Партизан у нас ещё не было, но это сделал кто-то из подполья. Многие возмущались: «Зачем жечь школу, пусть бы дети хоть чему-нибудь научились!» Но умные люди знали, что, когда в школе дети вместе, немцам легче подогнать машину и начать брать у детей кровь; она нужна была немецким солдатам, ведь шла жестокая война. Так немцы поступали в других местах.

Как только разделили землю и лошадей, отец отказался быть старостой, сказав, что у него плохое здоровье. Старостой стал какой-то приезжий мужчина, молодой и здоровый. Когда кончилась война, его посадили без суда и следствия на 25 лет.

До конца 1942 г. немцев у нас не было и мы жили, как раньше, до войны; правда, редко, но появлялись в деревне полицаи. Особенно мы боялись бандеровцев. Мальчишки всегда дежурили у дороги в конце деревни и, когда они приезжали, ребята разбегались во все концы с криком: «Бандеры, Бандеры!». Мы прятались кто куда, кто в лес, кто в кусты в поле. Больше, чем немцев, мы боялись их, их жестокости не было предела, даже сами немцы удивлялись. Главному руководителю этой банды Степану Бандере господин Ющенко вручил посмертно звание героя Украины.

Первые немцы были лётчики, их обслуживали солдаты. Они заняли лучшие десять домов в центре деревни, подальше от леса. В нашем доме они заняли одну комнату (зал). В другой – передней – жили мы. Их было человек пять.

В нашем доме у них находился штаб, стояли приёмники, печатная машинка. Когда все уходили, в доме оставался их командир, он закрывал

на крючок дверь и приглашал нас иногда послушать Москву по радио. Я помню, как он говорил: «Матка, Гитлер капут!» Он все понимал, был культурным человеком, играл на скрипке, был всегда вежлив, всегда здоровался, улыбался. Показывал нам фотографии двух своих дочерей и жены. Нашу маленькую Машу, ей было 3 годика, столько же, сколько и его младшей дочери, он носил на руках, целовал, давал ей конфеты, сахар, которого мы не видели ни до войны, ни в войну. С кухни приносил ей рисовую кашу.

Однажды мама сильно заболела, он отвел её к немецкому врачу, который дал ей какие-то лекарства, после чего мама поправилась. Так что и среди немцев были хорошие люди. За нашей деревней находился военный аэродром. Мой брат Володя с соседским мальчишкой возили на аэродром еду. Иногда немцы давали им гороховый суп и пудинг. Но были и другие немцы-эсэсовцы, которые сжигали деревни, загоняли людей в сараи, обливали бензином и поджигали. Все помнят Хатынь. В этой деревне партизаны убили двух полицаев. Тогда всех жителей согнали в сарай и сожгли их живьем, остался один старик, который рассказал, как всё было.

Позже выяснилось, что сожгли деревню полицаи, конечно, не без участия немцев. Особенно немцы стали зверствовать, когда появились в лесах партизаны. Если в деревне убивали хоть одного немца, за это расстреливали 10 русских. Уже в 1943 г. на каждом доме висело предупреждение, в котором было написано по-русски: «За каждого немца будет убито десять руссиш швайн!», т.е. десять русских свиней. Первыми жертвами в нашей деревне стали трое мужчин 18, 25 и 39 лет и две женщины-врачи, они работали в больнице в Толочине, а жили в нашей деревне. Они имели связь с партизанами, и их кто-то выдал. Одного мужчину застрелили за то, что он на радостях, когда у него родился сын, пулянул из ружья в воздух.

Особенно жестоко и бесчеловечно они поступили с евреями, а их в Толочине до войны проживало около 400 человек. Работали они в магазинах, аптеках, больницах и других учреждениях. Сначала их согнали на одну улицу, обнесли её колючей проволокой, поставили вышки. Дежурили там в основном полицаи, люди, если их можно называть людьми, с западной Украины. Сначала евреям раздали жёлтые звёзды и нашивки с надписью «жид»; они должны были их сами пришивать на одежду. Первое время их выгоняли на работу подметать улицы, чистить снег.

Однажды, это был очень морозный день, им приказали взять свои вещи и выйти из домов, что они и сделали. Их погнали к лесу, где была вырыта противотанковая яма-ров. Её вырыли до войны, для того, чтобы не могли пройти немецкие танки. Людей подогнали к этой яме. Среди

них было много женщин, детей и стариков. И стали их расстреливать. Кто-то раненый, ещё живой, падал в эту яму. Расстреливали их в основном полицаи-бандеровцы. Один мальчишка вырвался из толпы, подбежал к немцу и стал просить, чтобы его не убивали, у этого немца случился разрыв сердца. Немца увезли, а полицаи продолжали расстреливать ни в чём не повинных людей.

Это рассказал нам наш дядя Архип, он уже был пожилой человек. Его и других стариков поймали и заставили под угрозой смерти засыпать убитых землёй. Дядя рассказывал, что из этой ямы были слышны стоны. Людей засыпали землёй – мёртвых и тех, кто ещё был жив. Это место недалеко от нашей деревни за лесом, у дороги на толочинское поле. Позже мальчишки бегали туда смотреть, дети ведь ничего не боятся, и они рассказывали, что, когда выпал снег, этот снег был кровавым. А я боялась и близко подходить к лесу, особенно после того, как нас с мамой схватили и посадили в барак.

Было это так: в деревне вывесили объявления, что в Толочин в церковь приезжает какой-то знатный священник, «архиерей». Мама не хотела идти, но наша соседка Ирина упросила ее. У неё недавно немцы убили мужа, осталось пятеро детей. Она хотела поставить свечи, и мама согласилась, хотя и не была верующей. Пошла с мамой и я. Как только мы подошли к городу, нас остановили немцы и полицаи – и погнали. Загнали в какой-то барак – большой, длинный. Помню, там были двухъярусные нары, на них была солома, у двери стояло деревянное ведро с водой, а в конце барака – параша. Мы все испугались, думали, что где-нибудь убили немца и нас расстреляют. Мы все плакали, особенно наша соседка. Она так кричала, рыдала, а полицаи постукивал прикладом по решётке окна.

Так мы переночевали в этом бараке, а утром нас, детей, и пожилых людей отпустили, а молодых забрали и угнали в Германию. Меня бы тоже угнали, но родителям удалось откупиться от полицаев, которые сказали немцам, что у меня больное сердце. Среди угнанных был мой двоюродный брат Иосиф, сосед Михаил и еще один парень из нашей деревни, им было по 17 лет, и две девушки 18-ти лет. Брату и соседу повезло, они работали у фермера, спали в сарае, но их кормили, хоть и не очень сытно, а другого парня застрелили при попытке к бегству. Девушки вернулись туберкулёзными и вскоре умерли. После этого случая мама нас никуда не пускала. Жизнь в деревне продолжалась. Устраивались вечеринки, куда приходили и немцы, смотрели, как отплясывает кадрили да польку советская молодёжь.

Лётчики – элита, особая каста Гитлера. Чтобы не ходить по грязи, от начала деревни и до аэродрома они вымостили улицу, рядом с их полевой кухней поставили колонку и воду качали, она лилась из крана.

А у нас были колодцы, воду черпали ведром. После того, как немцы удрали из деревни, дорогу тут же разобрали на дрова. Мужчин забрали, остались одни женщины, а топить печи было нечем. Колонки разорили самогонщики, не заботясь о том, как тяжело детям тянуть вёдра из колодца. Ничего хорошего в их жизни не было, а самогон для них был единственной отрадой. И женщины гнали самогон, чтобы как-то выжить. Они его носили к поездам, в город, на станцию.

Вскоре нас выгнали немцы из наших домов. Это был уже 1943 г., и так до конца войны мы не заходили в наши дома, а жили через два дома в маленьком домике – три семьи. Нас 6 человек, тётя с двумя детьми и соседи, их тоже было пятеро. Сделали от стены до стены двухъярусные нары. Дети постарше спали наверху, маленькие, по 2-3 годика с мамами внизу. Скоро мы увидели других немцев, особенно, когда они потерпели поражение под Сталинградом. Мы не знали, что случилось. Вдруг на каждом доме, где жили немцы, мы увидели спущенные траурные флаги, немцы плакали навзрыд, напились, ходили по домам и просили самогон. Мы все притихли и не выходили из дома.

Да, это были другие немцы – не те холёные и красивые, а очень худые, на костылях, обмороженные. На свои красивые шинели они натягивали шерстяные платки, которые отбирали у женщин. Даже лапти надевали на ботинки. Они собирались закончить войну до начала зимы. Не удалось, вот и пожинали плоды своей самоуверенности. Но нас они пока не трогали. Когда партизаны пускали под откос поезда, наши мальчишки бегали собирать консервы, какую-то еду, за это их могли жестоко покарать. Но мальчишки есть мальчишки, их не удержишь.

Помню, в конце мая 1944 г. немцы открыли погреб с картошкой и нас, детей, заставили ее чистить. И вдруг, над нами пролетел первый русский самолёт с красными звёздами. Мы все вскочили и стали кричать: «Наши, наши!» Тогда повар начал пулять в нас картошкой. Мы стали разбегаться, а он побежал в дом за оружием, чтобы застрелить нас. Но тут их командир прибежал и дал команду: «По машинам!» Немцы на бегу запрыгивали в машины, а мы побежали в свои землянки. Мы поняли, что русские танки в Толочине...

Игорь Домбек

Германия



Неотправленное письмо. Из пережитого

(в сокращении)

Разбирая как-то бумаги в своем «архивчике», я наткнулся на письмо, полученное ещё в Ленинграде в 60-е годы от бывшего военнопленного (он назвал себя Петровым Александром), которого я знал – он лежал в лазарете «Пасторат» для военнопленных, в котором я числился переводчиком. Как он меня нашёл? – вероятно, запомнил фамилию и знал, что я – ленинградец... Он был летчиком, в 43-м самолет его сбили, он катапультировался, но его подстрелили, и ногу пришлось ампутировать. Он из бревна смастерил «протез» и ловко на нём передвигался... Настолько ловко, что ему удалось из «Пастората» бежать: уговорил охранника-эстонца (омакайце) выпустить его к немцу в Wachstube, чтобы сообщить ему важные сведения о себе... Эстонец глянул на «протез» и выпустил...

В письме Саша Петров просил меня написать о реакции немцев на его побег. Я написал, что через полчаса охранник спохватился, выстрелил, из Wachstube выскочил собаковод Фриц, поняв, что произошло, обругал эстонца, схватил овчарку, меня и, понимая, что калека в лес не пойдет, пошёл по дороге. У развилки остановились... Навстречу шёл эстонец. По-немецки ни бум-бум...

- А по-русски? – спросил я.

- Да, да...

- Немец ищет сбежавшего из лагеря калеку, если скажете, что видели, он его догонит и пристрелит...

Эстонец всё понял, пожал плечами, мол, не видел... Он оказался хорошим человеком. Мы не нашли беглеца, а Фрицу, в общем, было наплевать, он даже пошутил: «одна нога оказалась проворней восьми наших», махнул рукой, мол, чёрт с ним, и пошли к хутору менять табак на самогон...

Еще в письме Петров просил меня написать, как мне, еврею (я даже вздрогнул), удалось выжить...

В плену только три человека – самые близкие друзья – знали мою национальность... А вот в ленинградском КГБ неоднократные допросы-«беседы» начинались с вопроса: «Как все-таки вам, еврею, удалось...? и т.д. Значит, Петрову в каком-то сибирском городе, откуда пришло письмо, во время «собеседования» в вездесущем КГБ задали примерно такой вопрос: «А не кажется ли вам странным, что этому еврею-переводчику удалось... и т.д.»

О том, как мне, еврею-переводчику, удалось выжить, я пообещал Петрову написать в следующем письме.

В памяти снова и снова стали всплывать события двадцатилетней давности. Чтобы удержать их в памяти, стал записывать, а потом уже подробно описывать ситуации, минуты, мгновения, когда жизнь висела на волоске, но, как ты знаешь, Саша, Бог миловал...

Переписка наша как-то оборвалась, но мне легче было писать дальше, обращаясь к Саше Петрову, как к человеку, как и я, пережившему немецкий плен, память о котором не застит ничто в жизни.

Так вот.

Были случаи, Саша, когда смерть просто промахнулась, тут от меня ничего не зависело, просто повезло... Или когда от неминуемой гибели меня спасли люди: Николай, – ты его знаешь, – или Ид. О ней я расскажу подробно.

Но были мгновения, когда всё зависело только от меня самого.

Вот о них, об этих ситуациях, минутах, мгновениях я и собирался тебе рассказать.

В мае 41-го мне исполнилось 17 лет. В июне я окончил школу и был принят на 1-й курс Высшего военно-морского училища им. Дзержинского. Но немцы в июле уже захватили Прибалтику и из нас, первокурсников, быстро сформировали батальон (истребительный), и 13-го августа, получив винтовки, мы были отправлены в Котлы под Ленинградом, где день и ночь рыли траншею.

Перед отправкой мне удалось забежать домой. Отец – полковник медицинской службы, гарнизонный врач города, торопился в штаб, а

мама, вся в слезах, обнимала меня, приговаривая «Иженька, Изенька...», что-то говорила, советовала, уж не помню что... Я тоже торопился. А, прощаясь, мама протянула мне маленький золотой медальон, «нашу семейную реликвию, в котором я венчалась», – пояснила она, просила беречь его, говорила, что он... уж не помню, что он... и, чтоб успокоить её, я взял и бережно его положил в бумажник рядом с фотографиями.

Через пару дней в Котлах, в расположении нашего батальона, на санитарной машине появляется мой отец. Оценив обстановку, – уже был отчетливо слышен грохот артиллерии – он сказал мне, что нас послали сюда ошибочно, что уже подписан приказ о срочной эвакуации училища, поэтому «садись в машину, я командиру батальона все объяснил...».

- Где приказ? – спросил я.

- Я завтра его...

- Вот завтра со всеми...

Отец меня понял... он крепко прижал меня к себе... – Хорошо, до завтра... – вскочил в машину и уехал.

Это, Саша, было первое мгновенье, когда я сам распорядился своей судьбой.

Не прошло и часа после отъезда отца, пришло сообщение, что бои идут уже за Кингисепп. В траншее остался только Николай, ты его знаешь, – он в финскую был ранен в руку, и его мобилизовали рыть траншею, – а батальон двинулся – ты представляешь, Саша, – на помощь кадровой армии... Теперь в спешке занимаем оборону в лесу, отбрасываем дёрн, из него устраиваем «бруствер», ложимся и... уже слышу храп справа и слева... Засыпаю и я. Просыпаюсь от грохота разрывов снарядов, немцы бьют из минометов. Толкаю соседа справа – убит, слева – убит... Смерть то ли промахнулась, то ли пощадила меня, все-таки самый младший.

Отступаем к «своей» траншее... Было 200 курсантов, возвращалось не больше сотни. При этом, Саша, ребята не сделали ни одного выстрела – немцев-то не было видно...

Николай за время нашего отсутствия, для укрепления покрытия нашего «гнезда», успел натаскать еще брёвен, и это спасло нас. Часом позже налетели бомбардировщики... это было так страшно, что кто-то даже кричал ма-а-ма!... из трех рядов брёвен над нами остался один, и то с просветами... у всех в глазах – страх, не успели отдышаться, появились истребители, думали – наши... нет, немецкие, на бреющем полете, летели так низко, что, казалось – крылом землю взроют и строчили пулеметом в наши гнезда... Выглянул – и вижу, как из

дальнего конца выскакивают наши ребята и, побросав винтовки, бегут к лесу. Тем временем, немцы уже сзади нас, в деревне, ловят кур...

А мы – это четверо курсантов, Николай и старшина, заскочивший к нам, сидим, тесно прижавшись друг к другу, как в ловушке, ждем ночи, чтобы добраться до леса. «Смотри», – шепчет Феликс (мой однокашник). Вдоль траншеи шел немец и в «гнезда», где сохранилось покрытие, давал короткие автоматные очереди, зачищал, выкуривал засидевшихся. Дошел он и до нас, дал очередь и ушел – в траншее мы были крайними.

- К-кажется, пронесло – прошептал я, заикаясь...

- Это только тебе кажется... – прошептал Феликс.

Я чувствовал, что голова старшины лежит на моем плече, думал, заснул... и только сейчас заметил, маленькую дырочку на его каске. Его голова от моей была на расстоянии двух-трех сантиметров... Смерть опять – то ли промахнулась, то ли пощадила...

Дождались мы ночи, но не темноты... август... белые ночи... до леса метров сто... вылезли, проползли метров двадцать... Застрочил пулемет... Феликс только ойкнул и сник... – Рука... – услышал я, и тут же получил удар по голове сапогом или прикладом, не знаю, но каска удар смягчила, услышал рывкающее «Aufstehen!». Нас запихнули в какой-то сарай, и дверь захлопнулась. Это произошло 26 августа 1941 г. То, что это – плен, понял не сразу... Поверишь ли, Саша, заснуть мешали две тревожные мысли:

мысль-надежда... «вот-вот начнется наступление Красной Армии и нас освободят...» и

мысль-отчаяние... «что делать? – через пять дней, 1-го сентября, начнутся занятия в училище...».

Как я позавидовал ребятам, которые, побросав винтовки, бежали и скрылись в лесу...

Об их печальной судьбе я узнал уже после войны. Их действительно эвакуировали на каком-то судне, вверх по Неве, но налетела немецкая авиация, судно разбомбили и расстреляли, а выжившие стали цепляться за проходивший мимо катер, который и так был переполнен, и ребят отталкивали, а упрямых били по рукам.

Плен разлучал, разбрасывал людей, быстро, неожиданно и навсегда. Так, в Нарвском лагере, я оказался только с Николаем. Когда туда ввели нашу тысячную колонну, там уже было тысячи три.

- Есть дают? – поинтересовался Николай (мы уже двое суток ничего не ели).

Оказывается, сначала – построение, а построить многотысячную толпу голодных людей в 4 ряда не так-то просто... но у немцев в руках – палки, и, привычно работая ими, ряды выстраивали... Я с Николаем во втором ряду. Крича в рупор, на чисто русском языке унтер-офицер командует:

- Инженеры – выходи!

Из строя выходят три человека.

- Слесари, столяры, сапожники – выходи!

- Врачи, выходи! – вышли трое.

Унтер взгляделся в их лица и палкой отгородив их, остальным скомандовал:

– Назад, в строй!

И дальше:

- Евреи! Жиды! – выходи!

«Это конец», – понял я и двинулся было из второго ряда... Но Николай, видимо, ожидая этого, вцепился в мою руку, и, сквозь зубы:

- Игорь, не дергайся...

(Это было одно мгновение...).

Я удивленно посмотрел на него...

- Ты Игорь, Игорь!!! Понял?! – сквозь зубы процедил он. Я понял... А унтер-офицер, между тем, продолжал вызывать еще каких-то специалистов, когда из-за толстенных стен крепости послышались три коротких автоматных очереди... В 41-м году немцы военнопленных евреев в гетто не отсылали.

Николай подарил мне 75 лет жизни.

Была уже глубокая осень, когда Нарвский лагерь ликвидировали, и нас на открытых платформах в гимнастерках-пилотках перевозили в другой лагерь, Stalag 332, в эстонском городе Вильянди. Утешали себя: «Приедем – в бараках отогреемся». Приехали... «отогрелись»... Лагерь – это два футбольных поля, огороженных тремя рядами колючей проволоки, за ними немцы с овчарками, часовые на вышках, у ворот – комендатура... и всё... Чистое поле, заросшее травой. С нами, вновь прибывшими, – тысяч 15-20. Здесь немцев почти не видно, зато много полицаев (вчерашних красноармейцев), их задача «навести порядок», когда в лагерь въезжают полевые кухни с баландой и повозка с хлебом.

Орудя кулаками и палками, им удаётся за 15-20 минут выстроить изголодавшихся, мерзнущих на морозе людей...

Тут в моё сознание вмешивается внутренний голос: «Игорь, не надо, ведь Саша Петров просил тебя рассказать о себе».

«Так я и рассказываю о себе, – возражает другой голос. – Я же часть этой измученной, одичавшей от голода и побоев человеческой массы, которую перемальывает плен...»

Находясь с Вильяндском лагере, люди всё-таки ощущали близость родины. Самое страшное – отправка в Германию, а такое периодически происходило: у ворот появлялись два-три немца с автоматами и овчарками, полицаи получали указание: «200 ходячих!» Я был уже «доходягой», но Николай... он еще как-то держался... и его «загребли»... Я осиротел... мне всё стало безразлично... и голод, и холод... думал: «хоть бы поскорее...»

Вечером сосед на нарах спросил: «а где твой кореш?» Я рассказал. Он помолчал, а потом спросил:

- У тебя есть какие-нибудь «цацки»?

Я не понял...

- Ну, часики, колечко... Я на кухне работаю... думаешь, «за так»? Там шеф-повар – хозяин... Я скажу ему про тебя... подумай...

И я вдруг вспомнил... медальон! Мама что-то говорила, просила беречь его, что-то о счастье... что он... уж не помню, что он бережёт – ах, да! что он будет хранить меня...

Всю ночь я проворочался... Внутренний голос шептал: «Отдай, это твой последний шанс, отдай...» Другой голос кричал: «Нет! Нет! Нет!»

Я измучился, так и не заснул, а утром, получив пайку, зажав медальон в руке, все-таки пошёл к кухне. Повар стоял у входа, пузатый, краснощекий.

- Ах, это ты... Ну, что? Показывай...

Уж больно противен он был. Я помотал головой и ушёл...

Потом, помню, чтобы получить лишнюю пайку, как в тумане толкал телегу с умершими к огромной яме, потом упал и... очнулся в какой-то комнате... не в бараке, но на нарах... Тиф, сыпной тиф... сыпняк... 13 дней ничего не ел, пайку у соседа обменивал на котелок кипятка – мучила жажда. А на 13-й день проснулся, чувствую – здоров! Сосед рассказал, как я бредил о побеге, об училище, о каком-то Николае, маму вспоминал, и мне захотелось ему фотографии родителей показать, достал бумажник и сразу почувствовал – медальона нет.

В голове у меня помутилось и даже хватило сил соскочить с нар:

- Кто взял?

Все молчали. Наконец кто-то неуверенно произнес:

- Сашка... – и тут всех словно прорвало:

- Конечно, Сашка! Он у всех свеженьких по карманам шарит! Переводчик, мать его... Немецкий холуй! Продажная тварь! Сволочь!

Кровь бросилась мне в голову... Не знаю, на что рассчитывал, но я рванулся к двери, и сразу же в коридоре наткнулся на него... Высокий, моего роста, но здоровый, с повязкой на руке «Дольметчер».

- Отдавай медальон, – потребовал я.

- Ах, это... – мы все были для него на одно лицо, и он, конечно, не узнал меня. – Значит, выжил... да ведь все равно долго не протянешь, на кой х... он тебе?

- Отдавай!

- Да пошел ты... – он толкнул меня не сильно, но я упал, а он перешагнул через меня и пошёл дальше.

Я попытался встать, безуспешно поёрзал ногами по полу и, видимо, потерял сознание: чувствую, будто меня раздевают догола, бросают на телегу и везут к яме на кладбище.... И вдруг... помнишь, Саша, была такая телепередача «Очевидное – невероятное»? Вот это вдруг и происходит: «очевидное» – это то, что в доме, окружённом колючей проволокой, лежат триста тифозных военнопленных, измученных болезнью и голодом, мечтающих только о том, чтобы пайка была побольше, баланда погуще, а в коридоре лежит юноша, безуспешно пытаюсь подняться... А «невероятное» – это то, Саша, что надо мной склоняется женщина в белом халате с миловидным лицом, помогает мне встать, берет под руку, приводит в маленькую каморку-хлеборезку, отрезает от домашней буханки («сама пекла») кусок хлеба и наливает кружку молока.

- Ешь...

Я ел и с удивлением смотрел на нее, она была для меня «инопланетянкой», так она не вписывалась в ставшую для меня уже привычной лагерную жизнь. За две недели болезни у меня не было ни крошки во рту, поэтому я ел, конечно, с жадностью, и она, видимо, чтобы не смущать меня, занялась разделыванием буханок на пайки и одновременно рассказывала о себе. Зовут ее – Ида, она – эстонка, живёт на хуторе с родителями, у них – хозяйство. Недавно немцы, боясь заразиться тифом (в лазарет дальше ворот не входят), наняли её на работу в лазарет, раздавать хлеб и сообщать им обо всём, что там происходит. А тифом она уже переболела.

- Вы хорошо говорите по-русски, – заметил я.

- Я и по-немецки говорю неплохо. У меня дед русский, а мать наполовину немка. А теперь ты мне расскажи, за что этот бандит тебя ударил?

Я рассказал. Она по-эстонски, видимо, выругалась, завернула что-то в бумагу и сунула сверток мне в руку:

- Съешь перед сном.

На следующий день, наконец, выглянуло солнце, чуть потеплело, повеяло весной, и все ходячие вывалили во двор. Кое-кто примостился на бревнах, остальные бесцельно бродили вокруг дома. Один подошёл к проволоке и выпросил у часового сигарету. Увидя такую щедрость немца, несколько человек, и я в том числе, ринулись к проволоке, но в этот момент часовой заметил приближающегося к госпиталю ефрейтора и закричал: «Вег, вег...», открыл ворота и пропустил ефрейтора во двор. Навстречу ему уже шла Ида.

- Не уходи, – сказала она, проходя мимо меня.

Немец ее о чем-то спрашивал, она отвечала, потом сама стала ему о чем-то возбужденно рассказывать, и, наконец, подозвала меня:

- Гер Пенновец – из немецкой санчасти, он хочет тебя о чем-то спросить, не бойся.

Здоровенный Пенновец, широко расставив ноги и заложив руки за спину, спросил:

- Во ист дайн медальон?

Я, скорее, догадался, чем понял, о чем идет речь.

- Дольметчер геномен, – ответил я по-немецки.

- Дольметчер!!! – заорал он.

Из дома выскочил Сашка... Немец наверняка был боксером, т.к. от резкого, еле заметного удара в челюсть, здоровенный Сашка рухнул как подкошенный. Держась за щеку, он пополз было в сторону, но попытку удрать Пенновец пресек резким: «хальт!», и протянул руку:

- Медальон!

Судорожно порывшись в карманах, Сашка вытащил, наконец, нашу семейную реликвию. Во что этот подонок превратил медальон! Расковырял, изуродовал, рассчитывая, видимо, найти что-то еще и внутри. Шевелия желваками, немец разглядывал медальон. Не знаю, как поступил бы Пенновец, если бы медальон не был изуродован, но он протянул его мне, а Сашке скомандовал: «аусциен!». Мне тоже велел раздеться и надеть все Сашкино – бушлат, сапоги, мичманку. Сашке ничего другого не оставалось, как надеть мое тряпье.

- Ви хайст ду? – Пенновец оценивающе разглядывал меня в новом облачении.

- Игорь.

- Где научился немецкому?

- В школе.

- Гут, – заключил он, – завтра приду за тобой...

Последнюю фразу Ида мне перевела, но, как ни странно, я и так понимал, что он говорит, а он понимал меня. Между тем, Пенновец устался на Сашку и вдруг скомандовал: – Раус, инс лягер, – и увел его в лагерь, даже не отпустив в дом забрать свой награбленный скарб.

Всю ночь я терялся в догадках: зачем я ему понадобился? В это время начали поговаривать о привлечении русских добровольцев в немецкую армию. «Уж не собирается ли он меня впутать в эту историю?» И обрадовался, когда на другой день увидел в воротах другого немца. Но радость моя оказалась преждевременной, Ида опять подозвала меня и объяснила, что Пенновца отправляют на фронт, а этот оберфрејтор Цемке тоже из немецкой санчасти и что он тоже пришёл за мной...

«Пруссак» – сразу про себя окрестил я его – весь какой-то отутюженный, лет сорока пяти, он держался очень прямо, словно штык проглотил, видимо, желая выправкой компенсировать свой неудавшийся рост. Этому, по-видимому, должна была способствовать и не в меру вздыбленная пилотка. И по всему видно – не фронтовик. Это плохо, немцы, хлебнувшие фронтового лиха, относились к пленным с большим пониманием. В дальнейшем мне довелось общаться со многими немцами, но с Цемке судьба связала меня на долгих два с лишним года.

Задав мне несколько уже привычных для меня вопросов: как зовут, сколько лет, где учил немецкий язык, и какие-то ещё, смысл которых я едва улавливал, и потому едва ли вразумительно отвечал, он безапелляционно заявил, что в школе у меня был плохой учитель немецкого языка, поэтому и язык я знаю плохо, но произношение «гут». (Он ошибся: преподаватель у меня в школе был очень хороший, просто я был плохим учеником).

Прощаясь с Идой, он лихо щёлкнул каблуками, скомандовал мне: «ком!», и, пока он выходил за ворота, Ида сунула мне в руку крохотный немецко-русский словарик:

- Тебе он пригодится, – сказала она.

Тогда, Саша, мне было 17 лет. Теперь – 92. Вот и посчитай, сколько лет жизни подарила мне эта добрая женщина.

Шел я с трудом, все время отставал, и немец, что-то пробурчав, тоже замедлил шаг. Мы пересекли город, плотно железной дороги, миновали какой-то хутор, и, указав на большое деревянное строение, обнесённое колючей проволокой, он пояснил:

- Hospital – «Пасторат». Дом этот когда-то принадлежал пастору, сейчас здесь «гошпиталь» для военнопленных, – так он назвал эту покосившуюся развалину с прохудившейся крышей.

Картина для меня уже привычная: по двору «гошпиталя», как тени, бродят доходяги, ещё более тощие, чем в лагере, ссутуленные спины, бесформенно свисающие шинели на истощенных телах, у большинства на ногах – колодки вместо обуви.

Из дома выбежал пухленький человек в белом халате и замер перед немцем в положении «смирно»... часто моргающие, бегающие глазки, растянутые в неестественной улыбке губы. Весь – как знак вопроса.

- Шеф-доктор, – кивнул на него немец и, глядя на меня, объявил обступившему нас персоналу (это были врачи и фельдшера):

- Дольметчер...

Это было так неожиданно, что я обернулся и спросил: – Wer?

- Ду! Ду бист дольметчер! (Ты! Ты – переводчик!)

Я остолбенел. Я же ни черта не смыслю в этой рявкающей речи! Словарь Иды в тот момент был слабым утешением, и всё же я ухватился за него.

Трудно сказать, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, если бы ни один из врачей: Алексей Захарович Малышев. Ты его, конечно, помнишь, он твою культу обрабатывал.

Узнав, что я из «Киндерхайма», сказал:

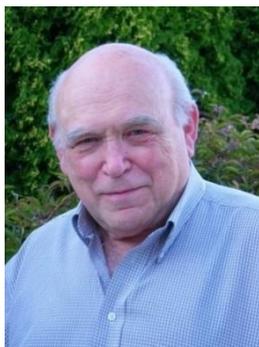
- Выходит, тиф перенес и выжил?! Ну, молодец, значит, долго жить будешь...

Глаза у него были... он, словно, насквозь тебя видел и располагал к доверию. Я поделился с ним своими страхами и опасением.

- Ничего, Игорёк, – успокаивал он меня, – ты молодой и память у тебя молодая, так что язык ты быстро одолеешь, и словарь, конечно, поможет. Главное в другом... Переводчик в плену фигура значительная. Ты будешь осуществлять связь как бы между двумя мирами... от того, как ты это будешь делать, кому будешь служить, зависит многое. – И добавил: «Совість подскажет...». Эти слова он словно впечатал в мое сознание... На всю жизнь...

Лев Визен

Виктория, Канада



**Москва 1941-го. Забытый октябрь. Из повести
"Метель из лиц вождей" (в сокращении)**

В октябре 41-го немцы были всего в 27-ми километрах от Кремля
На машине – полчаса. На танке – час. Казалось, всё предreshено.

И оставшиеся в городе люди думали о том, какой будет их жизнь –
если будет – когда немцы войдут в Москву.

Уже случившееся, известное, было страшным, в сравнении с ним
меркли все слухи, всё придуманное. Но неизвестное было ещё страшнее.
И люди вокруг нас говорили о нём всё напряжённее, всё злее. Они всё
меньше говорили о том, как воюет Красная Армия.

Уже никто не пел, что *«от тайги до британских морей, Красная
Армия всех сильнее.»*

и что *«мы смело в бой пойдём за власть Советов и как один умрём в
борьбе за это.»*

Вторая песня особенно сердила Ван Ваньича, нашего соседа по
квартире. – *Власть, при которой все умрут? И это – народная власть?* –
говорил Ван Ваньич.

И женщины кивали и соглашались: если за власть все должны
умирать, то шла бы эта власть куда подальше.

Ван Ваньич оставил один глаз на берегу монгольской реки Халхин-гол
и всегда говорил, что он везунчик и легко отделался. Женщины на
нашей квартирной кухне шутили, что у него односторонний взгляд на
жизнь.

А он рассказывал им, как Жуков, которого Сталин послал спасать от
японцев наших и монголов, расстреливал своих.



600 человек из 60 000, которые под его командой оказались.

- Воленс-неволенс, а ура закричишь. Вперёд, вперёд, рабочий народ.- говорил Ван Ваньч. – *Лучше уж от самураев пулю получить, чем от своего начальства.*

И он же говорил, что немцев завалят анонимками. Потому что если для доносов в НКВД люди оговаривали соседей по квартире и даже родственников, то для доносов немцам и придумывать ничего не надо будет.

Пиши как есть, пиши правду. Про всех, кто врал рабочему классу. Будет более, чем достаточно.

Говорили, что, если немцы ещё не в Кремле, так это потому, что ихняя пехота не поспевает за танками.

Говорили, что у добровольцев на баррикадах, которыми перегорожены улица Горького и Большая Дмитровка, есть только несколько дробовиков и бутылки с керосином.

И что из домов, перед которыми эти баррикады стоят, женщины носят добровольцам кипяток, чтоб они могли развести в нём «Кофе желудёвый» и хоть как-то согреться.

Говорили, что, если власти не дали добровольцам ни винтовок, ни пулемётов, то могли бы хоть денег дать, чтоб они могли купить стволы на толкучке.

Говорили, что кое-кто в наших корпусах достал и приготовил ружья и револьверы, припрятанные ещё с гражданки. И что милиция, которая раньше этих людей сразу бы скрутила за подготовку свержения

советской власти, сейчас делает вид, что ничего не видит и не слышит. Хотя ей, конечно, уже настучали. И сообщили имена преступников и номера квартир их проживания.

И это было правдой.

Мы, Толик, Карен и я, знали, что Юрий Петрович одалживал ёршики для чистки стволов по крайней мере трём жильцам – тоже пожилым и тоже отсидевшим.

Мы тоже хотели сражаться. Мы знали, что наш хромой дворник Равиль приготовил четыре ящика бутылок с керосином. Знали, как можно тихо, не разбивая стекла, открыть окно в полуподвал, где Равиль хранил эти бутылки.

И мы начали готовиться к боевым действиям заранее – украли три из пяти или шести авосек, забытых людьми в булочной и лежавших там на полке, рядом с кассой.

По авоське на каждого из нас.

Чтобы каждый мог унести из полуподвала по пять или шесть бутылок.

И мы выбрали три места на крыше первого корпуса – чтобы встать на эти места, когда немецкие танки загрохочут по Петровке.

Встать, прицелиться и бросить наши бутылки.

Мы были уверены, что не промахнёмся. "Ещё до войны" мы сбрасывали комочки влажной мягкой земли на крыши троллейбусов, проезжавших внизу.

И очень, очень редко не попадали.

До бутылок, однако, дело не дошло. Танки, вошедшие в московские пригороды, остановились. Но люди уже не сомневались, что власть всё равно сменится.

И, замолкая при тех, кому не доверяли, они продолжали говорить и говорить, обсуждая одно: как жить при немцах.

Жить – при немцах? Без родной советской власти?

Без любимого вождя, без товарища Сталина? Да, жить

Да, без советской власти и без Сталина.

Потому, что вождей и властей может быть много, а жизнь – одна.

Кого, кроме евреев и партийцев, будут арестовывать при немцах?

Будут ли выдавать продукты по советским карточкам?

Будет ли у людей работа?

Что будет с пенсиями?

Кто будет лечить людей, немецкие доктора или наши?

И кого будут записывать к немецким докторам?

И что носить этим докторам? Ихний шнапс получше нашей водяры будет, шоколада у них, говорят, завались. Да нам шоколад и взять-то негде. И золота у людей не осталось, уже всё на жратву выменяли.

Будут ли отапливать наши корпуса и починят ли канализацию?

Откроют ли школы и садики?

Кто будет командовать в домоуправлении и в райсовете?

Где будут жить немецкие солдаты и офицеры? Будут ли подселять их в наши коммуналки?

Будут ли гнать москвичей из хороших, царской постройки, квартир с высокими потолками и просторными кухнями, ванными и туалетами? Как, к примеру, наша квартира? Двадцать один жилец, из них пятеро – школьного возраста.

Шесть комнат, шесть семей живет, но зато на кухне и в удобствах есть где повернуться. А если выселят, да ещё зимой, то куда?

Отпустят ли по домам красноармейцев и ополченцев?

Будут ли сажать тех, у кого есть награды за храбрость? И за трудовые успехи?

Будут ли забирать мужиков в немецкую армию?

И – выпустят ли всех, кто сидит ни за что?

Люди как бы нащупывали, чего ждать и чего бояться.

Как бы подыскивали понятные, приемлемые причины своих будущих решений и поступков – в уже почти наступившем завтра.

Говорили, что немцы расстреливают или вешают всех евреев и всех партийцев.

Говорили, что в кузове каждого немецкого грузовика есть складная виселица. И что её можно собрать за минуту, а после казни – сложить обратно в чехол.

Но говорили также, что немцы хоронят наших сбитых летчиков с воинскими почестями, отдавая должное их храбрости.

Говорили, что под Красную Поляну привезли добровольцев-десятиклассников, которым уже было по восемнадцать потому, что они по второму году в десятом сидели.

Из-за кучи двоек, плохого поведения и курения в здании школы.

И что эти второгодники нашли в снегу четыре немецкие гранаты и сами себя вооружили.

И что те четверо, которым эти гранаты достались, бросились с ними под немецкие танки.

И взорвались.

Но танки, под которые они бросились, не взорвались.

Потому, что немецкие гранаты оказались не противотанковыми, а противопехотными.

А ребята были первый день на фронте и ещё не знали разницы.

Говорили, что в занятых городах немцы открывают бордели для своих солдат и что

наши девки стоят в очередях, чтобы получить там работу.

Потому, что немцы платят, а не халявничают. И пользуются презервативами.

Говорили, что ополченцам сдался в плен раненый в обе ноги немец, у которого в карманах было полтора кило золотых колец и браслетов.

Сам поднял руку, чтоб ополченцы мимо не прошли. Потому, что и ползти-то не мог.

И что он протянул им несколько колец, как плату за помощь.

Но наши герои взяли всего по одному колечку, как заслуженные боевые трофеи.

И отволокли немца к особистам. На его же серой шинельке. Вместе с остальными кольцами и браслетами. Чтобы им, ополченцам, под расстрел не попасть за присвоение народного трофейного достояния в час решения судеб.

Вдруг какая-нибудь падла настучит из зависти. Заявит, что взяли не по одному колечку, а по десять или двадцать хапнули.

Но, конечно, главное, почему сдали ополченцы это золото, – хотели, чтоб как можно скорее попало оно в руки нашего государства и пошло на новые танки и самолеты.

Чтобы крепче бить врагов, губителей и грабителей.

А особистам было не до пленных, они еле успевали "самострелов" трибуналить.

И они немца шлёпнули.

Прямо, где лежал, на его же шинельке. При попытке к бегству.

И теперь никто не знает, куда делись эти полтора кило золота.

Потому, что особисты ни перед кем не отчитываются.

Про золото и деньги много говорили и те, у кого под немцами родня оказалась.

Говорили, что полицаи раздевали женщин догола и смотрели, что и куда они запрятали.

И что сами немцы не раздевали и не смотрели, что и куда, только ругались.

А полицаи засовывали в женщин грязные руки и шупали внутри.

Вроде бы, искали.

И рубили женщинам пальцы вместе с кольцами, если кольца не снимались.

Брали топор, прижимали пальцы с кольцами к полу и рубили.

Из-за одного кольца – по два или три пальца.

Как попало, так и рубили.

Рассказывали, что наши артиллеристы раздолбали поезд с рейхсмарками, которые немцы везли для выплаты жалованья своим генералам.

И что несколько красноармейцев набили вещмешки подобранными деньгами, ушли через линию фронта.

И в первой же деревне попросили, чтоб женщины нажарили им мяса с картошкой и луком. Потому что в Красной Армии им давали только жидкую кашу из концентрата.

И сказали, что хорошо заплатят и за мясо, и картошку, и за душу согревающее.

А потом, когда ели, позвали за стол деревенских полицаев, чтоб угостить их и с ними познакомиться.

И сказали полицаям, что хотят жить в Германии, а не в СССР. И попросили, чтоб они свели их к немецкому начальству.

Полицаи обещали, что сведут, а когда красноармейцы уснули, убили их и забрали деньги.

И дали по чуть-чуть этих рейхсмарок шалавам, с которыми пили и спали.

А шалавы, которые и с немцами шились, этих полицаев тут же заложили.

И немцы отобрали остатки генеральских денег и расстреляли полицаев.

Вместе с двумя партизанами, которые пришли в деревню выменивать на самогон стрептоцид и соль, сброшенные им с самолёта. И на которых немцам бабы показали, как на поджигателей их домов и сараев.

Но расстреляли немцы партизан и полицаев не сразу, держали два дня взаперти. Ждали, пока они протрезвеют и начнут соображать.

Потому что Гитлер приказал вежливо разговаривать с пленными и предлагать им воевать против безбожных большевиков на стороне верующих в бога немцев.

Рассказывали, что переметнувшиеся к немцам казаки нашли председателя колхоза, который прятался под перевёрнутой вверх дном бочкой от соленых огурцов.

Проходили казаки мимо бочки и почуяли, что от неё уже не рассолом пахнет. И нашли председателя. Избили и отдали немцам, для допроса.

Но немцы председателя отпустили. Поверили, что не еврей, потому что он был необрезанный. Хотя и чернявый.

А казаки не поверили, снова поймали его и привязали за ноги к двум лошадям. И погнали этих лошадей в разные стороны. Нагайками.
И разорвали председателя.

Станным образом, люди старались не говорить о самом страшном, невыносимом – о готовящемся взрыве всей Москвы.

О грядущей гибели сотен и сотен тысяч.

И даже, может быть, целого миллиона.

Сразу.

В момент взрыва.

И о гибели остальных потом, среди обгорелых развалин, от голода и холода.

По секретному приказу человека, на которого они так надеялись.

По приказу Сталина.

В России секреты живут недолго. Что Москва заминирована – знали все.

Но точного часа взрыва не знал никто. Что-то всё таки становилось известным, и люди говорили, что будут взорваны Кремль, мосты через Москва-реку, метро, Большой театр, аэродромы, вокзалы и даже любимое детище голодной страны – копия чикагских мясокомбинатов, дворец колбас и сосисок имени Микояна.

И даже больницы, школы, детские сады и хлебозаводы.

Говорили, что энкаведешники, стараясь выслужиться и нахватать орденов, заложили взрывчатку и под каждый дом выше двух этажей.

А значит – и под наши корпуса. И все гадали: где, под какими подъездами, в каких подвалах может быть спрятана эта взрывчатка.

И кто и как мог бы её обезвредить.

Теперь многие историки считают, что Сталин считал сдачу Москвы делом решённым.

Он ещё спрашивал Жукова и Власова, удастся ли отстоять столицу и благосклонно кивал, слушая:

- Москву – отстоим! Любой ценой!

Но он так давно не верил никому, что не верил ни Жукову, ни Власову.

Даже шутил:

- Я никому не верю. Я сам себе не верю. Пропавший я человек...

Он знал, что его командармы боятся его и ненавидят его за свой страх перед ним.

Знал, что красноармейцы прекрасно понимают, что значат слова "любой ценой" и страшатся не только немецкой пули, сколько пули из пулемётов, поставленных за их спинами.

Он знал, что, если японцы вступят в войну, сибирские дивизии будут нужны на Дальнем Востоке. И тогда будет некого слать в контратаки под Москвой.

И Москву придётся оставить.

А если так – врагам должен достаться не город, а только его обугленная территория.

И пусть никто его за это не упрекнёт.

Потому, что он – всего лишь ученик, идущий по стопам, по проложенной тропе.

Разве, ещё в 18-м, не приказывал Ленин сжечь весь Баку, если сдача города англичанам и туркам окажется неминуемой?

Сжечь – до последней халупы в трущобах, до последней скважины на промыслах, до последней цистерны на путях?

Так что он, Сталин, – всего лишь верный ленинец.

Три четверти века спустя, рассекреченные документы подтвердили, что все подлежащие взрыву объекты были заминированы уже 10-го октября.

А 16-го и накануне, люди, которым их "родная советская власть" не сказала о взрыве ни слова, говорили, что Москву взорвут самым сильным в мире советским динамитом, как только немцы ступят на Красную площадь.

Что Сталин, куда бы он ни уехал, сам нажмёт специальную кнопку, которую всегда и всюду носит за ним в специальном чемоданчике особо проверенный комиссар НКВД.

И что этот чемоданчик пристёгнут к руке этого комиссара стальным наручником.

На немецкий манер.

И что сигнал от кнопки донесут до заложенных зарядов самые сильные в мире советские радиоволны, придуманные самыми великими в мире советскими учёными специально для этого случая.

И что ключи от чемоданчика есть только у Сталина и Ворошилова.

И что Сталин доверил второй ключ именно Ворошилову потому, что сам, своей головой, Ворошилов ни до какой измены не додумается.

Говорили, что в тайных подвалах Кремля ждут команды привезённые из тюрем враги народа, которые нажмут на другие специальные кнопки, если сталинская кнопка не сработает.

И что эти враги сами вызвались нажимать на эти кнопки. Потому, что им, врагам, Москву взорвать – одно удовольствие.

Терять-то им нечего, в тюрьмах зачистка под ноль идёт, всем, кого на фронт не отправили – пуля в затылок и овчаркам на корм.

А тут, глядишь, ещё какое-то время пожить можно.

До взрыва.

Мы не встревали в разговоры взрослых, мы слушали. Можно узнать очень и очень многое, если вокруг толковые люди.

А толковые люди знали о немцах на Рогачёвском шоссе. Знали и боялись.

И мы, дворовые шкеты, бесстрашные по нашему детскому ещё неведению, начинали

бояться тоже – мы слышали, что немцы прибивают к дверям домов всех

мальчиков-брюнетов. Как Христа прибивали к кресту.

Гвоздь забить – дело нехитрое. Прибили же в Мытищах двум ворам руки к берёзам. Поставили одного между двух стволов, вытянули руки в стороны и прибили. А другого поставили между тех же берёз, но с другой стороны. И тоже прибили.

И оставили их в лесу. Нос к носу. Комарам на пропитание.

Но воров-то этих, как говорили, братва за дело наказала.

Не за то, что вскрыли военный склад и взяли шесть ящиков с новенькими пистолетами. И не за то, что хорошо продали.

За то, что ни рубля в общак не внесли.

А мальчишки-брюнеты в чём виноваты? За что их прибивать?

И почему именно брюнетов?

Значит, нашего «армянчика, Карена, тоже прибьют?

-Во, суки, бя. – сказал Толик. – *Надо придумать, где Карешку прятать. Может на чердак его, в пятый корпус, там от труб всегда тепло?*

И добавил: – *Нам-то с тобой бздеть лишнего нех... Мы не брюнеты.*

А взрослые повторяли и повторяли страшные рассказы о взрыве, немцах и полициях, словно убеждая себя, словно разрешая себе бросать всё и бежать.

Повторяли всё быстрее, всё торопливее.

Времени на разговоры уже не оставалось, надо было уходить, уезжать... Бежать.

От неизвестности.

В неизвестность.

Со всех этажей нашего подъезда жильцы тащили узлы и чемоданы, волокли за собой детей.

Но, словно собираясь вернуться через пару недель, запирали свои комнаты на все замки.

И дергали двери за ручки, проверяли, хорошо ли заперлись.

Что было в этих узлах и чемоданах? Что казалось им важным, нужным и ценным в дни, когда традиционные понятия о ценностях потеряли всякий смысл?

До 16-го октября на толкучке в Столешниковом за серебряное колечко давали пачку махорки. За шёлковое платье – две картофелины. 16-го октября – на толкучку никто не пришёл. Ван Ваныч расстелил на полу в коридоре кусок брезента и завернул в него новенькую, с сухим ещё бачком, керосинку. И сказал, что те, кто берёт с собой всякие тряпки – полные идиоты. Потому что на тряпках пожрать не сварись.

Прямо перед нашими окнами спорили две растрёпанные, «расхристанные», как сказала бы бабушка, женщины.

Одна говорила, что нужно уходить через Реутово и Балашиху, на Орехово-Зуево.

Другая – что лучше забирать южнее, в сторону Рязани.

И обе, перебивая друг друга, говорили, словно убеждая самих себя в чём-то совершенно

невероятном, что все дороги на восток забиты, что упавших людей просто затапывают, а дезертиры, удравшие с фронта с оружием, отбирают у всех деньги, золото и серебро.

И что на всех дорогах ловят и убивают евреев. Бьют, режут, душат, рвут на части, вбивают в асфальт. И женщин, и детей.

Они стояли и говорили, что времени уже нет, что его не осталось уже ни часа, что всё происходящее – ужасно, что нужно скорее, скорее, скорее...

Стояли.

И говорили.

Словно пытаясь отодвинуть момент, когда нужно было сделать самый первый, самый трудный шаг – в бегство.

Бежать. Хоть затапывают, хоть убивают.

На восток, только на восток.

Куда нибудь, в любое место на востоке, потому что на западе – немцы.

Кто-то сказал, что в здании ЦК партии на Старой площади нет ни души уже с утра и что партийные документы валяются на полу в кабинетах и коридорах.

И что в соседнем доме №19 умерла от разрыва сердца женщина, член партии Ленинского призыва, которая работала в ЦК уборщицей и за которой не пришла обещанная ей машина. И что она так и лежит на полу в своей комнате. И что рядом с ней – сумка с пачками новеньких незаполненных партбилетов и с какими-то печатями в синих коробочках.

Но даже бегство сотрудников уже не удивляло.
Москву покинули те, кто мог уехать.
Теперь её покидали те, кто надеялся, что ещё может уйти.
Поток идущих по Петровке стремился в сторону центра, к Большому театру, Манежу, Кремлю.
Никто не улыбался. Люди словно не видели друг друга, смотрели сквозь тех, кто шел рядом и впереди.
Никто не помогал ни старикам, ни матерям с детьми на руках.
Люди не разговаривали между собой.
А если какие-то слова и произносились, то звучали коротко и резко.
Или выползали из-за сжатых зубов, словно змеиное шипение.
У кого-то выскользнула из рук и упала на мостовую бутылочка с детским молочком.
Толик рванулся, чтобы поднять её, но его толкнули так, что он едва не упал.
И бутылочка хрупнула под чьей-то ногой.
Синий троллейбус с веером трещин на лобовом стекле стоял, уткнувшись в стену Высокопетровского монастыря на самом углу Крапивенского переулка.
Его «рога» – троллейбусные мачты – торчали вертикально вверх.
Верёвки, которыми водители притягивали мачты, чтоб зацепить их за крюки на крыше, свисали вниз тяжело и обречённо.
Фары, выступавшие вперёд двумя цилиндриками, были выбиты, двери – открыты.
На ступеньке задней двери сидел Коля, безвредный сумасшедший из Петровских линий. За тонкий голос Колю звали Бубенчиком.
На колиной голове была мятая командирская фуражка с синим верхом и красной эмалевой звёздочкой.
Бубенчик козырял всем идущим мимо и повторял, радостно улыбаясь:
- *Давай! За Сталина! Заебись... За Сталина! Давай! Заебись...*
У Колиных ног лежал мешок, в котором что-то тихо шевелилось.
Голубь или кролик.
Не кошка.
Кошка бы мяукала.

И кошек тогда ещё не ели.

А те, кто не уходил – избавлялись от всего, что могло рассказать об их приверженности власти, которая, казалось, должна была исчезнуть уже завтра.

Из окон летели вниз портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Тёмнокрасные и тёмносиние тома их сочинений грохались на мостовые тяжело и грозно, словно обещая вернуться и снова учить всех уму-разуму.

Белесые обломки бюстов вождей торчали из холодной слякоти, как неровные зубы поверженных драконов.

Равиль разжёл костер у помойки и свозил к нему выброшенные тома и портреты на тачке. Он, по-видимому, решил, что, придут немцы или не придут, а в его дворе должен быть порядок.

Прямой, высокий, в отглаженных как всегда брюках, Юрий Петрович ходил по квартирам, собирал профбилеты и служебные удостоверения с фотографиями жильцов и складывал их в брезентовый портфель.

Замок портфеля был, наверное, сломан, потому что Юрий Петрович носил портфель подмышкой вплоть до его сожжения на костре.

Мама связала бечёвкой папины журналы «Большевик» и велела мне бросить их в огонь. Я отнёс и бросил.

Постулаты марксизма-ленинизма воняли жжёным клеем и сильно дымили. Обугленные останки обещаний коммунального счастья кружились в потоке горячего воздуха и, где-то на уровне третьего этажа, выскальзывали из него.

И медленно опускались по изменчивым, изломанным траекториям.

И ложились на осевший снег, словно чёрная шелуха, слетевшая со странных прямоугольных луковиц.

Когда-то определявших судьбы, а теперь – сжигаемых торопливо, с брезгливостью, как сжигают заразную падаль.

Между осенью 1941-го и осенью 2016-го, когда были написаны эти воспоминания – семьдесят пять лет. Вожди приходили и правили, народ "в едином порыве" одобрял их указы и носил их портреты на демонстрациях.

А после демонстраций старался ухватить бутерброды с московской твёрдокопченной, которые, как и кофе – содержимое нескольких банок консервов «Кофе с молоком», разведённое водой и согретое в больших алюминиевых кастрюлях – продавались в "ограниченных количествах"

рядом с местами, куда должны были быть отнесены уже ненужные портреты.

И народ уныло и привычно матерился.

И когда ему не доставалось "ограниченных" бутербродов, и вообще.

И в истинно едином порыве – в дни получек.

А когда очередной вождь и его команда исчезали, свергнутые теми, кто лизал главный кремлёвский зад всех истовее, народу сообщалось – со всей большевистской принципиальностью – что он, народ, клялся в любви и преданности не тому, кому надо.

И всё шло, как шло.

И лица на портретах, схожие неживой, отретушированной гладкостью, мелькали и сменялись, как странная метель, не пускавшая в страну никакую другую погоду.

Но одно лицо – не сменялось.

Лицо того, кто, как подсчитали историки, убил больше коммунистов, чем Гитлер

Кто выдал гестапо немецких антифашистов, бежавших в СССР, надеясь спастись.

Кто писал "Расстрелять всех" на бесконечных списках оболганных доносчиками граждан.

Кто стал причиной гибели миллионов преступно "израсходованных" красноармейцев. Кто отправил вернувшихся из немецкого плена в лагерь, "на проверку". И кто приказал вывезти с глаз долой, на Валаам, в Соловки и в другие заброшенные, заросшие бурьяном монастыри тысячи и тысячи "обрубков" и "самоваров" – безногих и безруких инвалидов Великой войны.

Инвалидов собирали на улицах, в поездах, на рынках. Везде, где они просили милостыню, чтобы выжить.

Везде, где они портили победную картинку.

К эшелонам их свозили в открытых кузовах грузовиков. Навалом.

И, под надзором патрулей с собаками, новобранцы – почти всегда почему-то плохо говорящие по-русски казахи, буряты или узбеки – забрасывали их в теплушки, как мешки с картошкой. И медали с усадым профилем звенели высоко и печально, словно всплески горестного реквиема воинской храбрости и верности стране, предавшей своих героев.

Зимой 53-го в зоне вечной мерзлоты строились новые бараки.

Вождь готовился сослать и убивать ещё больше. Но был остановлен.

Нет, не прозревшими, наконец, гражданами.
Волей Божьей.

О том, что Сталин был готов взорвать Москву и москвичей в 41-м, люди моего поколения знают не от историков, не понаслышке.

И Толик, и Карен, и я, и наши мамы – мы все могли бы не пережить октябрь 41-го.

В Москве оставалось почти два с половиной миллиона жителей.

Из них – более полумиллиона детей. Сколько погибло бы в результате "сталинского" взрыва?

Сто тысяч? Двести? Пятьсот?

Миллион?

Как представить себе миллион смертей?

В декабре 2016-го семь десятков сибирских мужиков, не набрав даже на мутный первач, поддержали себя метиловым средством для мытья ванн и туалетов. И – ушли в мир иной. Миллион алкашей может исчезнуть – по семьдесят в день – за тридцать девять лет.

В том же декабре в Чёрное море упал российский самолет. Все, кто был на борту, – около ста человек – погибли. Чтобы убить миллион, такие самолёты должны падать двадцать семь лет подряд. Ежедневно.

Смерть сибиряков и авиакатастрофа наделали шума. Публиковались официальные сводки и «отмордерированные» комментарии, народ стал ещё настырнее требовать снижения цен на водку и выяснять, какими именно лайнерами обслуживаются авиарейсы – американскими боингами или отечественными тушками.

И в том же декабре 2016-го, в дни 75-летия спасения Москвы и москвичей от смертоносного взрыва и немецкой оккупации, СМИ не упомянули предательство, панику и бегство – трагедию московского октября 41-го.

И народ-богоносец не возмутился и не потребовал упомянуть.

Яков Ратманский

Кливленд, США



Семочка, не возвращайтесь!

Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается

Обычно в конце учебного года в школах начинался ремонт помещений силами старшеклассников. Какая сила – такой и ремонт. Это называлось практикой. В мастерских, где проводились уроки труда, верстаки застилала газетами с несвежими новостями, которые предусмотрительная библиотека копила специально для того, чтобы не пачкать инвентарь при побелке. Поверхность верстаков сверкала всякими «Правда»-ми: комсомольскими, пионерскими, кремлевскими. Яркие заголовки сами бросались в глаза, и я машинально задерживался на секунду, чтобы посмотреть, что же такое интересное не дочитал. А недочитывал я все, потому что питал отвращение к этим средствам массовой дезинформации. И вдруг перед глазами мелькнуло знакомое слово. Конечно, мне все русские слова хорошо знакомы, но это было что-то очень близкое. И я сделал шаг назад, скользя глазами по этим «правдам», и нашел: Розенфельд. Кроме того, что необычное словосочетание резко выделялось на фоне русского текста, Розенфельд еще был моим приятелем, и втайне от него я мучал эту фамилию, пытаясь написать о нем рассказ.

Я впился глазами в коротенькую заметку – слава Богу, она не начиналась словами «из зала суда». Там сообщалось, что в Иерусалиме, в квартире Дова Фрайберга (если правильно запомнил имя), произошло радостное событие: автор встретился с Семеном Розенфельдом, с которым они вместе бежали из концлагеря Собибор.

Меня будто током ударило: наша комсомольская газета пишет о радостной встрече в Израиле? Не может быть! – стучало сердце, – что-то здесь не так. Я мысленно уже сочинял текст другой заметки: «Дорогие граждане! У нас в стране произошло несчастье: навсегда уехал прекрасный человек, защищавший нас от фашизма, отдавший свои силы на восстановление разрушенных городов, на благо нашей Родины. Уехал не самый худший гражданин и с каждым таким отъездом мы становимся все беднее и беднее. Граждане! Остановите это падение в пропасть! Крикните во всю мощь вашей грудной клетки: Семочка! Вернитесь! Вы так нужны нам...»



Но в подтексте заметки явно слышится другое, что, мол, это у нас случилась радость: уехал какой-то Розенфельд, туда ему и дорога. Зато теперь будет очень хорошо, чтоб он там провалился.

Я уже ни о чем не мог думать, как только об этом совершенно чужом мне человеке с прекрасной, на мой взгляд, фамилией. Его судьба несомненно переплелась с судьбами многих людей, оказавшихся в немецком плену. Наверное, штрафбат, наверное, Сибирь. Может, надевал иногда ордена и медали на парадный костюм, а может, и нет. В плену ведь был вражеском предатель Розенфельд. Не уехал в первую волну эмиграции, не мог бросить на произвол судьбы эту землю, цеплялся за нее мертвой хваткой. Сколько и чего должен накопить человек, отдавший этой стране здоровье, силы, чтобы на старости лет бросить все и ринуться в неизвестность, окунуться в чужую, непонятную жизнь.

Я понимал, что обязательно попытаюсь хоть что-нибудь разузнать о судьбе этого человека и представьте, нашел совершенно уникальный документ: рукопись Александра Печерского, организатора восстания в Собиборе. Это правда: кто хочет, тот найдет, а кто очень хочет – тем более. Там описано подробно все, что произошло в лагере 14 октября 1943 года. Сегодня это уже можно прочесть в интернете. Он даже написал о дальнейшей судьбе некоторых спасшихся после побега, которых удалось разыскать после войны, чего я в интернете не нашел.

Семен был ранен в ногу. Его, истекающего кровью, взяли в плен. Придя в сознание, он понял, что смерть неизбежна. А пока, оторвав кусок ткани от рубашки, он перетянул ногу – единственное лечение, которое мог сделать. Как ни странно, его не убили и нога начала заживать. Молодой организм хотел жить – 20 лет парню тогда было. Потом он участвовал в восстании, остался цел, долго скитался по лесу в поисках своих, голыми руками рыл землянки, питался гнильем. В итоге, встретил наших, дошел до Берлина и на стене Рейхстага оставил надпись: «Барановичи-Собибор-Берлин». В каком городе он жил после войны, я не помню: меня поджимало время – я тоже покидал родину. Американский Кливленд встретил нас холодной погодой. Все вокруг чужое, незнакомое. Одна тоненькая русская газета, родное русское слово среди сплошной английской речи. Она не называлась «Правдой», что само по себе вызывало доверие. «Ритмы Кливленда» торжественно сообщала, что русская община есть и живет полноценной жизнью. Нам уже деваться некуда: нужно вливаться в это бурное течение и осваивать новые американские ритмы.

Наши праздники здесь никто не отменял. На Новый год мы зажгли свою первую елочку, брызнули шампанским. Американские елки, наряженные по-царски, сверкали огнями на морозе, встречая Christmas, и перемигивались через оконные стекла с нашими малютками, спрятавшимися от холода в уголке апартаментов, не понимая, за что им достались такие привилегии. В феврале поздравляли мужчин, в марте – женщин. Охотно подключились к местным традициям: Mother Day, Father Day, Thanksgiving, отмечали еврейские и все другие – любовь к праздникам мы привезли с собой. Не нарушать же хорошие традиции в конце концов!

На праздник Победы, который состоялся в самом большом Party Center Кливленда, были приглашены все ветераны, а также представители городской администрации. Мы не думали, что здесь, в Америке, наши граждане вместе с американцами будут чествовать ветеранов войны, освободивших Европу от фашизма. Ветеранам устроили такой праздник, какой они заслужили. Сверкали боевые награды, которые не отобрали на таможне, звучали торжественные речи

на двух языках. Слезы радости, поцелуи, подарки, цветы, пожелания здоровья и долгой, счастливой жизни... Маленькая русская газета при всем желании не могла вместить поток информации о чувствовании русских (еврейских) ветеранов. На первой странице красовался портрет Якова Галеса при орденах и медалях, описывались его заслуги перед той страной и подвиги, которые он совершал во имя победы. Имя мне ни о чем не говорило, я никогда не видел этого человека, но было очень тепло на душе от одной только мысли, что, может быть, в Израиле точно так же чувствуют Семена Розенфельда.

Я залез в интернет и нашел только скудную информацию, что Александр Печерский, руководитель и организатор восстания, после войны был арестован как предатель, но отпущен, так как за границей уже знали его имя. Работал администратором театра музкомедии в Ростове-на-Дону, потом уволен в связи с делом врачей и больше пяти лет не мог найти работу. Научился вязать варежки и продавал их на рынке. Другого дохода он не имел. Пенсию не заслужил. Был приглашен в Польшу на открытие памятника жертвам Холокоста в Собиборе, но его не пустили. Обиду проглотил молча. Никуда не уехал, жил тихой жизнью и тихо умер 1990 году. Его именем названа улица, но... в израильском городе Цфат.

Только теперь, по прошествии многих лет, здесь, в Америке, я начал понимать, что было написано в той маленькой заметке: в Иерусалиме, в квартире Дова Фрайберга, произошло радостное событие... И если бы я сейчас встретил того Семена Розенфельда, то прошептал бы: «Семочка, не возвращайтесь...»

Яков Лотовский

Филадельфия, США



Жизнь прекрасна! К 20-летию выхода на экран фильма Роберто Бенини «Жизнь прекрасна»

«Когда Троцкий в своём мексиканском ранчо писал эту же фразу на бумаге, на его затылок обрушился ледоруб Рамона Меркадера, посланного Сталиным, чтобы убрать своего политического противника». Так начиналась моя статья, напечатанная в газете «Новое русское слово» (4.07.1997) в дни Оскаровского триумфа фильма «Жизнь прекрасна» (*La vita è bella*). Сейчас лишь добавлю, что за этот «подвиг» спустя много лет Меркадер получил звание Героя Советского Союза. А соверши он свое злодеяние нынче, стал бы еще и депутатом Госдумы, как некоторые нынешние рыцари плаща и кинжала. Статья моя, как и сама картина, вызвала полемику об уместности комедийного подхода к столь трагической теме, как геноцид, Холокост. (Прошу простить за дальнейшее самоцитирование).

Можно лишь предполагать, что автор одноименного фильма итальянский комик Роберто Бенини (он же исполнитель главной роли) имел в виду именно острый всплеск жизнелюбия в момент гибели, каковое демонстрирует герой фильма «Жизнь прекрасна» итальянский еврей Гвидо даже в условиях фашистского концлагеря, куда согнаны итальянские евреи под нажимом немецких нацистов. Герой не теряет присутствия духа даже перед лицом газовых камер. Более того, делает всё, чтобы превратить происходящее в увлекательную и рискованную игру перед глазами своего 4-летнего сынишки, попавшего в концлагерь вместе с отцом и матерью (она нееврейка, но добилась права присоединиться к семье).

1939 год. Италия во власти фашизма, который, в отличие от такового в Германии, носит фарсовый, опереточный характер, но всё же с жестоким и пока не остро выявленным расовым оскалом. Главный герой Гвидо со своим приятелем прибывают из глуши в город Ареццо на поиски счастья. Гвидо, нашедший работу официанта, влюбляется в аристократку Дору, которая уже обручена с местным лидером фашистской организации, или скажем так: секретарём райкома партии. Следует каскад комических ситуаций и «гэгов» в духе Чарли Чаплина, в результате которых Гвидо обретает свою мечту: женится на итальянке Доре, которую он называет принчипесса, то есть «принцесса», имеет от неё славного сына и заводит книжную лавчонку.

Но вот настают совсем суровые времена, когда за решение «еврейского вопроса» власти берутся всерьёз.

Иной бы автор вторую, «концлагерную» часть фильма по напрашивающемуся контрасту облёк бы в мрачные тона. Но только не Роберто Бенини. Во второй части и открывается во всём развороте его трагикомический дар.



А ведь как легко и весело всё начинается! Когда говорят «смеяться до слёз» имеют в виду, что-то смешное донельзя. Бывает смех «сквозь невидимые миру слёзы» (Гоголь, Шолом-Алейхем). Здесь не тот случай. Здесь смеёшься и рыдаешь одновременно. Экран бьет как из двустволки. И этот двойной заряд, который в тебя всаживают, эта «гремучая смесь» противоположных эмоций, которую в тебя вливает авторская фантазия (а это чистая фантазия, мало общего имеющая с подлинной правдой тех

горьких лет), прямо рвёт душу в клочья, а тело сотрясает от смеха и рыданий вместе.

Гвидо погибает, сделав всё для спасения сына и жены. Автор и здесь, не желая расстраивать зрителя зрелищем гибели полюбившегося героя, делает это за кадром. Но финал, тем не менее, мажорный.

Допускаю, что возможно разное отношение к такому способу показа главной трагедии двадцатого века. Конечно, и меня тоже точили сомнения после просмотра: как воспримут фильм новые поколения. И вполне можно понять хозяев американского кинопроката, пустивших его «малым экраном», и журнал «Time», посчитавший фильм вредным. Здесь, за океаном о Холокосте или не знают вовсе, или знают понаслышке. В Европе «Жизнь прекрасна» стяжала успех на большом и фестивальном экранах. Не забуду яркую церемонию вручения Оскара Роберто Бенини за лучший иностранный фильм. Церемония вышла не очень церемонной и очень веселой. На сцену для объявления победителя была приглашена итальянская звезда София Лорен. И, увидав в списке своего земляка, она поверх церемонных барьеров, с ликованием крикнула ему в зал с неповторимой сицилийской интонацией Роберт-о-0! И чудило-режиссер, совсем уж буквально поверх барьеров, устремился на сцену, шагая по спинкам кресел, над головами и поднятыми руками зрителей, которые радостно приветствовали эту его «бесцеремонность».

Если меня спросят, можно ли так игриво говорить на столь трагическую тему? Возможна ли, скажем, оперетта на тему геноцида? (А фильм сделан с опереточной условностью, не случайно в ходе действия герои попадают в театр, где дают Жака Оффенбаха). Я скажу – нет, нельзя. Потому что есть огромный риск исказить подлинность и масштаб трагедии перед лицом простодушных новых поколений. Но разве искусство когда-либо мирилось с запретами? Переступить черту может лишь истинный художник, понимающий всю меру ответственности, переживший тему вживе или в душе, обладающий безупречным чувством меры и, наконец, имеющий лично на это моральную санкцию. У Роберто Бенини она есть. Его отец был во время войны заключенным в немецком лагере, пережившем всю его жизнь.

И всё-таки я думаю, что фильм «Жизнь прекрасна» не столько о Холокосте, сколько о жизнелюбии. Это гимн еврейскому жизнелюбию. Гимн человеку и, если угодно, всему человечеству в его драматическом земном странствии. Это тот случай, когда людская трагедия, пропущенная сквозь призму истинного искусства, перерождается в «Божественную комедию». Великий земляк автора фильма, Данте Алигьери, не сомневался в своём праве так назвать свой шедевр, проведя своего героя сквозь все круги ада.

Итак, в 1997 году итальянский режиссёр Роберто Бенини снял фильм «Жизнь прекрасна» – о судьбе еврея, скрывающего своего 5-летнего сына в нацистском концлагере. По сюжету узник объясняет ребёнку – это игра. Следует избегать эсэсовцев, нельзя ныть, жаловаться и просить кушать – тогда он наберёт очки, и заработает приз – настоящий танк. Бенини получил три премии Оскар, прославившись на весь мир. Однако, считая свою историю вымышленной, режиссёр не догадывался, что почти такой же случай имел место на самом деле:

Листая старые газеты, я набрел на любопытный материал под названием МАЛЕНЬКИЙ ТАЛИСМАН БУХЕНВАЛЬДА, подписанный Георгием Зотовым (Газета «Еврейский мир» 01.19.2016.).

Журналист описывает удивительную историю, случившуюся в годы войны с нынешним жителем Нью-Йорка Яном Шляйфштайном, на долю которого вместе с родителями выпали такого же рода испытания, что и у героев фильма «Жизнь прекрасна. Они все оказались в еврейском гетто на территории оккупированной Польши. Впервые родителям пришлось спрятать мальчика, когда ему был всего годик от роду: узников гетто перевезли в Ченстохову в качестве рабов для фабрики вооружений HASAG. В первый же день эсэсовцы забрали всех детей как бесполезных для работы – малышей отослали в Освенцим. И в этом случае отцу пришлось все представить игрой ради спасения своего чада. Целый ряд злоключений и счастливых поворотов судьбы сохранили жизнь малышу Янеку.

И тут произошло реальное чудо: роттенфюрер СС, который подверг помещение обыску, наткнулся на тайник, где скрывался малыш. У эсэсовца был сын возраста Янека, и ему понравился обнаруженный мальчик. Роттенфюрер не стал докладывать коменданту о своей находке, а оставил ребёнка в бараке, назвав «талисманом Бухенвальда». Более того, распорядился сшить ему детскую лагерную робу. Маленького узника отныне вызывали на утреннюю поверку, чтобы он рапортовал в конце: «Все заключённые подсчитаны!» Однако, когда в барак являлись высокопоставленные офицеры СС, ребёнка снова помещали в тайник: все дети в Бухенвальде подлежали уничтожению. «Получается, на свете существует не только сказочное везение, но также и справедливость», – завершает статью Георгий Зотов.

Под конец лишь добавлю, что свою статью в «Новом Русском Слове» 20-летней давности, которая тогда называлась «Жизнь действительно прекрасна» я сейчас бы назвал так: «Жизнь таки да, хорошая вещь!» То есть приблизил бы к еврейской интонации. Потому что речь в ней идет об евреях. Ведь с них, как известно, все начинается и ими же кончается все на белом свете.

Ася Лapidус

Нью-Йорк, США



Памяти друга. Азарий Мессерер

Очень горько и тяжело – 21-го января 2017-го года не стало моего доброго друга и товарища – собрата по перу – Азария Мессерера. Не могу не написать о нем, хотя дружбе нашей не исполнилось и пяти лет.

Главное, о чем мне бы хотелось сказать, – он был на редкость музыкально одарен – не сочинительски-композиторским даром и даже не исполнительским – музыка была частью его самого – он ей служил без страха и упрека. Что бы ни делал, о чем бы ни писал – во все вносил он свою редкостную, врожденную – божьей милостью – музыкальность, которая жила в нем и являла собой его особый природный духовно-душевный склад. Разумеется, он писал о музыке и музыкантах, разумеется, он играл всегда и при всех обстоятельствах – не мог не играть – хотя ни в коем случае не претендовал на профессионализм. Он вообще был противоположен претензиям и претенциозности. Жизнь его прошла под знаком благородной скромности – никогда – никогда он не витийствовал. Бескорыстие, порядочность и доброта – все это по самой подлинной сути.

По доброте душевной Азарий познакомился и со мной – прочитал мой первый опус у Берковича – ему понравилось, вот он и разыскал меня через третьи руки, чтобы сказать мне об этом. Потом я узнала, что подобная отзывчивость была частью его натуры – ему был отпущен редкий талант участливого внимания, благородства и щедрости – не только душевной – а самой настоящей – когда и сережку из ушка – кстати, совсем не обязательно для милого дружка. Он был великодушен

всегда и во всем и по отношению – ко всем. Но это я узнала позже, а тогда – тогда для меня просто грянул гром среди ясного неба.

А дело было так – однажды моя подруга и одноклассница Дина позвонила из Бостона и попросила разрешения дать мой телефон человеку – профессиональному журналисту, который захотел со мной познакомиться, потому что обратил внимание на только что опубликованный мой рассказ. Понятное дело – я совершенно потерялась от счастья – еще бы – у меня случился не просто читатель – у меня появился поклонник, всерьез заинтересовавшийся моими достаточно непритязательными литературными опытами, да еще по фамилии Мессерер и по имени Азарий.

Надо сказать, происхождения Азарий был более чем именитого; не говоря о том, что мама его Раиса Владимировна Глезер была известным музыковедом самого высокого уровня, прославленная фамилия Мессерер у всех была на слуху. Помню, в незапамятные времена – возвращалась я от Туси Козловской – моя одноклассница Туся была



дочерью Ивана Семеновича Козловского и жила в доме Большого театра на улице Горького. Спускаясь по лестнице, я по-детски пересчитывала ступеньки – как вдруг совершеннейшим образом остолбенела – увидела на двери бронзовую овальную табличку, в ореоле имени показавшуюся мне магически-сказочно золотой – еще бы: Асаф Мессерер – гласила табличка. Я никогда не видела в танце самого гениального Асафа Мессерера – он ушел со сцены задолго до меня, – но волшебство его легенды было живым чудом, а хореография его навсегда осталась в балете неповторимо обновленной классикой. С Азарием связаны близким родством и другие блистательные имена – незабываемая

Суламифь Мессерер, королева балета Майя Плисецкая... И тут я вспомнила, что я знакома с Азарием.

Было это много – много лет назад, по приезде в Нью-Йорк, – год тогда шел 1981-ый, – а означенное место звалось – Jewish community center. Уже с порога мы с мамой поняли, что центр этот не про нашу честь: совершенно необъяснимо почему, но нас там встретили в штыки. У меня были какие-то вопросы, но никто на них не только не отвечал – нас просто не хотели замечать и не замечали. Не солоно хлебавши, мы уже собрались уходить, но споткнулись о сочувствующий взгляд такой же, как мы, посетительницы – заметно, что неоднократно, но безусловно отличавшейся от остальных очевидной приветливостью. Мы тут же и познакомились. Я была настолько ошеломлена ее дружелюбием, что не могла от нее оторваться. Похоже, симпатия случилась обоюдной, и мы – с места в карьер – обменялись телефонами. У нас с мамой даже своего адреса еще не было – мы жили у родственницы и дали ее телефон – шли первые дни нашней эмиграции, зато Наташа, так звали мою новую знакомую, Наташа оказалась местным старожилом – прибыла Наташа в славный город на Гудзоне двумя годами раньше.

Через пару недель, когда я нашла работу и квартиру, – мы стали встречаться, не сказать, что часто, – обе были заняты выше головы – работали и за страх, и за совесть, да и домашних дел хватало – у Наташи маленький сын, у меня мама. Однажды – возможно, прошло уже больше года – она пригласила меня к гости. Приняла она меня как близкую подругу – мы были компатриотами – и ее неназойливое гостеприимство нашего московского разлива – стоило для меня многого.

Не успела она познакомить меня с сыном – худеньким тихим мальчиком – как вдруг скрипнула входная дверь, и в комнату вошел Азарий. Признаюсь, он не произвел на меня ни малейшего впечатления – я заметила только скромный шарф, щегольски обмотанный вокруг шеи. Провожая меня вниз, Наташа рассказала об Азарии, включая фамильную его родословную и недавнюю встречу с Майей Плисецкой – все это я, конечно, запомнила, но пижонски повязанный шарф запал в голову куда крепче – вечно дурацкие детали, не спросясь, лезут куда не надо.

Между тем, наша дружба с Наташей заглохла в житейской сумятице – мы обе переехали, телефоны наши изменились, и мы потеряли друг друга.

И вот теперь – через 30 лет – мне звонит Азарий, ставший Наташиным мужем, о чем я тут же и вспомнила – звонит с тем, чтобы поздравить с писательским успехом. От авторского тщеславия тут же вскружилась голова, хотя, конечно, я тоже не лыком шита – сама профессиональной читатель и знаю себе цену, но такого не слышала никогда ни от кого – и это незабываемо. Мы тут же договорились о встрече.

Разумеется, я сразу же позвонила Дине, той самой, которая зная Азария и меня, передала ему мой телефон – когда-то, еще до ее рождения, их отцы дружили – дружба эта оборвалась трагической гибелью отца Азария во время войны. И еще Дина вспомнила: в нашем с ней общем детстве жила она в доме, соседствующем все с тем же домом Большого театра на улице Горького. Играла себе во дворе – и вдруг – мимолетное видение: Майя Плисецкая и Суламифь Мессерер – изысканно-тонкие – балетные – в длинных шубах – идут, нет – летят ponad грязновато-снежной обыденностью – так и запомнились ослепительностью – картиной Шагала.

Когда я его увидела – никакого шарфа уже не заметила, тем не менее, на этот раз разглядела светлое лицо его и детски-открытый добрый взгляд голубых глаз и еще – застенчивую улыбку – ту самую, от которой хмурый день светлей и даже радуга смеется. Под аккомпанимент этой подкупающей застенчивости отправились мы в знаменитый заповедник нью-йоркской пиццы под Бруклинский мост – выбирай себе на вкус – Джулиана или Гримальди. Но очередь, состоящая из самого разборчивого и настойчивого люда туристического недогадливого племени, стояла там такая, что мы бросились вон, и не прогадали, осев в самой простецкой никому не известной общепитской пиццерии; зато по дороге подружились. Слегка выпив и ознакомившись, – договорились о новой встрече – у нас дома уже вчетвером с Наташей и Джоном. Наташа очень даже меня помнила – как и я ее – мы обе обрадовались возобновлению отношений, ну а Джона они расположили с первого взгляда, да и Джон им понравился тоже.

Они оба пенсионерствовали и зимою жили во Флориде, а летом иногда на даче в Поконосе или в нью-йоркской квартире. Когда они приезжали в Нью-Йорк, мы обязательно старались повидаться, а уж по телефону-скайпу общались постоянно. Наши встречи вчетвером были не просто приятным времяпрепровождением – это была дружба со всею сердечностью, и – что довольно редко случается в эмиграции, особенно в известном возрасте – во многом мы были единомышленниками.

С Азарием нас связывало, в первую очередь, писательство, к которому мы оба относились со всею серьезностью. Кстати, это я подучила его послать рукопись Берковичу, у которого и сама публиковалась – не сказать, что давно, но с известным постоянством. Больше всего он печатался в «Чайке». Не могу не привести ссылку на его статьи в Чайке.¹⁴ Читайте: все, что писал он, – не просто интересно, это еще и серьезное и познавательное чтение. Ему было, *что* сказать –

¹⁴ <https://www.chayka.org/authors/azariy-messerer>

журналистские интересы его были более, чем обширны, да и жизнь сводила его с самыми выдающимися людьми нашего времени – от Бенджамина Бриттена до Иосифа Бродского, от Мстислава Ростроповича до Пола Скофилда.

С момента нашего знакомства Азарий всегда доверчиво присылал мне рукописи для просмотра и принимал любую критику – безоговорочно – скорее всего, по мягкости характера. У меня же принцип – показываю только опубликованное. Если угодно – по крайней мере, мне так кажется – слово я чувствую телом и душой – и оба они – и тело и душа – протестуют против постороннего вмешательства. Честно говоря, Азарика раздражали мои бесконечные тире, но я ни за что не сдавалась – и тире продолжались. Он-то, в отличие от меня, был всегда открыт для любых поправок и любых замечаний, с которыми неизменно считался – скромности он был самой подлинной – причем отнюдь не паче гордости. Именитостью своей он совершенно не кичился – он этого просто не умел и не понимал. И успехи свои замалчивал – будто стеснялся. А вообще-то он был молодцом – поступил в Нью-Йоркский университет в аспирантуру и защитил диссертацию в возрасте далеко не юношеском. И учеба, и диссертация давались не просто – он ведь работал на всю катушку. Обо всем об этом мне рассказала Наташа – сам-то он о своих достижениях-успехах и словом не обмолвился.

Преподавал и писал он на обоих языках – явление в нашей эмиграции не сказать что частое.

Писал постоянно – чуть ли не до самого конца. Его последние публикации – в июньском номере «Семи искусств» и «Чайки».

Совсем недавно он опубликовал сборник очерков. «Я разговариваю с ними» – называется эта книжка. Я ее пока не видела – не успел он мне ее переслать...

И еще – музыка оставалась с ним до последнего дня: он играл – не прекращал играть – обязательно играл...

Михаил Синельников

Москва, Россия



Памяти Евгения Евтушенко

В Переделкине, в галерее живописи и фотоснимков, переданной по завещанию Е.А. Евтушенко государству и ставшей музеем, я участвовал в чтениях, посвященных памяти поэта. Вдохнув воздух отчетливо (как раз после ухода Е.А.) наступившей новой эпохи, я задержался в помещении ненадолго (откровенно говоря, еще и потому, что в собрании заметил несколько малоприятных мне лиц, принадлежавших некоторым сотоварищам по перу, готовым к выступлению).

И ушел сразу после своей речи. Говорил же я вторым, после поделившегося обширными воспоминаниями В.Н. Мощенко, более чем полувековой давности знакомого Евгения Александровича.

В своем, быть может, несколько хаотичном выступлении, я не мог не отдать некоторой дани личному; все же ведь и мои воспоминания очень давние, я знал Евгения Александровича в разных и многочисленных ситуациях, нередко с ним разговаривал и переписывался. И я люблю его. Высоко ценю и его отзывчивость и отходчивость, его неиссякавшее добротолубие, выраженное в тысячах поступков, помню, что премногим ему обязан и осознаю масштабы общей потери. Ну да, и я привел некоторые памятные эпизоды, относящиеся и к тбилиским и к здешним обстоятельствам.

Однако, я решил последовать пожеланию председателя собрания С.Е. Нещеретова (внука поэта-акмеиста Михаила Зенкевича, этого русского Леконта де Лиля, которого из встреченных в жизни поэтов считаю своим действительным учителем). Пожелание же это предполагало разговор по существу – о свойствах поэтики Евтушенко, о его месте в нашей поэзии.

Тут я коснулся таких тем, как история русской рифмы, как очертания стихотворения (существует буддийский взгляд на стихотворение, предполагающий, что оно состоит из видимой и невидимой части...не буду развивать здесь эту (лекционную у меня) тему, но хочу уточнить, что некоторые длинноты в стихах Евтушенко кажутся мне попытками сколько-нибудь выявить и скрытую часть. (В случаях удачи и эти строки брали за живое...). Сказал о реальных учителях Евтушенко от Некрасова до Глазкова. Между прочим, стихотворное вступление к поэме «Братская ГЭС» (не вдаюсь в ее достоинства и свойства) состоит из обращений к поэтам-учителям, но не назван Волошин, у коего заимствована сама идея поэмы, состоящей из отдельных стихотворений...

Сказал я решительно и о том, что из всего поколения, именуемого «евтушенковским», лишь сам Евтушенко кажется мне подлинным и долговечным автором. Потому, что и самые талантливые из прочих были наделены лишь замечательными частными дарованиями (тот острым глазом и метафоричностью мышления; та чистым (беспримесным, ввиду полного отсутствия содержания) мелосом).

Но только Евтушенко из них имел внутренний двигатель, которому я не могу найти иного функционального названия, как Любовь. Его интерес к людям был неподделен, его движение к сердцам



Евгений Евтушенко. Фото Геннадия Крочика

непрестанным, до последнего дня жизни. А чей-то лакированный лимузин десятилетиями простоял без мотора.

Я отметил и удачу Евтушенко в прозе. Его рассказ «Катаев в Париже», как-то потерявшийся, кажется мне написанным на уровне самого Катаева, а это высокий уровень.

Нельзя было не сказать о его чудовищной памяти и любви к чужим стихам, ухватывавшимся слёту...

Я не буду здесь пересказывать своей импровизированно-сбивчивой речи, да и не нужно (впрочем, все выступления записывались на киноплёнку, очевидно, для сведения отсутствовавшей супруги поэта... Мои воспоминания о свадьбе Евгения Александровича и Маши, некогда состоявшейся в том же Переделкине, незабываемы). Но по ходу цепляющихся одно за другое высказываний я в пылу позабыл о просьбе председателя сказать нечто об одном свойстве Евгения Александровича – о его редкостном многописании. Как я угадываю, эта просьба была обращена именно ко мне (Сергей Евгеньевич, знающий, что в последние годы я издал ряд обширных стихотворных сборников, сплошь состоящих из новых стихов (и «многописание», далеко не во все времена для меня характерное, продолжается) захотел послушать мнение «специалиста»).

Вот что я хотел бы вкратце сказать на эту тему.

Редко и большие поэты, начавшие с первоначальных удач, уже закрепивших их положение в литературе, вдруг словно бы сбиваются с пути, теряют ритм, ощущают, что оборвана выводящая на свет звуковая нить (подобная нити Ариадны – скажу так, хотя и хотелось бы тут обойтись без мифологии, но она столь выразительна). Здесь благородно остановиться и замолчать...

Но, когда велик данный природой запал, когда далеко не иссяк запас сил и невозможно оторвать свою жизнь и судьбу от жизни поэтического слова, и начинается многописание. В надежде, что однажды вновь заработает «автопилот», возвращающий на верную дорогу... Что касается Евтушенко...

Конечно, тот корпус стихов, который нам особенно дорог у него, создан за несколько юношеских его лет. Дальше последовало отдаление от лирики по существу и возникли стихотворения, не столько относящиеся к сфере собственно искусства, сколько принявшие на себя социальные функции. Это были стихотворения-поступки. Необходимые данному обществу. Но иногда затянутый лавиной Евтушенко внезапно вновь поворачивал к поэзии по существу. И тогда (как, например, в случае со стихотворением «А собственно кто ты такая...») возникало новое ощущение стихийной поэтической силы. Так при титаническом

движении одного замурованного в скалах гоголевского героя шевелились и вздрагивали Карпаты.

Я думаю, что Евтушенко не уставал надеяться. На то, что, хотя бы одно из пятидесяти, даже хоть одно из ста стихотворений, действительно удастся. Принимал такой счет!

Я тоже надеялся на его победу над судьбой. И доволен, что написал об этом в одной статье. Было отрадно, что при вручении ему (отсутствующему по болезни) премии «Поэт» (я сейчас не буду говорить, как я отношусь к самой этой премии и к ее лауреатам, но все же, по крайней мере, пять настоящих поэтов – Кушнер, Чухонцев, Рейн, Русаков и наконец Евтушенко – её получили и сочли возможным принять), прозвучали в записи его недавние стихи. Два стихотворения. И, по-моему, отличные.

Все дело в том, что его соперники и в своих триумфальных успехах не были поэтами. Евтушенко же и в своих многочисленных неудачах оставался крупным, окрасившим в свои тона целую эпоху поэтом.

Часть 2

Америка, Россия и мир



Элеонора Мандалян

Лос-Анджелес



Америка глазами россиянина. Мое первое знакомство с Америкой

В Штаты впервые я приехала на лечение в 1988 году – в надежде избежать операции, которую мне настойчиво рекомендовали в Союзе. Жена знакомого мужа (Марго), собиравшаяся со взрослой дочерью (Рубиной) в Лос-Анджелес, к своей давней подруге, предложила мне поехать с ней, заверив, что если где-то мне и могут помочь, так только в Америке. Ее заокеанская подруга, Люся Варамян, в то время находилась в Ереване – нас познакомили. И, как это не удивительно, она согласилась принять меня и оказать содействие. Правда, муж, в порядке благодарности, пообещал решить ее проблему – ее жениха не выпускали из Союза.

Подготовка к отъезду (вернее – получение разрешения) заняла несколько месяцев. Прибыли мы сначала в Сан-Франциско, к родному брату Марго, державшему в даунтауне магазин мужской одежды. Погостили дня три (я – в качестве бесплатного приложения), а оттуда уже самолетом в Лос-Анджелес.

Люся оказалась редкой души человеком, и через короткое время я уже чувствовала себя у нее, как у самых близких родных, искренне полюбив ее самую и всю ее семью: младшую сестру Анаиду, мужа сестры Пола, их мать – тетю Грантуи, отца – дядю Жано, и бабушку – Люсю Старшую. Выросшая в Москве, в чисто русской среде, я привыкла к сдержанной холодности окружающих, а зачастую – и к хмурой

неприветливости. Отношение этих людей, для которых я была совершенно чужим человеком, свалившимся со своими проблемами им на головы, стало для меня откровением.

Семья Варакян – болгарские армяне, переехавшие в свое время в Армению, где Люся и Анаида получили высшее образование. Люся стала врачом, Анаида экономистом, а их отец работал на обувной фабрике мастером цеха. В конце 70-х, в самый разгар гражданской войны и сирийской оккупации в Ливане, они выехали из Армении в Бейрут, а оттуда уже эмигрировали в США, осев в Лос-Анджелесе. Отец снова занялся пошивом модельной обуви, а Люсе пришлось заново учиться на врача, чтобы подтвердить свою квалификацию. Это были тяжелые для них в финансовом отношении годы.

Получив долгожданный лиценс, Люся стала весьма успешным и известным в среде эмигрантов-соотечественников семейным врачом (family doctor) с обширной клиентурой. А Анаида совсем неплохо зарабатывала, устроившись в крупную Голливудскую компанию по распределению гонораров и отчислений от проката фильмов.

Отца разбил инсульт, так что в семье теперь уже было, вместе с Грантуи и бабушкой – старенькой, но с очень крутым характером, три пенсионера. Анаида вышла замуж, и хоть жила с Полом отдельно, они продолжали оставаться единой семьей, проводя все свободное время вместе. Весь дом по-прежнему держался на Люсе – в финансовом отношении. А во всем остальном – на Грантуи.

Круг общения у них был преобширный – двери их дома не закрывались. Друзья заходили без предупреждения в любое время дня, и тут же накрывался стол. К тому же у них постоянно кто-нибудь гостил из Еревана. На сей раз – Марго с Рубиной и я. Не забывала Люся и о благотворительности. Когда в Армении случилось это страшное Спитакское землетрясение, она открыла в Лос-Анджелесе благотворительный фонд и сама возглавила его.

Так что творить добрые дела – я имею в виду себя – для нее было не впервой. Уже позднее, задним числом я многое поняла и переосмыслила. А тогда мои советские мозги лишали меня возможности адекватно воспринимать элементарные вещи. Я не понимала, например, что отвозя меня раз в неделю на прием к врачу на другой конец города, Люся пропускает собственную работу, отменяет прием больных, а следовательно терпит убытки. Я не понимала, что каждый визит к врачу стоит денег, которые она, ничего мне не говоря, за меня платила.

Нет, конечно, не настолько уж я была несообразительной – я пыталась, как могла, быть благодарной за гостеприимство, в частности, заставив ее принять от меня в подарок пару драгоценностей, которые при мне были. (На таможне не очень ведь пускали что-то с собой провозить, особенно

украшения и деньги. Да и сейчас не пускают.) Но какое колечко может сравниться с широтой души и большим сердцем!

Люся, Ано и Пол возили нас по всем ближним достопримечательностям, по ресторанам, шоу, театрам, по каким-то невероятным «шаппинг моллам». Попала я в Америку в тот период, когда у нас в стране уже начинался жестокий дефицит. Поэтому бьющее в глаза изобилие казалось чем-то из ряда вон выходящим.

Один день мы провели на берегу океана – на зеленом газоне под пальмами. Широленные песчаные пляжи, в отличие от привычных черноморских, были абсолютно дикие – без топчанов и зонтиков, без ларьков и вышек спасателей. Как мне объяснили, в стране частников никто не захотел брать на себя ответственность за жизни людей в открытом океане. Отдыхавших на пляжах было немало. Они сидели или лежали – поодиночке, парами или группами, поджариваясь на солнце, но в воде почти никого не было. В жаркой Калифорнии, с ее круглогодичным летом, по прихоти Природы, не очень-то покупаешься в океане. Именно здесь к самому берегу подходят холодные течения, лишая океан его курортной привлекательности. Серфингисты не в счет. Им все нипочем.купаются калифорнийцы только в своих бассейнах.

Обедали мы в тот день в любопытном приморском ресторане. Любопытен он был тем, что у входа стояла большая бочка, полная жареного арахиса. Гости ресторана зачерпывали земляные орехи полными пригоршнями и грызли их, бросая шелуху прямо на пол, что вовсе не было проявлением бескультурья. В этом и заключалась фишка данного заведения – бесплатный арахис и право мусорить, сколько душе угодно. От скорлупок на полу образовался толстый ковер, приятно хрустывавший под ногами. Впрочем, грызть орехи можно было и на скалистом берегу, в ожидании своей очереди. Но в этом случае лакомиться в одиночку не получалось. Вас тут же атакывали чайки, ловко ловившие на лету подброшенный в воздух гостинец.

Сюрпризы ресторана орехами не ограничивались. У американцев, как известно, очень принято забирать с собой недоеденное – порции-то у них прямо-таки гигантские. Процедура эта стыдливо зовется doggy bag – «пакет для собак». Мол, не для себя забираю свои объедки, а для домашнего питомца. Обычно официант по требованию приносит пенопластовую коробочку – каждому свою, и сам скидывает туда с тарелок остатки еды. Когда Ано предложила мне попросить doggy bag, я наотрез отказалась. Но она настояла, заверив, что это «just for fan». Наши тарелки унесли на кухню, а потом появились официанты с большими лебедями в руках, искусно свернутыми из фольги золотистого цвета. Внутри каждого лебедя было упаковано то, что мы не доели.

В другой уикенд мы посетили Санта-Барбару. Город очень красивый и явно богатый, судя по внешнему виду частных домов. Может на меня он и не произвел бы особого впечатления, если бы не одноименная мыльная опера, действие которой здесь происходило. Телевизионная «Санта-Барбара», как каждый наверняка помнит, годами не сходила с российских телеэкранов. Серий этих, страшно подумать, было снято больше двух тысяч.



В японском ресторане в Лас-Вегасе

Бегло осмотрев курортный городок, мы отправились дальше – к туристической датской деревне Solvang, спрятанной довольно высоко в горах, среди живописных лугов, садов и виноградников. Ее домики-магазины, в чисто датском стиле, выглядят очень мило – сказочно-кукольно, как декорации. А пара внушительных мельниц «под старину» добавляет всей деревне особый шарм и колорит. Местные датчане здесь не живут, они только держат свои кафе, рестораны, магазинчики, в основном сувенирные, которые закрываются ровно в пять часов. Соответственно после пяти жизнь в Сольвенге замирает.

Вдоволь нагулявшись по магазинам и передохнув в кафе-мороженом, мы вернулись тем же путем, через горы, в Санта-Барбару и пообедали на пирсе, в знаменитом ресторане Moby Dick, построенном в честь романа и фильма о ките-убийце. Перекрытие пирса очень старое, собранное из массивных, квадратных в сечении, бревен, скрепленных железными скобами. Под колесами машины они весьма внушительно погромыхивают. В конце пирса устроились рыбаки с удочками. А в

нескольких шагах от них дежурят пеликаны, терпеливо ожидающие своего часа. Если рыбак вылавливает слишком мелкую рыбешку, он швыряет ее прямо в клюв-мешок одному из пеликанов.

На прогулочном пирсе, помимо его основной достопримечательности, «Моби Дика», есть и другие рестораны, а также – сувенирные магазины, игровые салоны и причал. Несколько лет назад там случился пожар и практически все сгорело, включая Moby Dick. Но очень быстро все было восстановлено в прежнем виде. (В Сольвенг и в Санта-Барбару мы по сей день довольно часто наведываемся, особенно, когда у нас гости.)

Побывали мы и в Немецкой деревне, запомнившейся мне чисто немецким меню в ресторане: сосиски, квашеная капуста и пиво; разнообразием керамических пивных кружек в сувенирных магазинах; и самими обитателями – немцами в национальной одежде прошлого века. Они сидели на длинных лавках, пили пиво, потом брались за руки и, ритмично раскачиваясь, горланили свои песни. Как оказалось, мы попали на какой-то их национальный праздник.

Выискивая места поинтереснее, Люся сводила нас в мексиканский ресторан, где у нашего столика играл и пел мексиканский квартет в красочных одеждах и огромных самбреро, и в тунисский ресторан с танцами живота, со столами в виде огромных бронзовых подносов, где официанты виртуозно разливали напитки из каких-то странных медных чайников с невероятно длинными и тонкими носиками.

В порядке знакомства с местной экзотикой (правильнее будет сказать – эротикой), меня сводили даже на шоу, где абсолютно голые девицы боролись друг с другом, валяясь в жидкой глине. Ну и так далее. Нас принимали у себя по очереди друзья Люси, накрывая по-восточному пышные столы. Благодаря ей, я даже побывала на эмигрантской свадьбе, с венчанием в церкви, и на похоронах, впервые увидев во всех подробностях здешний скорбный ритуал.

Хороший товарищ Люси, стоматолог, по собственной инициативе взялся привести в порядок мой рот – бесплатно, в качестве презента. А я не слишком тогда и поняла, что это значило в денежном эквиваленте. Ведь у нас-то все это было еще бесплатно.

Два-три дня мы провели в Лас-Вегасе, где я сполна прочувствовала, что такое «загнивающий Запад», как ярко он сияет и чем отличается от нашей советской действительности.

Один из ее друзей был настолько частым гостем в Лас-Вегасе, что ему давали бесплатные апартаменты «люкс», с бесплатными обедами в ресторанах и с бесплатным правом брать с собой гостей. (Мы как раз и были такими гостями.) Но не зря говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Симпатичный, неглупый, отец двух детей, имевший большие планы на жизнь, он стал таким неконтролируемым

игроком, что проиграл все свои сбережения, свой дом, оставшись практически на улице, и в конце концов – без семьи.

Вот такие негативные и позитивные истории открывали мне глаза на жизнь наших эмигрантов в капиталистическом мире. Тогда я еще не знала, что этот самый капиталистический мир уже стучится в железные ворота моей страны.

Все эти развлечения были лишь антуражем к основной цели моей поездки. В первые же дни Люся, жившая в Северном Голливуде, отвезла меня в Беверли Хиллс, к эндокринологу, эмигранту-еврею Борису Кацу, люто ненавидевшему все, что касалось Советского Союза (а значит, наверное, и таких пациентов, как я). Осмотрев меня, он принял решение испытать на мне метод, который они еще только пытались внедрить – напичкать щитовидку йодом, а потом ее целиком удалить. (Моя московская врач, эндокринолог и доктор наук, узнав об этом – увы, лишь после моего возвращения – начала кричать от возмущения, что делать этого было никак нельзя, что моя проблема была не в щитовидке, а в иммунном процессе и что лишать меня жизненно важного органа – преступлению подобно.)

На йодовую предатаку ушел целый месяц. Так совпало, что в день назначенной операции было полнолуние. Из эзотерической литературы я знала, что при полнолунии кровь не сворачивается, поэтому делать операции в этот день категорически не рекомендуется. Знала, но постеснялась сказать.

Операция, которая у нас в Союзе даже сложной не считается и занимает минут 40, длилась 7 часов. Меня чуть не отправили на тот свет. Никак не могли остановить кровь. А попутно повредили паращитовидные железы, из-за чего кальций в крови упал до критического минимума. Хирурга, который устроил все это, я после операции ни разу не видела. Он даже не зашел на меня посмотреть – американское «разделение труда». Ведь здесь в больницах все делают медсестры. А может, стыдно было?

О том, что со мной все пошло не так, говорил уже тот факт, что меня продержали в реанимации под круглосуточным наблюдением через мониторы 7 дней. (Это при том, что в Штатах даже после операции на открытом сердце выписывают на третий день.) Вернувшись к Люсе домой, я постоянно проваливалась в небытие, из которого меня насильно выводила ее бабушка – тормошила и заставляла проснуться.

Ухаживали за мной всей семьей. Люся делала уколы и ежедневно брала кровь на анализ. А тетя Грантуи готовила специально для меня насыщенные кальцием блюда, толкла в ступке яичную скорлупу, размачивала и очищала от кожуры миндальные орехи... Вот такими оказывается могут быть «абсолютно чужие люди».

Из-за дефицита кальция мне постоянно сводило мышцы. А когда я решилась, наконец, одна пройтись по улице, то уже через квартал вынуждена была сесть прямо на асфальт – отказали ноги. В какой-то момент бедная Люся была близка к панике. «Уезжай, умоляю, пока живая! Не заставляй меня заказывать цинковый гроб!», – очень мило пошутила она. Увы, уехать я не могла еще месяца два – доктор Кац не отпускал. И лишь когда опасность для жизни миновала, мне разрешено было вернуться. (Марго с дочерью, не дождавшись меня, отбыли раньше.)

В довершение ко всем «удовольствиям» однажды ночью я вскочила как ужаленная от того, что дом вдруг заходил ходуном. Услышав люсино: «Аман, еркрашарже!» («Ой, мамочки, землетрясение»), я кубарем скатилась с кровати, потом по лестнице со второго этажа – вниз, ударяясь от трясущегося дома о стены, и первая выскочила на улицу. Фонарь, висевший на цепи над крыльцом, бился о потолок, а в доме напротив из рамы вывалилось огромное витринное стекло и разбилось вдребезги.

Никакими коврижками не заманить бы меня обратно в дом – от животного, неконтролируемого страха я совсем потеряла голову. Но вернуться пришлось, хотя земля под ногами все еще дрожала. Бабушка Люси спустилась сверху сама. А вот дядя Жано после инсульта был частично парализован и с постели не вставал. Грантуи не могла оставить его одного дома. Так что мы с Люсей подняли дядю Жано, усадили в инвалидное кресло и выкатили на крыльцо.

Землетрясение, к счастью, было не самое сильное, около 6 баллов, но автошоки постоянно повторялись все последующие дни, до самого моего отъезда. Оказалось, что я патологическая трусиха. Может просто нервы и мое послеоперационное состояние были тому виной. А только я наотрез отказывалась возвращаться в дом и следующую ночь провела в саду, под большим развесистым фикусом. Люся, женщина мужественная, закалившая нервы еще в осадном Бейруте (где ездила за продуктами для всего их дома под перекрестным огнем и спала под пулями на балконе), выпила снотворное и легла в постель. Узнав наутро, где я провела ночь, она была в ужасе, объяснив, что вокруг полно черных, которые могли со мной сделать все что угодно.

Страх вселился в меня так прочно, что я уже ни о чем, кроме землетрясения, и думала не могла, мечтая лишь об одном – поскорее покинуть эту зыбкую и опасную землю. Я нервничала, если машина останавливалась под мостом автострады, боялась многоэтажных паркингов с их низкими бетонными перекрытиями, не хотела заходить в магазины. И даже уже в самолете мне казалось, что он слишком

медленно вырывается на взлетную полосу, что вот сейчас земля развернется под его шасси и поглотит нас вместе с крылатой машиной прежде, чем мы успеем взлететь. Это было похоже на паранойю.

Улетая, я была абсолютно уверена, что ни за что в жизни сюда больше не вернусь. И уж, тем более, не захочу здесь жить. Но прошел год, и я со старшим сыном снова прилетела в гости к Варакиянам, по их приглашению. А еще через несколько лет мы всей семьей перебрались навсегда в Лос-Анджелес. И, должна признаться, ни разу об этом не пожалели.

Вадим Массальский

Александрия, США



Нью-Йоркская графиня, или прыжок к Свободе

Тяжелый пятиместный «Шевроле флитлайнер» с советскими дипломатическими номерами раскачивался влево-вправо как шлюпка на морской волне. Того и гляди, перевернется. Но на самом деле с каждым новым усилием разгневанных фермеров автомобиль все глубже садился в разбитую после дождя колею. Окна машины были наглухо закрыты. Впереди, вцепившись в рулевое колесо, сидел перепуганный шофер, плотный мужчина лет сорока. На соседнем сиденье сотрудник охраны дипмиссии держал правую руку во внутреннем кармане плаща. Очевидно, что там был пистолет, который охранник пока не решался доставать, чтобы не спровоцировать на стрельбу, возможно, вооруженных фермеров.

Впрочем, это были не обычные американские фермеры, а разношёрстная толпа эмигрантов с Толстовской фермы в Вэлли Коттедже под Нью-Йорком. На подмогу к ним из кузницы бежал с топором худосочный, тщедушный профессор славистики Григорьев, а из кухни с большим разделочным ножом семенила грузная повариха Марфа.

- Бей им окна! – кричал профессор.

- Коли резину! – охала, переваливаясь с ноги на ногу, повариха.

Еще мгновение и начался бы самосуд. Но тут на крыльцо конторы вылетела графиня Толстая.

- А ну прекратить! – генеральским голосом скомандовала Александра Львовна.

Сбежав по ступенькам, она успела вырвать у профессора топор.

Тот взвизгнул, оправдываясь:

- Графиня, да вы посмотрите, что делается. Они же украли Касенкину! Они отправят ее прямо в ГУЛАГ!

- Прекратить немедленно! – снова приказала Толстая, пропустив слова профессора мимо ушей. – Марфуша-голубушка, а ну, дай-ка мне нож, от греха подальше.

Повариха нехотя повиновалась.

Собрав таким образом все холодное оружие, Толстая спокойно постучала в заднее – затонированное окно «Шевроле». Стекло опустилось. Александра Львовна увидела перепуганную, вжавшуюся в кресло Оксану Касенкину. Рядом с ней, сложив руки на груди, вальяжно сидел советский генконсул Яков Ломакин. Он был на удивление спокоен и даже улыбался.

На мгновение все вокруг замерли. И тогда графиня во всеуслышание обратилась к бывшей советской учительнице из школы Нью-Йоркского генконсульства:

- Госпожа Касенкина, понимаете ли вы, что, если вы уедете сейчас, я уже ничем не смогу вам помочь. Но если вы хотите остаться, машина не двинется с места. Я вызову полицию...

Касенкина потупила глаза. Лицо её было белым как мел. Волосы выбились из-под платка.

- Я хочу уехать. Я хочу вернуться на Родину, – тихо, но внятно произнесла она. – Это мой сознательный выбор...

Ломакин расплылся в довольной улыбке.

- Мисс Толстая, вы удовлетворены? А теперь будьте так любезны, уймите ваших головорезов. Пусть освободят проезд.

Оксана молча кивнула.

Графиня перекрестила ее, развернулась и пошла прочь. Все «головорезы» последовали за ней. Машина еще несколько минут буксовала, сдавая вперед-назад. Никто из фермеров, разумеется, не

собирался теперь вытаскивать её из грязи. А сами пассажиры «Шевроле» опасались покидать салон.

Когда наконец автомобиль выбрался из глубокой колеи и уехал, впечатав следы шин на влажной проселочной дороге, обитатели Вэлли Коттеджа окружили на крыльчке Александру Львовну и принялись наперебой возмущаться.

Больше всех витийствовал профессор Григорьев.

– А я ведь сразу разгадал, что Касенкина – сталинская шпионка. Она с самого начала вела себя подозрительно – по-советски. К нам её специально подослали.

– Да бросьте вы, Пал Палыч, – отмахнулась Александра Львовна, – что вы болтаете пустое.

– А вот и не пустое, уважаемая графиня. Вы-то не знаете, а я читал, что у них в НКВД даже спецотдел есть – отравителей. Поэтому она и на кухню работать попросилась.

– Ну, и кого она отравила? – возмутилась повариха Марфа. – Какая она шпионка?! Трусиха она. Испугалась, вот и запросилась домой! Сама себя в мышеловку загнала. Дура!

Александра Львовна кивнула:

– Бедная женщина! Свободы испугалась, неизвестности... А может, за семью сына, оставшегося в Москве? Чего теперь-то гадать...

Пошумев еще с полчаса и выпустив пар, фермеры разошлись. Стоял погожий августовский день и у каждого было невпроворот своих дел по хозяйству.

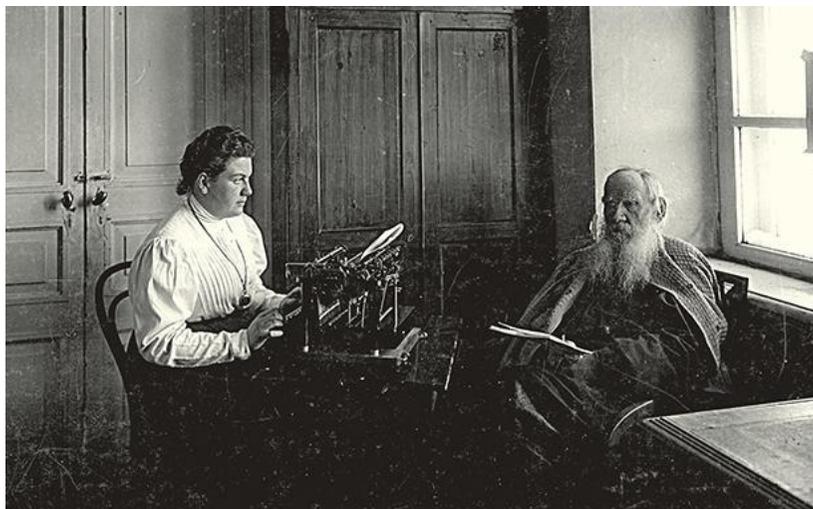
Александра Львовна Толстая, получившая 70 акров земли от американских благотворителей за символический 1 доллар еще в 1941-м году, была, как и ее великий отец, твёрдо убеждена в необходимости ежедневного тяжелого физического труда для всех и каждого. Эмигрантов-белоручек не терпела. Поблажек не давала никому. В том числе – и себе.

Вот и сейчас оставшуюся часть дня графиня провела за баранкой колесного минитрактора, руководя заготовкой дров в ближайшем урочище и развозя их по ферме. Никто из новых беженцев, которых за последний год приняла Толстовская ферма, так и не научился управляться с единственным, еще довоенным, «Фармоллом». С пароходов, приходивших в Нью-Йорк из Гавра, Гамбурга и Глазго, прибывали все больше профессиональные философы, политики, военные, а вот землепашцев, да механиков в этом сезоне еще не было.

Приехавший как-то в гости на роскошном «Линкольне» князь Голицын увидел графиню на тракторе в старой дырявой кофте, с неправильно застегнутыми пуговицами, и расхохотался.

– С вас бы, Сашенька, плакаты для советских колхозов писать.

Толстая сочла шутку неуместной:



Александра Львовна и Лев Николаевич Толстые

– Какие плакаты?! Лев Николаевич сам в Ясной за плугом ходил, когда никаких колхозов и в помине не было.

Старый князь виновато поспешил к ручке графини-трактористки. Александра Львовна протянула руку, но не для поцелуя, а для рукопожатия. Рука была крепкая, мозолистая – мужицкая. Голицын смутился: Сашенька и впрямь была живой копией своего отца.

Правда, в отличие от него, богато-благополучного барина, младшая, любимая дочь Толстого, бралась за любую черную работу ради куска хлеба насущного.

Еще перед войной, поселившись в штате Нью-Йорк на заброшенной ферме, она, работая до седьмого пота, долго приводила её в порядок: разводила кур, продавала яйца, доила коров... Изнурительный труд помогал ей не только выжить самой, но и приютить других бедствующих эмигрантов. Наконец он спасал от тоски и одиночества. Вот и сегодня, исколесив по округе десятки миль, Александра Львовна, совершенно вымоталась и вечером буквально рухнула в постель. События минувшего утра показалась ей уже бесконечно далекими и даже незначительными. И хотя сердце щемила тревога за эту бестолковую беглянку – Оксану Касенкину, Александра Львовна поняла и приняла, что вряд ли уже когда-либо услышит эту фамилию. Сталинский режим умел глубоко прятать такие конфузные для него истории.

Однако на рассвете, когда графиня уже пила чай и составляла ежедневный план полевых работ, на ферму в Вэлли Коттедж буквально влетел на своем автофургончике, подняв столб придорожной пыли, местный почтальон Августин Келеску. У Августина были румынские корни, и он немного говорил по-русски.

– Аларм, мисс Толстая! Советы делать провокация! – почтальон для убедительности развернул одну из нью-йоркских газет с кричащим заголовком:

«Советская учительница была украдена белогвардейцами! Русский консул провел срочную пресс-конференцию!»

В статье говорилось, что антикоммунисты насильно вывезли из города в глушь учительницу химии, преподававшую в школе при советской дипмиссии в Нью-Йорке, и держали женщину взаперти. Однако, по счастливой случайности, мисс Касенкиной удалось передать письмо в генконсульство СССР, которое и пришло ей на помощь...

Александра Львовна быстро пробежала по заголовкам утренних газет и засобиравшись в дорогу. Она решила лично попасть на прием к советскому генконсулу, а может и самой организовать встречу с прессой. Однако в это утро к ней самой пожаловали гости из Нью-Йорка. Это были два следователя сыскной полиции, которые с обезоруживающей вежливостью попросили уделить им несколько минут.

Александра Львовна пригласила гостей в свой кабинет, предложила чай-кофе. Однако они в один голос отказались и, сев за стол, с самым серьезным видом раскрыли свои блокноты.

Младший следователь, Фрэнк Флетчер, оказался совсем еще безусым мальчишкой, видимо, недавним выпускником колледжа. Старший – Дэниел Хук, напротив имевший пышные, хотя и поседевшие усы, выглядел почти ровесником Александры Львовны. Вид у него был усталый и несколько флегматичный, тогда как его молодой коллега заметно нервничал в обществе дочери всемирного известного писателя и свою робость пытался перебороть подчеркнутой официальностью. Он-то и начал разговор:

– Расскажите, мисс Толстая, как Оксана Касенкина попала к вам на ферму?

– Случайно. Ее привез из Нью-Йорка мой старый приятель, политический эмигрант Владимир Зензинов. Я до этого даже не была с ней знакома. Но она попросила помощи. Паспорт был при ней. Виза оказалась действительной еще на год. Обо всем этом, кстати, я сразу сообщила в местную полицию.

И тут графиня пересказала следователям историю, рассказанную ей уже Зензиновым и самой Касенкиной, о том, как два русских эмигранта,

Кастелло и Коржинский, познакомились с ней в Центральном парке, и эта уже немолодая женщина поведала им свою судьбу и призналась, что не хочет возвращаться в Советский Союз вместе со всеми учителями и учениками советской школы при консульстве, закрывающейся ввиду ухудшения отношений двух стран. После этого её новые знакомые предложили Оксане вернуться в дипмиссию, тайно собрать вещи, а на следующий день с их помощью бежать из города в «безопасное и тихое место». Таким местом и оказалась Толстовская ферма, где Касенкина, работая на кухне, и провела одну неделю.

– Ее поведение не показалось вам странным? – поинтересовался Фрэнк.

– Странным? – переспросила графиня, ненадолго задумавшись – Пожалуй, да. Впрочем, любой перебежчик, оказавшись на свободе, ведет себя странно.

Толстая вдруг вспомнила, как в 1929-м она сама стала невозвращенкой в СССР. Сначала не вернувшись из официальной командировки в Японию, а потом – перебравшись в США. Её поведение тогда тоже наверняка казалось странным для окружающих. Ночью она пугалась каждого шороха, а днем – каждого звонка в дверь. Ей не верилось, что за каждым её шагом никто не следит, не доносит, не требует отчета... Первое время она ходила по улицам, всё время оглядываясь. Ей везде мерещились ищейки ГПУ, готовые схватить её и отправить в советскую тюрьму, где, кстати, Александре Толстой уже довелось побывать вскоре после революции.

Старший следователь достал из кармана пачку «Честерфилда» и обратился к хозяйке:

– Мэм, вы разрешите мне закурить?

– Пожалуйста.

Дэниел неторопливо раскурил сигарету, глубоко затянулся, затягивая паузу. Чувствовалось, что ему было неприятно задавать следующий вопрос:

- Консул Ломакин утверждает, что советской гражданке Оксане Касенкиной сделали укол, чтобы сломить ее волю и «склонить ее к невозвращению на родину».

Толстая поморщилась:

– А что, есть такие уколы, после которых человек против своей воли возвращается домой, собирает вещи, а на следующее утро вызывает такси, чтобы бежать..?

Старший следователь посмотрел на собеседницу совиными немигающими глазами:

– Мисс Толстая, извините, но нам бы хотелось получить официальный ответ.

Графиня, подавив раздражение, пожала плечами:

– Официально я могу засвидетельствовать, что здесь, на ферме, *никаких* уколов *никто* ей не делал.

– Ломакин также заявляет, что Касенкина находилась у вас под сильным психологическим давлением, – продолжил Хук. – Ей, якобы, угрожали, её третировали... Фактически, по его словам, она содержалась под домашним арестом.

– Но при этом каждое утро она ходила за продуктами для кухни в соседний городок, – парировала графиня. – У нее были деньги, она могла не только отправить письмо в консульство, но и в любое время уехать сама.

– Это кто-то может подтвердить?

– Да, кто угодно. Спросите наших фермеров. А если не доверяете им, справьтесь в торговых лавках Найэка и Вэлли Коттеджа.

– Спасибо, мы так и сделаем – старший следователь быстро сделал пометки в блокноте.

Лицо Александры Львовны покраснело от возмущения. Ей вдруг стала омерзительна вся эта грязь, в которой её решили измазать и эти полицейские ищейки, и этот сталинский вельможа Ломакин, и больше всего эта сумасбродная Касенкина. В кабинете повисла гнетущая тишина, на которую с портрета на стене взирал пронизательными и чуть ироничными глазами Лев Николаевич Толстой. Его взгляд всё-таки внушал невольное почтение всем трем участникам разговора.

Старший следователь потушил сигарету, прокашлялся, встал и прошелся по кабинету.

– Мисс Толстая, я слышал о вашей благотворительной деятельности. И поверьте, у нас нет к вам претензий. Вы не нарушали закон. Но у нас есть большие сомнения в мисс Касенкиной...

Дэниел в упор посмотрел на графиню и почему-то перешел на полусшепот:

– Вы допускаете, что ее могли специально подослать к вам, учитывая специфику вашей работы?

– Подослать? Но с какой целью? Пересчитать цыплят в птичнике или телят в коровнике?

Хук улыбнулся, оценив ее шутку:

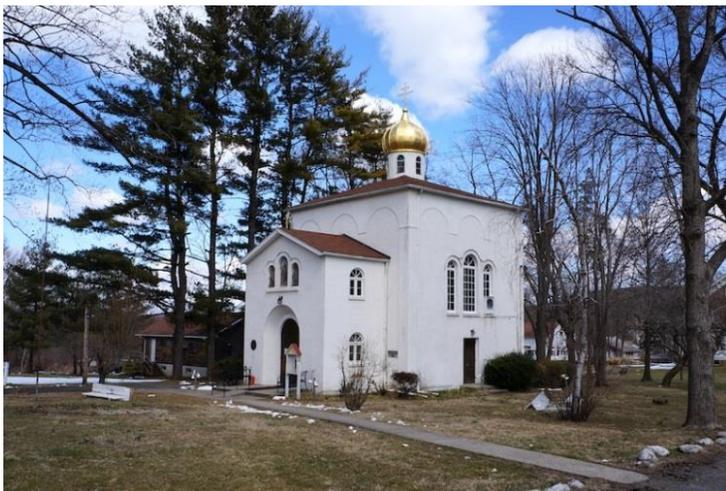
– Почему нет? А заодно пересчитать ваших птичников и пастухов – заклятых врагов сталинского режима. Может, за кем-то из них нужна особая слежка?

– Не знаю, за кем? – растерялась Александра Львовна.

– За вами, например? Вы человек известный.

Графиня пожала плечами, но внутренне согласилась. Действительно, сейчас, в 1948-м, она слыла человеком со связями. И не только в Америке.

Младшая дочь Толстого была на виду еще в Советской России, и когда стала комиссаром Ясной Поляны, и когда, по сути, бежала из СССР, заявив, что жить в сталинском рае уже невозможно и что «скоро там будут запрещать дышать». В Нью-Йорке она смогла создать фонд помощи беженцам, спонсорами которого стали Сикорский, Рахманинов, Бахметев и другие яркие деятели русской эмиграции. А почетным председателем фонда – сам экс-президент США Герберт Гувер.



Толстовская ферма. Церковь Сергия Радонежского. Фото:yanosha/ livejournal

Толстая вдруг почувствовала легкий озноб, будто на нее повеяло могильным холодом. Она посмотрела по сторонам, ища защиты. Хук решил, что немного перегнул палку.

– Впрочем, возможно, я ошибаюсь. И конгрессмен Карл Мундт, который сейчас требует, чтобы Касенкина была допрошена как свидетельница советской шпионской деятельности, думаю, после выборов в ноябре немного уgomонится... В конце концов, Касенкина цела и невредима и скоро, надо понимать, будет отправлена в Россию. А значит, эта история уйдет с первых полос газет.

Дэниел снова прошёлся по кабинету и остановился у книжного шкафа с полным собранием сочинений Льва Толстого.

– В общем, всё уляжется, если... если только не сработает *принцип* *Анны Карениной*.

Графиня и младший следователь с удивлением переглянулись, не понимая, куда клонит Дэниел Хук.

А рука Дэниела уже потянулась к одной из книг.

– Вы позволите, мэм?

Графиня кивнула.

Мужчина раскрыл увесистый том в кожаном переплётё.

– «Анна Каренина» была настольной книгой моей матери. И на все случаи жизни она могла цитировать её первые строки: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

– Что вы имеете в виду?

– А то, что каждый несчастливый человек – тоже несчастлив по-своему. Согласны?

Толстая снисходительно усмехнулась. Аналогия показалась ей несколько тривиальной.

– Следовательно, – продолжал размышлять вслух Дэниел, – если Касенкина не шпионка и не провокатор, а просто несчастный – психически нездоровый человек, она еще выкинет такую штуку, что всех нас удивит...

Александра Львовна повела бровью.

– Впрочем, этот принцип, объясняющий способность различных систем к адаптации, гораздо лучше работает в экономике, чем в криминалистике.

Дэниел извинительно улыбнулся за тяжелую тираду и протянул графине свою бизнес-карточку:

– Мисс Толстая, звоните мне в любое время, если вспомните какие-либо подробности.

Толстая кивнула и положила карточку в ящик рабочего стола, рядом с телефоном. Она достала её через пару дней, чтобы вспомнить фамилию следователя, когда Дэниел сам позвонил ей. Голос его был нарочито спокойным, из чего Александра Львовна сразу поняла: что-то случилось.

– Мисс Толстая, полчаса назад ваша бывшая подопечная пыталась покончить жизнь самоубийством, а может, снова решилась бежать... Пока не ясно.

– Где она?

– В госпитале Рузвельта, на Манхэттене. Состояние тяжелое. И нам очень нужна ваша помощь. Когда вы могли бы приехать в город?

– Еду прямо сейчас!

Через пять минут Александра Львовна была уже за рулем своего пикапа и мчалась по шоссе в Нью-Йорк.

А здесь уже всю шумела пресса, описывая совершенный Оксаной Касенкиной «Прыжок к Свободе». Версии озвучивались одна

фантастичнее другой. Доподлинно же было известно одно: Касенкина пыталась через окно консульства на 3-м этаже спуститься вниз, но поскользнулась и упала. С переломами рук и ног она, якобы по просьбе советской стороны, была доставлена в больницу.

– Пока к ней никого не пускают, в том числе советских дипломатов, – сказал Александре Львовне при встрече Дэниел. – Однако при первой возможности я обещаю помочь вам встретиться с ней. Вы с дороги, давайте перекусим – здесь рядом есть уютный ресторанчик.

Графиня не стала отказываться, хотя еще несколько дней назад она и представить не могла, что будет обедать на Манхэттене в обществе местного пинкертона.

Впрочем, Хук был необычным пинкертоном. Он был начитан, обходителен, наконец он, как и Толстая, оказался вегетарином.

– Знаете, – начал Дэниел, когда в ресторане им подали тушеные итальянские овощи. – В университете я ведь был ярким пацифистом. И даже возглавлял студенческий толстовский кружок. А после учебы подумывал присоединиться к «Лиге социальных реформ» Эрнеста Кросби.

Александра Львовна чуть не подавилась от удивления:

– Неужели того самого? Я ведь знала его.

– Да, того самого, который, съездив в Ясную Поляну, бросил карьеру в правительстве и стал горячим поклонником вашего отца.

Александра Львовна не могла поверить своим ушам.

– Я ведь даже мечтал построить у нас в Канзасе Толстовскую коммуну..., – не без самодовольства признался Хук.

– Но потом выбрали работу в полиции, – связвила графиня.

– Нет, не так сразу. Потом я женился...

Толстая с любопытством приготовилась слушать биографию американского сыщика. Но Дэниел, покончив с овощами, подвел черту:

– Дальше, все как обычно. Ведь все счастливые семьи похожи друг на друга, не правда ли?

Александра Львовна посмотрела на него выжидающе:

– Дэн, к чему вы снова клоните?

Прозорливость этой женщины внушала полицейскому уважение. Он аккуратно положил нож и вилку на пустую тарелку. Подбирая слова, несколько секунд тербил пальцами краешек салфетки.

– Тут появилась новая версия. Может быть, здесь замешана... несчастная любовь?

Толстая неуверенно пожала плечами.

– Как вы находите Якова Ломакина? – поспешил спросить следователь.

– Пожалуй, не слишком типичный советский чиновник. Вежлив, воспитан, выдержан. Впрочем, я видела его один раз.

– Вы не нашли его привлекательным?

– Я? Нет, – рассмеялась Александра Львовна.

– А Касенкина? Она не рассказывала вам о нём?

– Да, говорила, но неохотно и скорее – с обидой... Причем, один только раз.

– Зато сейчас, в бреду, она без конца повторяет его имя. Жалуются, что он не обращал на неё внимания, не хотел выслушать и понять...

Толстая снова пожала плечами. Ей не очень верилось в историю неразделенной любви. А Дэниел клонил именно к этому.

– Ну, вот смотрите. Рядовая учительница пишет лично главе дипмиссии, просит приехать за ней. И он приезжает. Лично! Может, они были в особых отношениях? Может, он боялся, что Касенкина что-то расскажет? Мало ли, чего ждать от одинокой, стареющей женщины...

Александра Львовна спрятала грустную улыбку в уголках глаз:

– Всё это домыслы. Я вот тоже одинокая, стареющая женщина...

Она вдруг вспомнила, как к ней еще давным-давно в Ясную Поляну через всю Россию пришёл человек, которого она, кажется, любила. Но она отправила его обратно: к семье и детям. Почему? «А я бы не смогла с этим жить...», – признавалась она близким людям.

Дэниел воспринял молчание собеседницы по-мужски прямолинейно:

– Извините, мисс Толстая, я не хотел вас обидеть.

Александра Львовна отмахнулась:

– Кто знает, может, это и неразделенная любовь... Но по мне, так это просто бабская блажь. Мне тут наши кухарки признались, что поссорились с Касенкиной незадолго до её отъезда – посуду не поделили. Довели до слёз, попрекая, что она «подсоветская». Вот и вся любовь, и вся политика.

– Это похоже на правду. Но кое-кто из наших больших боссов хочет сделать из этого политическое шоу. Представить Касенкину как завербованную любовницу дипломата, которую тот специально использовал в шпионских целях.

Александра Львовна резким движением отставила от себя чашку с чаем:

– По-моему, это чушь!

Дэниелу понравилась такая откровенная реакция:

– Я тоже не люблю фантазий, хотя и не отмечаю ни одну из версий. Но поверьте мне, мисс Толстая, я на стороне истины.

– А я на стороне милосердия.

– А разве они не рядом?

Толстая ничего не ответила и, заплатив за себя официанту, встала из-за стола.

Дэниел, расплатившись, последовал за ней. Проводя графиню до её машины, он еще раз пообещал Толстой организовать встречу в госпитале с советской пациенткой с глазу на глаз.

Следователь Хук вскоре выполнил свое обещание. Правда, только наполовину. Встречи с глазу на глаз не получилось. И не по его вине. В госпитале Рузвельта круглые сутки дежурили газетчики и киношники. Везде: и среди медиков, и среди полиции – у них были свои люди. И при первой возможности попасть в специальную палату, где лежала неудачливая перебежчица, они вломились туда прямо с кинокамерой. Александра Львовна стала невольной свидетельницей их настырных расспросов.

– Мисс Касенкина, почему вы решили остаться в США? – тыча микрофоном в лицо лежащей больной, спрашивала бойкая репортерша кинохроники.

Касенкина отвечала невпопад строками из своего письма. Но ей повторяли на все лады один и тот же вопрос: «Вы хотели порвать с советским режимом? Вы хотели бежать от Сталина? Вы хотели выбрать свободу?»

Касенкина бормотала что-то невразумительное. Репортерша, зная русский, пыталась переводить это своей съёмочной группе. Оператор устало вздыхал. Режиссер недовольно морщился: «Не пойдет. Давайте сменим ракурс и попробуем еще раз...»

- Как вам не стыдно! – вмешалась Александра Львовна. – Зачем вы мучаете ее своими идиотскими вопросами? Ей же тяжело отвечать.

Графиня подошла к изголовью больной и вытерла испарину на её лбу марлевой салфеткой.

Касенкина посмотрела на свою защитницу потухшими глазами беспомощного затравленного животного. Чувствовалось, что каждое произнесенное слово действительно причиняло ей боль.

– Помолчите, голубушка. Помолчите. Я на вас не в обиде. А когда поправитесь, возвращайтесь к нам на ферму.

Глаза Касенкиной чуть заблестели и наполнились слезами благодарности. Киношники молча отошли в сторону. Но оператор, стоя у углового окна и выбрав удачный свет и ракурс, продолжал снимать и довольно скалил зубы: он наконец-то поймал самый лучший кадр!

- Или мы, или она!

Профессор Григорьев сорвался на фальцет. Обычно его манера витийствовать вызывала насмешки и раздражение остальных обитателей

Толстовской фермы. Но на этот раз все они прямо-таки по-советски одобряли и поддерживали возмущенного оратора, проявляя редкое для эмигрантской публики единодушие. Единодушны были и монархисты, и троцкисты, и сибирские старообрядцы, и украинские греко-католики, не желавшие, чтобы Касенкина вернулась в Вэлли Коттедж.

– Гнать ее отсюда, стерву сталинскую! Геть провокаторшу! Долой шпионку!

– Александра Львовна, да мы за вас боимся, – причитала повариха Марфа – Ну, зачем она вам? Ну, пусть она и не шпионка. Так ведь еще хуже – она сумасшедшая! Вчера она из окна выбросилась, а завтра пойдет на кухне повесится или вены себе порежет. Страшно! Я лично с ней работать не буду. Уйду!

– Мы все уйдём! – послышались голоса поддержки.

Александра Львовна только махнула рукой:

– Нет, это я от вас уйду!

Она сказала это тихо, почти шепотом. Развернулась и пошла прочь. Её пытались удержать, хватили за руки, падали в ноги, просили прощения. Но она никого не слушала и шла куда глаза глядят.

Только оставшись одна, Толстая остановилась наконец у края высаженной ею березовой аллеи, бессильно опустила на скамейку и заплакала. Безутешно. Навзрыд.

Она вспомнила отца. Вспомнила как он уходил из дома в последний раз. В темноте, в тайне. Никому ничего не сказав. Только ей. А потом вдруг вспомнила 1915-й год. Турецкий фронт. Только что спасенный от османской осады и резни город Ван. Армянские добровольцы защищали его с мужеством обреченных, зная, что никому из них не будет пощады. И стоило ли теперь от них самих ждать пощады? Турецкие кварталы были сожжены. А оставшиеся в живых турецкие женщины, дети, старики медленно умирали в тифозном бараке – бывшем здании местной школы.

Сестра милосердия, Александра Львовна Толстая, решила идти на прием к генералу – начальнику русской пехотной дивизии.

Генерал, обычно благосклонный к молодой графине, не принял её. Наверное, боялся заразиться тифом. Только высунул голову со второго этажа штабного домика.

– Ваше превосходительство, – почти кричала ему Сашенька Толстая, здрав голову, – мне нужно 30 повозок, запас кукурузы, муки, стадо баранов...

– Зачем? Кому?

– Школы, где находятся турчанки, старики, дети, переполнены. Много больных! Громадная смертность! Они заражаются друг от друга. Надо срочно вывезти их в соседние турецкие деревни.

– Дайте подумать! – недовольно буркнул генерал и захлопнул окно.

Генерал подумал и неожиданно для многих штабных принял решение: выделить и повозки, и продукты. Может, сердце ёкнуло, а может, убедили доводы сестры милосердия, что дивизии грозит эпидемия. Тифозный барак находился на горе, а оттуда ручей спускался аккурат к палаточному военному городку в долине.

Однако дивизионный интендант не был так обходителен, когда речь зашла о выделении продуктов.

Командуя погрузкой провизии, офицер то и дело бросал косые взгляды на молоденькую медсестру:

– Там в окопах под пулями люди полуголодные, а мы здесь харчи транжирим. Раздаем направо-налево. Кому?!

– Людям раздаем! – уверенно отвечала девушка и, развернувшись, пошла проверять повозки.

Интендант не сдержался. Беззвучно выругался ей вслед:

– Дура! Разве ж с такими барышнями войну выиграешь?!

Ту войну так и не выиграли. Но Толстая пробыла на ней до конца и на турецком, и на германском фронте. Стала георгиевским кавалером, начальником подвижного санитарного отряда, уполномоченным Земского союза. А потом пришли большевики. Сначала они хотели ее наградить за заботу о раненых, а потом вдруг – арестовать как царскую графиню. Кровавое красное колесо медленно набирало обороты, чтобы потом zakружиться с бешеной скоростью.

Александр Львовна сидела на скамейке, дрожа всем телом.

Никогда еще она не чувствовала себя такой безнадежно-беспомощной, такой наивно-несмышленной дурочкой, которую просто используют в своих циничных целях и сильные, и слабые мира сего. И в душе у нее не оставалось уже никаких чувств, кроме чувства жалости. Ей было жалко кончавшихся у нее на руках русских и немецких солдат. Жалко своего затравленного отца, которому она закрывала глаза в Астапове в 1910-м. Жалко свою истеричную, уже совершенно ослепшую мать, которая, умирая в 1919-м, просила у неё прощения. Жалко этого глупого профессора Григорьева, которому врачи уже диагностировали саркому и которому оставалось жить считанные недели. Жалко эту сумасбродную Касенкину, которую Советская власть лишила самого элементарного права – права распоряжаться своей судьбой. А всего больше было жалко себя – с детства нелюбимую матерью, а теперь стареющую в чужой стране, одинокую женщину. И от этой нахлынувшей жалости к самой себе хотелось реветь белугой на весь белый свет!

Александра Львовна вытащила из кармана носовой платок, чтобы утереть слезы.

Старая фермерская дворняга подбежала к ней, весело виляя хвостом, видимо, решив, что хозяйка полезла в карман, чтобы кинуть ей какой-нибудь сладкий сухарик. Собака начала ластиться к женщине, лизать ей руки и лицо, вытирая это непонятные человеческие слезы.

...Касенкина осталась в Америке и прожила здесь еще много лет. В 1950-х она переехала из Нью-Йорка во Флориду. Там и умерла. Умерла по-христиански. Консул Яков Ломакин в августе 1948-го был выслан из США. Консульства СССР были закрыты в Нью-Йорке и Сан-Франциско. В ответ прекратили действовать американские дипмиссии в Ленинграде и Владивостоке. Отношения между двумя странами накалились до предела. Некоторые всерьез считали, что это из-за Толстой чуть было не началась третья мировая война. Советские потомки Льва Толстого под давлением властей опубликовали открытое письмо в газете «Правда» и прекратили общаться с Александрой Львовной на долгие годы. А само имя младшей дочери великого писателя оказалось в СССР под запретом. Правда, в 1978-м её всё-таки пригласили на 150-летие Л.Н.Толстого в Ясную Поляну. Но прикованная к постели Александра Львовна поехать на Родину уже не смогла. Однако вот каковы были ее последние строки домой: «...Мне тяжело, что в эти драгоценные для меня дни я не могу быть с вами, с моим народом на русской земле. Мысленно я никогда с вами не расстаюсь».

Александра Львовна умерла 26 сентября 1979-го года и была похоронена на кладбище Новодивеевского монастыря под Нью-Йорком. Выражая соболезнования Толстовскому фонду, действующий президент США Джеймс Картер писал:

«С её кончиной оборвалась одна из последних живых нитей, связывавших нас с великим веком русской культуры. Нас может утешать лишь то, что она оставила после себя. Я думаю не только об её усилиях представить нам литературное наследие её отца, но и о том вечном памятнике, который она воздвигла сама себе, создав примерно сорок лет назад Толстовский фонд. Те тысячи, которых она облагодетельствовала своей помощью, когда они свободными людьми начинали новую жизнь в этой стране, всегда будут помнить Александру Толстую».

Толстовский фонд и сейчас жив. Хотя постороннему посетителю здесь представится, пожалуй, грустное зрелище. Есть архив, есть дачи, есть дом престарелых. Но нет той бурной деятельности, которой занималась графиня Толстая. Однако мне почему-то кажется, что Александра Львовна была бы такому «запустению» только рада. Ведь если нет беженцев из России, значит, нет и беды.

Правда, на вашингтонском литературном вечере в честь Льва Толстого нынешний вице-президент Толстовского фонда, попечитель

Реабилитационного центра в Вэлли Коттедже, праправнук декабриста Волконского, элегантный русский аристократ Андрей Сергеевич Кочубей сказал мне: «Знаете, будь жива сейчас Александра Львовна и полна сил, она наверняка бы дома не сидела. Спасала бы сегодня беженцев где-нибудь в Сирии...» Я молча согласился. Не думаю, что найдутся люди, которые бы стали с этим спорить.

Виктор Родионов

Луисвилл, США



Есть такая партия. Правый марш в Аппалачах

Пайквилл – один из самых симпатичных городков в штате Кентукки. Чистый, аккуратный, ухоженный, в обрамлении Аппалачских гор, особо красивый в пору «индейского лета» и цветения dogwoods – «собачьих деревьев» – весной. 362 дня в году Пайквилл живет размеренной провинциальной жизнью без особых событий и происшествий. За исключением трех дней апреля – ежегодного фольклорного фестиваля Hillbilly's Days в честь жителей Аппалачей. Это надо видеть, Аппалачский Mardi Gras! Фестиваль пользуется огромной популярностью в стране – на три дня население семитысячного Пайквилла увеличивается в десятки раз. После фестиваля снова провинциальная спячка до следующих Hillbilly's Days.

Но в этом году пошло не так. Через неделю после фестиваля городок на пару дней попал в зону политической турбулентности национального масштаба. Причем не по своей вине. На Пайквилл положили глаз лидеры

ультраправой Традиционалистской рабочей партии США и примкнувшим к ним единомышленникам из десятка движений того же толка. Различия в нюансах, кто кого больше не любит. Одни – федеральное правительство, вторые – олигархов, третьи – коммунистов, черных, евреев, геев и так далее. Но под общей идеологической крышей – Америка для белых, белый супрематизм, власть белой расы.

Как из миллионного Детройта разглядели крошечный кентуккийский таун, не очень понятно. Организаторы на этот счет молчат, политические обозреватели теряются в догадках. Наиболее ходовая – в черном Детройте шибко не забалуешь, для ультра может плохо кончиться, а Пайквилл на 98% белый город. Во-вторых, Аппалачи – срез консервативной Америки, где легче найти единомышленников, чем на «продвинутом» Севере. В-третьих, прозаическая причина – в Пайквилле нашелся спонсор и предоставил свой загородную землю под кемпинг всеамериканского слета правых сил. Остальное дело техники и американской демократии – за два месяца в горсовет Пайквилла была подана официальная заявка на проведение в городе ралли Традиционалистской рабочей партии (ТРП). Все по закону. Разрешение получено, дата и место митинга определены – 29 апреля 2017 года, даунтаун Пайквилла. За день до ралли около двухсот не очень званных гостей со всех концов страны разместились в кемпинге на окраине города.

В заявке на проведение митинга правых сил роль паровоза в поезде с разношерстными пассажирами взяла на себя ТРП и ее лидер Мэтью Хеймбах. Официальная цель ралли – пропаганда задач партии в деле защиты прав работающих белых американцев. Все честь по чести, комар носа не подточит. Но власти Пайквилла и округа Пайк не испытывали наивных иллюзий. Общественные организации *watchdogs* – «ищеек» – отслеживают ультраправые группировки в стране и относят ТРП и ее союзников (ККК, Лига Юга, Национальный союз арийцев, Национал-социалистическое движение, Альтернативное право, Железный марш и некоторых других) к организациям с неонацистской идеологией. В принципе, эту оценку разделяют органы безопасности США.

Но США не ФРГ, у нас все можно. Не только в мозгах, но и на виду. Не надо обладать дедуктивным мышлением, чтобы догадаться об идеалах исключительно белых крепьшей, в черных рубашках с эмблемой «а ля серп и молот» (вилы внутри шестеренки), под флагами со стилизованной свастикой, нацистскими «зигами», криками «Хайль!».

Тем не менее, эти группировки живут и здравствуют в рамках американского правового поля, следовательно, они законны. Но на Бога надейся, а сам не плошай. В Пайквилл приехали отнюдь не мирные овечки, а готовые к силовой конфронтации боевики. Накануне вечером

они провели в кемпинге военные сборы. У «лагерников» своя собственная служба безопасности, вооруженная АК-15. Кроме того, закон Кентукки разрешает свободное ношение оружия на территории штата. Где гарантия, что «ружье на стене» не выстрелит и не послужит спусковым крючком для беспорядков в толпе? За недавними примерами ходить не надо. Кровавые столкновения в Беркли, Сакраменто и Сиэтле. К тому же, о намерении при случае не стоять с плакатиками в руках заявили т.н. «antifa» – «группы антифашистов».

Власти Пайквилла недвусмысленно дали понять – будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. За день до «дня Икс» старшеклассников школ и студентов университета призвали, у кого есть возможность, уехать из города. К началу ралли в даунтаун были стянуты силы полиции, в том числе на бронетранспортерах, службы шерифа и госбезопасности. Специальным решением горсовета был принят запрет на появление на митингах в масках, балахонах-худи и вообще с закрытым лицом. Превентивные меры оказались эффективными.

Через головы силовиков неонаци выступали с микрофонами, скандировали речёвки и «Хайль Хеймбах!», обменивались с «антифа» оскорбительными выкриками и жестами. Те, в свою очередь, дудели в горны и пастушьи дудки, барабанили и крутили трещотки, чтобы заглушить ораторов от ультра.



В пять дня ралли закончилось, стороны разошлись без каких-либо потерь, не считая двух арестованных пьяных хулиганов из публики. И неонаци, и «антифа» посчитали себя победителями. Местные разошлись

по домам, гости поехали в кемпинг. Вечером у них был вечер «белой музыки», в основном ирландской, и после концерта закрытая часть, с которой удалили всех посторонних.

Конечно, к ультраправому ралли в Аппалачах можно отнести как к шоу. Подумаешь, пара сотен молодчиков пошумела, выпустила пар, покрасовалась перед телекамерами, и все закончилось ничем. Тогда почему к этому «незначительному» событию было приковано внимание практически всех СМИ Америки? Им делать больше нечего?

Серьезные политологи, обозреватели крупнейших изданий и телеканалов сходятся в том, что в стране наблюдается радикализация правых сил, вызванная разочарованием... в Трампе. За неимением лучшего раздробленная «альтернативная» Америка отдала свои голоса системному кандидату, чьи обещания во многом перекликались с ультраправыми ожиданиями. Но непредсказуемый Трамп «кинул» своих сторонников. Впрочем, как и всех остальных. Наш президент оглядывается не на партии и движения, а на собственное отражение в зеркалах Белого дома.

Республиканцы и демократы с этим могут, сжав зубы, мириться. только не ультраправые. «Я жалею, что голосовал за этого сукина сына. Он предал нас, – говорит Арт Джонс, участник пайквиллского ралли, член группы «Отрицание Холокоста». – Трамп устроил в Белом доме филиал Израиля, посадив по правую руку зятя-еврея».

Когда дошло, что от Трампа не дождаться обещанной великой Америки, ультраправые стали искать собственные рецепты. В первую очередь, на пути к созданию единой партии, движения, в идеале Народного фронта, способного изменить форму общественного устройства США на платформе национал-социализма. Похоже, первый шаг к этому был сделан в Пайквилле. Ралли, митинг были мишурой, главное – организационное объединение единомышленников – произошло за кулисами в ходе переговоров между лидерами групп и движений. За основу принята партийная платформа ТРП. С ее положениями не грех ознакомиться, любопытный документ.

– ТРП выступает за Веру, Семью и Народ.

– Цель партии – передача власти от коррумпированного и некомпетентного федерального правительства на места, региональным лидерам, выступающим за традиционные ценности, крепкие семьи и национальную культуру.

– Наша цель – локализация. Наша страна слишком велика и многообразна, чтобы ею управлять из одного центра. Максимальная автономия регионов при минимальном вмешательстве Вашингтона.

– ТРП улучшит положение белых рабочих и их семей на локальном уровне. Конкретный человек выше абстрактных идей.

– ТРП выступает за государственную поддержку церкви в обмен на невмешательство церкви в светскую жизнь.

– Покровительство традиционной семье. Вопросы брака и семьи должны решать не судьи и чиновники, а церковь. Запрет гомосексуальных браков и усыновления геями детей.

– Остановить расовую дискриминацию белого населения. Отменить расовые квоты в образовании и приеме на работу. Восстановить исторический приоритет белой расы. В идеале каждая раса должна жить на собственной земле и согласно своей культуре.

– Для восстановления расового баланса отменить эмиграцию в страну цветных рас.

– Отменить получение американского гражданства по праву рождения. Иммиграция в США должна быть привилегией, а не правом. Конечная цель – нулевая эмиграция.

– Упразднить американскую помощь другим государствам. У нас миллионы своих нуждающихся. Благотворительность должна начинаться в собственном доме.

– Запретить иностранное лоббирование в США. В первую очередь, Израилю. Еврейское лобби и диаспора в США более лояльны к Израилю, чем к Америке. Они работают методами обмана, двуличия, двойных стандартов. Упразднить ежегодные «репарации» США Израилю. Это миллиарды долларов и триллионы на военную помощь Израилю. Любая помощь иностранному государству в обход закона должна считаться изменой с лишением американского гражданства.

И дальше примерно в том же духе. Гегемония белой расы, расово чистая Америка, антисемитизм... Папа Адольф может спать спокойно, его дело и имя не забыты.

Наш американский фюрер не похож на своего именитого предшественника. Интеллигентный молодой человек, христианин, очкарик с университетским дипломом и окладистой «купеческой» бородой. Но внешность, как всегда, обманчива. Лучше процитируем одну из програмных речей Мэтью Хеймбаха.

«Сейчас не время для единства нации. Не время для любви. Сейчас время для разъединения и ненависти. Время ненавидеть мигрантов, олигархов, черных, евреев. Мультикультуризм ведет Америку по сценарию краха Римской империи».

Борис Казинец

Б. Вашингтон, США



Грузия: признание в любви

Весной в Грузии отмечается несколько праздников: День национального единства и памяти, День независимости. Грузия навсегда связана с Россией духовным и культурным сродством. Сегодня о своей любви к этой прекрасной стране пишет народный артист Грузии Борис Казинец. С весенними праздниками, дорогие жители древней Картли!

Редакция журнала ЧАЙКА

Если бы меня спросил человек, никогда не бывавший в Грузии и пожелавший её посетить: «Что это за страна такая и кто они – эти грузины?» – я бы посоветовал, прилетев в Тбилиси, подняться на фуникулёре до первой станции горы Давида – Мтацминда.

Там на склоне, вокруг церкви Святого Давида, много захоронений. Официально это место называется «Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии». А если проще – там покоятся великие ее дочери и сыны – цвет нации.

Даже небольшое перечисление имён расскажет, что это за нация: Николоз Бараташвили, Илья Чавчавадзе, Важа Пшавела, Нодар Думбадзе, Серго Закариадзе, Верико Анджапаридзе, Галактион Табидзе, Вахтанг Чабукиани, Акакий Хорава, Ладо Гудиашвили... Вот далеко не полный перечень тех, кто прославил эту страну...

И как апофеоз Любви и Дружбы – могила А.С. Грибоедова и его жены, красавицы Нино! Но это всё великие! А простые граждане? Гостеприимство, доброта, умение понять собеседника. Можно перечислять множество примеров.

Света, моя жена, была директором-распорядителем русского театра им. Грибоедова.



Гора Мтацминда. Фото: forum.awd.ru

Её не раз приглашали на коллегию Министерства культуры. Она была одна русская в окружении грузин. Зам. министра Ия Гамрекели перед началом заседания предупреждал: «У нас на коллегии Светлана – ведём обсуждение на русском».

Лет пять тому назад мы со Светой были приглашены в Грузию на празднование 125-летия В.В.Маяковского. Делегацию повезли к Пантеону. А Света решила пройтись пешком. Устала. Любуется красотой маленьких улочек и увитых виноградом домиков. Появляется пожилая женщина. Разговорились. Узнав, что Света русская, грузинка ее обняла, поцеловала, они долго говорили и напоследок эта женщина сказала: «Как мы скучаем по таким русским!»

Жду троллейбуса. Вошёл, хочу оплатить проезд – долго ищу грузинскую монету. Водитель по-русски: «Так довезу!» Объяснил, где мне лучше выйти. Разговорились о том, о сём... Выходя, слышу: «Видишь, как мы с тобой хорошо поговорили!»

Приехали в Багдади на родину Владимира Маяковского. Встреча в школе. Мы читали стихи поэта, местные школьники читали на грузинском и на русском. Садимся в автобус и вслед кричат: «Приезжайте! Мы вас любим!»

А что касается памяти – вот уже двадцать пять лет мы в Америке, а не можем забыть те прекрасные двадцать пять лет в Грузии. Да и грузины платят нам тем же. В позапрошлом году в Грузии отметили моё 85-летие

выпуском книги «Закон вечности Бориса Казинца» и вином с этикеткой «Борису Казинцу 85» с портретом.

Эти строки – признание в любви Грузии и её народу!

Даша Кашина

Киев, Украина



Россия и Украина. Субъективные заметки

Тема моей статьи давно сформулирована соседним народом: «Ну, как там у хохлов?». Могу ответить, если есть готовность поверить очевидцу: лучше, чем у соседей, говорящих, что они – родственники. Здесь спокойно, не криминально, сытно. Здесь много провокаций для того, чтобы было не так. Но живущим в центре страны это не заметно, так как никого лично это не касается. Зато всех касается *безвиз*, этому – рады. Я выросла в русскоязычной семье и культуре. Мне очень жаль, что эта культура остановилась в развитии. Как при первом открытии границ – для избранных – при А.Косыгине, как при создании «Интуриста», когда гордились всем созданным до Октябрьской революции, включая фальшивые крестьянские народные промыслы, создатели которых – умельцы – давно погибли в лагерях. А интуристовские ларьки надо было наполнять.

В России читают народу Пушкина, о котором иностранные студенты говорили: «Удивительно: гордость России – эфиоп». Каждому поколению нужно рассказывать историю сначала. Но это – в школе. А жизнь должна идти вперед. Об «Интуристе» знаю не из чужой

информации. Там работала моя бабушка. По ее бумагам мама училась читать. Спрашивала: «что такое ВАО?». И тогда, году в 1965, бабушка объясняла: Всесоюзное Акционерное Общество. Оказывается, были и тогда в СССР акции и акционеры.

Когда Россия будет гордиться не «потемкинскими деревнями», а реальной культурой? Тогда, когда ее общество будет гуманным и гуманитарным. Пока мы видим – другое.

Я долго не понимала особенностей отношений России и Украины. На открытии прекрасной украинской гимназии с отдельным обучением девочек и мальчиков в радиопередаче я сказала: «Я хотела бы, чтобы и у русских детей были такие школы». Тревожный взгляд директора я тогда не поняла. Эту фразу вырезали.

Поняла позже, когда украинскую гимназию реформировали в простую банальную русскую школу. Это случилось, когда я была в гостях в еще не разрушенном Донецке. Вчера в интернете я видела фото забора этой школы со снятой украинской символикой и следами попадания «Града».

В гостях у украинской диаспоры в Нью-Йорке, в доме, стоящем в Гудзоне на сваях, был такой случай. Я была на дне рождения украинского классика, львовского композитора Мирослава Скорика. В Киеве идет его опера «Моисей». Я спросила: «Неужели у украинцев нет больших врагов, чем русские?» Стало тихо. Такое не объясняют. Когда разговор оживился, я поняла, что эти люди, кроме Скорика, невозвращенцы, ушедшие в войну из родных мест, где их ждали лагеря.

Небольшая сельскохозяйственная Украина, способная прожить сама, имеет песню «У нас е все». И становится понятна тема Голодомора, поднятая украинскими эмигрантами. Тема, выразившаяся в девяностые в создании памятников и музеев. «Головомор», – назвал уставший от этой темы и желавший ее обнулить в угоду Москве Янукович. А ведь сам, по другой причине, знал, что такое голод. Мечтал о батоне.

И по этой причине друзья детства подарили ему золотой батон, который после Майдана стал сувенирной «магниткой». Тему голода, организованного Россией, трудно забыть украинцам, предки которых были выгнаны в Сибирь. До сих пор у нас говорят: русские рвутся к нам, как собаки в кухню. Так может, в этом корень проблемы? Если бы большая страна обеспечивала свое население продуктами, она бы жила без маленькой, ставшей тогда ненужной?

Возьмем для примера Крым. Как-то Ардов вспоминал, шутя: «Марья Степановна Волошина говорила: в Коктебеле нет ни «человеческого» мяса, ни «человеческого» молока». И это она говорила при том, что Коктебель был болгарским селом, среди жителей которого были и молочники. Сейчас там Россия. Ничего молочного там по-прежнему нет.

Украина уже не кормит. Люди жалуются на очень плохие продукты из Краснодарской области и Кабардино-Балкарии. Продукты, которые не везут москвичам. Я их видела, но есть не могла. Почему история повторяется так часто, что не успевает смениться поколение, которое что-то помнит?

Темы Донбасса я не коснулась потому, что теперь – это тема России. А я живу в центральной Украине. Это тема России и выпущенного ею криминалитета. Жители этого региона выходцы из пограничных с Россией областей. Большею частью – куряне, когда-то ездившие каждую осень на родину за картошкой и яблоками на зиму.

Интеллигенция, построившая промышленный Донбасс, – выпускники ленинградского горного. Все они полюбили этот регион, но при беспорядках захотели в Россию. Она их приняла? Нет. Донецкий университет хотел в Москву. Она его приняла? Нет. Он – в Виннице. Народу посоветовали ехать в непопулярные области России и обжиться там. Люди, еще недавно видевшие гуманное советское переселение чернобыльцев в нормальные условия, были удивлены. Они оказались без работы и в палатках. Без вещей. А в их квартиры уже заселялись военные. Тогда я слышала телефонный разговор женщины из Донбасса, приехавшей в Крым с родственниками. Она говорила, что в Крыму есть предписание для беженцев: покинуть к осени эти места.

- А как вы в Сибири?

- Сидим в палатках, пьем колу с конфетами и ждем решений, – рассказали ей о гостеприимстве сибиряков.

- Возвращайтесь, – сказала она.

Знаете, где сейчас восемьдесят процентов дончан? В украинском Киеве. И им почему-то нравится. В советское время здесь было ограниченное количество иногородних. Переезжали в основном партийная элита и люди по работе. В Киеве донбассовцы говорят на обоих языках. Живут у земляков и работают с ними. Пользуются безвизом. Все рады тому, что убежали из региона, где «человеческое мясо» теперь есть.

В украинской Одессе также говорят на обоих языках и всем довольны. Например, есть там замечательный магазин детской книги, созданный моими знакомыми дончанками «Большой БУК». Они получают самые лучшие русскоязычные книги для детей. И никто в Украине по политическим мотивам их не беспокоит.

Роман Солодов

Нью-Джерси, США



Американские президенты и Израиль. Джордж Буш-старший

Выборы 1988 года в Израиле показали, насколько расколото было израильское общество по отношению к интифаде. Она была главной темой предвыборных дебатов. Как относиться к этому движению? Половина Израиля стояла за переговоры с палестинцами, вторая – за «железный кулак». Результаты соответствовали настроению: мелкие крайние правые и левые партии получили минимально одинаковое количество голосов, Ликуд во главе с Шамиром – 40, Авода во главе с Пересом – 39. Перес стал вице-премьером, Шамир – премьер-министром уже без какой-либо ротации на все четыре года. Это был пик его карьеры.

Он уже был премьером, но только потому, что Бегин неожиданно ушел в отставку, освободив ему место. Шамир шел на выборы с лозунгом подавления интифады, потрясшей израильское общество. Если в программе Переса предусматривалось достижение компромисса с палестинцами, то Шамир говорил о том, что любая уступка угрожает существованию Израиля как государства.

Об этом человеке стоит сказать несколько слов. Он, как и многие израильтяне его поколения, потерял семью в Холокосте. Провел двадцать лет в подполье, был членом боевой организации «Иргун», лидером ее боевого крыла «Стерн Ганг», почти десять лет работал в Моссаде. Все это не могло не наложить отпечаток на свойства его характера: он был подозрителен, молчалив, некоммуникабелен и крайне

неохотно делился информацией даже с друзьями. Если они вообще у него были. Поэтому не вызывает удивление, что его отношение к арабам не знало оттенков: враги, желающие уничтожить Израиль и сбросить евреев в море.

Но это совсем не означало, что Шамир не хотел мира. Именно из-за желания мира он и был неуступчив в вопросах территорий и беженцев. Однако такая позиция никак не способствовала достижению хоть какого-то соглашения. О Шамире говорили, что это человек двух измерений. Первое – длина Израиля, второе – его ширина. Если измерять его историческое видение Израиля в дюймах, то он не отдаст ни одного. Поэтому ни о каком промежуточном соглашении, где надо было бы поступиться частью территории, не могло быть и речи. Его кредо можно было обозначить следующим образом: мир и безопасность – двойники. И достигаются эти цели только через сильный Израиль в безопасных границах.

Но отмахнуться от интифады не удавалось. Часть израильтян была уверена, что ее замыслили и воплотили в жизнь в штаб-квартире ООП в Тунисе. Потому ее задачей было уничтожение Израиля, но никак не получение палестинцами независимости. Но ситуация в самой ООП менялась. Прежде всего, из-за изменения политики СССР в этом регионе. Советы сократили военную помощь Сирии и стали убеждать руководство ООП признать Израиль на основе резолюции ООН 242. Не будем забывать, что именно СССР был главным патроном ООП практически во всех вопросах. Но самое большое, на что были согласны в Тунисе, это на разделение Палестины на две части согласно плану ООН от 1947 года. На этих условиях Арафат никогда не нашел бы партнеров со стороны Израиля. Понимая это, он официально изменил свою позицию и перешел к признанию резолюции ООН 242. Но партнеров по переговорам со стороны Израиля все равно не нашел. Израильяне не верили в его искренность. Как, кстати, и американцы.

А почему евреи должны были верить Арафату, если он не менял программы своей организации? В ней отрицалось разделение Палестины и содержался призыв к установлению только палестинского государства. Почему евреи должны были верить его медоточивым речам, когда в Израиле взрывали автобусы, расстреливали людей и нападали на евреев за границей? Кнессет Израиля в 1989 году принял резолюцию, в которой подтверждалось, что Израиль не будет разговаривать с ООП. После терактов Ицхак Шамир успешно противостоял всем призывам к переговорам. Народ был на его стороне. Израильяне пошли дальше – они упрекали США, что те ведут переговоры с террористами. Под израильским давлением американцы шаг за шагом занимали все более

жесткую позицию на тунисских и других переговорах. Они не были заморожены дипломатией Арафата.

Но интифада-то продолжалась. И в Израиле появились «диссиденты». Стали раздаваться голоса, что закон, принятый Кнессетом в 1986 году, запрещающий контакты с ООП, устарел. Приходит время переговоров. Даже Рабин, проповедник жесткого курса в отношении участников интифады, высказался в пользу контактов с палестинцами, назвав их единственной силой, представляющей арабское население. Шамиру не удалось провести закон, лишаящий иммунитета членов парламента, которые встречались в Европе с палестинцами. В обществе стали задаваться вопросам, не слишком ли большую цену платит страна, пытаясь удержать оккупированные территории. Пришло понимание, что ближневосточный конфликт – это, во-первых, конфликт уже не с арабскими государствами, но, прежде всего, с палестинцами, и во-вторых, без разрешения его никакого прогресса в этом регионе не предвидится. Интифада создала новую ситуацию.



Джорж Буш-Старший //wikipedia

Шамир не сидел сложа руки в надежде на то, что интифада сама себя изживет. Он внес свои мирные предложения, принятые в Вашингтоне с «осторожной поддержкой». Суть их заключалась в том, что интифада должна прекратиться, после этого можно будет провести выборы

делегации, представляющей палестинцев на переговорах с Израилем по поводу установления окончательного статуса этих территорий. Но только после окончания интифады и восстановления мира и порядка на территориях. Без этих условий провести какие-либо легитимные выборы без запугивания и насилия со стороны ООП было невозможно.

Буш сделал упор на установление самоуправления на первом этапе, дав понять, что дальнейшую судьбу Палестины можно решать поэтапно. При этом он ссылаясь на кэмп-дэвидские соглашения, в которых говорилось о двух этапах.

В мае 1989 года Кнессет утвердил план выборов на территориях. Перефразируя Ходжу Насреддина, можно сказать, что дело осталось за малым: уговорить палестинцев. Конечно они отвергли план. Причин привели много. Выделим две главных. Первая – выборы исключали ООП из процесса. И вторая – палестинцы, проживающие не на территориях и в Восточном Иерусалиме, в выборах не могли участвовать. Палестины увидели, что их за нацию не считают. Арабские лидеры последовали примеру и тоже отвергли план.

С другой стороны, многие члены партии Ликуд полагали, что Шамир слишком далеко зашел в уступках палестинцам. Сторонники жесткой линии смотрели дальше выборов и считали, что они будут только предтечей дальнейшего развития событий: приведут к переговорам о разделе территории и, в конечном итоге, к ее разделению. На чрезвычайном заседании ЦК Ликуда были предложены такие ограничения по поводу этих переговоров, что они сводили план Шамира практически на нет. Более того, Ликуд отверг план президента Египта Мубарака, который был поддержан Госсекретарем Бейкером. Десять пунктов этого плана включали признание Израилем результатов выборов, свободу агитации, отсутствие израильских войск на избирательных участках и присутствие иностранных наблюдателей, и так далее... То есть план этот делал выборы легитимными в глазах мировой общественности. Надо заметить, что левые Израиля не возражали против плана египтянина. Кабинет Министров раскололся надвое: шесть – шесть. Опять тупик.

Был еще план Бейкера. Он предусматривал встречу в Каире, включение в список палестинской делегации двух представителей беженцев и одного жителя Восточного Иерусалима (их личности должны быть одобрены Израилем). Там много чего предусматривалось, Бейкер проделал огромную работу, убедив ООП и египтян дать согласие на его предложения. Но подробности уже неинтересны, ибо в конечном итоге этот план тоже был отвергнут противниками всяких соглашений. Пропась между позициями США и Израиля росла.

Шамир сумел сформировать правительство большинства без Аводы. Новый кабинет отверг даже его собственный план, которому к этому времени было уже больше года.

В своих показаниях Конгрессу Бейкер обрушился с критикой на Израиль и символически дал тому номер телефона Белого Дома со словами: «Позвоните по этому номеру, когда будете готовы к серьезным переговорам». Палестинцы и арабы аплодировали.

Но вместе с тем, американцы заблокировали предложение Совета Безопасности послать международную делегацию для проверки условий на Западном Берегу и в секторе Газа. Они оказались в одиночестве, но Израиль не предал. Более того, они прервали контакты с ООП в июне. Причина проста – террор! Присовокупить сюда можно отказ Арафата осудить атаки палестинцев. Рассматривая ситуацию того времени, поражаешься, насколько ООП и его руководство было слепо, надеясь, что акты террора сломают евреев. Психологический эффект был достаточно сильным – гибли в основном мирные люди, но израильтяне только теснее сплачивались вокруг противников всяких переговоров с террористами.

Их можно понять. У человека погибли близкие от акта террора. Ему все равно, кто их убил: бандиты Абу Нидаля или террористы Арафата. Для него это палестинцы! Ему, как и любому израильтянину, уже неинтересно, какие между этими убийцами существуют отличия.

Кроме того, противники переговоров имели вполне резонные соображения: Ближний Восток – это не Европа, где государства после двух страшных войн уже научились решать возникающие проблемы мирным путем. Ближний Восток – это регион насилия и войн. Здесь достаточно появиться воинствующему диктатору – пусть не сегодня, в будущем. Он, получив поддержку своего народа, разорвет все договоры, подписанные с Израилем, и атакует страну уже с позиций не террористической группировки, но другого государства. И такая возможность может возникнуть на территории Западного берега и Газы!

Эти доводы получили косвенное подтверждение, когда Саддам Хуссейн вдруг атаковал Кувейт!

Потому инициативы Мубарака, Бейкера и ООП тихо затухали одна за другой. Интифада стала выдыхаться к середине лета 1990 года. Как всегда в таких случаях, палестинцы начали искать виноватых среди своих. Это вылилось в убийство людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. Таких только в 1991 году оказалось больше 150 человек. Можно смело сказать, что Шамир начал побеждать! Политический климат в стране изменился.

В это же время произошло событие, переключившее внимание всего мира с Израиля на Кувейт, который был мгновенно захвачен Ираком.

Заслуживают внимания позиции сторон. Палестинцы и иорданцы встали на сторону агрессора. Израильтяне сразу же напряглись, но не потому что диктатор захватил маленькую страну. Из-за позиции Иордании. Разведка донесла, что король концентрирует войска на границе с Израилем. Евреям только этого не хватало. А если король пропустит иракские войска через свою страну, объединится с ними, то атака на Израиль будет неминуемой. И тогда на сторону двух Хуссейнов может встать весь арабский мир! В этом конфликте Кувейт обождет. Сначала надо покончить с евреями.

До израильтян дошло, что Иордания – это еще и буфер между Ираком и Израилем. Ситуацию с соседом надо было разрешать немедленно. Дело не допускало отлагательств. Начали с того, что изменили тон в отношении короля и самого королевства. Дали понять, что заинтересованы в сохранении его режима. Затем Шамир встретился с королем в его резиденции в Лондоне. В той же самой, где король так неудачно встречался с Пересом. Опять же был подан кошер по заказу короля. Но эта встреча закончилась иначе. Эхуд Барак, бывший тогда Замначальника Генштаба, прояснил королю ситуацию и в ответ получил его честное слово, что никаких нападений не будет и второй Хуссейн не введет свои войска в королевство. Честного слова короля оказалось достаточно, чтобы напряжение на границе спало и израильские войска вернулись к обычному режиму.

На совещании в Каире, посвященном защите Саудовской Аравии от возможной атаки Саддама Хуссейна, только две делегации выступили против этой защиты: ООП и Ливия. Как вышло, что Арафат не побоялся пойти против всего арабского мира, от поддержки которого зависела само существование его организации, остается загадкой. Он публично заявил о военной поддержке Ирака. Поведение, на первый взгляд, странное. Но Арафат учитывал настроения палестинцев. Несмотря на интифаду, Израиль не дрогнул. Арабы Израиля были глубокого разочарованы и считали, что именно недостаток военной силы привел их к поражению. Саддам Хуссейн казался им единственной, пусть призрачной, надеждой. Военная мощь Ирака, сломившего Кувейт в считанные дни, была весьма наглядной. Атака на королевскую фамилию казалась палестинцам началом революции в арабском мире. Они тем более оказались на его стороне, ибо С. Хуссейн проводил прямые параллели между оккупацией Кувейта и Западного берега с Газой. Почему, вопрошал он, весь мир требует моего ухода с бывшей земли Ирака и не требует этого от Израиля?

Конечно саудовцы ответили подобающе: потребовали сменить руководство ООП и прекратили всякую помощь. ОАЭ выслали из страны представителей Арафата. И так далее...

А как из-за этой позиции пострадал в Израиле имидж Арафата, даже невозможно описать. Он сразу же потерял поддержку тех, кто ратовал за переговоры с ним. Как! Этот человек встал на сторону мерзавца, который обстреливает «Скадами» нашу страну! О каких переговорах с ним вообще может идти речь!

Ситуация для палестинцев, проживающих на оккупированных территориях, осложнилась еще одним весьма существенным обстоятельством: евреи из СССР наконец-то стали приезжать в страну. Только в декабре прибыло 35 000! Ежемесячно в страну обетованную прибывали до 20 000 человек. За один только 1991 год вклад россиян в рост населения составил 135 000! Подавляющему большинству нужна была работа. Естественно, что вновь прибывшие вытесняли палестинцев с насиженных мест. Советским евреям было больше доверия – они-то не убивали своих работодателей, как это порой делали арабы.

Оставим иронию. Поговорим серьезно о советской иммиграции и ее влиянии на ситуацию в Израиле. Об этой иммиграции и ее роли в жизни страны написаны статьи, эссе, доклады, научные работы и даже книги. Переоценить ее значение невозможно. Именно эта иммиграция превратила провинциальную в плане науки страну в империю хайтека. Десятки тысяч людей с высшем техническим и гуманитарным образованием повернули страну в сторону новейших достижений в электронике, компьютерной технологии, медицине... В общей сложности за время перестройки в СССР и после нее в страну переселилось больше миллиона человек. Для такой крошечной страны, как Израиль, это «нашествие» оказалось и благом, и тяжким бременем, с которым страна, увы, не всегда справлялась должным образом.

Не надо об этом забывать. Остро встали проблемы с расселением вновь прибывших, с их устройством на работу... Люди знали английский, пусть кое-как, но не иврит. Русских иммигрантов надо было обучать не только новому языку, но и новому отношению к работе, просто новому отношению к повседневной жизни. Но Израиль справился в конечном итоге. Уехавших в другие страны (в СССР вряд ли кто вернулся) было сравнительно немного. Страна ощутила себя в новом качестве. Этот миллион добавил израильскому народу уверенности в своей непобедимости перед любым агрессором. Они изменили даже демографическую ситуацию на оккупированных территориях. Достаточно сказать, что, если с 1968 по 1990 года количество новых строений увеличилось на 20 000, а общее количество поселенцев уменьшалось из-за интифады, то только в 1991 году построили 13 000 новостроек! В этом же году общее количество поселенцев возросло на 112 000! Именно тогда Шарон, тогдашний министр строительства, получил кличку «бульдозер». И это были не просто укрепленные форты,

где евреи отсиживались в осаде. Поселения можно смело назвать городами. С отелями, учебными заведениями, фабриками и автобусными линиями, коммерческими центрами, супермаркетами, бассейнами, клубами... В них проводились израильские чемпионаты. Попробуйте разрушить такое «поселение». К этим городам прокладывались дороги, обходившие арабские деревни. Появление таких городов говорило и еще и том, что люди перестали бояться интифады.

Такое стало возможным в большой степени благодаря приезду в страну советских евреев. Это великое переселение изменило демографический и политический характер страны. Таких изменений страна не знала со дня своего основания. По значению своему советская иммиграция не уступит результатам великой Шестидневной войны!

Война за освобождение Кувейта закончилась 26 февраля 1991 года полным разгромом Ирака. За время войны на Израиль за одну неделю упали 39 «Скадов», большая часть которых приземлялась в пригородах Тель-Авива. Интересно, что днем еще 17 января пресс-секретарь министра обороны Израиля заявил по радио, что граждане могут спать спокойно, ибо Ирак уже разгромлен. А вечером на страну упали первые восемь «Скадов». Это была первая воздушная атака на Израиль с 1948 года. «Скады» обладали технологией каменного века, их называли «летающими мусорными ящиками». Но противоракетные установки «Патриот» оказались еще хуже. Не было сбито ни одного «Скада». Химических боеголовок на них не было, как не было и больших людских потерь. Но они все же были! Можно добавить сюда более тысячи разрушенных домов. Общий ущерб составил более 250 миллионов долларов. И израильтяне большую часть своего свободного времени проводили в закрытых помещениях из-за постоянной химической угрозы. Поэтому понятно было раздражение евреев, которых администрация Буша настоятельно попросила не отвечать на обстрелы, из-за боязни развалились хрупкую антииракскую коалицию между Вашингтоном и его арабскими союзниками. Однако Д. Чейни, бывший у Буша Министром обороны, по дипломатическим каналам предупредил С. Хуссейна, что Израиль готов атаковать Ирак с помощью неконвенционального оружия, если Скады будут начинены химической отравой. То есть Хуссейну дали понять, что у Израиля оно тоже есть! Диктатор не рискнул поднимать ставки.

Кувейтский кризис усилил позиции Шамира. Проведи он выборы весной 1991 года, его партия получила бы значительное преимущество. Но никак не подавляющее, ибо у сторонников компромисса нашлись свои доводы после этой войны. Они заключались в том, что сегодня, в девяностые, Израиль должна выручать не столько территории, сколько технологическое превосходство. Когда был захвачен Синай,

пространства этого полуострова были защитой от внезапного нападения танковых армий египтян. Но сегодня ракеты С. Хуссейна беспрепятственно долетали до Израиля и наносили значительный ущерб. Стране крупно повезло, что она обошлась минимальными человеческими потерями. Верующие люди всерьез утверждали (а попробуй поспорь с фактами), что Бог держал над страной руки. А следующее поколение ракет может быть более точным и сильным проникающим оружием. Поэтому стратегическая важность территорий отходит на второй план. И было еще одно немаловажное событие: союз США с арабскими государствами, даже такими, как Сирия! Американцы могли потерять интерес к Израилю как к стратегическому союзнику. Доктрина президента Никсона могла быть задвинута в чулан. В тот момент чего не хватало Израилю, так это красноречивого оратора, такого, как Черчилль, сумевшего в начале войны с Гитлером найти слова, сплотившие английский народ вокруг своего лидера. Как писал журналист: «Скажи хоть что-то, Шамир! Мы не требуем от тебя красноречия Черчилля, но не молчи!» Шамир молчал. Но в январе 1992 года он вызвал маленький взрыв недовольства, связав приезд советских евреев с «большим Израилем». Иммигрантов можно понять: они ехали за лучшей жизнью, но не «осваивать целину» в виде строительства поселения. Причина молчания Шамира стала понятной после его поражения, когда в интервью газете Маарив он сказал, что *поражение лишило его возможности расширить строительство поселений, и за десять лет совершить демографическую революцию на территориях. Пятьсот тысяч евреев должны были жить на Западном Берегу и в Газе. Без этого не было смысла говорить об автономии, ибо Израиль превратился бы в палестинское государство.* Сделай он такие заявление перед выборами, поражение его партии могло бы стать сокрушительным. А для выборов манифестом его партии стал лозунг достижения мира «через постоянные и серьезные усилия». Но без уступки даже пяди территорий.

Шагая к избирательным участкам, евреи точно знали разницу между двумя основными партиями и их лидерами. Они делали выбор между экспансионистской территориальной политикой правых и миром на основе компромисса, между строительством новых поселений и получением американского займа, между абсорбцией советских иммигрантов внутри Израиля и тратой весьма скудных ресурсов на строительство Великого Израиля. Главным вопросом было будущее еврейского государства. Каким оно будет? Меньшим по территории, но еврейским и демократическим, или все же большим территориально (что очень важно для безопасности страны), но с постоянными конфликтами внутри его с арабами со всеми вытекающими из этого последствиями.

Немалую долю в поражение Шамира на выборах 1992 года, помимо Буша, откровенно вмешавшегося в избирательный процесс, внесли и «наши» люди. Большинство их попало под влияние пропагандистов Аводы, которые убеждали их, что «худой мир лучше доброй ссоры». Надо отдать должное хорошей работе агитаторов. Они умело воспользовались неопытностью вновь прибывших и их трудностями первого периода проживания в новой стране. Люди думали тогда, что смена правительства повлияет на их жизнь в лучшую сторону. Они еще не освободились от советских стереотипов, когда им рассказывали о справедливой борьбе палестинского народа за свои права. Они считали, что арабы тоже хотят мира. Их голоса оказались решающими. Шамир, победивший интифаду благодаря своей железобетонной неуступчивости, проиграл.

Партия Рабина, возглавившая коалицию из умеренных партий, сразу же изменила отношение Израиля к строительству поселений. Было объявлено, что во время мирных переговоров с палестинцами, проживающими на территориях, новых поселений не будет. В Кнессете в первом же чтении прошел закон, снимающий запрещение на несанкционированные контакты с ООП. Но террор продолжался, несмотря на жесты доброй воли. На поведение Хамаса и Исламского джихада миролюбивые жесты Аводы не повлияли.

Но все же появились робкие надежды, что девяностые будут отличаться от восьмидесятых и в итоге приведут к столь желанному миру между палестинцами и евреями. Оставались «пустяки»: убрать поселения, забыть обо всех вложениях Израиля в Западный берег и Газу, прекратить акты насилия во всем регионе, прийти к компромиссу по поводу границ, определить статус Восточного Иерусалима, добиться от ООП не только устранения пунктов Хартии, в которых призывается уничтожить Израиль, но получить признание права Израиля на существование... Все эти «мелочи» достались девяностым в наследство от предыдущих десятилетий, и надеяться на то, что они будут как-то разрешены в ближайшие годы, значит быть наивным идеалистом.

Президент Буш (1989-1993)

Джордж Герберт Уокер Буш родился в 1924 году. Отец его был сенатором и банкиром, то есть по происхождению сын являлся членом американского истеблишмента. В 17 лет, когда началась война, он отложил поступление в колледж, пошел служить стране летчиком. На сегодняшний день он остался последним живым крупным политиком в мире, воевавшим во Вторую Мировую войну. После войны поступил в Йельский университет, по окончании переехал в Техас, стал нефтяником

и попутно миллионером к сорока годам. Но эта сторона его жизни не имеет отношения к нашей теме. Политика! Буш стал конгрессменом почти сразу же после начала своего бизнеса. В 1971 году стал представителем США в ООН и проработал в этом качестве два года. В 1980 году пробовался на праймериз. Проиграл. Рейган пригласил его в свою команду в том же году в качестве вице-президента. Он оставался им до конца правления его патрона, выиграл президентские выборы на волне его популярности, благодаря удачной фразе: «Читайте по моим губам – никаких новых налогов» – и стал президентом одного срока в 1989 году, ибо все же повысил налоги, да и миллиардер Росс Перро вмешался в выборы, отняв у Буша значительное число голосов. Говорят, что Росс Перро сводил какие-то личные счета. Все могут богачи.

Все вышеперечисленное хорошо известно. На первый взгляд, этот президент не оставил яркого следа в истории страны. Еще один из многих. Попытка найти материалы, свидетельствующие об его отношении к евреям, закончилась неудачно. Не было у него разговоров о том, какие евреи хорошие. Серая мышка... Но есть и другие мнения. Кем был на самом деле Джордж Буш-старший можно найти в разного рода публикациях. Читателю будет интересно, хотя сразу скажу, что к евреям этот материал отношения не имеет. Вот что говорил о нем советский разведчик:

«Много ли вы слышали про отца Джорджа Буша-младшего, кроме того, что он был Президентом США четыре года. Знаете ли вы о политике «Удушения Кастро» в 60-е годы, в итоге которой нам пришлось завозить Фиделю бензин из Европы? Эту политику придумал Джордж Буш. В курсе ли вы, что именно он возглавил операцию по «Удушению Че Гевары» в Боливии? (Отвлекаясь от монолога советского оперативника могу заявить, что мое уважение к Бушу резко возросло: Че Гевара был садистом и леваком.) Известно ли вам, кто «окружил» Вьетнам в Индокитае? Кто вытащил старого Дэн Сяо Пина из китайского зиндана, куда его посадили по приказу самого Мао – и поставил этого человека во главе Китая? Кто создал Медельинский кокаиновый картель в Колумбии? (Вот в это я мало верю. Буш сражался с картелем не на жизнь, а на смерть, но войну не выиграл). Кто уничтожил героиновый «Золотой треугольник» в Индокитае? Кто целовался с талибами? Кто стоял за сделкой Иран-контрас? Все один и тот же человек. Скажу откровенно – не было еще в ЦРУ руководителя, более ненавидимого нашей Конторой чем этот Буш. Не было в ЦРУ руководителя, которым бы в нашей Конторе восхищались бы больше чем Джорджем Бушем. В самих США этот деятель был «фигурой умолчания». Его не любили – и его не любят. Его боялись – и его боятся».

Даже если поделить все сказанное анонимным разведчиком на десять, то все равно становится ясным, что Джордж Буш был человеком совсем непростым.

Во время войны в Персидском заливе его посетила израильская делегация с просьбой разрешить им поучаствовать в боях коалиции. Израильтянам не нравилась их пассивная позиция. Сначала Буш в качестве аргумента выдвинул результаты опроса населения в Израиле. Они указывали на нежелание большей части израильтян (80%) вмешиваться в войну. На евреев этот аргумент впечатления на произвел. Тогда Буш заявил (для него это было важнее прямого участия Израиля в войне), что израильские самолеты могут достичь Ирака только нарушив границы какого-либо арабского государства. Буш пошел навстречу израильтянам в их просьбе увеличить военные поставки, но наложил «вето» на их вмешательство, дав понять им, кто в доме хозяин. Израиль впервые в своей истории ощутил чувство бессилия, ибо не мог защищать свое население от атак арабов.

Позиция Буша в этом конфликте заслуживает внимания. Он поставил Израиль в двусмысленное положение. Во-первых, Израиль был участником войны только как цель для атак С. Хуссейна. Во-вторых, Израиль, бывший красноречивым адвокатом многонациональных сил, оказался самым пассивным участником коалиции во время войны. Доктрина Израиля воевать на чужой территории и максимально защищать свое население не была исполнена. Самый злейший враг Израиля стрелял по его территории, а ответом было молчание. Это молчание и было самым большим «вкладом» Израиля в победу коалиции – она не развалилась. Но Израилю от этого было не легче. Цели войны с точки зрения израильтян не были достигнуты: С. Хуссейн остался на своем месте, сохранил свою армию, его способность создавать неконвенциональное оружие не была поколеблена. Буш не посчитался с мнением маленькой страны, превратив ее из союзника в препятствие. Прими Израиль участие в боях, Саддам Хуссейн мог бы и не уцелеть. Точность и сила ударов израильской авиации уже тогда были легендарными. Но американский Президент почему-то не поставил такой задачи, как устранение иракского диктатора. Эта ошибка дорого обошлась всему миру. Изменение его отношение к Израилю сказалось и на том, что он стал настаивать на участии евреев в пресловутом мирном процессе.

Когда речь заходит о возможном решении арабо-израильского конфликта, то стоит вспомнить высказывание одного из Римских пап: *«Есть два решения – чудодейственное и реалистическое. Первое – это когда вмешиваются высшие силы и решают эту проблему. Второе, когда стороны договариваются сами».* Но есть еще третий вариант

решения – вмешательство США. Мадридская конференция 30 октября 1991 года была примером такого вмешательства. Самым серьезным за всю историю существования Израиля. Ее темой было выполнение решений Совбеза 242 и 338, а также обмен территориями за мир. Что выделяло ее из других конференция подобного рода, так это присутствие палестинской делегации, пусть в составе иорданской. То есть Израиль как бы согласился говорить с ними напрямую. Это было значительное изменение в его политике непризнания.

У Буша появились серьезные основания для созыва такой конференции: закат СССР и его практический уход с ближневосточной арены – арабы осиротели! Кроме того, арабский радикализм в лице Саддама Хуссейна понес поражение и был выбит из игры. Буш вдруг понял, что на сегодняшний день он единственный, кто может решить проблему Ближнего Востока, не оглядываясь на вторую супердержаву, просто потому, что она исчезла. Можно войти в историю! Было от чего закружиться голове. Кроме того, король Иордании горел желанием загладить свою вину перед Западом за его поддержку Ирака, и сразу же согласился на совместную палестино-иорданскую делегацию. ООП дало согласие не участвовать, предпочитая управлять палестинской делегацией из-за кулис. Сирийцы, ливанцы и египтяне, потеряв советского патрона, тоже решили поучаствовать.

Не хотел участвовать основной игрок – Израиль в лице Шамира. Он использовал тактику промедлений и уверток. Ему пришлось выкрутить руки. А как можно было это сделать, помимо экономических рычагов? Все остальные способы давления на Израиль не работали. Шамир отвергал их с порога. Но экономика оказалась его ахиллесовой пятой. Проблемы, связанные с растущим потоком иммигрантов из СССР, привели к тому, что страна оказалась в экономической зависимости от Америки. И Буш это использовал по полной программе. Он отказался гарантировать заем в 10 миллиардов, необходимый Израилю. Это было равносильно запрету банкам дать деньги. Мягко говоря, это был грубый шантаж.

Американской помощи Израилю надо уделить несколько строк. К моменту Мадридской конференции общая сумма составила 77 миллиардов долларов, и она продолжала поступать в размере 3 миллиарда в год. И Буш искренне считал, что он и его страна ничего евреям Израиля и США не должны. Он был прав, если не помнить о позорном отношении Штатов к евреям перед Второй Мировой войной и во время ее. Буш помнил другое: за него во время выборов 1988 года проголосовали только 5% процентов евреев. Поэтому он не чувствовал угрызений совести, когда предложил Шамиру выбор: удержание захваченных территорий или помощь США.

Шамир поехал в Мадрид. Одним из условий конференции было отсутствие всяких предварительных условий. Поэтому запрет на строительство новых поселений в этот период рассматривался израильтянами как нарушение этого принципа. В то же время, они понимали, что строительство просто подорвет эту конференцию. Но они пошли на это, потому что Мадрид был им не нужен: перед встречей было объявлено о новых планах строительства, конечная цель которых было увеличение поселенцев на занятых территориях в два раза.

Начало конференции многого не обещало. Шамир выступил с речью, полной обвинений в адрес арабов, назвал их виновными во всех бедах региона и отказался признать хоть какое-то изменение в их политике по отношению к Израилю. Все арабы хотят уничтожения Израиля (тут трудно спорить с оратором, ибо так оно и было), и различие заключается только в методах. Настаивая на том, что проблема не в территориях, но в нежелании арабов признать право Израиля на существование, Шамир приблизился к отрицанию основы, на которой собралась вся эта конференция – выполнение решения Совбеза и мир в обмен на территории.

Резким контрастом прозвучала речь представителя палестинцев Д-ра Абдель Шафи. Забегая вперед, можно сказать, что это было единственное выступление по существу вопроса. Палестинец коротко затронул прошлое, полное вражды и ненависти двух народов друг к другу и призвал к добрососедству и отношению друг к другу как к равным. Взаимность должна заменить вражду и превосходство. Наша общая безопасность взаимна, как взаимны сегодня страх и кошмары наших детей. В его речи были не только призывы и лозунги. Он предлагал конкретные многоступенчатые шаги по урегулированию этой сложной проблемы. И впервые было сказано, что будущее независимых палестинцев может быть не в создании собственного государства, но в конфедерации с Иорданией. Такого никто еще не слышал. И больше никогда никто не услышал. Палестинцы постарались об этом забыть. Особенно ООП. Сами хотели править. Какая там конфедерация! В общем, его речь была более конструктивной и примирительной, нежели самые «мирные» предложения ООП. Важен был тон ее подачи – мягкий, спокойный, убеждающий. Ни одного обвинения!

Главным в этой речи было доказательство, что в палестинском народе появилась и окрепла своя интеллигенция, способная ясно выражать свое мнение, не зависящее от взглядов главарей ООП. Половина делегации составляли доктор и профессора университета.

И казалось, может быть исторический прорыв! Нет... Сириец (непримиримый до неприличия) в своем выступлении поставил все на свои старые места. Это были тупые обвинения Шамира в прошлом

терроризме и не менее тупые обвинения в терроризме государства Израиль. Он размахивал портретом Шамира в молодом возрасте и кричал, что этот человек уже тогда убивал мирных посредников и был террористом, а сегодня угнетает арабов, и прочая галиматья... Кто-то сравнил поведение сирийца с поведением летучей мыши при дневном свете. Позиция Сирии точно показала, насколько темен и страшен режим Асада. А ведь Израиль был готов на компромисс с Сирией относительно Голанских высот. Но не будем больше писать об этом. Главным для нас является позиция Шамира.

Ведь он, к огромному сожалению, был не совсем прав (а он выражал мысли соратников своей партии), когда говорил, что арабы до сих пор отказываются признать право Израиля на существование. А как же мирный договор с Египтом? Разве это не признание? Разве не является пусть косвенным, но признанием тот факт, что арабы (не только египтяне) сели за один стол с евреями?

С другой стороны, Шамир был абсолютен прав, когда говорил о том, что Израиль выполняет резолюцию Совбеза 242. Ведь он отдал Синай в ответ на договор с Египтом!

В общем, конференция выродилась во взаимные обвинения между сирийцами и израильтянами. Обвинения эти стары, как Израиль. И главным было то, что из-за позиции сирийцев арабский общий фронт развалился. Палестинцы были раздражены попытками сирийцев сменить тему на арабо-израильскую. Они-то приехали для разговора об их судьбе. И что получили... Единственным для них утешением послужило то, что наметился хоть какое-то подобие американо-палестинского альянса.

Буш, разраженный неуступчивостью Шамира и явным провалом конференции, в которую он вложил столько сил, начал сблизиться с палестинцами (не с ООП). Умеренная позиция, высказанная палестинцами, облегчила задачу Буша сдвинуться в их сторону, к чему он, надо признать, уже склонялся. Он давил на Иерусалим с целью склонить их к повторной встрече, но уже в Вашингтоне. А Шамир хотел только прямых переговоров и не был заинтересован в повторении мадридского балагана. Буш настаивал! Шамир отодвинул встречу на 9 декабря и сказал, что он придет только для установления даты и места прямой встречи с палестинцами. Буш не уступил. Итог? Когда Буш назначил встречу на этот день с той же повесткой дня, что и на мадридской конференции, и арабы приехали в Вашингтон, израильтяны там не нашли.

В этот день Шамир произнес речь, фрагменты из которой стоит воспроизвести: *«Даже если они будут неустанно трудиться для достижения мира, израильские лидеры не помыслят о сдаче*

Иерусалима, Западного берега, Газы и Голанских высот». Как бы в подтверждение его речи Израиль объявил об очередном поселении возле арабского города на Западном берегу.

Шамир добился своего: в Вашингтоне начались двусторонние переговоры. Пять раундов ничего не принесли. Израильтяне тянули время, утверждая, что реальные переговоры уже дают результаты, мирный процесс продвигается своим порядком, но по существу ничего не предлагали. Одним словом все сводилось к формуле: «Мы встречаемся, мы разговариваем, и это уже большой прогресс». По выражению И. Рабина, эти переговоры свелись к «толчению воды в ступе».

На израильскую общественность примирительная позиция палестинцев произвела большее впечатление, нежели на Шамира и его коллег. Сам премьер оказался меж двух огней. Левые упрекали его в искажении принципов сионизма – строительство поселений оказалось важнее, нежели судьба приехавших из СССР евреев. И в том еще, что он испортил отношения с США, главным союзником Израиля. А справа его обвиняли в том, что он двигается слишком быстро к признанию права палестинцев на самоопределение. А там уже недалеко и до появления палестинского государства. Шамир убеждал американцев, что готов к переговорам и хочет достичь соглашения, а правым говорил, что не уступит и пяди. «Во имя Израиля ложь допускается», говорил он. Потом, в мемуарах, он обвинял Буша в том, что тот хотел сбросить Ликуд. Было это, не было этого – сегодня уже вряд ли кто узнает истину.

Совсем недавно история повторилась: Нетаньяху и его лагерь обвиняли Обаму в аналогичном вмешательстве.

Выборы замаячили на горизонте, когда два министра правых партий подали в отставку, выразив протест против мирного процесса, который, по их мнению, был смертельно опасен для Израиля. В пользу Шамира говорил десяти миллиардный заем, гарантированный американским президентом. На четвертой встрече в Вашингтоне Шамир сказал, что строительство поселений будет продолжаться.

Буш и Бейкер поняли, что Шамир неслигаем. Они почти открыто заявили, что финансовое будущее Израиля под большим сомнением, если говорить о займе. Вот тогда Нетаньяху, бывший в то время замминистра, сказал, что больших негодяев, нежели Буш и Бейкер, он не помнит за свою жизнь. За эти слова он стал персоной нон-грата, но не в Штатах – в Белом доме.

Буш выиграл. К власти пришла партия Ицхака Рабина. Но американскому президенту не пришлось долго радоваться поражению железобетонного Шамира, уход которого открыл дорогу в Осло. Там после тайных, долгих, и изнурительных переговоров свершились

исторические перемены в палестино-израильских отношениях. Случилось прежде немыслимое – Рабин и Арафат пожали друг другу руки. Но это случилось уже при Президенте Билле Клинтоне. В ноябре 1992 года Буш проиграл Биллу Клинтону и как участник выбыл из ближневосточной драки.

Ольга Соловьева

С.-Петербург, Россия



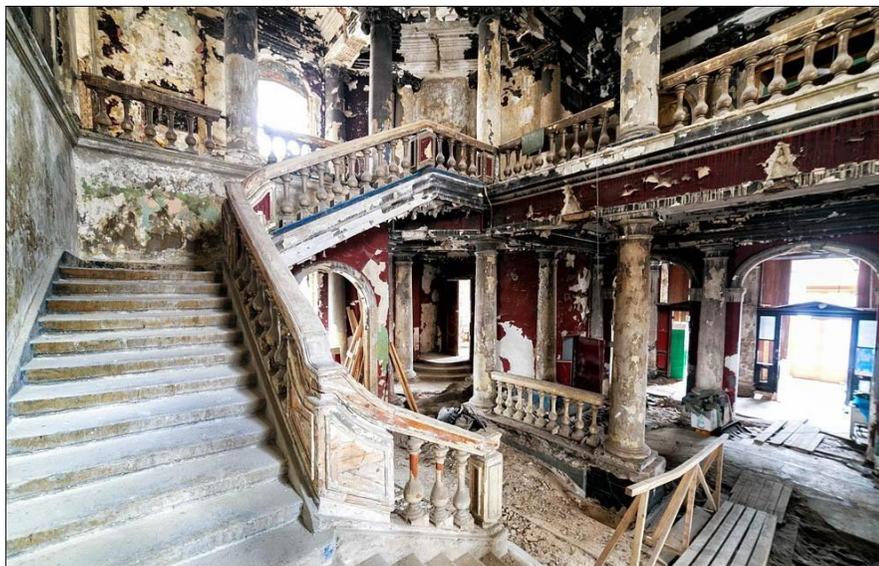
Таинственные места Петербурга. Из записок на коленке

*Я странствую по городу родному,
По улицам таинственно-широким,
Гляжу с мостов на белые каналы,
На пристани и рыбные садки.
(В. Набоков)*

Странные места встречаются в Петербурге – мистические, таинственные. На закате или на рассвете, в летний зной или в зимнюю стужу Таинственное в нашем городе зовет нас, невидимая властная рука манит нас, и мы оглядываемся, стараясь разглядеть неясный, загадочный образ. Кажется, только протяни руку, и ты коснешься его. Это может произойти, к примеру, если пройти по Кирочной улице, что в центре

города. Там находится лютеранская церковь, место завораживающей, потусторонней красоты. Церковь давно не действующая и неотреставрированная.

В ее облике стерлась грань между реальным и потусторонним миром. Запустение придало ее убранству неповторимую, зыбкую красоту, красоту, которую время не в силах превратить в тлен.



Церковь на Кирочной

Переступив порог, вы ощутите себя гостями в замке вампиров или проникшими в запретный портал между Тьмой и Светом.

Чувствуется рука гениального дизайнера из потустороннего мира. Когда солнечный луч проникает через оконные витражи, церковь наполняется светом, символом примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечным.

В стороне от Кирочной, на улице Радищева, неподалеку от Саперного переулка, можно найти, пусть и не столь внешне интригующее, но не менее таинственное место, сокрытое от прохожих железными воротами и охраняемое глазами видеочамер, – некое охранное предприятие, точнее, пара предприятий, с символическими названиями «Агис» и «Сонар».

Иные видели, а другие говорят, что видели, как к железным воротам подъезжали автомобили, из них выходили молчаливые молодцы, нагруженные тяжелыми спортивными сумками с застежками «молния» и

набирали некий таинственный код. Посредством современной техники произносили заклинание: «Сим-сим, откройся!» И ворота открывались.

Иногда «молнии» бывали застегнутыми не до конца, и внимательному наблюдателю доводилось узреть пачки денежных банкнот, которыми были набиты сумки.

Если свернуть за угол, в Саперный переулок, то можно увидеть внешне непримечательную дверь, не менее тщательно охраняемую многоглазым видео-Аргусом. Дверь скрывает две лестницы. Одна ведет наверх, другая – вниз в подвал.

Страж подвала – «накаченный» Цербер, начальник «оружейки». Сам собой на ум приходит вопрос, зачем столько таинственности и предосторожностей? Столько пищи для наших мозгов! Реальным хозяином «Агиса» и «Сонара» является некий олигарх, владелец строительной корпорации, и не только, господин Молчанов. Любопытно, почему некоторые директора предприятий, находящихся в собственности олигарха, так не любят «Агис»?

И почему вдруг исчезает сейф с деньгами на одном таком предприятии, когда на страже стоят доблестные охранники «Агиса»? За кем же они следят? За потенциальными ворами или за сотрудниками? Воистину тайна, покрытая мраком.

Молчанова я уже упоминала в «Питерских загадках» в связи с судьбой санатория «Дюны», очередного приобретения олигарха. Предположение о том, что санаторий ждет участь легендарного города Венета, исчезнувшего с лица земли, подтвердилось.

Что будет на месте «Дюн» – закрытый клуб для особо избранных или очередная резиденция олигарха, покажет время. Время, пусть и с неохотой, но открывает свои тайны.

Часть 3

О литературе



Владимир Солунский

Милуоки, США



Нас мало, нас может быть четверо!

Поэты 1960-х

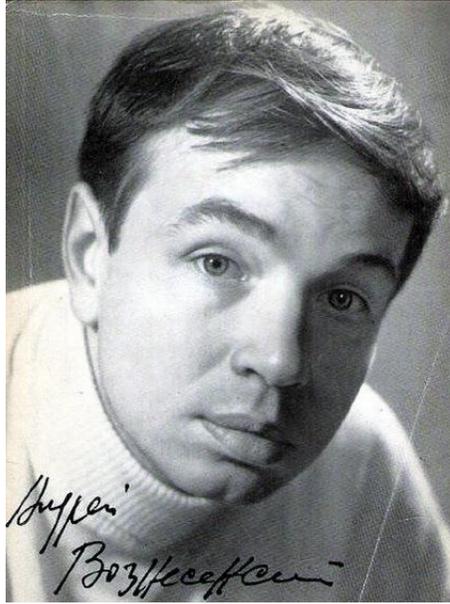
Что это было?

Обычно поэзией интересуется довольно узкий круг людей, а тут, тут... Полные залы! Да что там залы – стадионы! Стадионы, жадно ловящие каждое слово. Такого не было никогда и, думаю, больше не будет.

Но это было! Тогда!

Началось в Политехническом музее (где любил читать свои стихи Маяковский), потом в Московском университете, потом выплеснулось на площадь к памятнику Маяковского и покатилося дальше, по всей стране. Продолжалось это лет пять – примерно с 1958 по 1963 г. Это время назовут «оттепелью». Но назвать не означает понять! А понять это невозможно – это надо было пережить!

Умер «великий корифей», прошел Двадцатый съезд. Речь Хрущева (сначала засекреченную, но утаить оказалось невыносимо) читали на всех комсомольских собраниях. Рассказывают, что тогда одна начинающая поэтесса, студентка Литературного института (Юнна Мориц) сказала своей подруге: «Революция сдохла!» «Ну что ты, – возразила та, – революция заболела, ей надо помочь». Вторую студентку звали Беллой Ахмадулиной. Через пару лет они обе из института были исключены вместе с сокурсником Евгением Евтушенко. За что? За организацию



Андрей Вознесенский // chtoby-pomnili.com/

диспута о романе Дудинцева «Не хлебом единым». Кто сейчас помнит этот роман? Там речь шла об изготовлении труб большого диаметра, о наивном изобретателе, желавшем принести пользу Родине и Революции, а оказавшемся в тюрьме. Кстати, эти трубы Газпром до сих пор покупает в Германии.

Но вот упомянутый разговор исчерпывает всю гамму наших (естественно, я говорю только о моем поколении) тогдашних настроений: «сдохла» или «заболела и надо помочь».

Большинство было убеждено, что «надо помочь». Как? А вот просто: говорить правду!

На полях проталинки,
дышит воля вольная...
Полстраны -
этапники.
Полстраны -
конвойные.

Лаковые туфельки.
Бабушкины пряники...
Полстраны -
преступники.

Полстраны -
охранники.

Лейтенант в окно глядит.

Пьет – не остановится...

Полстраны

уже сидит.

Полстраны

готовится.

(Р. Рождественский)

Говорить правду и не бояться! Ну, это легко сказать... Говорить-то умеют не все, тем более – не бояться. А вот эти могут!

А значит -

«..Поэт в России больше, чем поэт!..»

и еще:

«... Только лучшие народ, остальные — население...»

(Е.Евтушенко)

Ну, это, конечно, про нас! Это мы — лучшие...

Есть русская интеллигенция.

Вы думали — нет? Есть.

Не масса индифферентная,

а совесть страны и честь.

(А.Вознесенский)

И это про нас. Это наше горячее дыхание подтопило «вечную мерзлоту».

...А вы не понимаете откуда «оттепель»?

«Нет пороков в своем отечестве».

Не уважаю лесть.

Есть пороки в моем отечестве,

зато и пророки есть.»

(А.Вознесенский)

И вот они наши пророки – Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и юная, нежная (она лет на пять младше остальных), красавица Белла Ахатовна Ахмадулина. Им по двадцать пять, а мне – двадцать!

Конечно, были и другие: поэты-фронтовики Слуцкий, Левитанский, Смеляков, и Твардовский был еще в полной силе, и начал выступать Окуджава. Но эти же были мои ровесники!



Евгений Евтушенко /Фото: Associated Press

Ах, что это были за ребята! В парнях, хотя они были очень разные, гвоздём сидел Маяковский. Евтушенко воспринял митинговость Маяковского, хотя в самой поэзии был ближе, пожалуй, и к Кирсанову, и к Твардовскому.

От Кирсанова и у него, и у Вознесенского эта игра в рифмы, полурифмы, намеки на рифму и т. д. Мимо Кирсанова, самого верного оруженосца Маяковского и почти единственного из его учеников, с которым они могли встретиться, эти ребята, конечно, пройти не могли. Кстати, именно Кирсанов давал рекомендацию Евтушенко для вступления в Союз писателей.

Вознесенский ещё многое воспринял и от Пастернака, но в основе был, конечно, Маяковский. Для Рождественского поэзия – это «маяковское» гражданственное служение. Он слегка заикался на согласных звуках и стихи писал так, чтобы их было легче читать самому. А Ахмадулина поэтически была одарена, по крайней мере, не меньше, чем её друзья. Она умела всё, но, пожалуй, больше тяготела к Серебряному веку, ахматовскому высокому слогу, политика в её стихах практически отсутствует. И это тоже было хорошо, революция революцией, но мы ведь тоже живые люди!

У них и биографии совершенно разные. Вознесенский и Ахмадулина принадлежали, так сказать, к элите. Отец Вознесенского — доктор наук, инженер-гидротехник, заслуженный деятель науки, строитель Братской ГЭС.

Отец Ахмадулиной — крупный чиновник таможенного ведомства, мать — переводчик по профессии, майор КГБ. Вся биография этих двоих — Москва, эвакуация, Москва. Вознесенский по настоянию отца, желавшего чтобы сын получил настоящую профессию, окончил Архитектурный, а Ахмадулина — Литературный (откуда хоть и исключалась, но через пару лет была восстановлена).

А вот ребята — сибиряки. Роберт Рождественский родился (1932 г.) в селе Косиха (Алтайский край).

Жил с матерью и бабушкой после развода родителей в Омске. Мать — директор начальной сельской школы и одновременно студентка мединститута. Закончила институт за три дня до начала войны и немедленно была призвана в армию. Роберт остался с бабушкой. Но в начале 1943 года бабушка умерла. А значит — Детский дом.

В 1945 г. мать со своим новым мужем, однополчанином Иваном Ивановичем Рождественским, забрали его к себе в Кенигсберг. А потом (семья военного) были Каунас, Таганрог, Вена, Ленинград, Петрозаводск. Там, в Петрозаводске, опубликованы его первые стихи. В 1950 году в 18 лет пробовал поступить в Литературный институт в Москве, но получил отказ. Ну, нет — так нет, год проучился в Петрозаводском университете, хотя, кажется, больше занимался спортом, чем учебой. По его выражению, «достукался» до первых разрядов по волейболу и баскетболу. А вот в следующем году мечта исполнилась, поступил в Литературный институт.

Евгений Евтушенко тоже из элиты, но, так сказать, своеобразной. Дед по матери, крупный советский военачальник (чин установить не удалось), был расстрелян в 38-м. Дед по отцу, математик (в довоенных школах геометрию изучали по учебнику Гангнуса), был арестован в том же 38-м, осужден на пять лет, потом пять лет ссылки и т. д. Вот в семье с такими корнями в 1932 году родился мальчик Евгений Гангнус. Отец — Александр Рудольфович, из прибалтийских немцев, геолог по профессии и непечатающийся поэт по призванию. Мать, Зинаида Ермолаевна, тоже геолог, работала в геологических партиях и одновременно, стремясь получить высшее образование, училась в Москве. Евгений всегда утверждал, что родился на станции Зима, Иркутской области. Это не совсем так — родился он в Нижнеудинске. Это километров 250 от станции Зима, но, во-первых, это красивее для поэтической биографии, а, во-вторых, туда, к бабушке, он был перевезён во младенчестве.

Родители к этому времени развелись, но тесные отношения с отцом Евгений сохранял всю жизнь. Неожиданно на смотре студенческой самодеятельности Москвы Зинаида Ермолаевна заняла первое место.



Роберт Рождественский//chtoby-pomnili.com/

Это предопределило многое. С геологией было покончено, зато появилась актриса и певица театра им. Станиславского. В войну Евгений таки побывал в эвакуации — на той же станции Зима. Мать, выступавшая во фронтовых бригадах, в 1944 году забрала его обратно в Москву. К этому времени из-за всеобщей ненависти к немецким фамилиям он уже носил девичью фамилию матери — Евтушенко. Под чьим присмотром в эти годы находился будущий поэт неизвестно, поскольку мать моталась по фронтам. Кстати, для неё это плохо кончилось — заболела тифом и в результате потеряла голос.

А вот в биографии Евгения Евтушенко с этого времени начинаются особенности. Его школьное образование ограничилось семью классами (как и у Бродского, кстати). Евтушенко был исключен из школы якобы за поджог классных журналов. (Ну, сгорели двойки, кому от этого плохо!?) Периодически работает (видимо, папа помогал) в геологических экспедициях, как и Бродский, кстати. Пишет стихи — видимо, и здесь без папы не обошлось. Первое стихотворение с подписью Е.Евтушенко появились в 1948 году в газете «Советский спорт». Это все ладно, но как его в 1952 г. с семиклассным образованием приняли в Литинститут? Загадка! Правда, его тогда же приняли и в Союз

писателей. Поэтому он не слишком горевал об исключении из института. Диплом об окончании удосужился получить лишь в 2001 году.

Поэты-фронтовики поначалу осторожно присматривались к этой шумной компании (Э. Неизвестный однажды их припечатал «взбесившимися пионерами»), иногда помогали. Евтушенко своим учителем неоднократно называл Бориса Слуцкого. А Слуцкий так рассказывал об их первой встрече: – Пришел Евтушенко. Минут двадцать читал какую-то дребедень и вдруг «О свадьбы в дни военные – обманчивый уют...». Послушайте, так он же действительно поэт!



Белла Ахмадулина /chtoby-pomnili.com/

Это стихотворение я тоже отлично помню. Евтушенко читал его в переполненном зале клуба Военной Академии в Харькове в 1959 г. Именно с тех пор, раз и навсегда, Харьков полюбил его. И самого Евтушенко, и его стихи.

Вот и пора перейти к стихам. Правда, лексика с тех времен довольно сильно переменялась. Например, слова «стиляги», «мещане» перестали считаться ругательными, а «большинство» уже перестало быть равным «божеству». Всякие «шараги», «кореша» сейчас не слишком в ходу, вместо них появились другие словесные перлы.

Хочу сразу предупредить, некоторые строки я привожу не в «каноническом виде», а так как я их слышал от авторов.

И еще – в этом стихотворении говорится о мальчике 10-12 лет, пляшущем на деревенских свадьбах. Было такое в действительности или нет – неважно («Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем» В.Маяковский.) Важно, какие стихи получились.

О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют...
Дорогой зимней, снежную,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу,
плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
взволнованный,
среди друзей,
родных,
сидит мобилизованный
растерянный жених.
Сидит
с невестой – Верою.
А через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней...

...В стакане брага пенная,
но пить ее невмочь.
Быть может, ночь их первая -
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и – болью всей души
мне через стол отчаянно:
«А ну давай, пляши!»
Забыли все о выпитом,
все смотрят на меня,

и вот иду я с вывертом,
подковками звеня.
То выдам дробь,
то по полу
носки проволоку.
Свищу,
в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку...
....Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы
пьяные
являются за мной.
Едва отпущен матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется,
стоят в слезах друзья.
Мне страшно.
Мне не пляшется,
но не плясать -
нельзя.

(Е. Евтушенко)

Да, вот какие это были ребята! Но разве только в них дело? А мы? Что бы они делали без нас? Это МЫ ждали ИХ! Сейчас, через пятьдесят лет, при строгом взгляде заметна и неряшливость стиха, и спешка. Ну да, и мы, и они очень спешили:

«Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.

Вечная память.»

(А. Вознесенский)

А стихи...Попытка разобраться в стране и в себе. В том, что происходит рядом.

...Бдительный,
полуголодный,
молодой,
знакомый мне, –
он живёт в стране свободной,
самой радостной стране!
Любит детство вспоминать.

Каждый день ему –
награда.
Знает то, что надо знать.
Ровно столько,
сколько надо.
С ходу он вступает в спор.
как-то сразу сатанея.
Даже
собственным сомненьям
он готов давать отпор.
Жить он хочет не напрасно,
он поклялся
жить в борьбе.
Всё ему предельно ясно.
В этом мире
и в себе.
Проклял он
врагов народа.
Верит, что вокруг друзья.
Счастлив!..
...А ведь это я–
пятьдесят второго года.
(Р. Рождественский)

«Я разный – я натруженный и праздный,
Я целе – и нецелесообразный.
Я весь несовместимый, неудобный,
Застенчивый и наглый, злой и добрый».
(Е.Евтушенко)

А это задумчивая пророчица Ахмадулина:
По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден...

...Ну что ж, ну что ж, да не разбудит власть
вас беззащитных среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,

как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным...

...Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и – мудрая – я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы...

...И вот тогда – из слез, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.
(Б. Ахмадулина)

А такое:

Ты спрашивала шопотом
-А что потом? А что потом?
Постель была расстелена
И ты была растеряна..
(Е. Евтушенко)

Что? Можно писать и об ЭТОМ?

Или об этом?
Бьют женщину. Блестит белок.
В машине копоть и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!....
....Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие рёбра
ботинок узкий, как уют.
(А. Вознесенский)

Когда ему кто-то сказал, что стихи-то хорошие, но ведь это все-таки
бьют женщину, Вознесенский немедленно написал следующее:

В чьем ресторане,
в чьей стране —
не вспомнишь,
но в полночь

есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!...
...За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.
(А. Вознесенский)

Как рождаются такие стихи, он и сам не мог объяснить:
Включаешь себя,
как в розетку штепсель,
иначается
сумасшествие...
(А.Вознесенский)

Тут не только, откуда берутся стихи, тут (повторяю) в себе бы самом
разобраться.

Вот такую лавину судьба обрушила тогда на наши слабые головы и
души.

И, конечно, еще одна тема. Назовем ее условно «Бабий яр».

Над толпой откуда-то сбоку
бабий визг взлетел и пропал.
Образ многострадального Бога
тащит непротрезвевший амбал.
Я не слышал, о чём говорили...
...Только плыл над сопеньем рядов
лик еврейки Девы Марии
рядом с лозунгом:
«Бей жидов!»
(Роберт Рождественский),

А вот Андрей Вознесенский:
Певзнер 1903, Сергеев 1934,
Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.

Отставник в пиджачке гороховом
зывает на славный клев,

только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу,- говорит Володька,-
а по рылу -говорит- могу,»
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живую водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай ее ладонью -
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?...

... «Не могу,- говорит Володька,-
лишь зажмурюсь -
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!»

Третью ночь Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.
И к нему
Является
Рыба
Чудо-юдо озерных вод!...

...Рива тебя звали,
Ривка, либо как-нибудь еще,
с обрывком
колючей проволоки
или рыболовным крючком...

в верхней губе, рыба,

...Тихо.

Озеро приграничное. Три сосны.
Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

Лебедев 1916, Бирман 1941,
Румер 1902, Бойко оба 1933.»
(А. Вознесенский)

Ну и, конечно, Евтушенко:
Над Бабьим яром памятников нет...

Тут есть одна загвоздка — пару лет назад вдова умершего Юрия Влодова, человека сложной и пестрой судьбы, начала говорить, что эти стихи написаны её покойным мужем. Готов поверить, что Евтушенко мог видеть какие-то строки, написанные Влодовым. Готов поверить и в то, что тогда Евтушенко мог сказать: «Тебе все равно сидеть! А я это пушу в дело». Важно, что из этого вышло:

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас —
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей...

...Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.

Я —
каждый здесь расстрелянный старик.
Я —
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
(Е.Евтушенко)

Все это окончилось в марте 1963 г. Совещание представителей творческой интеллигенции с руководителями Партии и Правительства. На трибуне бледный Вознесенский, и разгорячившийся Хрущев кричит ему: «Вам нравится Запад? Завтра паспорт в зубы и убирайтесь к чертовой матери к своим хозяевам!» А по рассказам, министр культуры Фурцева в это время сжимает под столом колено сидящего рядом Э.Неизвестного (ему там тоже досталось) и шепчет: «Только тихо, только тихо! Только успокойся, всё будет хорошо, всё будет хорошо!»

Тогда всё действительно кончилось сравнительно хорошо, если это можно назвать «хорошо». Уж больно любима народом была эта шумная четверка. И за границами они уже побывали. Скандал обещал быть слишком громким. Поэтому, так кажется, было решено: этих обласкать, время от времени пугая, а вот впредь... Уже в 1964 г. отправляется в ссылку Бродский, затем Даниэль, Синявский и т. д.

Здесь бы можно было и расстаться с героями сегодняшнего рассказа. Они и в дальнейшем ничем себя особенно не опозорили. Кого предавали? Да, в основном, самих себя. Собрали все возможные звания и премии, стали людьми, по советским меркам, богатыми. Вознесенский рассказывал: «Когда я написал, а Пугачева спела «Миллион алых роз», я проснулся от шороха. Это шуршали ассигнации. Я заталкивал их в матрас». Оказалось, что песни приносят очень даже приличный доход, если они непрерывно звучат по радио и телевидению. Да и песни были хороши. «Не думай о секундах свысока» – это Рождественский, а «Хотят ли русские войны» – это Евтушенко. Но это все, как говорится, уже совсем другая история.

Но была еще одна запомнившаяся мне встреча. Через несколько лет Ю. Любимов в «Театре на Таганке» поставил спектакль «Антимиры» по стихам Вознесенского. И вот так уж посчастливилось... Странное дело – там участвовал и Высоцкий, который мне тогда почти не запомнился – его время было ещё впереди. Но вот спектакль уже закончился, а

искушённая публика уходить не спешила, продолжая аплодировать. И тогда с первого ряда поднялся Андрей Вознесенский и прочел: «Прощание с Политехническим»

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
в Политехнический!...

...Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.

Тысячерукий как бог языческий
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны....

....Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —
другие.
Мои ботинки черны как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться....

...ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег...
(А.Вознесенский)

А потом стихи читала Ахмадулина:

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.
Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.
За ним я знаю недостаток злой:
кошунственно венчать «гараж» с «геранью»,
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей...
...И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Все это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.
И что-то в нем, хвали или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови...
(Б. Ахмадулина)

Потом были ещё встречи, но это, как уже было сказано, совсем другая история.

А эту закончим, давайте, еще одним стихотворением Вознесенского:

Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти.
Оранжеволоса шоферша.
И куртка по локоть — для форса...
...Что нам впереди предназначено?
Мы мчимся -а ты божество...
Нас мало. Нас может быть четверо.
И все-таки мы — большинство!
(А.Вознесенский)

P.S. Недавно по Первому каналу русского телевидения прошел сериал «Таинственная страсть», посвященный героям нашего сегодняшнего рассказа. Что об этом сказать? Подобраны хорошие и похожие на

прототипов актеры, звучат хорошие стихи. Но...Но большинству моих сверстников фильм не понравился.

Тут есть два обстоятельства:

Это к любимой женщине надо подходить как можно ближе, тогда уже не видны недостатки и кругом одни достоинства. А в рассказе о поэтах нужна некая дистанция, ибо главное, что они ПОЭТЫ, а не то, как они кушают, выпивают и кто с кем спит.

И второе, связанное с первым – это фильм о людях (хороших, плохих или «так себе», как вам больше понравится). А ведь главное не в этом. Главное – появление этой четверки было СОБЫТИЕМ. Тем событием, о котором я попытался рассказать выше. А это событие было невозможно без НАС. Так вот, эти самые «МЫ» в фильме полностью отсутствуют.

P.P.S. Когда этот материал уже готовился к печати, 1-го апреля, пришла грустная весть – умер Евгений Евтушенко – последний из этой великолепной четверки.

Марина Бондарюк

Москва, Россия



Об Окуджаве. Если б молодость знала...

Когда вам стукнет шестьдесят,
Вы не поймёте сразу,
Что вам уже под шестьдесят
Не может быть ни разу.

Когда вам стукнет шестьдесят,
Вы сможете проверить,
что вам уже за шестьдесят...

Но в это трудно верить.
Булат Окуджава

Булата Окуджаву я увидела в доме Стасика Рассадина. С моим мужем Геней Красухиным, или Генкой, как Булат его называл, они были знакомы давно – встречались в литературной студии «Магистраль», в Домах творчества. В трудную для Булата пору Гена написал и сумел опубликовать в журнале «Вопросы литературы» яркую статью о творчестве поэта. Если мне правильно помнится, это была полемическая статья – в ответ на неприязненные заметки Ст. Куняева, который находил в стихах Окуджавы неточности, ошибки, прямую безвкусицу. Гена давно работал как критик, его знание поэзии было, на мой взгляд, глубоким. Окуджавой он восхищался и не мог допустить несправедливых нападок. Остроумно и точно он их отбивал. А стиль у него был обаятельный, располагающий.



Булат Окуджава

После этой статьи Булат, даря выходящие книги, надписывал их так: «Генке, моему спасителю», после чего шли добрые дружеские пожелания.

Увидев в гостях у Стасика такого близкого Гене человека, чьи песни были нам знакомы с юности, я радостно разулыбылась, но наткнулась на холодное выражение лица. Встречной улыбки – хотя бы из вежливости – не было.

Я удивилась и огорчилась неожиданной надменности. Не знаю, чего во мне было больше. Перед тем, как сесть к столу, Гена подвёл меня к

Булату и познакомил. «Ах, это твоя жена...», – Булат кивнул и даже улыбнулся. По-видимому, вначале он решил, что я одна из его назойливых поклонниц. Но почему не улыбнуться поклоннице, которая, кстати, приглашена в гости к его другу Рассадину?

Настроение в этот вечер было у меня испорчено разочарованием. Оно слегка развеялось, когда Булат после ужина отодвинулся от стола, взял гитару и запел. Интонация, голос, мелодия, слова и манера исполнения – в этой смеси было необъяснимое волшебство. Мелодия проникала в душу, щемительно волнуя её, изумляли и трогали простые, совсем простые, как бы житейски случайные слова: «Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, случайный...» Голос как раз под стать интонации: то резковато–ритмичный («Вы слышите грохочет барабан»), то нежно-протяжный («Моцарт на тоненькой скрипке играет...») Огромное удовольствие от конца вечера всё-таки не смыло задевшее и удивившее меня его начало. Оно запомнилось на всю жизнь. Молодость самолюбиво-обидчива, спотыкается на ерунде.

Когда мы ехали домой вместе на такси, Булат держался по-свойски и рассказывал, что недавно вернулся из лучшего города на свете – из Парижа. Булат говорил, что в продуктовых магазинах Парижа можно увидеть – не десять, не двадцать, а пятьдесят сортов колбасы. Это меня как раз не очень занимало, хотя в Москве в те времена порою и одного-двух сортов колбасы днём с огнём отыскать бывало трудно. Но не о таких вещах мне хотелось бы услышать от человека, вернувшегося на днях из Парижа. Тем более, что совместная дорога была короткая.

По горькой иронии судьбы, Окуджава умер в Париже. При этом он во время болезни мечтал из парижской больницы перебраться в московскую, привычную. Мог ли он представить в своей глуши под Калугой, где преподавал в сельской школе, что его потянет из Парижа домой в Москву, как бы он себя ни чувствовал? Но серьёзность его болезни не позволяла покидать госпиталь. Правда, рядом с ним была его жена Оля. Булат ей говорил: «Только бы теперь вернуться в Москву...» Он, вероятно, справедливо считал, что дома, ему станет во многих отношениях легче. Но никто не знает сроков, которые отмеряет судьба.

Через несколько дней в «Итогах» передали репортаж с улицы Дарю в Париже, где отпевали Булата Окуджаву. В передачу были вплетены архивные кадры – голос Окуджавы, гитарный перебор, знакомая холодноватая отстранённость: «...Надежды маленький оркестрик под управлением любви...» Чудесная мелодия этого оркестрика вплелась в нашу с Геной жизнь, в нашу молодость. Иногда она доставляла мне боль, смутную ревность и ощущение неестественности нашей жизни, словно меня откуда-то отстраняют, хотя я и сама никуда не рвусь. Теперь я понимаю, что к Булату Окуджаве я отнеслась в гостях у

Стасика с повышенными ожиданиями – как к доброму другу... В какой-то период (с ранней молодости) мне казалось, что мир Окуджавы втягивает в себя Гену, забирает его от меня. Его отношение к творчеству друга было сродни влюблённости. Я это ощущала особенно в год рождения сына Кости. Гена приезжал на дачу в Крюково, окрылённый открывшейся поэзией новых песен Окуджавы. И почти всё время их напевал. Я грустно слушала. Мальчик плакал, потому что мы мало обращали на него внимания. Каждый был поглощён своими переживаниями.

А потом и в московском храме Космы и Дамиана была панихида по Булату Окуджаве. Вечером на радио «София» отец Георгий Чистяков, который провёл утром заупокойную службу, говорил нежно и воодушевлённо о двух непохожих, но для русского самосознания очень важных людях: Окуджаве и Сахарове. Высокий дух и поэт, и учёного противостоял лжи. Отец Георгий говорил об их сходных путях преодоления мнимой гуманности коммунистических идеалов. Интеллектуал и добрейшей души человек, о. Георгий с печалью сказал, что второй раз за короткий срок страна так скорбит и прощается с человеком, воплотившим нравственные идеалы эпохи, – с Сахаровым, а теперь с Окуджавой.

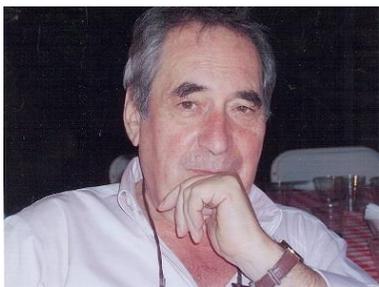
Накануне была очередь в пол-Арбата: струился людской поток к театру Вахтангова для прощания со своим московским, арбатским бардом, чьи песни и живые словесные обороты вошли в интеллигентский фольклор. Он и при жизни был мифической фигурой – теперь миф сформировался окончательно: мерило нравственности, стойкости, скромности. Во многом это соответствовало действительности, но не всегда и не во всём. Я думаю, люди щедро наделяют кумира тем, в чём есть духовная потребность. А его песни, к тому же, располагают к нежной благодарности и живой любви.

В парижском госпитале Булат крестился, получив христианское имя Иоанн. Я молилась: Господи, прими душу новопреставленного Иоанна! Он обладал величайшей тайной таланта, иначе бы его творчество не могло покорить столько людей. И я доверяла горячим чувствам отца Георгия Чистякова, его безмерному уважению личности поэта, поэтому сдерживала свой скептицизм. И всё-таки я не чувствовала того, что испытывали в юности мы с Геней: радостного подъёма от звуков гитары, от слов и голоса Булата Окуджавы. У Гены даже менялось выражение лица, всякий раз становясь глубоко взволнованным, точно он слышал песни Булаты впервые. Мои чувства были куда сдержаннее. Возможно, это было связано с неосознанной ревностью в молодые годы и неожиданной холодностью Булата, с которой я столкнулась в доме Рассадина. Молодость, как я уже писала, бывает обострённо обидчивой.

Но моя молодость уже давно прошла. И когда я поняла, что мне ни разу уже не будет под шестьдесят, как об этом писал Окуджава, я ощутила досаду на свой юношеский максимализм, который отнял у меня многие годы, когда я могла бы искренне восхищаться и наслаждаться редкостным талантом, как делаю это сейчас.

Александр Половец

Лос-Анджелес, США



Булат Окуджава и Америка

Сейчас, годы спустя, все случившееся в те дни порою кажется вычитанным, услышанным от кого-то... Но это было – на твоих глазах и с долей твоего участия в череде неожиданных, не всегда последовательных событий мая 1991-го.

Время уходит, но не уходит вместе с ним из памяти, а наоборот, видятся значимыми даже мельчайшие обстоятельства, при которых все, что случилось – случилось.

Но и не только в памяти дело... Не всегда чувствуешь себя готовым отвечать на расспросы даже близких, а нередко и вовсе незнакомых тебе людей. Все они участливы, доброжелательны, они бережно сохраняют память о замечательном человеке. И все же...

Потому что рассказывая, надо возвращаться памятью в ту ночь, когда мы с Ольгой Владимировной сидели у телефона и думали... нет, просто пытались сообразить: кого из друзей мы упустили, кто еще не знает о беде, настигшей ее мужа.

Начало, казалось, было совершенно замечательное. Застал я их телефонным звонком, когда Булат, Оля и Булат-младший – Буля, оказались в нашем штате: там, в Сан-Франциско, предстояла встреча со съехавшимися со всей Северной Калифорнии бывшими россиянами. Когда-то, порывая, а люди это точно знали, навсегда со страной своего рождения, они везли все же с собой в необратимое, как путь через Стикс, странствие самый драгоценный свой багаж. Этот багаж не по силам было отнять у них вместе с гражданством чиновникам ОВИРов: с ними оставался язык, на котором они учились говорить.

И еще – песни...

Тогда, перед приездом Булата с семьей, в короткой и оставшейся анонимной газетной заметке я, помнится, писал об удивительной смысловой емкости каждой строфы, рождаемой талантом Окуджавы, о совершенно особой афористичности его поэзии. Сейчас я добавил бы: тот, кто может не просто уловить, но принять ее философию, ее глубинный смысл, заключенный в бесконечной любви, даже в обожествлении живого и сущего, тому доступно понимание счастья – быть.

Вот вы берете в руки его сборник, ставите на проигрыватель привезенный с собою диск, остаетесь с ним – ну, хотя бы на полчаса... Замечаете? И потом, может быть, спустя недели, вы слышите вдруг собственный голос, повторяющий строки Окуджавы. Как сейчас: я ударяю пальцами по буквам, наклеенным поверх латиницы моей клавиатуры, наблюдаю на экране рождение этих абзацев – а из памяти не уходит его

...не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта...

Говоря сегодня о творчестве Окуджавы, обращаясь к его человеческой сущности, постоянно чувствуешь опасность соскользнуть в выспренную фразу, употребить нечто высокопарное, – а ведь делать этого ни в коем случае нельзя, как бы ни тянуло: сам он не просто избегал, но активно не принимал подобных речевых оборотов, особенно в свой адрес. Дома у меня, вспоминаю я сейчас, если в его присутствии кого-то заносило в эту зону (всегда и вполне искренне), Булат либо сразу переводил разговор на другую тему, либо, быстро найдя себе несрочное на самом деле занятие, покидал место беседы, и минутой спустя мы видели его уже в дальнем углу комнаты – у рояля, например, поигрывающим несложные гаммы, нащупывающим новую мелодию...

Да. В том разговоре я повторил сказанное по телефону неделей раньше, когда они еще были в Вашингтоне и в вечер после выступления гостили у Аксеновых: жду, буду рад, если решат остановиться у меня – хоть сразу по приезде, хоть после выступления. Правильнее было бы сказать – «выступлений», потому что, помимо лос-анджелесской, предстояла отмененная Булатом позже (как принято у наших импресарио объяснять – «по техническим причинам») поездка в Сан-Диего.

Здесь позволю себе цитату из его письма, пришедшего примерно за год до того: «Дорогой Саша... Приехать, к сожалению, не можем, но, надеюсь, как-нибудь выберемся» (Соблазнительно привести и концовку: «...в Переделкино осень. В России бардак. Но не столько по злому умыслу, сколько по недомыслию. Обнимаю тебя от всех нас. Булат»).

А в этот раз почти условились! Правда, еще тогда, у Аксеновых, как бы между прочим, Булат посоветовал на недомогание: шалит сердце, особо почувствовалось это здесь, в Штатах, в поездках по стране. Мне запомнилась его интонация – как он с досадой произнес: «Стенокардия замучила».

– Покажемся врачам в Лос-Анджелесе...

Прозвучало у меня это не очень уверенно: я помнил о некоторой дистанции, которую Булат установил между собой и медучреждениями – и старательно хранил ее...

Так и в этот раз.

– Не знаю... В Нью-Йорке сделали кардиограмму, Оля настояла, вроде ничего тревожного. Да и в Бостоне, на обратном пути, хотел посмотреть кардиолог. В общем, ты поговори с Олей, она ведаёт этими делами...

Словом, мы не в первый раз загадывали: вот, завершится гастроль – и они задержатся в Лос-Анджелесе, безо всяких уже дел и обязательных встреч, просто перевести дух. И задержались – почти на полгода...

Поставив автомобиль в дальнем углу двора (мы и там-то с немалым трудом нашли место, хотя по протяженности он занимал солидный голливудский квартал), мы шли следом за группой зрителей к зданию самой школы, где готовилось выступление Окуджавы. На самом подходе к ней нас остановил Квирикадзе – кинорежиссер и сценарист, к тому времени автор нескольких оригинальных лент; последняя из них носила название «Путешествие товарища Сталина в Африку», и это вполне говорило само за себя.

Ираклий в Америке оказался именно с этим фильмом, картина имела успех, и настигший его здесь инфаркт никак не был связан с результатами его визита – не вовремя подвело здоровье. Хотя когда это

бывает вовремя?.. Ираклию сделали операцию на открытом сердце, и теперь, несколько месяцев спустя, он вдруг запрыгал перед Булатом. Он подпрыгивал и, подобный большой веселой птице, махал руками-крыльями, на лету объясняя, что американская медицина – лучшая в мире и вот он, Ираклий Квирикадзе, после такой операции готов ставить рекорды в любом виде спорта.

Был концерт. Нет, Окуджава не любил это слово – была встреча его с русским Лос-Анджелесом. Бесконечно трогательное свидание, наполненное непрерывным диалогом зала и исполнителя: когда Булат пел или когда он читал стихи, а зал безмолвствовал – все равно этот диалог не прекращался, и, казалось, насыщенные живым электричеством нити протянулись от сцены к слушателям, они как бы продолжали струны инструмента, который держал в руках Булат. Окуджава ощущал это и, воспринимая реакцию сидящих в зале, произносил слова, которые они помнили и которых ждали от него.

Кардиограмма оказалась скверная – настолько, что Юрий Бузи (фамилия доктора Бузиашвили здесь, для американских коллег и пациентов, оказалась бы совершенно непроизносима), едва взглянув на длинную полосу бумажной ленты, по которой протянулась прыгающая чернильная линия, предложил – да нет, почти потребовал: немедля сделать катетеризацию сердца. Заглянуть вовнутрь, установить точный диагноз и решать – что делать дальше.

– Как? – с грузинским темпераментом восклицал он, опять и опять рассматривая ленту, – как можно!

Он искренне не понимал, «как можно» было отпускать Булата из Нью-Йорка, где симптомы болезни обострились и впервые дали о себе знать по-настоящему и где врач, наскоро осмотревший его, похлопал весело поэта по плечу и со словами «Все в полном порядке!» дал «добро» на его поездку – дальше, по стране. Нет, не просто поездку – но напряженную работу, протянувшуюся на многие тысячи миль, на меняющиеся временные и климатические пояса, на восемь огромных концертных залов, появление на сцене которых требовало не просто особой собранности выступающего, но свойственной выступлениям Булата полной и самоотверженной отдачи.

За три или четыре дня до операции – а о том, что в ней будет необходимость, никто из нас тогда не подозревал, – собрались человек тридцать моих приятелей. Это были те, кто хотел слышать Окуджаву

вблизи, не будучи отделенным от него рядами кресел. И еще они надеялись перекинуться с ним хотя бы парой слов, пожать его руку.

К этой встрече он, Ольга и младший Булат уже с неделю жили у меня – и я мог наблюдать, как все чаще и быстрее утомлялся он от самой, казалось бы, нетрудной работы, от незначительных усилий, даже от неспешной ходьбы. А в тот вечер...

Ольга, почти не мигая, смотрела на Булата, пристроившегося как-то с краю, в привычной ему манере, на высоком деревянном стуле. Булат читал стихи... поднимал на колени гитару и пел – две, три, четыре песенки... нет, баллады, недлинные, спокойно-размеренные и удивительно мелодичные, но порою вдруг взрывающиеся изнутри неожиданным мажорным импульсом.

Небольшая домашняя видеокамера, установленная на треножник, фиксировала каждое слово и каждое движение Булата, каждый звук, извлекаемый аккомпанирующим ему сыном из старенького рояля. Эта лента теперь хранится у меня отдельно от всего видеоархива, но вместе с другими – где он, Оля, Буля в художественной галерее на бульваре Беверли, на набережной лос-анджелесской Венеции, в Китайском городе...

Потом, много дней спустя, мы – Ольга, Булат и я, сгрудившись вокруг портативного кассетника, слушали двухчасовую передачу калифорнийской радиостанции, часть которой была посвящена Булату: записывал я ее просто так, для памяти. Характерное пощелкивание иглы, задевающей царапины на вертящемся в эти минуты в студии диске, беспепеляционно свидетельствовало: пластинка (а это была запись, сделанная несколько лет назад в Париже) не лежала в конверте, дожидаясь своего часа: ее слушали – часто и подолгу.

И я в какой уж раз пытался разгадать тайну, которую знал, правильнее сказать, которой от рождения был награжден Булат, – обходиться без перевода на английский... или японский... или шведский...

Не кажется удивительным, что его строфы растаскиваются по заголовкам в русской периодике, отечественной и эмигрантской. «Возьмемся за руки, друзья...» – придумывать не надо, Булат уже все написал. Или исполненный отчаяния и горечи текст недавнего по тем дням интервью Майи Плисецкой: «Ах, страна, что ты, подлая, сделала».

Но вот сейчас: что, что могло побудить хорошо известного в США и не знающего трех слов по-русски искусствоведа подготовить передачу, а одну из самых популярных калифорнийских радиостанций пригласить его специально для этой цели? Ну, сколько русских слышали в тот час передачу – тысяча? Слушателей должно быть десятки тысяч: время в эфире дорого, даже очень дорого. Стало быть, продюсер программы

должен бы быть сумасшедшим, чтобы предлагать передачи, которые разоряют радиостанцию. Значит, не разоряют...

Вернусь к тому вечеру. Когда все расходились – где-то в первом часу ночи, – Ольга шепнула мне: «Видел? Вот так всегда, когда его слушают... Господи, откуда он силы берет? Ты же помнишь его днем сегодня».

Помню. Конечно, помню: он ходил мрачный, сутулясь, по двору, руки в карманах, освобождая их время от времени только затем, чтобы потереть грудь. Ольга горестно смотрела на него и ни о чем не спрашивала. Она знала – жмет. Так, что порой трудно дышать. Вот уже почти месяц. И почти каждый день.

Вечер этот был, кажется, в четверг. А в понедельник следующей недели к 6 утра мы «прописывали» Окуджаву в медицинском центре Святого Винсента: здесь, в госпитале, принадлежащем католической епархии, базируется один из лучших в стране «институтов сердца» – клиника, где умельцы с медицинскими дипломами пытаются помочь Всевышнему исправить Его упущения и недосмотры.

Собственно проверка – серия медицинских тестов – была назначена на 7:00, именно к этому времени появился Юра Бузи, и Булата, уже переодетого в больничный халат с забавными, затягивающимися на спине тесемками, усадили в кресло, оснащенное по бокам большими велосипедными колесами. Рослый санитар и смешливая круглолицая филиппинка, подталкивая и направляя сзади кресло, покатали Булата по бесконечным коридорам, наказав нам ждать результатов теста в отведенных для отдыха комнатках (они были здесь на каждом этаже), или в местной столовой.

Мы выбрали второе: нагрузив поднос картонными стаканчиками с плещущимся в них американским подобием кофе, крупными, не вполне зрелыми персиками и сладковатыми плюшками, провели чуть больше часа здесь же за столиком, время от времени звоня по внутреннему телефону на санитарный пост 4-го этажа, куда вскоре обещали вернуть Булата.

– Операция неизбежна. Желательно – как можно скорее... Может быть, даже сегодня. Аорта перекрыта на 90 процентов.

Бузи выжидательно смотрел на Ольгу. «На 90 процентов...». Это значит: в сердце настолько же меньше поступает крови.

Мы спустились на первый этаж – здесь, в просторном помещении, смежном с коридором, ведущим в административную часть здания, и разделенном легкими переборками на небольшие клетушки, сидели

сотрудники финансовой части и беседовали с выписываемыми или только еще поступающими сюда пациентами. Чаще – с членами их семейств.

Предъявленные Ольгой бумаги, свидетельствующие о купленном ими по приезде в США страховом полисе, произвели должное впечатление на принимавшую нас чиновницу – молодую восточного вида женщину по имени, кажется, Зизи. Или – Заза, сейчас не вспомнить. Удалившись ненадолго вглубь офиса, она вскоре вернулась, приветливо улыбаясь.

– У вас все в порядке, страховка покрывает 10 тысяч.

– А сколько может стоить операция? – это спросил я: разговор, естественно, велся на английском, причем мне не без оснований казалось, что принимавшая нас сотрудница госпиталя живет в Америке не так уж давно. Однако друг друга мы понимали.

– Тысяч 25. И поскольку пациент не является жителем США, вам придется оплатить разницу сейчас. Во всяком случае, до начала операции.

– Но, позвольте: в кармане никто 15 тысяч на всякий случай не носит. И если операцию назначат на сегодня?..

Чиновница заученно (не мы же первые оказывались в подобной ситуации), но при этом и смущенно улыбаясь, пожала плечами... Так...

Бузи, переговорив с доктором Йокоямой, блестящим, может быть, даже лучшим в Калифорнии хирургом, работающим на открытом сердце, и заручившись его согласием на немедленную операцию, уехал в свой офис – его ждали больные. А мы, Ольга, Буля и я, оставив Булата в палате с кучей газет и журналов, советских и местных, спустя полчаса хлебали у меня дома остатки сваренной третьего дня ухи, заслужившей, кстати, высшую оценку моих нынешних гостей. («Дорогой Саша! Если мы приедем, не забудь приготовить уху!» – это приписка в мой адрес из письма, адресованного Лиле Соколовой. Я и приготовил...)

Что же касается русских газет, их Булат всегда ждал с нетерпением: его волновало все, что происходило на родине, – где бы и как далеко он от ее границ ни оказывался.

Здесь не могу не вспомнить эпизод – вроде бы мимолетный, вроде бы забавный, но и оказавший столь значимым в контексте зашедшей как-то у нас беседы, что я запомнил его почти дословно.

При одной московской церкви состоял служкой или кем-то в этом роде парень, слагавший стихи. Булат, сопровождавший Ольгу в дни посещения ею церковных служб, что случалось более-менее регулярно – настолько, насколько позволяла жизнь, – внутрь обычно не заходил, но прогуливался неподалеку от святого храма, ожидая жену.

Служка, назовем его Коля, прознав, что видит вблизи настоящего поэта, показывал иногда Булату свои стихи – хотя то, что Коля делал, и

стихами-то можно было назвать с большой натяжкой. Булат, однако, внимательно его слушал, даже иногда давал советы, но всерьез творчество Коли по понятным причинам не принимал.

Заметим в этой связи, что для россиян желание самовыразиться в поэтической форме есть нечто органичное, может быть, как раз и составляющее частицу «загадочной», как ее называют, русской души. Так вот, нечто схожее случалось и в Пушкинском музее, где сторожем служил парень по имени Сергей Волгин – это имя напомнила мне в одном из наших недавних разговоров Ольга. И однажды тот прочел четверостишие, поразившее Булата настолько, что он запомнил и вот теперь по памяти смог его воспроизвести. Я его тоже запомнил:

Обладая талантом,
Нелюбимым в России,
Надо стать эмигрантом,
Чтоб вернуться мессией...

Черт меня дернул тогда влезть со своей шуткой.

– Неплохо, – прокомментировал я, – хотя редакторский опыт подсказывает: стихи можно урезать вдвое.

Булат вопросительно посмотрел на меня, и я продолжил:

– Здесь явно лишние 2-я и 4-я строки. Смотри, как хорошо без них: «Обладая талантом... надо стать эмигрантом...». Вот и все.

Булат улыбнулся. И почти сразу нахмурился: шутка моя была явно не в жилу – она могла быть понята как намек (хотя, видит Бог, ничего я такого в виду не имел).

Булат же и в шутку не мог помыслить, что таланту в нынешней России ничто больше не светит... При этом к так называемым «национал-патриотам» Булат относился с большой осторожностью и недоверием. Помню, как-то, отложив просмотренные номера российских газет, в числе которых оказался и прохановский «День», он заметил: «Кошка – тоже патриот. Это же, в конце концов, биологическая особенность – «русский»... Чем же тут хвастать-то? Что дышу местным воздухом?».

– Ну, что будем делать? – вопрос этот относился исключительно к способу немедленного, в течение ближайших двух-трех часов, получения требуемой суммы. Сама сумма не казалась столь уж невероятной, и располагай мы двумя-тремя днями... Но двух-трех дней не было. Не было и одного – было только сегодня.

Сейчас, добравшись до этих строк, я понимаю степень самонадеянности, с которой начал эти заметки – все, мол, помнится, будто было только что: на самом же деле события тех суток смешались в

памяти в одну непрерывную ленту, и точную их последовательность установить сегодня вовсе нелегко...

Кажется, Эрнст Неизвестный был первым, кого мы застали телефонным звонком в Нью-Йорке. Сначала с ним говорила Ольга, потом трубку взял я.

Его реакция была мгновенной:

– Старик, я могу заложить дом – но ведь это недели... А где же сразу взять столько?..

Естественно, это первое, что и мне пришло в голову – но за нереальностью было отвергнуто. Все же, спустя час мы уже знали, что здесь, на месте, мы можем располагать если не всеми 15 тысячами, то значительной частью этой суммы. Следовало торопиться – тогда в три часа дня большинство банков закрывали двери. И было около часа, когда раздался этот звонок.

– Вас беспокоят из госпиталя. Извините, но вас проинформировали не совсем точно: стоимость операции составит около 50 тысяч. И внести их надо сразу. Предпочтительно – сегодня. В противном случае мы выпишем больного.

– Как? Куда выпишете? Его же готовят к операции!

– Не обязательно домой – мы можем перевести его в другой госпиталь. В государственный...

Что такое государственный госпиталь, я знал: мне доводилось навещать в одном из них, далеко не худшем в Америке, Володю Рачихина: заместитель директора картины, он бежал в Мексике из группы Бондарчука, снимавшего там «Красные колокола». И стал героем моей только что вышедшей книги – я приносил ему в больницу ее сигнальный экземпляр.

Потом... потом Рачихин умер, в книге была дописана «последняя глава», где я привел описание той больничной палаты в бесплатной (для неимущих пациентов) университетской клинике, – и с сохраненным редакцией предисловием В.Максимова книга была издана заново. А за много лет до того я навещал в Боткинской больнице, что почти в центре Москвы, на Беговой улице, приболевшую тещу.

Благодаря каким-то моим тогдашним связям в медицинском мире, ее вскоре перевели из коридора, ставшего ее первым больничным пристанищем, в палату, где тесно, ряд к ряду, одна к одной умещалось несколько десятков коек. «Царство скорби! – комментировала Елизавета Николаевна окружение, в котором она оказалась, – видел бы это Боткин, он бы в гробу перевернулся!».

Не стану утверждать, что нечто подобное я застал, навещая Рачихина. И все же... В общем, о том, чтобы переводить Булата в государственный госпиталь, речи быть не могло. И не было...

Да, не все способна сохранить наша память: ну как удержать, например, в голове последовательность звонков, которые мы с Олей безостановочно производили, листая наши телефонные блокноты в попытках застать московских друзей, берлинских, нью-йоркских, бостонских... Здесь день – там ночь, этот в отъезде, тот в больнице...

И почти сразу – шквал ответных звонков.

Не только ответных: весть о болезни Булата распространилась со скоростью, потребной на то, чтобы, узнав о ней, набрать на телефонном аппарате мой номер. Аксенов, Суслов, Надеин – из Вашингтона, Шемякин – из Нью-Йорка... Вознесенский... Коротич... Яковлев Егор – это все из Москвы... Ришина Ира, давняя приятельница и соседка по Переделкино – от себя, но и от «Литературки»... А еще «Комсомолка», «Известия»... и вот – сама официозная «Правда».

Очнулись советский консулат в Сан-Франциско и посольство в Вашингтоне: «Что с Окуджавой? Какая помощь нужна?». – Нужны деньги!. – Сколько? – Много – 40 тысяч, по меньшей мере! Хотя бы гарантии на эту сумму – чтобы провели операцию. После продолжительного молчания: «Будем связываться с Москвой...».

Связываются – до сих пор.

Выручка пришла с неожиданной стороны: один из первых, кто сказал «все сделаем», был живший в Германии Лев Копелев. И сделал, убедив крупнейшее немецкое издательство «Бертельсман», собиравшееся, кстати, печатать сборник Окуджавы, прислать письмо, в котором гарантировалась компенсация госпиталю требуемой суммы. Главное – чтобы операция не откладывалась! Чуть позже позвонил Евтушенко: «Смогу набрать тысяч 10». «Спасибо, пока – подожди», Ольга уже держала в руках телеграмму Копелева. Похоже, все устраивалось.

Потом, дни и нередко даже недели спустя, после первых наших бессонных ночей, после операции и после публикаций в калифорнийской «Панораме», ударили в колокола русские газеты и радиостанции Восточного побережья США – когда надо было рассчитывать с госпиталем. И ведь, в основном, рассчитались: небольшую часть, кажется, тысяч 10, госпиталь взял на себя, тысяч 20 собрали эмигранты. Я и сейчас храню их письма – трогательные, преисполненные почтительной любви к Поэту, – которыми сопровождалась денежные чеки: на 5, 10, 50 долларов...

И ни копейки из России.

Правда, дошли до нас газетные заметки, что где-то в Донецке или Ростове развернули кампанию по сбору средств «на операцию Окуджаве» – где те деньги, никто до сей поры не ведает.

Не молчала и американская пресса: журналисты в «Лос-Анджелес Таймс», например, с изумлением отмечали энтузиазм, проявленный новыми жителями США при сборе средств на операцию российскому поэту. И помещали фотографии, особо часто ту, трех- или даже пятилетней давности, где мы с Булатом гладим устроившегося у наших ног добермана по кличке Фобос. Откуда газета достала эту фотографию, понятия не имею: может, у наших друзей, может, в «Панораме», где я в те дни появлялся на самое короткое время.

Санитары в голубых халатах катили кровать Булата в операционную, мы до какой-то двери сопровождали его, и я изумлялся абсолютному спокойствию, с которым он встречал эти часы. Уже потом, много позже, снова оказавшись в Штатах, он признавался, что да, боялся операции – но еще больше боялся уронить, как он выразился, достоинство – «показать, что боюсь». А так – «...два раза вдохнул – и уснул».

И знаете, что было одним из первых вопросов Булата, когда он отошел от наркоза и нас допустили к нему? Поглядывая сквозь сеть проводков и трубочек, протянувшихся от его кровати к установленной рядом хитроумной медицинской аппаратуре, он спросил: «Как там Фобос?..» И улыбнулся. Кажется, это было первой его улыбкой после перенесенной только что операции. И своего рода сигнал нам: «Я – в порядке». Так мы его и поняли... Да и потом Булат будет часто вспоминать Фобоса в своих письмах. Вот, к примеру, еще цитата: «Нет-нет, да и представляю себя, ходящим вокруг твоего бассейна, и Фобоса, с недоумением вышагивающего следом...».

Наверное, будет тому достойный повод, я еще не раз вернусь к текстам писем Булата, бережно мною сохраняемым вместе с самыми дорогими сердцу реликвиями.

Операция прошла благополучно – настолько, что на второй день после нее врачи подняли Булата на ноги и заставили ходить, хотя бы от кровати до двери палаты. Есть у меня несколько фотографий, сделанных тогда в госпитале, одна из них совершенно курьезная: под койкой Булата – судно для известных целей, с фирменной надписью изготовителя «Bard» То есть «Бард»... Но это – потом. Пока же команда медиков колдовала над Булатом, сердце его, как и положено, было отключено, и длилось это действие часов шесть.

Ольга и Буля в ожидании вестей из операционной не находили себе места, я пытался как-то успокоить их; право, не знаю, насколько успешны были мои попытки – все понятно и так... Где в эти часы был сам Булат? Я спрашивал его потом, ощущал ли он хоть что-то, был ли прелесловутый туннель со светом в самом его конце?

– Не было ничего, – коротко отвечал он, не оставляя места для дальнейших расспросов.

На четвертый день мы уже застали его в коридоре. «Понимаешь, – чуть улыбаясь, рассказывал он, – иду и вижу: прямо навстречу мне идет Ганди. Ничего не могу понять. Подхожу ближе – а это зеркало!». Он, исхудавший больше обычного, действительно, становился удивительно похож на знаменитого мудрого индуса.

«Отдали» его нам на 5-й день – после подписания всякого рода финансовых и прочих деклараций. И медицинских наставлений, причем, одно из главных было – много ходить. Что Булат впоследствии и делал – именно те недели вспоминал он в своем письме: бассейн... собака Фобос...

Предпочтительным, по мнению врачей, должно было быть местонахождение выздоравливающего где-нибудь ближе к воде, к морю. В нашем случае – к океану, что спустя полтора примерно месяца удалось реализовать с помощью моих друзей, больших почитателей творчества Окуджавы: Миша и Лида Файнштейн, живущие в пригородном доме, располагали небольшой квартиркой в многоэтажном здании прямо на океанском берегу в прелестном районе Лос-Анджелеса – Марине-дель-Рей. Там я почти ежедневно навещал Булата с Олей (Буля, убедившись, что отец выздоравливает, по рабочей необходимости отбыл в Москву).

Так прошел еще месяц. Тогда, да и потом, уже вернувшись ко мне, они регулярно показывались врачам, производившим операцию; Оля залихватски, будто урожденная калифорнийка, водила по городу спортивный «Ниссан», в другие дни выполнявший роль дублера моего большегрузного джипа; не однажды навещал Окуджаву на дому и Юра Бузи. Кажется, это он предложил Булату взглянуть на рентгеновские снимки – «до» и «после» операции. Булат отшутился, наотрез отказавшись: «Не хочу смотреть на сердце – противно!». И, обращаясь уже к Ольге, Буле, мне, стоящим рядом, добавил, улыбаясь: «Оставляю это развлечение вам».

Когда я на несколько дней улетел по делам в Нью-Йорк и звонил домой, чтобы справиться, как там дела, Оля передала мне: разыскивает меня кто-то из «Вашингтон Пост», влиятельного столичного издания. Я «вернул» телефонный звонок, журналистка долго расспрашивала меня – о Булате и о событиях этих недель, с ним связанных.

Мне показалось, она была крайне разочарована, когда вместо того, чтобы посетовать вместе с ней по поводу «жестокости, корыстности американской системы здравоохранения», проявившейся, в частности, в ситуации с Булатом, я стал, напротив, хвалить эту систему, и в

особенности госпиталь, где столь блестяще была проведена операция. Статья ее, однако, появилась, после чего вице-президент госпиталя, ответственный и за его коммерческую деятельность, звонил мне, чтобы засвидетельствовать свою признательность по поводу проявленного мною «понимания ситуации».

Так что хочется верить: может, отчасти и после этого разговора госпиталь взял на себя долю расходов по операции – к тому же, некую часть ее стоимости в добавление к собранным нами деньгам покрыло и американское государство. Мы же, вспоминая те дни, чаще стали повторять замечательную фразу, которую искренне произносят по разным поводам и урожденные американцы, и новые жители этой страны: «God bless America!» – «Боже, благослови Америку!».

Америку Булат любил, что дает мне основание добавить несколько слов к сказанному выше. Он охотно приезжал, когда была возможность выступить перед университетскими студентами и профессорами, перед бывшими россиянами. Или поработать в летней русской школе в Вермонте – этот красивейший североамериканский штат нам однажды довелось пересечь вместе, на пути из Бостона, где мы условились встретиться в один из его приездов, – в Нью-Йорк. Так что упомяну напоследок два эпизода из тогдашнего путешествия.

Первый – бостонский. В этом городе жило к тому году тысяч 10 выходцев из разных мест и местечек бывшего СССР; народ, естественно, был разный – не только университетская публика, гордость тамошней эмигрантской общины. Но все они сохраняли привязанность к привычным продуктам питания, что и вызвало к жизни два-три продуктовых магазина, где на прилавках рядом с русскими книгами предлагалась краковская колбаса и сыр сорта «мадригал».

Хозяйка одного из них, Инна, принимая нас у себя дома, рассказала, как однажды некто из числа ее покупателей, почувствовав себя чем-то обиженным, вышел из очереди и произнес следующую тираду: «Я вас выведу на чистую воду! Нам-то известно, чем вы здесь занимаетесь! – Чем? – испугалась хозяйка. И правда, кто знает – может, что с санитарией не в порядке, может, продукт попался несвежий... – Вы, – продолжал, разоблачая владельцев магазина, клиент, – вы покупаете товар дешевле, а продаете его дороже!». Рассказ этот вызвал веселье в компании, но и размышления об устойчивости советского опыта, прочно укоренившегося в сознании наших земляков; Булат его потом не раз вспоминал.

И, наконец, набившись в машину Юры Понаровского, брата известной певицы, живущего под Нью-Йорком, мы за несколько часов одолели мили, отделявшие Бостон от Города Большого Яблока, и, изрядно проголодавшиеся, въехали в Манхэттен. Перекусить следовало срочно –

вселение в гостиницу заняло бы определенное время, есть же хотелось сейчас. Я вспомнил, что мои знакомые – художник Гена Осмеркин и его супруга, бывшая ленкомовская актриса Марина Трошина, готовились на месте купленной ими пельменной открыть русское кафе, и имя ему было уже придумано – «Дядя Ваня». Адрес я примерно знал – и вскоре мы въехали в узкую улицу, залегающую, как ущелье, среди небоскребов центральной части города.

Знаете, что мы увидели, подъехав к нужному дому? На ступеньках, ведущих в будущее кафе, сидела Марина и листала только что пришедшую по почте «Панораму». Хотя, почему «будущее»? Для нас быстро накрыли стол и, несмотря на то, что кафе открывалось только завтра, накормили, чем Бог послал – главным образом, пельменями из запасов доживающего последние часы русско-американского кулинарного предприятия. И было это совсем неплохо – как и все то время, что мы провели в этой поездке.

Повторить бы ее сейчас...

После нескольких дней в Нью-Йорке, была «Аленушка» – пансионат в Лонг-Айленде, существующий заботами концертного импресарио Виктора Шульмана. Имя это знакомо российским исполнителям, гастролирующим по всему миру – и по его антрепризе, и по дому отдыха, расположенному на берегу невероятной красоты озера. Были лодочные прогулки, была сауна и, конечно, долгие вечерние разговоры за обильным столом: здесь же отдыхал в ту пору составивший нам компанию литератор Саша Иванов с женой – известной балериной Олей Заботкиной.

И были еще годы творчества. Были вместительные, и все равно переполненные почитателями поэта залы в самых окраинных, самых отдаленных от России уголках нашей планеты. И в Америке – тоже.

Но об этом – когда-нибудь потом...

Анатолий Валюженич

Астана, Казахстан



Бренд «Лиля Брик»

Передо мной номер редкостной московской «Общеписательской Литературной газеты», №2 (87), 2017 (не путать с общедоступной «Литературной газетой»). На предпоследней странице – рекламное объявление Дома творчества писателей «Переделкино», в котором, в частности, говорится:

«Здесь вы сможете не просто хорошо отдохнуть или творчески поработать, но и побывать в домах-музеях Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Корнея Чуковского, галерее Евгения Евтушенко, погулять по аллеям и улицам, где ходили Валентин Катаев и Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Лиля Брик, Константин Симонов и Роберт Рождественский...».

И никого не удивляет, что рядом с именами широкоизвестных писателей названо имя... Лили Брик. Кто же она и по какому праву попала в этот список? Вряд ли кто-то при этом вспоминает, что она была Музой или невенчанной женой «лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи» Владимира Маяковского. Таких муз и жен в Переделкино пруд пруди (впрочем, там не пруд, а речка Сетунь). Однако, больше ни одна из них не удостоилась подобной почести.

Если же, по возвращении из Переделкино, вы зайдете в знаменитый ресторан «Арагви», что в самом центре Москвы, около памятника Юрию Долгорукому, то там на стене возле зеркала увидите такую памятную доску:

«Это зеркало находится в ресторане «АРАГВИ»

с момента его основания.

*В него смотрелись все знаменитые посетители
от Валерия Чкалова до Владимира Высоцкого,*

*от Ива Монтана до Лили Брик...
Теперь вы видите в нем себя.
и тоже становитесь частью легенды».*



Переделкино
приглашает

В Доме творчества писателей ПЕРЕДЕЛКИНО вы окунётесь в уникальную атмосферу, которую создали самые яркие литературные знаменитости. Здесь вы сможете не просто хорошо отдохнуть или творчески поработать, но и пообщаться в домах-музеях Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Корнея Чуковского, галерее Евгения Евтушенко, прогулять по аллеям и улицам, где ходили Валентин Катаев и Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Лилия Брик, Константин Симонов и Роберт Рождественский... Рядом с нами находится резиденция Московской патриархии с её исторической жемчужной — Преображенским храмом.

Мы ждём вас по адресу: Москва, поселение Внуковское, ДСК «Мичуринцы», ул. Погодина, д.4

Тел. +7(499) 739 09 40;
+7(495) 733 89 10

Кто был автором этого объявления? Кто выбрал среди многочисленных именитых посетительниц этого ресторана единственную – Лилию Брик! – а другие должны посчитать за честь только посмотреть в одно с ней зеркало? Вы скажете, что это преувеличение и будете правы и одновременно неправы: ведь действительно есть что-то магическое в этом имени, что неизменно привлекает к нему и ее почитателей, и ее недругов.

В Санкт-Петербурге существует мини-отель «ЛИЛИЯ-БРИК» (!) по адресу: ул. Маяковского, 46 «в пяти минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская», в перечне услуг которого «допускается размещение домашних животных». Смотрите, как всё здесь сошлось: и Владимир Маяковский с Лилей Брик, и Н. Чернышевский, роман которого «Что делать?» они оба любили, и даже «Щену», которого очень любил поэт, о чем Л.Ю. написала отдельную книжку, в отеле, названном ее именем, место нашлось!

Некая торговая фирма поместила в Интернете рекламу «Блузка «Лиля Брик»»: Италия, хорошее качество, очень легкая, комфортная. Цена 2000 руб.»

Воистину, само имя «Лиля Брик» стало сегодня настоящим брендом – хорошо узнаваемым, привлекательным, внушающим доверие, гарантирующим высокое качество.

Очень часто в рекламных целях используется фотоплакат работы А.Родченко (1925 г.), где из открытого рта снятой в профиль Л.Ю. вырывается призывный рекламный лозунг. Вряд ли кто сегодня помнит, что в изначальном варианте это было: «КНИГИ по всем отраслям знаний», предлагающий продукцию Ленгиза. Сегодня в рот нашей героини заталкивают самую разнообразную рекламу и призывы. Какие уж там «Книги»?!

Образ Л.Ю. широко используется не только в печатной продукции, но, скажем, и в кино. Не только в многочисленных фильмах и телевизионных сериалах «про это, про поэта и про Лилю Брик», но и в совершенно неожиданной привязке. Недавно телестудия «Мир» сняла документальный фильм «Женщина за рулем», напомнив телезрителям, что первой «автоледи» в советской стране была, естественно, Лиля Брик. И телеведущая при его съемке дотошно расспрашивала меня о первой «автоледи».

Когда я закончил составление «Библиографии работ о Л.Ю.Брик», то был потрясен сам, обнаружив, что в этот список входит более 600 библиографических справок! А ведь этот список не может претендовать на абсолютную полноту. Что-то же заставило сотни авторов взяться за перо, чтобы публично выразить свое отношение к ней.

И по большому счету неважно положительное оно или отрицательное. Пытаясь как-то объяснить причину такой популярности ее имени многие видят ее в причастности к имени «лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи» – Владимира Маяковского, музой которого она была. Это он ввёл ее в историю литературы XX века, сделал ее (благодаря ему!) широкоизвестной. Полноте! В последние годы поэтическая слава Маяковского меркнет, читательский интерес к его творчеству падает.

Библиография работ о нем, появившихся в последние годы, несопоставима с аналогичной библиографией, относящейся к Лиле Брик. И порой на ум приходит совершенно крамольная мысль, что, может быть, это Лиля Брик, которая была его музой, еще удерживает его «на плаву»?

А может быть, обывателя привлекают сексуальные страницы ее биографии? Некий «донжуанский список» в его женской интерпретации? Или тайны семейной жизни «треугольника», когда

одновременно два мужчины открыто считались ее «мужьями». Но и такая арифметика любовных связей и любовная геометрия не редкость в истории отечественной литературы, но такого внимания к себе не привлекают.



Есть и еще один «грех» на ее душе, привлекающий внимание к себе проницательного обывателя: ее сотрудничество с «органами». Правда, об этом документально ничего не известно, кроме номера ее «чекистского» удостоверения. Как справедливо заметил шведский профессор-славист Бенгт Янгфельдт: *«Правду мы узнаем, когда откроются для исследователей архивы КГБ (впрочем, может быть, тогда окажется, что Л.Брик не была исключением, а удостоверения ГПУ были и у многих других)»*.

Но многим сегодняшним «исследователям» недосуг ожидать, когда откроются эти архивы, и они прогнозируют уже сейчас по своему разумению скрытые в них тайны, участие в которых легко приписывают нашей героине. Я же хочу обратить внимание на два известных факта.

В разгар кровопролитной Отечественной войны, 19 марта 1943 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О работе Молотовского областного издательства», в котором это издательство было подвергнуто суровой критике в том числе за выпуск *«пошлых рассказов Брик о Маяковском*

«Щен» (!). А через 16 лет, 31 марта 1959 г. было принято специальное (!) Постановление ЦК КПСС «О книге «Новое о Маяковском», в которой были впервые (!) опубликованы письма В.Маяковского к Л.Брик. Вряд ли партийные власти стали бы столь открыто предавать публичной суровой критике своего агента из «органов». Словом, и эта страница ее биографии не могла стать причиной признания ее «феномена».

Так в чем же тогда заключается «феномен Лили Брик», обусловивший ее легендарность? Скорее всего в совокупности приведенных выше причин, в продолжительности ее яркой, насыщенной событиями жизни, в окружении ярких личностей эпохи.

Считается, что настоящая женщина должна быть «женщиной-загадкой». В этом качестве Лиле Юрьевне, как говорится, не занимать. Она поистине кладезь загадок и одна из них, может быть главная, в том, в чем заключается феномен ее легендарности.

БОЛЬШЕ СВЕТЛЫХ ПОЛОС В ЖИЗНИ
ПОДПИСКА! СРОЧНО НА ПОЧТУ!

WWW.AIF.KZ

ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
ОТ ТЕМНА ДО ТЕМНА

Если в вашем доме поселился «замечательный сосед», играющий на кларнете и трубе, или от темна до темна на улице «поёт гитарная струна» - бессонница вам обеспечена. А чему помимо здоровья она наносит вред? Учёные подсчитали, что у невыспавшегося человека работоспособность падает на треть. Интересно, что средняя продолжительность сна американцев - 522 мин. и по производительности труда в мировом рейтинге они на 3-м месте. Россияне спят значительно меньше - 420 мин. Может, поэтому по производительности мы лишь на 42-м месте? Скоро в России может появиться система фиксации нарушений режима тишины. Рядом с камерами видеонаблюдения повесят датчики контроля звука. Нарушителей будут фиксировать и привлекать к ответственности. Наконец-то отоспится и долгоим Америку!

СПАТЬ!!!

Использован плакат Александра Родченко «Книги по всем отраслям знания»

Она и я вместе с ней, в качестве ее биографа, предлагаем читателям самим попытаться разгадать эту загадку.

Но какие бы ни были причины ее феноменальной популярности, можно с уверенностью констатировать, что ее имя стало настоящим брендом, характеризующим высокое качество, долговечность, доступность рекламируемого предмета.

Как бы порадовался Маяковский, который много занимался рекламой, если бы мог предположить, что имя его Музы стало брендом. Он и сам мог бы откликнуться на это, например, такими строками:

*Наш призыв переходит в крик:
Покупайте товары «Лиля Брик»!*

или:

Селитесь в гостиницу «Лиля Брик»!

Бенгт Янгфельдт

Стокгольм, Швеция



Об Анатолии Валюжениче, Осипе Брике и Владимире Маяковском

Во время беседы с Инной Юльевой Генс – вдовой В.В. Катаняна – весной 2004 года мы стали говорить о новонайденной свободе изображать советскую историю без прикрас. И с сожалением констатировали, что Маяковскому эта возможность ничего хорошего не принесла. Если в советское время он изображался пролетарским поэтом и рупором коммунизма, то теперь интересовались почти исключительно его личной жизнью, при том об этом писалось вульгарно и в поисках сенсаций. Кроме того, интерес издателей и читателей вызывал не

Маяковский, а женщины в его жизни, главным образом, разумеется, Л.Ю. Брик.

Беседа с И.Ю. Генс состоялась в квартире на Кутузовском проспекте, которую я посетил впервые в марте 1972 года. Пока мы говорили, в моей голове прогремела мысль, которая была такой четкой и вызывающей, что я ее *услышал*: «Если ты такой умный, напиши эту книгу сам!»

Верен мысли, пронесшейся через мою голову в бывшей квартире Л.Ю. Брик и В.А. Катаняна, вернувшись в Стокгольм, я сразу взялся за работу над биографией Маяковского. Начал я эту работу после десятилетнего перерыва в активных занятиях Маяковским.

После 1992 года, когда вышел сборник *Якобсон-будетлянин*, я занимался научной работой, далекой не только от Маяковского и русского авангарда, но и от русской литературы вообще. Из-за своего долгого отсутствия в «маяковедении» я четко осознавал, что для успешного завершения такого большого проекта, как сочинение биографии, мне нужна библиографическая и прочая помощь.



Анатолий Валуженич

Обратился я за этой помощью к Анатолию Васильевичу Валуженичу. Он отозвался на мой проект с большим энтузиазмом, и в вышедшей спустя три года биографии я смог со всей искренностью поблагодарить его за эту помощь, без которой «книга была бы значительно беднее».

С А.В. Валуженичем я был знаком лишь заочно. Впервые я услышал о нем от В.А. Катаняна в семидесятые годы, когда начал заниматься Маяковским. «Вот, де, есть в Казахстане человек, инженер (!), который помешан на Брикe, собирает все, что с ним связано».

Разумеется, никакого контакта между мной и этим «человеком в Казахстане» не могло быть, и не только по географическим причинам: во-первых, сама тема была чуть ли не под запретом, во-вторых, связь с иностранцем могла бы принести ему неприятности.

В советские годы инженер-энергетик занимался своей «подрывной» литературной работой в Целинограде кропотливо и целеустремленно, ничего не сумев опубликовать. Зато после падения советской системы он развел бурную публицистическую деятельность. С начала 1990-х годов, помимо множества журнальных статей, А.В. Валюженичем опубликованы четыре книги, посвященные О.М. и Л.Ю. Брикам и, тем самым, косвенно и Маяковскому.

Первая, *Осип Брик: Материалы к биографии*, вышла в 1993 году, к столетию со дня рождения Маяковского, в Акмоле (как тогда назывался Целиноград). В этой книге собраны статьи Брика, воспоминания о нем и заметки Валюженича о жизни и творчестве Брика, так же, как и библиография работ Брика, включающая почти 500 единиц. Этим сборником была не только положена основа новой дисциплины – «бриковедения», – но обогащено и «маяковедение».

Издать книгу было трудно, но уже не по литературно-политическим причинам, а по чисто экономическим. Спонсор нашелся в виде производственного объединения «Целингерго», где Валюженич к тому времени проработал уже 30 лет.

Книга напечатана малюсеньким тиражом и на плохой бумаге, и редаKTура оставляла желать лучшего из-за неопытности и автора, и его издателя. Это все глубоко символично. Пока в Москве блюстители идеологической чистоты занимались тем, чтобы мешать серьезным ученым заниматься Маяковским и русским авангардом, закрыв доступ к архивам, в далекой Акмоле инженер-энергетик собирал материалы для сборника, дающего больше пищи для науки, чем все хорошо изданные столичные сборники о Певце Революции вместе взятые.

Через десять с лишним лет вышла следующая книга А.В. Валюженича *Лиля Брик – жена командира. 1930-1937* (Астана 2006), солидный том (более чем на 600 страниц), в котором собраны материалы – главным образом, эпистолярные, но и мемуарные, и документальные – о жизни Бриков в тридцатые годы, с обширными комментариями составителя.

Здесь представлен и богатый иллюстративный материал из разных архивов. Второе издание вышло в 2008 году, в этот раз уже в Москве (изд. Русская деревня). Третье осуществилось в виде первого тома двухтомника *Пятнадцать лет после Маяковского* (Москва – Екатеринбург, изд. Кабинетный ученый, 2015), где второй том

составляет вышедшая впервые книга *Последние годы О.М. Брика. 1938-1945*.

Двухтомник этот состоит в общей сложности из 1000 с лишним страниц и является достойным завершением многолетнего изучения А.В. Валюженича жизни и творчества О.М. Брика – его *tagnit opis*. Казалось, этим можно было бы довольствоваться.

Но в конце прошлого года вышел еще один сборник *Феномен Лили Брик* (Москва – Екатеринбург, изд. Кабинетный ученый, 2016). Сюда вошли не только библиографические материалы – как самой Л.Ю. Брик, так и о ней – но и прекрасно документированные статьи о самых гнусных страницах истории советского «маяководения»: скандал вокруг 65-го тома Литнаследства, огоньковская травля Л.Ю. Брик, закрытие музея в Гендриковом переулке и т.п.

Феномен Лили Брик имеет подзаголовок «Биобиблиографический роман». На самом деле, это определение могло бы служить подзаголовком ко всем книгам А.В. Валюженича. Он замечательный библиограф, который выстраивает найденные им факты как своего рода роман. В книгах А.В. Валюженича есть и ошибки и просчеты, и не со всеми его доводами я согласен. Но в данном случае речь о другом. О том, как «человеку в Казахстане» удалось в нелегких условиях, далеко от столичных архивов и контактов, спасти литературное наследие одного из самых одаренных и влиятельных культурных идеологов 20-го века, Осипа Максимовича Брика. О том, как этой работой он существенно дополнил и биографии Владимира Владимировича Маяковского, и Лили Юрьевны Брик.

Это не мало; это, на самом деле, не менее, чем подвиг.

Елена Пацкина,

Москва, Россия



Беседа с Мишелем Монтенем о любви и браке. Из цикла Воображаемые беседы с мудрецами

Сегодня наш неугомонный медиум вызвал дух своего любимого французского мыслителя и мысленно поговорил с ним о наболевшем.¹⁵

М. – Уважаемый Учитель, нас разделяют почти 5 веков. Изменились государства, нравы и обычаи. Технический прогресс в буквальном смысле «сказку сделал былью». Вы не поверите, но космонавты побывали на Луне!

Тем не менее, во все времена люди остаются людьми и «ничто человеческое им не чуждо». Они по-прежнему хотят любить и быть любимыми. Но в наши либеральные времена произошла «сексуальная революция» и отношение к семейной жизни очень изменилось. Люди могут жениться и разводиться неоднократно. В Ваше время все было иначе, однако внебрачные связи для мужчин не возбранялись, а, напротив, делали честь удачливым кавалерам. Скажите, любовь является непременным условием для брака?

М. М. – Любовь не терпит, чтобы руководствовались чем-либо, кроме нее, и она с большой неохотой примешивается к союзам, которые установлены и поддерживаются в других видах и под другим

¹⁵ Все высказывания мудрецов автор берет из их сочинений.

наименованием; именно таков брак: при его заключении родственные связи и богатство оказывают влияние – и вполне правильно – несколько не меньшее, если не большее, чем привлекательность и красота.



М. – Но разве не тяжело жить с супругом, которого не любишь?

М. М. – Что бы ни говорили, женятся не для себя; женятся несколько не меньше, если не больше, ради потомства, ради семьи. От полезности и выгоды нашего брака будет зависеть благоденствие наших потомков долгое время после того, как нас не станет.

М. – Вероятно, для такой жизни нужна изрядная степень самоотверженности. Но люди, как правило, эгоистичны и хотят думать не только о потомстве, но и о собственных радостях.

М. М. – Мне неведомы браки, которые распались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности. В этом деле требуются более устойчивые и прочные основания и действовать тут нужно с неизменной осторожностью; горячность и поспешность здесь ни к чему.

М. – Конечно, поспешность бывает опрометчива, но как жить без любви?

М. М. – Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ей сопутствующее; он старается возместить ее дружбой.

Это – не что иное, как приятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязательных взаимных услуг и обязанностей.

М. – Можно ли получать удовольствие от постоянного присутствия рядом

нелюбимого человека? И если это такое приятное проживание, почему люди не всегда счастливы в браке?

М. М. – То, что мы видим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о ценности и важности брака. Если вступать в него обдуманно и соответственно относиться к нему, то в нашем обществе не найдется, пожалуй, лучшего установления.

М. – Если это такое хорошее установление, почему оно не дает счастья большинству людей?

М. М. – Мы не можем обойтись без него и вместе с тем мы его принижаем. Здесь происходит то же, что наблюдается возле клеток: птицы, находящиеся на воле, отчаянно стремятся проникнуть в них; те же, которые сидят взаперти, так же отчаянно стремятся выйти наружу.

М. – Что говорят на этот счет философы?

М. М. – Сократ на вопрос, что, по его мнению, лучше – взять ли жену или вовсе не брать ее, – ответил следующим образом: «Что бы ты ни избрал, все равно придется раскаиваться».

М. – Вот видите. А великий философ А. Шопенгауэр писал: «Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности». Разве он не прав?

М. М. – Для прочного брака необходимо сочетание многих качеств.

В наши дни он приносит больше отрады людям простым и обыкновенным, которых меньше, чем нас, волнуют удовольствия, любопытство и праздность. Вольнолюбивые души, вроде моей, ненавидящие всякого рода путы и обязательства, мало пригодны для жизни в браке.

М. – Однако Вы женились.

М. М. – Руководствуйся я своей волей, я бы отказался жениться даже на самой мудрости, если бы она меня пожелала. Но мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой.

М. – Как же это случилось?

М. М. – Я никоим образом не жаждал этого шага; меня взяли и повели, и я был подхвачен случайными и посторонними обстоятельствами.

Ибо не только вещи сами по себе стеснительные, но и любая вещь, какой бы отвратительной, мерзкой и отнюдь не неизбежной для нас она ни была, не может не стать в конце концов приемлемой в силу известных случайностей и условий, – вот до чего шатки человеческие устои!

М. – Да, это часто случается: думаешь одно, а под влиянием разных обстоятельств поступаешь совсем наоборот.

М. М. – И, разумеется, я был подготовлен к браку гораздо хуже и менее пригоден к нему, чем теперь, когда испытал его на себе. И сколь бы развращенным меня ни считали, я в действительности соблюдал законы супружества много строже, чем обещал или надеялся в свое время.

М. – Ваша порядочность безусловна.

М. М. – Свою свободу следует ревниво оберегать, но, связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга, общим для всех, или, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Кто заключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в нее ненависть и презрение, тот поступает несправедливо и недостойно.

М. – Таких людей немало. На бракоразводных процессах бывшие супруги порой говорят друг о друге такое, что уши вянут. Особенно, когда дело касается раздела имущества. А ведь когда-то эти люди давали клятвы и надеялись на счастье.

М. М. – Если не всегда выполняешь свой долг, то нужно, по крайней мере, всегда помнить о нем и стремиться блюсти его. Жениться, ничем не связывая себя, – предательство.

М. – А все-таки, почему столь часто браки страстно влюбленных людей оказываются недолговечными?

М. М. – Цели, преследуемые любовью и браком, различны, и все же, они некоторым образом совместимы друг с другом. За браком остаются его полезность, оправданность, почтенность и устойчивость; наслаждение в браке вялое, но более всеохватывающее.

М. – А как же любовь?

М. М. – Что до любви, то она зиждется исключительно на одном наслаждении, и в ее лоне оно и впрямь более возбуждающее, более пылкое и более острое, – наслаждение, распяляемое стоящими перед ним преградами.

М. – Разве преграды не охлаждают любовный пыл?

М. М. – А в наслаждении и нужна пряность и жгучесть. И в чем нет ранящих стрел и огня, то совсем не любовь. Щедрость женщин в замужестве чересчур расточительна, и она притупляет жало влечения и желаний.

М. – И что остается жене, если муж к ней охладел? Она тоже захочет искать радости на стороне. Так обычно и случалось.

М. М. – Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, – ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин. Вот почему у них с нами естественны и

неминуемы раздоры и распри, и даже самое совершенное согласие между ними и нами – в сущности говоря, чисто внешнее, тогда как внутри все бурлит и клокочет.

М. – Значит, в любом браке не все так гладко?

М. М. – Как горести, так и улады супружества благоразумные люди таят про себя.

М. – Какие горести наихудшие?

М. М. – Как бы там ни было, по совести говоря, я не знаю, можно ли натерпеться от женщин чего-либо горшшего, нежели ревность: это самое опасное из их качеств, подобно тому как в их естестве самое опасное – голова.

М. – Вы действительно такого мнения об умственных возможностях прекрасного пола?

М. М. – Питтак говорил, что у всякого найдется своя напасть, а у него – дурная голова его женушки; не будь этого, он почитал бы себя счастливым во всех отношениях. Это очень тяжелое бремя, и если столь справедливый, мудрый и доблестный человек находил, что оно ему портит жизнь, то что же тут делать нашему брату – мелким и жалким людишкам?

М. – Действительно, остается только одно – терпение.

Как сказал остроумнейший американский писатель А. Бирс:

«Терпение – ослабленная форма отчаяния, замаскированная под добродетель».

М. М. – Тот, кто сказал, что удачные браки заключаются только между слепой женой и глухим мужем, поистине знал толк в этих делах.

На этом мудром высказывании наш диалог с Мишелем Монтенем завершился.

Часть 4

О живописи



Александр Сиротин

Нью-Йорк, США



Нидерландские заметки. В музее Ван Гога

...Так получилось, что Нидерланды долго оставались в стороне от моих европейских маршрутов. А тут возник повод: мой старший внук Себастиан учится в Лейденском университете в Гааге. Надо его навестить, а заодно познакомиться со страной. Я решил за 6 дней побывать в Амстердаме, Гаарлеме, Лейдене, Гааге, Дельфтах и Роттердаме. В каждом из городов есть что посмотреть.

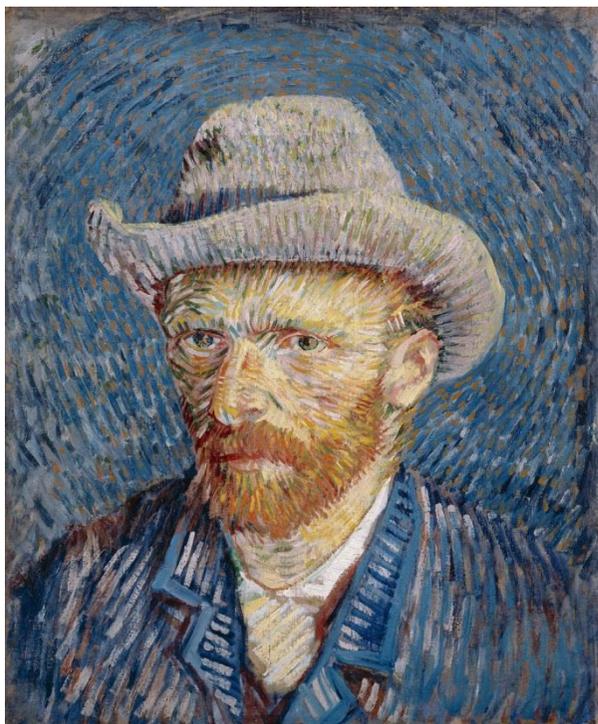
Досмотр в аэропортах ужесточился. В нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди опять надо снимать обувь. Мой чемодан вызвал подозрение. Его открыли и изъяли крем для бритья: «Всё, что подпадает под категорию жидкости или желе, брать нельзя».

Так я остался без пены. Забегая вперёд, скажу, что в Амстердаме, когда я покидал Нидерланды, направляясь в Польшу, у меня забрали тюбик зубной пасты и маленький штопор.

Из Варшавы я решил слетать на 3 дня в Минск, благо визы недавно были отменены, если пребывание в Беларуси не превышает 5 дней. Туда я решил лететь вообще без всяких вещей, чтобы больше ничего не дарить таможенникам.

Ещё из Нью-Йорка я по Интернету снял на две ночи жильё в центре Амстердама, в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Также

из Нью-Йорка я списался с некоторыми музеями и заказал билеты. Из аэропорта доехал до Амстердама на поезде, забросил вещи в свою комнату и помчался в музей Ван Гога. Надо было спешить, так как музеи в Нидерландах открываются в 9 или в 10 утра (некоторые в 11), а закрываются в 5 или в 6.



Автопортрет в серой фетровой шляпе

Впрочем, в Амстердаме есть несколько музеев, работающих до позднего вечера: это дом-музей Анны Франк, а также специфические музеи в квартале «Красных фонарей».

В первые часы я думал только о том, как побыстрее дойти до Музея Ван Гога, чтобы провести там как можно больше времени.

До сих пор в разных музеях я видел тот или иной его автопортрет, но, попав в зал, где висят только его автопортреты, я почувствовал, что Ван Гог – мой художник, он стал мне понятен.

Когда-то я читал изданные на русском языке письма Винсента к брату Тео, но мало что понял. Оказавшись один на один с автопортретом, начинаешь слышать голос художника.

Ни на одном из автопортретов он не улыбается. Но и печали не видно. Он очень сосредоточен на какой-то мысли. Он всматривается. Не в нас. В самого себя. Он уходит взглядом в бесконечный мрак собственной души. Не пугается. Изучает. Краски яркие: смеси зелёного, жёлтого, красного, синего, а за ними – мрак, чёрная дыра, чёрная бесконечность. Вот о чём рассказали мне его автопортреты 1886-87-88 года. Мучительно сомневаясь в себе, Ван Гог познавал самого себя. И познавал мир вокруг.

Только в музее Ван Гога я увидел, что в его пейзажах, жанровых сценах, в натюрмортах – всё то же разочарование. У других пейзажистов, в основном, очарование природой, а у Ван Гога – разочарование, выражение фобий, страхов. В пейзажах то же одиночество, то же мрачное восприятие мира, несмотря на буйство красок. На его полотнах дети не улыбаются. Даже кошка печальна. «Едоков картофеля» он видит дегенератами. Эти бедняки не умиляют его, а вызывают жалость вместе с отвращением.

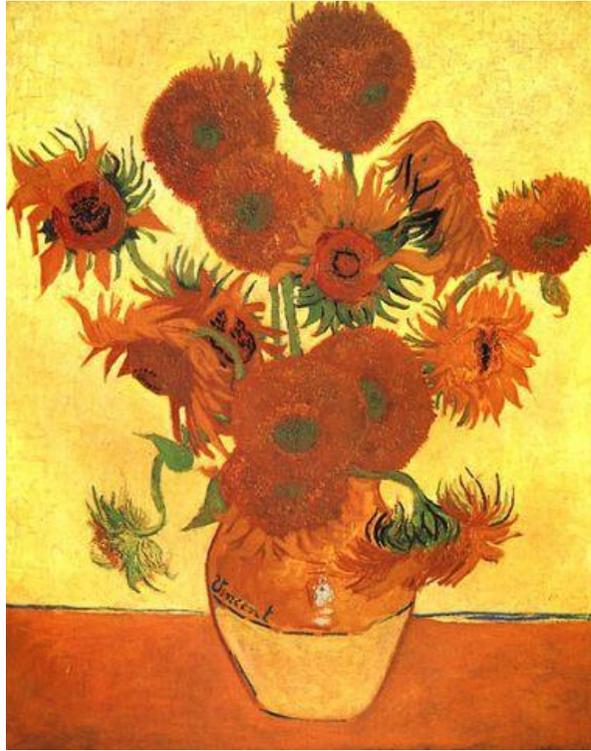
И здесь художник следует традиции таких своих великих земляков, как Питер Брейгель-Старший и Питер Брайгель-Младший, как Адриан ван Остаде, которые видели грязь и убожество жизни и крестьян, и горожан. Когда смотришь на автопортрет Ван Гога в серой фетровой шляпе на фоне многоцветного водоворота, то кажется, что человека затягивает в воронку.

Эти цветные круги напомнили мои детские сны: когда мне было лет 5-6 и у меня была высокая температура, то в горячечном полусне – полубреду мне виделись цветные круги, расходящиеся от центра, уносившие меня в неведомое, пугающее пространство.

Вангоговские подсолнухи знакомы, наверно, каждому по разным выставкам или хотя бы по репродукциям, но в амстердамском музее, стоя перед «Вазой с пятнадцатью подсолнухами», я увидел, что эти подсолнухи кричат. Беззвучно кричат, что ещё сильнее. В картине «Цветущий сад» деревья зловещие, на первом плане дерево сухое, мёртвое, его ветви словно костлявые руки смерти. Картина «Корни» – о том же.

Грязноватый тёмно-зелёный цвет, который Ван Гог часто использует для фона в портретах – цвет умирания. «Поле пшеницы под грозовым небом», и особенно «Вороны над пшеничным полем» – это уже Эдгар По. Даже в «Цветущих ветвях миндаля» радость цветения омрачена чёрными точками.

Когда была выставка картин Ван Гога в Нью-Йорке, я любовался его «Ирисами», но увидев вариант картины в Амстердаме рядом с другими работами художника, подумал, что его ирисы – это черви. Не слишком ли мрачно? Может, я ошибаюсь? Но друг Ван Гога Поль Гоген пишет



Ваза с 15 подсолнухами

его именно таким в картине «Портрет Винсента Ван Гога, рисующего подсолнухи». Да и сам Ван Гог, уже ничего не зашифровывая, в картине «Пьета» изображает самого себя в виде умирающего Иисуса Христа.

У каждого может быть свой Ван Гог. У меня он такой. Именно таким я унёс его из Музея Ван Гога в Амстердаме.

Ефим Сомин

Бостон, США



Боттичелли и поиск божественного. Выставка работ Сандро Боттичелли в Музее изящных искусств Бостона

Крупнейшая в истории США выставка раннего гения высокого ренессанса Сандро Боттичелли проходит сейчас в Бостоне (до 9-го июля). Представлены 24 картины из разных галерей мира, включая несколько полотен из флорентийской Уффици, а также из бостонских музеев. Кроме Боттичелли, выставлено небольшое число работ современников художника и его учителя Филиппо Липпи.

Помню из давних лет в какой-то детской книге (*Кондуит и Швамбрания* ?), кто-то не особенно положительный манерно восклицает: «Примавэра, Боттичелли!» И правда, ПримавЭра, ну и еще Рождение Венеры, то есть женщины в прозрачных, развевающихся одеждах с «боттичеллиевскими» лицами – это первое, что приходит в голову.

И хотя эти два шедевра итальянское правительство записало в невыездные, такие женщины на бостонской выставке есть. Это отдельно стоящая *Венера* из Турина и *Афина в Палладе и кентавре* из Уффици. И надо сказать, что представляют они эту категорию очень достойно. Венера хоть сейчас готова отправиться в плавание на раковине. Афина мудростью (и красотой) легко укрощает дикого, но колоритного кентавра, хотя и держит в запасе алебарду. Считается, что для всех них послужила моделью одна женщина, Симонетта Веспуччи, рассказ о которой был опубликован в журнале ЧАЙКА. Замужество ввело ее во

влиятельный флорентийский клан Веспуччи. И да, Америго Веспуччи был близким родственником по мужу.



Прекрасно, хотя и ожидаемо. Но выставка идет гораздо дальше этого стереотипного образа. Для начала, по разряду божественного здесь проходит далеко не только античность. Есть разумеется несколько мадонн. Они тоже в большой степени того же канона, хотя и не обязательно Симонетты.

Однако одна из картин поражает нестандартными позами. Это *Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем* (Палаццо Питти), Здесь верхняя часть тела мадонны и все тело младенца расположены горизонтально, лицом вниз. Можно было бы сказать, что они смотрят на стоящего ниже мальчика Иоанна, если бы глаза обоих его родственников не были закрыты! На самом деле считается, что мать передает младенца кузену, что называется не глядя, хотя до крещения осталось еще много лет. Эта картина была написана в годы правления Флоренцией Джироламо Савонаролы, строгого монаха с диктаторским уклоном. Античные темы в это время отошли на второй план.

Но возвратимся к мифологии: мое внимание привлек *Суд Париса*. Три богини и молодой принц-пастух изображены на фоне уходящего вдаль пейзажа, напоминающего нидерландцев, что не часто встречается у Сандро. Еще более интересен баланс между левой и правой половиной полотна. Слева – Афина, Гера и Афродита, пытающиеся склонить на свою сторону неопытного и подверженного влияниям судью. Справа от

Париса – коровы, лошади, овцы и козы, выписанные с таким же вниманием и весом, что и небожительницы.

И наконец, в самом центре картины, между Парисом и Афродитой – собака, которая, похоже, оценивающе смотрит на богиню, готовясь дать совет о правильном выборе нерешительному пастуху. Она играет ту же роль, что и девочка в желтом платье в появившемся на два века позже *Ночном дозоре* Рембрандта. Оба, казалось бы, случайных персонажа уzurпируют внимание, по праву принадлежащее более важным персонам (к большому неудовольствию почтенных бюргеров заказчиков в случае Рембрандта; греческие богини у Боттичелли промолчали).

Работы современников тоже представлены на высшем уровне. При входе вас приветствует просветленная мадонна Фра Филиппо Липпи. Смертная маска Лоренцо де Медичи (Орсини Бенинтенди) с его утиным носом и выдающимся подбородком, в торжественном обрамлении, прославляющем деяния правителя, прозванного Великолепным.

И наконец, одна из моих самых любимых картин всей выставки (о вкусах не спорят) – *Архангел Михаил и дракон* работы Антонио дель Поллайоло. Архангел разумеется дракона убивает, а не беседует с ним о погоде. Это несмотря на то, что миниатюрный щит высокопоставленного воина может легко уместиться в разинутой пасти ползучего гада. На шлеме героя – крылышки, как у Меркурия.

Но больше всего меня впечатлил его роскошный черный с позументом кафтан, очень похожий на кафтаны членов ансамбля грузинского танца, которых я видел недавно в опере Рубинштейна *Демон* (тоже в Бостоне). Должен признаться, что я наверно равнодушен к картинам, где витязи в блестящих доспехах приканчивают красочных змеев. Мне еще больше понравился *Святой Георгий с драконом* на выставке Карло Кривелли в музее Изабеллы Стюарт Гарднер в прошлом году.

Вот вам мое безусловно персональное впечатление от выставки. Если хотите составить свое, есть еще время побывать в Бостоне, единственном городе США где Боттичелли в этот раз останавливается. Кстати, в этом же музее и в это же время проходит тоже весьма нестандартная выставка *Матисс в своей студии*, так что есть возможность убить второго крупного зайца в один визит.

Вера Чайковская

Москва, Россия



Синий лев. Выставка Льва Саксонова в галерее на Чистых прудах

Откуда такое название? – возмутится читатель. – Сказки что ли будете рассказывать?

И сказки, и притчи, и космические поэмы. О чем только ни подумалось на странной этой выставке, где рафинированные иллюстрации к пушкинскому «Скупому рыцарю» совместились с бесшабашно-наивной «Детской серией» и какой-то прямо «бытовой» (на первый, конечно, взгляд) серией «Транспортной».

Но сначала о названии статьи, а скорее, об имени автора. Оно ведь определяет жизнь. А нашего героя зовут Львом. Как же он не похож на своего тезку – замечательного современного художника Льва Табенкина. У того и сила, и ярость, и бурный темперамент. Настоящий лев!

Может быть, Саксонов – лев не настоящий? Вот-вот, он лев сказочный, я даже знаю, какого цвета, – синего!

Таким он и изобразил своего двойника в «Детской серии» – синим, доброжелательным и, я бы даже сказала, интеллигентным.

И знаете, что он держит в лапах? Горшок с цветком, который, видимо, собирается подарить влюбленной паре! Парочка стоит чуть поодаль и тоже синего цвета, ему «в масть». Родственники, должно быть, если не по крови, то по духу.

А дух у всех этих «синих львов» благородный, веселый и исполненный, как бы лучше выразиться? Уж очень Саксонов не любит словечка «жалость», на его взгляд, слишком обидного для ее «объекта». Уж лучше пусть будет «Pity» (как он назвал еще одну свою серию).

Никому не обидно: ни девушке, помогающей раненой птице, ни самой птице. Есть у Саксонова на выставке и такая картинка.



Л.Саксонов. Из серии «Скупой рыцарь»

Собственно говоря, жалость или, выражаясь высоким слогом, – милосердие – основная тема Льва Саксонова, пронизывающая все эти прямо-таки космического размаха работы.

Нет, не подумайте, они по размеру совсем небольшие! Большие – ведь это нескромно, а наш Лев очень не любит вокруг своего имени шумихи.

Но поразительное дело! – каждая маленькая работа словно бы подключена к космосу, крошечные земные дела вливаются в большой космический поток. Особенно это ощутимо в серии «Скупой рыцарь» – суровой, страстной и даже мистической.

С гулками пространствами подземелья, где таинственно мерцает кусок кирпичной стены, и пустыми «клубящимися» далями средневековых площадей, с вознесенными вверх и высветленными в грозовой темноте куполами храмов разных религий. Разглядывая эти в смешанной технике исполненные работы, припоминала и «Натана Мудрого» Лессинга с идеей примирения всех религий, и «Строителя Сольнеса» Ибсена с предьявленным старости счетом от юности: «Отдай мне мое королевство!», да и шекспировского Шейлока, который надеялся в сем

«христианнейшем из миров» лишь на золото, которое может спасти его с дочерью.

Это не иллюстрации в прямом смысле, а какие-то размышления на заданные Пушкиным темы. Тут и тема «рыцарства», вступающая в непримиримое противоречие со скупостью героя. Но все же он рыцарь, готовый на поединок даже с собственным сыном. Вот посреди композиции прорисовывается большая брошенная перчатка – знак вызова. А вот где-то вверху листа вступают в бой два всадника, а внизу видна фигура с поднятой к небу рукой. Что-то не то творится в «датском королевстве»!

А как обыграна скупость! В центре подземелья из полутьмы выступают висящие на металлическом круге с желтым гербом громадные старинные ключи от сундуков, словно это ключи от счастья. Да ведь для старого барона в них и впрямь таится счастье, сила, власть.

И все это хочет отнять Молодость.

Как-то даже жалко становится старого барона с искаженным лицом и пошатнувшейся фигурой, окруженного по стенам подземелья маниакальными «проекциями» его сознания – молодым лицом сына, претендующего на сундуки. Барон словно сливается и с пушкинским ростовщиком, и с шекспировским Шейлоком. Всех их почему-то ужасно жалко, простите, pity.

У замечательного колориста Саксонова тут работают контрасты черного и белого, цветного и бесцветного, вспышек света посреди тьмы, клубящегося сероватого воздуха, который кое-где прорезается бордовыми зигзагами, словно грозowymi разрядами. Кипение человеческих страстей, сложное сплетение судеб, отраженных в «мировом океане»...

«Детская серия» тоже о милосердии, обращенном ко всему живому. Она писалась «взрослым» маслом совместно с внуком Гошей, который, по словам Саксонова, по части выразительности кое-где его превзошел.

Перед нами пиршество красок, как по волшебству, чудесным образом сгармонизированных. Это уже, конечно, дед. И снова те же темы – юность и старость, жалкое и величественное, смешное и трагическое, – но все это ярче, забавнее, сказочнее.

Да просто радостнее! Вот в центре холста ребенок, изображенный вполне в детской манере, раскинул руки навстречу миру – красочной избушке и радуге на небе.

А тут на холстах можно увидеть с короной на голове и хрупкую козочку, и даже хрюшку. Козочка, как я знаю, своим молоком спасла в эвакуации семейство Саксоновых от голода. Видно, и хрюшку автору есть за что поблагодарить.

А может, это просто «детские» приколы, идущие от внука.
Смешные, вполне по-детски изображенные человечки перемежаются с причудливыми птицами и прочей живностью на фоне городских домов. Все сияет красками, загадочно мерцает, тает в зеленоватой «космической» дымке.



Л.Саксонов. Из «Детской серии»

Сам образ радости! Мы знали в сказках царевну-лягушку.
И еще очень запоминается маленький черный паровозик из «Транспортной серии», на фоне огромного, бело – туманного «мирового» пространства, который упрямо совершает свой маршрут. Спешит на тот вокзал, где, по словам Мандельштама, нас бы «никто не отыскал». Ни время, ни старость, ни земные горести.
В сущности, вся выставка нащупывает этот чудесный маршрут...

Лазарь Фрейдгейм

Калифорния, США



Эхо-искусство как ипостась мистификации (в сокращении)

Глаз мельком пробегает по новостям мира искусства. В поле зрения попадает очередное сообщение о мистификациях и подделках. Чаще из истории, но порой старая карта дополняется новыми фрагментами. В 99 из 100 сообщений – многословие околосудебных обвинений алчных фуфлоделов и не чистых на руку экспертов – негатив, обман, позорный столб... А что если взглянуть иным взглядом на порой неоднозначные предпосылки и нешуточный уровень некоторых из этих фальсификаций, примерить тогу адвоката дьявола?..

Не посланника дьявола времён инквизиции, ищущего соринку в глазу, а защитника, вооружившегося очками с диоптриями с розовым оттенком стёкол. Представляется, что вполне правомочна позиция замечать не только то, в чём криминален мир мистификаций, а также то, чем он завлекателен и интересен.

Органическая болезнь искусства

Более века тому назад было высказано предположение, что фальсификация – это врожденная болезнь искусства: «Искусство подвержено своего рода внутренней, органической болезни, которая от времени до времени обнаруживается в виде какого-либо нарыва, и тогда о ней начинает говорить весь свет. Недуг этот – «фальсификация».

Провоцирующим моментом для проявления этого недуга является зависимость моральной и материальной ценности произведения искусства не только от качества работы и материалов, но и от имени

автора, давности создания, а порой и провенанса – истории владения таким произведением. (Впрочем, букет таких черт здесь охвачен далеко не полностью). Каждую из этих характеристик можно фальсифицировать, а порой даже трудно удержаться от этого при возникновении такой возможности.

Специфичность реальных цен проявляется достаточно часто. Как пример могу вспомнить случай из собственного опыта работы в антикварном ювелирном бизнесе, куда меня забросила судьба в первые годы жизни в Америке. На стенде недорогого золота долго лежало особенно ничем не примечательное кольцо. Как-то, сортируя залежавшиеся изделия, хозяин бизнеса заметил на этом кольце малозаметное клеймо «Cartier». Кольцо тотчас было переложено на более заметное место, цена увеличилась в пять раз, и... кольцо нашло нового владельца в течение нескольких часов. Вот так сочетается качество изделия (или его брэнд) и его цена! Ну как в таких условиях ценообразования устоять от соблазна «укрепить» изделие сходством с более ценным (если голова рождает соблазнительные предложения)?!

Как бы было хорошо, если бы цену произведения искусства определяла марксова теория прибавочной стоимости. Сразу же бы проблема фальсификаций уменьшилась бы в разы. А тут, в этом «тёмном» мире искусств, картина, провалявшаяся пару столетий на чердаке какого-нибудь замка, может стать в сотни и тысячи раз дороже, чем в момент, когда занесло её туда. Ничтожная безделица, найденная при раскопках в слоях нескольких тысячелетней давности, может стать предметом международных исков. Постоянно возникает вопрос: «фальсификация» в искусстве – это только нарыв, болезнь или еще что-то, что порой за этим стоит?

Современный художник-акционист Петр Павленский – с очень неоднозначным реноме – сказал, что сущность искусства – инакомыслие. В этом ёмком определении звучит нетривиальное толкование. Время рождает новые яркие личности и таланты, они преобразуют тенденции искусств. Общепринято традиционное подразделение стилей в искусстве по множеству критериев. В градациях – принцип национальной школы живописи: нидерландская, английская, русская... А еще и классицизм, и реализм, и модернизм, и Art Nouveau с Art Deco, и скользкое понятие эклектика... Искусство через многие «измы» – импрессионизм, кубизм, экспрессионизм, формы беспредметной живописи – подходит к поп-арту, такому гиперреализму... Неисповедимы пути и формы проявления человеческого творчества.

В нашем сознании, обоснованно или не очень, каждый стиль связывается с определенными образцами, с определенными именами.

Мы особо ценим узнаваемость великих художников. Даже не имея специальной подготовки, можно четко увидеть – это Рембрандт, это Рубенс, это Моне... По нескольким нотам вы чувствуете время сочинения исполняемого произведения – это период Баха, это – Шопена, это – Шостаковича... До некоторой степени, это и делает настоящее искусство звучащим – для наших органов чувств и мозга вне зависимости от того, какими путями это искусство туда внедряется. Подобно тому, как камень, брошенный в воду, порождает круги, искусство, пришедшее в общество, порождает отклик.

Эхизм

Далее – школы, последователи, эпигоны. Последующие авторы-творцы, может быть, не менее талантливые, образованные, известные, привечаемые, вписываются в рамки уже созданной классификации. Они создают пространство эхотворчества, эхоискусства (возможно, с семантических позиций было бы более правильно представить эти понятия как эхо-Творчество, эхо-Искусство. Но я воздержусь от этого в силу уверенности в слитности этих определений). В буче новых течений начала XX века Марсель Дюшан высказал мнение, что художественный акт – это не картина маслом, а те сложные процессы в голове и душе художника, которые этому предшествуют.

С этой позиции эхо-творчество противопоставляет себя ценностям искусства, провозглашенным Дюшаном. В этом случае, образы существовавшего художника воссоздаются руками и мысленным проникновением нового мастера. Здесь – продукт, созданный мастерской рукой с накалом чувств, подсказанных прообразом... Мне показалось, что такой подход подчеркивает естественность возникновения имитаций и выявляет главный недостаток мистификаторов – вторичность художественного выражения. Делать так, как уже было сделано, подобно тому, неотлично от того.

«Эхизм» предлагает произведения со стилевым сходством до уровня неразличимости с прототипом, эхом которого может рассматриваться другая работа. Не по внешнему сходству, а по «геному», генетически близко, неотлично для эксперта-аналитика. Один в один... (Буду надеяться, что читатель устоит от соблазна воспринимать «эхизм» как понятие, восходящее к междометию «Эх».)

Нас не смущает точность воспроизведения действительности в некоторых произведениях гиперреализма – мы не отказываем им в праве музейного существования. Такие работы эхо-искусства надо привыкнуть отделять от вариантов подлога и выдачи их за подлинные произведения других творцов.

Вот такое эхо, поименованное уже при рождении ушедшим временем и пристёгнутыми именами (или первоначально безымянные), чаще всего классифицируются как подделки. Этому способствует то, что в них почти всегда на одном из первых мест есть сопутствующая черта – меркантильность, заработок, а только потом (и не всегда) самовыражение. Но пусть кто-нибудь с годами прославивший классиком, носителем стиля скажет, что он не бывал жертвой «золотого тельца» – заказных работ, рекламы... Нам, не безгрешным, вероятно, не пристало однозначно пренебрежительно отворачиваться, или, как сказано, бросать камень в тех, кто по тем или иным причинам набрасывал на свои работы вуаль других имён. Мистифицировал нас...

Во мне существует симбиоз – ЗА и ПРОТИВ, в котором на равных видимые миру слёзы, обобщенно представляемые понятием «подделка», и негласно проглядывающие черты нестандартности проявления искусства, то что вкладывается нами в понятие эхотворчества. Основные примеры мистификаций, о которых мы говорим, это не суррогаты. Это, вспоминая образность поэта, не «морковный кофе». Пожалуй, основным непреложным требованием к мистификации в искусстве является то, что сама мистификация должна быть явлением искусства по самым строгим оценкам. Это его особая ипостась. Только тогда мистификат может стать предметом длительного и серьёзного обсуждения. Только тогда он может стать «долгожителем».

Именно с этих позиций, отодвинув на задний план свист, изничтожающие ярлыки и клеймение, я позволю себе упомянуть некоторые наиболее известные имена, ставшие такими, в частности, благодаря мистификациям. Множество накопившихся за долгие годы примеров фальсификации и мистификации столь ярки и сочны, что пройти мимо каждого из них было чрезвычайно трудно. При скрупулёзном отборе мне пришлось просеивать это множество через основательное сито. Форма ячеек сита специально варьировалась, чтобы получить разнообразную гамму примеров. Я не вижу особой целесообразности в классификации авторов по какому-нибудь принципу (шутливо отделаюсь основанием этого: они сами были порой беспринципны).

Букет мистификаций

Это не академический каталог или научное исследование. Это рассуждение о мистификаторах и плодах их труда. Я пытаюсь написать субъективное эссе об их отклике (не на словах, а на деле) на подлинное искусство. Это то самое эхоискусство, что стоит на грани законности. Работы, преднамеренно содержащие элементы фальсификации или

мистификации, неизбежно порождают многослойность оценок. В большинстве случаев в оценке на первом месте стоит обличение в подделке, фальсификации. Это громогласно звучащее – подделка, обман зачастую вуалирует умалчиваемое в оценке таких работ – результат нестандартного мышления, умения и мастерства.

Взаимодействие этих оценок, в моём представлении, одна из самых интересных сторон рассматриваемой проблемы. Мне хочется несколько изменить акцент и рассмотреть лицо этого «фальсификатора», работу исследователя, проникающего в глубину изученного объекта, не забывая о негативной стороне явления. С одной стороны – проявление таланта мистификатора-эриста, его условное всемогущество в выборе имен, тем и техник. С другой – восприятие «потребителя», невольного следующего за звуком волшебной дудочки, ошибающегося из-за этого пьянящего звука в оценке эфемерных качеств уникальной подлинности находящегося в его руках творения. Здесь не без потерь и издержек для тех, кто по словам классика «сам обманываться рад».

Авторство художника – это до некоторой степени право на патент. Другие могут использовать и создавать подобное, согласовав с правообладателем, внося компенсацию за обретаемые возможности. В противном случае эхоизготовитель приглушает полноголосие перволадельца, уменьшает его дивиденды, в какой бы форме они не отчуждались. Оказывается на грани закона или за её гранью.

Букет мистификаций оказывается большим и многоцветным: мистификация имён, музыкальная стилизация, временная – архаизация...

Гимном мистификациям и подделкам, прикрытым хорошим юмором, явился фильм «Как украсть миллион» («How to Steal a Million», 1966) американского режиссера Уильяма Уайлера (William Wyler), вышедший на экраны уже полвека тому назад. Благообразный интеллигент Шарль Боннэ не может жить без работы: он неутомимо ищет отдохновение то в написании своих импрессионистов, то в ваянии скульптур, которые по качеству он может выдать на выставке в Лувре за работы самого Бенвенуто Челлини, выдающегося итальянского скульптора XVI века.

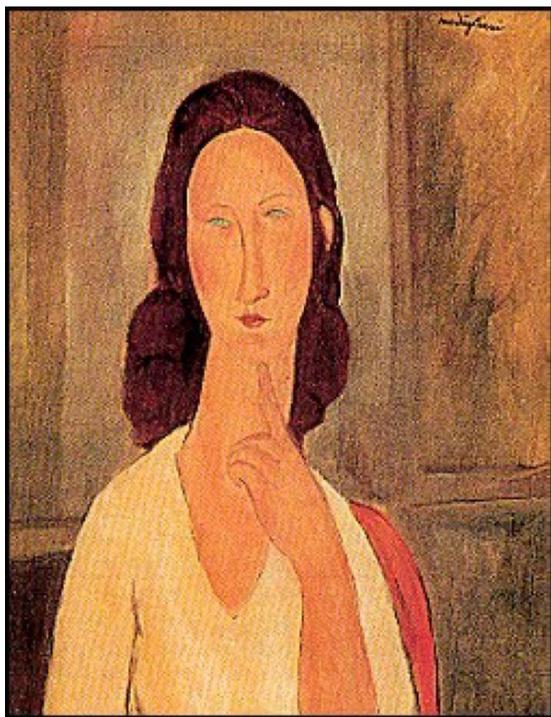
Работы героя фильма столь хороши, что отличить их от работ подлинных мастеров не простая задача даже для специалистов. Живя в мире подделок скульптур и картин, дочь коллекционера и мистификатора, смотря на одну из картин, как-то спрашивает отца: «Твой Лотрек или Лотрек Лотрека?»

Это упоминание фильма «Как украсть миллион» могло быть не уместным в сугубо документальном обзоре, если бы не одна

особенность: прообразом Шарля Боннэ был реальный художник – Элмир де Хори.

Элмир де Хори – 30 лет в искусстве

Де Хори стал героем еще одного фильма «Ф – как фальшивка» («Verites et mensonges» или «F for Fake», 1975), снятого знаменитым Орсоном Уэллсом (George Orson Welles). Основная тема — сложная диалектика истинного и фальшивого в искусстве – иллюстрируется примерами неординарных судеб фальсификаторов Элмира де Хори и Клиффорда Ирвинга. Последний был осуждён как мошенник за придуманную автобиографию американского миллиардера Говарда Хьюза. (В стиле двойственности подхода в этом изложении отметим, что истинная биография Хьюза стала прототипом для целой череды вымышленных героев и основой для многих произведений искусства). Уэллс в фильме доказывает, что фальсификатор может оказаться не менее, а даже более гениальным, чем автор оригинала.



С фотографии глядит милый немолодой человек с иронически посмеивающимися глазами. Надо мной, над вами, над своими

клиентами, которые вовсе не знают этого человека как автора уникальных работ. Его жизнь просматривается только в тумане легенд.

Он настойчиво утверждал свое аристократическое происхождение, представлялся обилием разных имен: Элмир де Хори, Луи Кассу, Элмир фон Хори, Дори-Бутэн, Элмир Херцог... Он же барон Элмир Хоффман.

Элмир де Хори родился в Будапеште в 1906 году. Де Хори утверждал, что его родители – австро-венгерский дипломат и дочь банкира.

На самом деле, он родился в небогатом еврейском квартале Будапешта. Получил художественное образование в Мюнхене и Париже, некоторое время учился у Фернана Леже в академии «Гранд-Шомьер». Умер де Хори в 1979 году. По легенде, спасаясь от очередного судебного преследования, он принял смертельную дозу снотворного.

На протяжении 30 лет он создавал работы под Гогена, Ренуара, Матисса, Модильяни, Шагала, Пикассо и других больших мастеров. В течение своей карьеры он продал множество работ. В 1967 году ему было предъявлено обвинение в подделках. Хори утверждал, что никогда не копировал работы других мастеров и не подписывал свои работы, а посему он не должен классифицироваться как фальсификатор. Он смог уйти от серьезного наказания, и через два месяца заключения его отпустили.

Не правда ли, совершенно узнаваемый Модильяни?



Совсем другая по стилю картина Элмира де Хори «Регата» (1974), стилизованная под работы французского художника, представителя фовизма Рауля Дюфи.

Помощь в легализации и продаже картин де Хори оказывал Фернан Легро, бывший танцор, который взял на себя роль арт-дилера с поиском богатых клиентов. Художник и его помощник нашли оригинальный способ получения экспертных заключений, не привлекая к себе внимания околмузейных кругов.

При перевозке фальшивок через границу они объявляли картины копиями. Дотошные таможенники, сомневаясь в этом и предполагая контрабанду, направляли картины специалистам, которые заключали, что работы на самом деле подлинные. Незадачливым «контрабандистам» приходилось платить пошлину, но на руках оказывались экспертные заключения, полученные как бы не по заказу, без заинтересованности владельцев. Эти независимые экспертизы позволяли продавать картины за огромные деньги.

Сумма от продажи работ де Хори в США, Европе и Японии исчисляется сотнями миллионов долларов. Вероятно, не мало нераскрытых «шедевров от де Хори» и по сей день остаются в экспозициях некоторых европейских и американских музеев.

Его мастерство в подражании стало настолько известным в мире искусства, что появились подделки под самого де Хори. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако экспертом по работам де Хори был установлен факт двойной фальсификации – подделка подделки.

Многоликий Шон Гринхэлг

Другой универсальный мистификатор Шон Гринхэлг (Shaun Greenhalgh) широко был представлен на выставке в крупнейшем в мире лондонском музее декоративно-прикладного искусства и дизайна Виктории и Альберта. Его имя связано с производством и сбытом в сфере искусства фальсифицированных работ, разнообразие которых не имело себе равных в истории.

В перечне работ, изготовленных Шоном Гринхэлгом (при участии отца и других членов семьи), скульптуры Константина Бранкуши, Поля Гогена («Фавн») и Ман Рэя, бюсты отцов-основателей США Джона Адамса и Томаса Джефферсона (как работы американского скульптора Горацио Гринафа, 1805-1852 гг.), картины и рисунки художников Отто Дикса, Лоренса, Лоури и Томаса Морана.

О произведениях Морана, американского мастера «Школы реки «Гудзон», британца по происхождению, Шон говорил, что их он может «сварганить за 30 минут». Шон Гринхэлг занимался всем – от «древнеегипетских» скульптур до телескопа XVII века, акварелей XIX века. Несть числа этим работам...

Скульптура Поля Гогена «Фавн» была куплена музеем при Чикагском институте искусств в 1997 году у артдилера, который в свою очередь приобрел ее тремя годами ранее на аукционе Sotheby's. Представитель института, когда в 2007 году выяснилось, что это работа Гринхэлга, отметил, что проведенная при приобретении скульптуры проверка не смогла выявить подделку.

Самыми известными творениями Гринхэлга оказались плоды «археологических изысканий» – царевна из Амарны, «древнеегипетская» статуэтка из алебаstra высотой около 50 см, якобы датируемая 1350-1334 гг. до н.э., а также «ассирийские» каменные рельефы, покрытые клинописью (около 700 г. до н.э.).

Гринхэлг был обвинен в фальсификации из-за оплошности при попытке продать ассирийский рельеф. Неправильное написание клинописью некоторых слов, а также пропуски в тексте заметили эксперты Британского музея, к которым сам Гринхэлг обратился с просьбой подтвердить подлинность артефактов из Месопотамии. Сомнения в подлинности рельефов «из дворца царя Ассирии Синаххериба» (правил в 706 – 680 гг. до н.э.) привели в конечном итоге к аресту. В ноябре 2007 года Шон был приговорен к тюремному заключению на четыре года и восемь месяцев.

Не ради денег

Однако далеко не всегда стимулом для фальсификации являются деньги. Побудительным мотивом неоднократно оказывались спор, шутка или желание помочь друзьям. Как-то российский художник Валерий Дудаков написал работу à la Любовь Попова «Дама с гитарой» в подарок другу.

Некоторое время спустя неизвестный человек принес на экспертизу это полотно, неведомо как попавшее к нему. Он был уверен, что держит в руках шедевр русского авангарда. Подлинный автор раскрыл незадачливому дельцу глаза и забыл о картине.

Но в 1989 году состоялось новое явление псевдоПоповой: аукцион Sotheby's (ни меньше ни больше!) выставил ее на продажу с лаконичной аппликацией «Любовь Попова. Композиция». Дудаков попытался убедить экспертов в собственном авторстве, но аукционный дом не стал снимать лот с торгов – композиция была продана за \$30 000.

Позволю себе упомянуть ещё одну историю без указания имен, связанную с близко знакомым мне художником. Однажды к нему обратился приятель, вхожий в израильский дом семьи известного советского еврейского художника Александра Тышлера. Он оказывал

помощь престарелой вдове художника. Просьба была необычной и очень пронзительной. Вдова испытывала материальные трудности, но не хотела расставаться с работами своего мужа. При этом она страдала значительной потерей зрения. Приятель попросил сделать копию одной из известных картин Тышлера, чтобы оставить ее в доме, а подлинное полотно использовать для получения столь необходимой поддержки скромных потребностей вдовы.



Л. Попова. «Дама с гитарой» от Дудакова

Художник не смог отказать в такой просьбе, да и сама работа в непривычной манере показалась ему интересной. Следуя традиции *alma mater* – каждую работу делать с полной отдачей, художник нашел старое полотно, подобрал краски тех же времен и с любовью к некогда знакомому и уважаемому А. Тышлеру сделал копию. С ответственностью за работу он спрятал в узорах традиционно сложных головных уборов тышлеровских объектов свои инициалы.

Через некоторое время, просматривая каталоги аукционов русских дней, он увидел в проданных за добрую цену знакомую работу Тышлера. К своему удивлению, в узоре витиеватой шляпы он увидел свои потайные инициалы... Этакое соучастие в обмане, «не солоно хлебавши».

На меня всегда производила впечатление двойственность отношения мистификаторов к своей работе. С одной стороны, они как бы отказывались от своего имени в своих произведениях, «даря» их и без того известным художникам. С другой стороны, многие из них как бы делали свою «нечистую» работу без перчаток, сознательно оставляя разнообразные «отпечатки» своего рукотворного творчества. Это проявлялось, как и в предыдущей истории, во вкрапливании в изображение на полотнах определенных символов, личных знаков или оставлении недвусмысленных следов своей не рекламируемой работы. Вплоть до предложения быть участником «следственного эксперимента» – выполнить работы в заданном стиле под наблюдением арбитров. Примером этого может служить история Хана ван Меегерена (Henricus Antonius «Han» van Meegeren).

Хан ван Меегерен и Вермеер Дельфтский

Это уникальная история многолетней серии имитаций картин в стиле известнейших художников XV-XVII вв., которые задумывал и выполнял Хан Антониус Ван Меегерен. Не эскизы, не фрагменты, не авторские повторения, а совершенно оригинальные работы. Каждая из них была его авторской работой с сочинением сюжета и высококачественным письмом в стиле выбранного известного мастера. Отметим, что это очень роднит многих самых известных фальсификаторов: нет ограничений ни в сюжетах, ни в технике, ни в стиле. Все подвластно, все по силам... Возможно, что причина столь необычной реализации своих талантов – в скрытой от посторонних глаз судьбе, не позволившей каждому из них найти достойный выход собственному «Я» – личному и не прикрытому чужими именами. Не сложившейся судьбе достичь популярности и успеха от своего имени...

Меегерен углубился в техники старых нидерландских мастеров XVII века Франса Хальса, Герарда Терборха, Питера Хоха и в особенности Яна Вермеера.

Меегерен обратил внимание, что среди известных 35 работ Вермеера не было ни одной с религиозными сюжетами, столь распространенными в работах других художников его времени. Он принял парадоксальное решение – написать картину в стиле Вермеера с Христом в центре сюжета. Для первого «Вермеера» художник останавливается на сюжете «Христос в Эммаусе».

Готовясь к работе, художник старается учесть самые разнообразные детали. Заготовкой для картины послужила приобретенная Ван Меегереном большая подлинная картина XVII века «Воскресение

Лазаря». Художник снимает холст с подрамника и отрезает от его левой стороны почти полуметровую полосу. Соответственно уменьшает



Вермеер «Христос в Эммаусе» от ван Меегерена

подрамник. Обрезки не уничтожает, а прячет в дальний ящик. Художник заранее начинает заботиться о том, чтобы сохранить «разоблачающие» его улики, по-видимому, представляя, что они ему могут понадобиться для защиты своего авторства еще только задуманной картины.

Он использовал краски, подготовленные по старинным рецептам из лазурита, свинцовых белил, индиго и киновари. Подобно старым мастерам работал кистями из меха барсука. Для того чтобы краски выглядели, как будто им 300 лет, ван Меегерен воспользовался фенолформальдегидной смолой. (Именно она подвела имитатора при химическом анализе – такую смолу начали изготавливать только в XX веке). Чтобы краски затвердели, готовую картину он состаривает в печи при температуре 100–120 градусов, при этом для четкого проявления кракелюров полотно снимает с подрамника, свертывает в трубку.

Находку шедевра Вермеера Дельфтского «Христос в Эммаусе» искусствоведы, критики, антиквары провозгласили первостепенной сенсацией. Общество Рембрандта купило работу «Христос в Эммаусе» за 520 тыс. гульденов и подарило ее Музею Бойманса в Роттердаме.

Подавляющее большинство специалистов и критиков объявили «Христа в Эммаусе» одним из наиболее совершенных творений Вермеера.

Успех воодушевил художника. За последовавшие пять лет он создал пять «вермееров» : «Голова Христа», «Тайная вечеря», «Исаак, благословляющий Иакова», «Омовение ног» и «Христос и грешница», а также несколько имитаций других мастеров.

После окончания Второй мировой войны голландские власти предъявили художнику обвинение в коллаборационизме, разграблении художественного и национального достояния Нидерландов, а также в распродаже его приспешникам Гитлера (одним из покупателей был Геринг). За это ван Меегерену грозил большой тюремный срок. Для ухода от самого грозного обвинения художник заявил, что все «шедевры» были написаны им самим.

Однако это не убедило суд, никто ему не поверил. Для проверки саморазоблачения по предложению художника был поставлен следственный эксперимент: ван Меегерен был на шесть недель помещён в специально арендованном доме, где должен был в присутствии экспертов написать ещё одного Вермеера. Так появился «Молодой Христос, проповедующий в храме». На этом пополнение пинакотeki Вермеера закончилось. Ван Меегерен был осужден за подделку произведений искусства и приговорен к одному году тюремного заключения.

По некоторым источникам, вызывающим однако сомнения, «Христос в Эммаусе» по-прежнему представлен в музее Бойманса (ныне «Музей Бойманса – ван Бёнингена» – по именам основных дарителей). Администрация музея так и не смирилась с тем, что ей подарили подделку, и продолжает утверждать, что их Вермеер – подлинный.

Вермееровский цикл Меегерена, пожалуй, наиболее ярко демонстрирует не искусство дублирования и даже не точность исполнителя, пытающегося проникнуть в дух написанной партии. Здесь – душа «эхиста», воспринявшего душу другого художника, такая содушевность. И даже несмотря на то, что он умышленно выбирает тематику беспрецедентную для Вермеера, работы Меегерена воспринимались самыми квалифицированными и не ангажированными экспертами как произведения другого времени и другой кисти. Ван Меегерен уловил некоторое подлинное звучание духа работ выбранного им художника и, идя вслед за его эхом, нашёл особое проявление творчества, эхотворчества.

Послесловие

В музее искусств в израильском Тель-Авиве открыта почти полугодовая выставка с экстравагантным названием «Fake?». Каждый экспонат отмечен нестандартной историей.

Мне в выбранном названии экспозиции больше всего нравится знак вопроса в конце. В отношении произведений, претендовавших на особое восприятие, заключительный знак вопроса воплощает близкое автору отрицание классификации таких произведений как подделка.

На выставке также представлены особые категории экспонатов, такие как фальшивые паспорта сотрудников Моссада или аусвайсы героев Сопrotивления. И, наконец, в экспозиции присутствуют поддельные товары известных брендов – сумки Louis Vuitton и Issey Miyake, часы Rolex *etc.* По отношению к таким экспонатам знак вопроса после оценки «fake» излишен. Вполне можно прокричать: «Fake!»

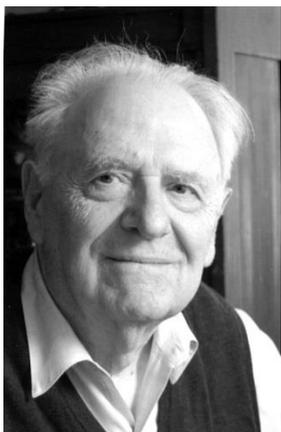
Но объединение столь разных предметов на одной выставке и с одним, тем более стреляющим однословным названием вряд ли обоснованно. Такое ассоциируется у меня с трудно воспринимаемым принципом всеядности – как бы выставка всего звучащего – без разбора: музыкальные инструменты и ложки, кастрюли и колокольчики... Или союз рыжих с *представлением экспонентов не только по соответствующему цвету волос* (как у Артура Конан Дойля), но и по *цветовой окраске заборов...*

Есть, вероятно, категории, где можно однозначно отделить фейк со знаком вопроса от фейка с восклицательным знаком. Думаю, что к последней категории без сомнений могут быть отнесены любые даже самые совершенные копии, выдаваемые за оригиналы, а также изделия предметов массового производства.

Я не скажу, что «Fake?» и «Fake!» – это белое и черное, но что это понятия резко отличных тонов, разной гаммы это, в моём представлении, безусловно. При этом первые могут быть предметом искусства, а вторые – в прекрасном исполнении – предметами мастерства.

Сергей Голлербах

Нью-Йорк, США



***Русский романтик вне России. Памяти
художника и поэта Владимира Шаталова. К 100-
летию художника***

Шаталов, Владимир Михайлович (1917 — 2002), американский художник русского происхождения, член Национальной Академии Художеств США, поэт, один из основателей альманаха поэзии «Встречи» (первоначально «Перекрёстки»), издаваемого в Филадельфии (из русской Википедии)

Одна из картин моего ныне покойного друга, художника и поэта Владимира Михайловича Шаталова (1917-2002) называется «Ностальгия», чувство это – не только тоска по ушедшему, потерянному, но и тоска по несостоявшемуся, невозможному. Она имеет и обратную сторону, рождая силы неприятия и отталкивания от действительности. В этом ключе мы должны рассматривать жизнь моего друга, романтика по своей натуре. Романтиков часто считают людьми оптимистичными, верящими в прекрасное будущее, мечтающими о «небе в алмазах». На самом же деле, это люди, для которых жизнь всегда драма и даже трагедия, но не в бытовом, а в духовном плане. Силы отталкивания в них превышают силы притяжения.

Владимир Шаталов (Володя для его друзей) родился в городе Белгороде на юге России. Предок его, боярин Шаталов, прогневал чем-то царя Алексея Михайловича и был сослан в глубинку России. Там род Шаталовых и пустил корни, вдали не только от Москвы, но и от Санкт-Петербурга, где Петр Великий прорубил «окно в Европу». Окна этого художник не видел, а когда, будучи выброшен войной за пределы



Владимир Шаталов. Фото Хелены Риески

России, оказался на Западе, то многое ему было чуждо и неприемлемо. Володя был славянином со всем максимализмом так называемой непредсказуемой русской души... Так например, зная западное искусство, он далек был от эпохи Возрождения и, тем более от таких течений, как импрессионизм, кубизм и абстрактное искусство. Близок ему был только Гойа, а в музыке – Бетховен, а не Моцарт, терпеть не мог итальянскую оперу и, в особенности, итальянских теноров. В русском искусстве выше всего ставил пейзажную живопись, считая ее наивысшим достижением не только отечественной, но и мировой живописи. Как это понятно! Степи, бескрайние дали, заросшие пруды и омуты, ностальгическая романтика русского человека вне Родины. Но тут мы видим странный парадокс: получив художественное образование в Харьковском художественном училище и став художником-реалистом в русских традициях, он, попав в Америку, не мог как художник не реагировать на формальные достижения американского абстрактного экспрессионизма. Его живопись стала более плоскостной и формально выразительной, в то время как он не любил

город Филадельфию, где он поселился, мутные воды реки Делавер и окружающий быт.

Другой парадокс: в этом быту Володя был достаточно обеспечен, у него был свой дом, автомобиль, он участвовал во многочисленных выставках, получал множество призов и стал членом престижной Национальной Академии Дизайна в Нью-Йорке (число академиков ограничено, их всего четыреста пятьдесят на всю Америку). Но душой своей Володя был в России. В свое время в Советском Союзе говорилось, что советское искусство – национальное по форме и социалистическое по содержанию. Перефразируя эту мысль, можно сказать, что творчество Владимира Шаталова – западное по форме, но русское по настроению, по своей душевности.



Владимир Шаталов. Гоголь

Неприятие Запада ярче всего выразилось у Володи Шаталова в его поэтическом творчестве, в одном из своих стихотворений он говорит о том, что у него «подрезаны крылья». Подумаем, однако, о его судьбе, останься он у себя на Родине. Скорее всего, он, подобно своему боярскому предку, прогневал бы чем-то власть предрежущих и вместо берега реки Делавер оказался бы в ГУЛАГе, где крыльев у него вообще

не было бы. Романтик всегда в конфликте с действительностью, где бы он ни жил.

Конфликт – это «топливо» для творческого пламени таких людей. Мне кажется, что мы должны не только понимать, но и уважать их творческие муки, как бы далеки мы сами ни были от них. Как человек, художник и поэт Владимир Шаталов заслуживает признания и уважения.

В заключение хочу сказать, что, несмотря на некоторую разницу в возрасте (Володя был на шесть лет старше меня) мы принадлежим к одному поколению, именовавшемуся «перемещенными лицами» или Второй волной российской эмиграции. Мы – бывшие советские граждане, не успевшие вовремя эвакуироваться, попавшие в немецкую оккупацию, то есть из огня да в полымя, испытывавшие на себе бомбежки наших будущих освободителей, англо-американцев, пережившие угрозу насильственной репатриации и только в конце сороковых годов получившие возможность эмигрировать в западные страны.

Живя вне Родины, мы сохранили русский язык и продолжали в границах возможностей, традиции русской культуры. Так поступали все три волны российской эмиграции двадцатого, столь трагического для России века. Владимир Шаталов – один из тех, кто эту традицию поддерживал и в этом году, когда ему исполнилось бы сто лет, мы ему за это благодарны.

Руфь Деминг

США

Шаталов

Из архива Валентины Синкевич, поэта и эссеиста, основателя и издателя поэтического Альманаха «Встречи», близкого друга Владимира Шаталова

«Вскоре после смерти Владимира Шаталова я получила от американской поэтессы и журналистки Руфи Деминг очерк «Shatalov». Меня поразили настроение и тон ее строк, поэтому я решила опубликовать этот очерк, написанный человеком другой культуры, другой судьбы; она сумела почувствовать и понять многое в душе русского художника, долгие годы жившего вне своей творческой среды, вне привычного пейзажа и вне родного языка. Очерк Деминг,

переведенный мною с английского, печатается с любезного разрешения автора».

Валентина Синкевич, Филадельфия

(Впервые опубликовано в поэтическом альманахе «Встречи»)

ШАТАЛОВ

Умер мистер Шаталов.

За два месяца до его смерти я поставила машину и позвонила в дверь, которая, по моему предположению, была его. На ступеньках лежала сложенная газета. Был ли это его дом? Я обернулась, чтобы вспомнить: так ли выглядела улица, которую я видела много лет тому назад. Напротив стояло огромное запущенное здание школы с бетонными колоннами, напоминавшими былое величие; так, – подумала я, – выглядит Парфенон. Да, это его дом.

На окнах висели тяжелые занавеси. Я их запомнила. Ветер не шевелил их, они висели неподвижно. Я громко постучала.



Владимир Шаталов. Портрет Валентины Синкевич

Я должна была бы объяснить ему – кто я. Сейчас он был уже старым человеком, очень старым, восьмидесятипятилетним стариком, говорившим на ломаном английском языке, трудно поддававшемся пониманию. Я пишу об этом, потому что он позвонил мне, кажется, год

или два назад, однако по телефону я не смогла разобрать ни одного слова. Я боялась, что, судя по моему молчанию, он подумает, что я его забыла. Но забыть его? Это означало бы забыть луну на вечернем небе.

Однажды он приехал ко мне, привез печенье. Я хорошо помню это печенье, – он угощал меня им, когда я приезжала интервьюировать его для газеты по искусству. Кухня была единственной в доме комнатой, в которую проникал свет. Я представляла, что здесь его мать готовила для него русские деликатесы. Остальное было в полумраке опущенных жалюзи и задернутых занавесей. Быть может, так было в память тех двадцати лет, в течение которых он не мог писать. Он был художник. Он изображал вещи, которые нравились в Америке. Он носил ковбойские сапоги и джинсы.

Когда он приехал ко мне, я наблюдала за ним из окна второго этажа. На нем была голубая рубашка; он погасил сигарету, перед тем как подойти к входной двери. Он приехал посмотреть, как я живу. Я была его биографом. Кроме Шаталова – я не представляю себя ничьим биографом. Тот очерк, который я о нем написала, получился длинным и подробным. Я рассказала обо всем, что могло вписаться в газетные рамки, и мне пришлось сражаться за каждое слово, потому что очерк вышел сверх положенного размера.

Он не мог писать в течение двадцати лет. Можете вы себе это представить? Двадцать лет – срок чьей-то жизни. Он не мог окунуть кисть в краски. Позже я подумала, что он страдал от депрессии, от безнадежности. Он был человеком которого называли русским эмигрантом, приехавшим со своей матерью в Филадельфию, где он жил в одном из выстроившихся в ряд домов в обветшалом, но достойном районе.

Россия. Знаете ли вы, что значит попрощаться с землей, носящей отпечатки ваших ног, с небом, любившим и защищавшим вас с колыбели? Он был художник. И он погибал.

Я рассказала обо всем этом. Обо всем, что вместились в мой разлинованный желтый блокнот: смерть матери в сточетырехлетнем возрасте, отправка ее в старческий дом и возвращение отуда из-за его нестерпимого чувства вины. Он за ней ухаживал. Она, наверное, жила на первом этаже. Здесь должен был стоять переносной туалет, «волкер», инвалидное кресло. Единственный свет в доме, когда я приезжала, был в кухне, но мне казалось, что некогда мать поднимала жалюзи и раздвигала занавеси, чтобы впустить дневной свет. Мне запомнилась темно-фиолетовая столовая со стульями, обитыми черным берхатом – цвет черного ириса. Я не могла дожидаться, чтобы поехать к нему, и не могла дожидаться, чтобы уехать. Но я ездила три дня подряд, то есть до тех пор, куда уже не о чем было говорить.

Когда я стояла на ступеньках дома, стуча громче и громче, почти колотя в дверь, я потянулась к окну, попыталась заглянуть внутрь сквозь занавеси. Всё было в темноте. Но я разглядела лошадь и всадника, скульптуру его друга. Однако почему он не слышит моего стука? Может быть, у него ослабел слух? Или он включает днем телевизор? Или иступленно работает?

Я медленно спустилась вниз, оглядываясь, – а вдруг он, наконец, покажется в дверях. Я знала, что этого не будет, но всё же еще раз оглянулась.

Тогда, когда он приехал ко мне, я почему-то сидела на кровати в розовой комнате моей дочери Сарры. Она только что уехала в колледж. Стены и ковер в комнате были нежно-розового цвета. Мы с Шаталовым разговорились. Я всё еще была его биографом. Он мог рассказать мне всё. Мы не виделись девять лет. У него должна была быть выставка в одной из филаделфийских галерей. У него были выставки. И был небольшой круг почитателей, следивших за ним и расхватывавших его картины.

Я буду там, – сказала я ему. Я приду на прием. Он меня не пригласил, но я всё равно пообещала прийти. И он и я знали, что я там никогда не буду. Мое желание видеть его необычно благородное лицо, его крепкую большую мужскую фигуру, было нестерпимо интенсивным, с оттенком чего-то безутешного. Я не представляла себе, что увижу его снова. А было бы так легко спросить у него направление, сесть в машину, проехать по узким, односторонним улочкам, поставить машину, словом – найти его.

Этого не случилось. Такие вещи никогда не случаются. Я приходила к нему с желтым блокнотом и карандашами. То время прошло.

Он говорил мне, что спит при включенном электричестве, что телевизор бьет прямо в закрытые глаза. Я спросила, сколько ему лет. Исполнится восемьдесят четыре. Он боялся смерти, хотя не говорил этого, но об этом говорили другие вещи. Я спросила о женщине, которую он любил, – поэтессе, писавшей русские стихи. Помнится, ее звали Валентина.

Он не открыл дверь. Время приходит и уходит. Но я вернусь в другой раз, – говорю себе, – и спрашиваю, – правда ли это.

Часть 5

О кино и театре



Александр Сиротин

Нью-Йорк, США



«Лжец» в Нью-Йорке

Уставшей от политических баталий публике очень хочется хоть на время забыться. Будто услышав глас народа, нью-йоркский театр классической пьесы предложил совершенно прелестную комедию Пьера Корнеля «Лжец», язык которой осовременил своим адаптированным переводом с французского американский драматург Дэвид Айвз. Премьера прошла 26 января.

Корнель, крупнейший французский поэт и драматург-классицист 17 века – мастер не только таких трагедий, как «Гораций», «Гибель Помпеи» и «Сид», но и комедий, среди которых «Лжец» занимает видное место. Это лёгкий стихотворный фарс на тему парижской жизни, одновременно комедия характеров и комедия положений.

Режиссёр-постановщик Майкл Кан поставил эту пьесу в нью-йоркском театре Classic Stage Company (CSC). Музыка написал Адам Верник. Сценография Александра Доджа. Художник по костюмам – Мюрелл Хортон.

Действие происходит в Париже, в 1643 году. Только что прибывший в столицу Франции молодой, обаятельный, очень энергичный, жаждущий любви герой пьесы по имени Дорант – без удержу врёт всем напрапалу, просто не может не врать даже собственному отцу. Потом забывает, что говорил пять минут назад, пугается, выкручивается. Зато его слуга по имени Клайтон врать не умеет. Трудно поверить, но он говорит только правду, и сам же от этого страдает.



Сцена из спектакля. Актёры Tony Roach, Christian Conn, Carson Elrod. Photo by Richard Termine

Когда я смотрел спектакль, то вспомнил, как мой сын, пятилетним ребёнком обвинённый в том, что он врёт, ответил: «Я не вру, я сочиняю, просто придумываю, а не вру». Так и корнелевский Дорант, которого заносит фантазия и уносит от правды всё дальше и дальше. А верят ему те, кто хочет верить. Не так ли было и с Хлестаковым?

В соответствии с законами жанра комедии того времени Дорант влюблён в Лукрецию (в английском произношении «Лакрис»), но путает её с её подругой Кларис. В свою очередь, Кларис обручена с давним другом Доранта Альсипом, страшным ревнивцем, уверенным, что Дорант ухлёстывает за его невестой. Ещё больше запутывает ситуацию наивный, доверчивый папаша Доранта Жеронт, мечтающий о женитьбе сына и продолжении рода.

И окончательно сбивают зрителя с толку похожие, как две капли воды, сёстры-близнецы Изабелла и Сабина, одна – служанка Лукреции, а другая – служанка Кларис. В одну из них влюбляется слуга Доранта Клайтон, однако всё время путает сестёр, принимая одну за другую. Персонажи попадают в дурацкое положение, а публика покатывается со смеху. В самом конце всё распутывается, пары сходятся, женятся, и все счастливы. Все – это и актёры, которые разыгрывают комедию с явным удовольствием, и зрители, на два часа забывшие о своих проблемах и посмеявшиеся над чужими.

Великолепные костюмы, соответствующие временам Корнеля и Мольера, лёгкие условные декорации, музыка с использованием клавесина и, конечно, актёрская игра – всё это создаёт ощущение изящества фарфоровых статуэток. Спектакль летит легко, как тёплый весенний ветерок. Казалось бы, редкое в наше время исполнение пьес в стихах должно привести актёров к утрате сложной техники монологов и диалогов с сохранением стихотворного ритма и рифмы. Но в «Лжеце» актёры блестяще справились с этой задачей. Всё-таки сказывается школа игры в шекспировских комедиях, через которые обязательно проходят все американские актёры.

Помнится, и в российском театре играли Шекспира в прекрасных стихотворных переводах. Не забыть комедию Шекспира «Укрощение строптивой» с Людмилой Касаткиной и Андреем Поповым в фильме-спектакле московского Театра Советской Армии. Те, кто хоть раз видели фильм-спектакль «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Вега, помнят, как легко обращался со стихотворным текстом замечательный Владимир Зельдин. Вахтанговцы прекрасно играли «Маленькие трагедии» Пушкина, актёры Малого театра – «Горе от ума» Грибоедова. «Конёк-Гобунок» Ершова не сходил со сцен детских театров. А Театр на Таганке во времена Юрия Любимова вообще считался поэтическим театром.

...Из всех пьес Корнеля на русской сцене, как мне помнится, иногда ставили только трагедию «Сид». С комедиями драматурга я не был знаком. Поэтому с большим интересом отправился на премьеру и ни минуты не пожалел о двух часах, проведённых в театре. Нью-Йоркский Театр классической пьесы в большинстве своих работ отличается хорошим вкусом и прекрасным актёрским составом, не обязательно звёздным.

...Когда я слышу от некоторых моих знакомых, что американские зрители не знают русской и мировой классики, а ходят только на мюзиклы, я не спорю. Я смеюсь...

Жизнь и смерть еврейского театра. Факты семейной биографии (в сокращении)

От автора

Есть в моём повествовании общеизвестные факты, свидетелями и участниками которых оказалась наша семья. По ней, как говорится, проехало колесо истории. Я умышленно упоминаю многих забытых ныне людей в расчёте на то, что их фамилии останутся где-то на

страницах Интернета и со временем сведения о них пополнятся новыми деталями. Так я пытаюсь внести свою лепту в обещание, данное Ольгой Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто,/ На все поколения и все времена».



Нехама Сиротина, студентка театрального техникума при московском Государственном еврейском театре

Во время праздничных демонстраций, которые устраивались в конце двадцатых годов в белорусском местечке Поддобржанка в годовщину Октябрьской революции или на 1 Мая, маленькая Нехама Сиротина, дочь сапожника, всегда была на трибуне, и когда демонстранты, пройдя по главной улице, останавливались возле клуба, здесь приветствовали их (на идиш, конечно) кто от имени партийной организации, кто от комсомольской, а Нехама – от пионерской. Ей было тогда лет девять.

Потом, когда в 1932 году в Гомель приехал сам Михоэлс, руководитель ГОСЕТа – московского Государственного еврейского театра, чтобы отобрать талантливую еврейскую молодежь для поступления в еврейский театральный техникум, на экзамен явилась

Нехама. В своих воспоминаниях, которые она наговорила на магнитофон уже в Америке, мама рассказала, как проходил экзамен, как она понравилась комиссии, но по возрасту (ей было всего тринадцать) не прошла. Михоэлс тогда сказал ей: «Через год окончишь школу-семилетку, тогда возьми».

К тому времени семья уже жила в Гомеле, в доме напротив хлебозавода. И вот через год Нехама говорит матери, что собирается ехать в Москву, чтобы стать актрисой еврейского театра. Та в слезы: «Не пусти! Да еще в театр!» Но мой дед внимательно посмотрел на дочь, а потом сказал жене: «Она уже сама все решила. Её не удержишь». Чтобы её из-за возраста опять не отправили домой, Нехама выправила новые документы, сделав себя старше. Теперь год ее рождения был 1918-й. А день рождения она отмечала сперва 8 марта, потому что это был советский праздник – Международный Женский День, а потом перенесла на 11 марта, потому что это был день выдачи стипендии, и студенты могли позволить себе вкладчину устроить маленький праздник. Точной даты рождения она не знала, потому что её мама помнила дни рождений своих девятерых детей по еврейским праздникам. Нехама родилась в канун праздника Пурим, то есть где-то в марте.

В ТЕАТРАЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ

Еврейский театр находился на улице Малая Бронная. Студенческое общежитие – в другом конце Москвы, на улице Трифоновская, возле трамвайной линии. Там, на Трифоновке, стояли общежития студентов всех театральных школ, студий, техникумов, училищ и институтов.

Это было самое лучшее, самое счастливое время в жизни моей мамы. В Москве были великолепные театры: Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, МХАТ, Малый, имени Революции, Большой... Один из первых спектаклей, в котором мои родители – студенты-сокурсники Нехама Сиротина и Фишель Лахман вышли на сцену Еврейского театра, был водеvil французского драматурга Эжена Лябиша «Миллионер, Дантист и Бедняк» в постановке француза Леона Мусинака (художник А. Лабас, музыка Л.Пульвера).

Когда я был в Париже, то пошел на кладбище «Пер ля Шез», нашел могилу Лябиша и низко ему поклонился. В Москве студенты еврейского театрального техникума могли бесплатно проходить на спектакли и стояли как замороженные, на галерке. Мама пересмотрела тогда все драматические, балетные и оперные спектакли.



Фишель Лахман, студент театрального техникума при московском Государственном еврейском театре

Жизнь в техникуме была очень насыщенной, интересной. Здесь она влюбилась в Фишеля (Фиму) Лахмана. Ей было пятнадцать, ему девятнадцать. Они для экзамена выбрали отрывок из «Ромео и Джульетты» Шекспира, сами соорудили декорации, подобрали костюмы. Режиссировала Александра Вениаминовна Азарх-Грановская. На идиш тогда была переведена чуть не вся мировая классика.

Среди учебных ролей Нехамы были и Сюзанна из «Женитьбы Фигаро» Бомарше, и Лауренсия из «Овечьего источника» Лопе де Вега... Всё на еврейском языке. Жили бедно, но счастливо. Фишель подрабатывал к стипендии то лодочником на пруду в парке Культуры и Отдыха, то спасателем на речном пляже. А Нехама ухитрялась из студенческих денег немного сэкономить, чтобы привезти родителям в Гомель подарки.

Любимым педагогом Нехамы была Александра Вениаминовна Азарх. Она была женой основателя ГОСЕТа Алексея Михайловича Грановского, который открыл таких актеров, как Михоэлс и Зускин, и который привел в ГОСЕТ таких художников, как Марк Шагал, Роберт Фальк, Натан Альтман...

ГОСЕТ – ТЕАТР ГРАНОВСКОГО

Алексей Михайлович Грановский, создавая еврейский театр в России, не знал языка идиш, но свободно говорил по-немецки. Он был рождён как Абрам Азарх, сын одного из богатейших российских евреев Моше Азарха, который царской милостью имел право проживать в Москве. Потом семья переехала в Ригу и там вошла в немецкую общину города.

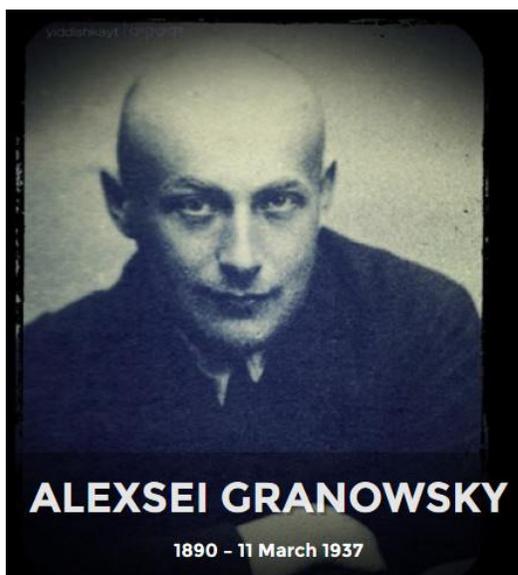
Юношей Грановский уехал в Санкт-Петербург, чтобы изучать театральное искусство, и там на него оказал огромное влияние Всеволод Мейерхольд. Затем Грановский переехал в Германию, где учился у режиссёра Макса Рейнхардта, использовавшего в своих постановках приёмы кабаре: музыку, танцы, пантомиму, акробатику. Какое-то представление о стиле того времени можно получить по американскому мюзиклу «Кабаре», в котором роль Конферансье блистательно исполнил Джоел Грей. Вернувшись в Санкт-Петербург, Грановский вместе Рейнхардтом поставил трагедии Софокла «Царь Эдип» и Шекспира «Макбет» в частном цирке Синизелли. Грановский вместе с актёром Александринского театра Юрьевым, писателем Горьким и оперным певцом Шаляпиным основал Театр Трагедии. Хотя из этой затеи ничего не вышло, дружба с Шаляпиным помогла Грановскому поставить в Большом театре оперы «Фауст» и «Садко».

Грановский сформировал тот стиль московского еврейского театра, который стал восприниматься как национальный и в котором творчески воспитывалась, а затем играла Нехама Сиротина. К тому же, дух Грановского продолжал жить в квартире его вдовы Александры Вениаминовны Азарх-Грановской, в той самой квартире, воздух которой стал для меня воздухом свободы, искусства, западной и национальной еврейской культуры и, наконец, стимулом для эмиграции из СССР. А благодаря эмиграции Нехама Сиротина смогла ещё немного поработать на еврейской сцене, но уже американской, её внук – мой сын – оказался в Америке, а мои внуки смогли родиться американцами.

Первый в России профессиональный еврейский театр-студия появился в Петрограде осенью 1918 года, вернее, в том году родилась театральная студия, а сам театр годом позже. Первыми актёрами в нём были Лея Ром, Михаил Штейман, Юстина Минкова, Шлоймо Вовси, ставший Соломоном Михайловичем Михоэлсом (моя мама и актёры ГОСЕТа произносили его фамилию без буквы «Э» – Михолс). Затем в труппу вошли Сара Ротбаум, Евгения Эпштейн, Рахиль Именитова и Вениамин Зускин. Грановский заложил новую демонстративно-условную театральную эстетику еврейской сцены. Какое-то представление об этой эстетике можно получить из чудом уцелевших кинозаписей очень

коротких фрагментов госетовских спектаклей. В центре всегда был Михоэлс.

Молодой театр пользовался поддержкой Народного Комиссара Просвещения Луначарского. В октябре 1920 года театр переехал в Москву, где получил от Комиссариата по делам Национальностей небольшой трёхэтажный дом на улице Станкевича, в самом центре Москвы. Улица шла от Дворянского собрания, ставшего Моссоветом, до улицы Герцена (Большой Никитской) между Консерваторией и театром Революции (театром имени Маяковского). Первый и третий этажи были отданы актёрам еврейского театра под жильё, а на втором этаже был устроен театр – сцена и зрительный зал на 90 мест.



Тогда же театр получил название Московского Государственного Еврейского Камерного театра (сокращённо «ГОСЕКТ»). Грановский обучал своих актёров мейерхольдовской биомеханике, приёмам японского театра Кабуки, шекспировского театра, даже рефлексологии Бехтерева. Он считал, что пластикой, выразительным жестом, движением, мизансценой можно и нужно заменять слова. Грим актёров в этом театре был словно маской итальянской Комедии дель Арте. Не индивидуальность, а социальный тип, доведённый до гротеска символ хотел видеть Грановский на своей сцене. Элементы этой школы я видел в актёрской работе моей мамы десятилетия спустя, но тогда не понимал, откуда это.

Маленький театр на улице Станкевича (ранее Вознесенский переулок, затем Большой Чернышёвский, ныне вновь Вознесенский) был студией, творческой лабораторией. Близость актёров и зрителей была обыграна художником Марком Шагалом, который соединил зал и сцену своей росписью. Он расписал не только стены, но даже кресла в зале. Всё стимулировало зрителей к участию в спектакле, к коллективному действию. Актёры вспоминали потом, что его живопись... звучала как клезмерский оркестр.

ГОСЕТ – ТЕАТР ШАГАЛА

Марк Шагал продолжал расписывать зрительный зал и сцену на втором этаже трехэтажки на улице Станкевича. Этот зал тогда называли «Залом Шагала». Но вот Совет Народных Комиссаров (Совнарком) решил весь дом передать под жильё, а сам театр перевести на улицу Малая Бронная. Несмотря на протесты Шагала, все работы художника были перенесены в новое помещение театра и заперты в кладовой за сценой. С тех пор многие работы Шагала просто пропали, а дом номер 12 по улице Станкевича полностью стал местом проживания еврейских актеров.

ГОСЕТ НА МАЛОЙ БРОННОЙ

Новое театральное помещение на Малой Бронной было рассчитано на 500 мест. В этом театре прошли первые четыре года моей жизни. Они совпали с последними четырьмя годами жизни ГОСЕТА.

Ещё при Грановском состав театра разросся до 115 человек. Одних актёров было 44, да ещё 23 музыканта в оркестре под руководством замечательного композитора и дирижера Льва Пульвера. Актером театра был Моисей Гольдблат, который потом стал режиссером. Это он создал и возглавил в 1931 году первый в СССР цыганский театр «Ромэн». Он привлёк к работе с цыганскими актёрами композитора Александра Крейна и художника Александра Тышлера. А если вспомнить, что после Гольдבלата этот театр много лет возглавлял режиссёр Семён Аркадьевич Баркан, то можно с полным правом сказать: в жилах цыганского «Ромэна» течёт еврейская кровь (особенно, если учесть, сколько крови испортили друг другу актёры и режиссёр в результате скандалов и конфликтов).

Гольдблат ставил спектакли в театрах разных городов. Моим сокурсником в Щукинском училище был ученик Гольдבלата Анатолий Антосевич, приехавший в Москву из Симферополя. Он с огромным уважением говорил о режиссере симферопольского театра Моисее

Исааковиче Гольдблате, и мне это было очень приятно слышать. Пришел в ГОСЕТ к Грановскому из драматического кружка еврейской Культур-лиги Киева Давид Чечик. Он поселился в комнатке на первом этаже дома №12 по улице Станкевича. Я помню его одиноким стариком с палочкой. И помню, как в 50-х годах мама и другие актеры называли его не иначе как «собака Чечик». На то были свои причины, о которых чуть позже. И позже о директоре театра Фишмане, имя которого актёры театра называли с отвращением.

С восторгом вспоминала мама таких мастеров ГОСЕТа, как художник по свету Арон Намиот, балетмейстер Эмиль Мэй, как режиссеры Исаак Кроль и Эфраим Лойтер (Эфраим Борисович Лойтер возглавлял Киевский еврейский театр, а в Минске еврейским театром руководил Моисей Рафальский), как драматурги, писавшие для еврейского театра, Добрушин, Ойслендер, Бергельсон, Галкин, Маркиш, Шнеур-Окунь... С именами художников еврейского театра тоже связана была мамина жизнь, а потом, отчасти, и моя. Например, Роберт Рафаилович Фальк, который оформлял многие спектакли театра, был женат на Раисе Вениаминовне Идельсон, сестре Александры Вениаминовны Азарх, которая сначала учила мою маму в Еврейском театральном техникуме, а потом готовила меня к поступлению в Театральное училище имени Щукина.

После развода с Фальком Раиса Вениаминовна вышла замуж за другого талантливого художника – Лабаса, и у них родился сын Юлий. В квартире сестер я со школьных лет видел картины Фалька, а позднее познакомился с последней женой художника – Анжелиной Васильевной Фальк. Мы подружились, и в конце 60-х – начале 70-х годов на домашних выставках (поскольку официальные тогда были запрещены), я ассистировал ей, вынося на публику полотна Фалька, пока она рассказывала историю каждой работы. Фальк придумал художественное решение спектакля «Ночь на старом рынке» с кистью руки, свешивавшейся над сценой с потолка. Пальцы были как буква еврейского алфавита. Стилизация и гротеск в оформлении как нельзя лучше выражали стиль театра Грановского.

В середине 20-х годов был снят, кажется, первый в России еврейский художественный фильм «Еврейское счастье». Режиссер-постановщик Грановский, художник – Натан Альтман, композитор – Пульвер, оператор – Эдуард Тиссе, а тексты для титров немого кино писал Исаак Бабель. В главных ролях – Михоэлс и Гольдблат. К счастью, лента была скопирована, её успели спасти от уничтожения.

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕАТР

С помощью Грановского, а затем Михоэлса Московский еврейский театр стал в 20-х, 30-х и 40-х годах центром еврейской культуры не только Москвы, но всего Советского Союза и даже Европы. Сейчас это доказать непросто, потому что большинство пьес, написанных для ГОСЕТа и поставленных там, никогда не публиковались, а архив театра, переданный в театральный музей имени Бахрушина в Москве, был в 1953 году по приказу Министерства Государственной Безопасности уничтожен. Для придания этому варварству вида законности, в помещении, где хранился архив ГОСЕТа, был устроен «пожар».

В 1927 году был поставлен спектакль «Путешествие Вениамина Третьего», по рассказу классика еврейской литературы на идиш Менделе Мойхер-Сфорима. Рассказ был инсценирован Добрушиным, оформлен Фальком, а в главных ролях выступили – Михоэлс и Зускин. Когда Александра Вениаминовна Азарх рассказывала об этом спектакле, она всегда с улыбкой вспоминала, как Зускин «выметался» со сцены, упорхал словно пылинка. В том спектакле Михоэлс был еврейским Дон-Кихотом, а Зускин – еврейским Санчо Пансой...

ТЕАТР ГРАНОВСКОГО БЕЗ ГРАНОВСКОГО

В январе 1929 года ГОСЕТ вернулся с гастролей по Германии без своего художественного руководителя. Грановский решил навсегда остаться в Германии, где начал работать в кино и в театре.

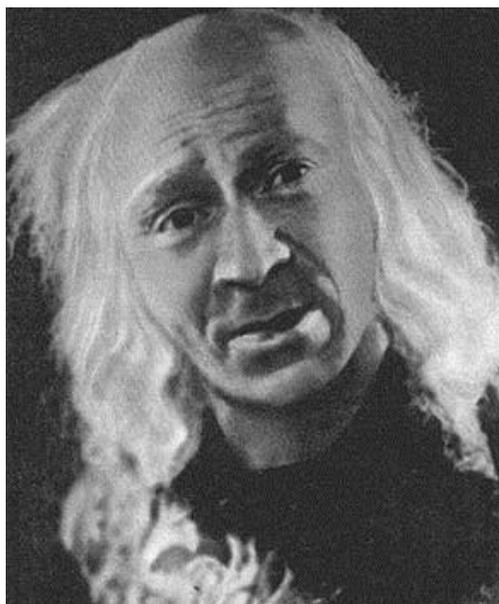
С ним в Европе остались художники Фальк и Альтман. Фальк помогал Грановскому делать художественный фильм «Тарас Бульба», жил в Париже, но вернулся в СССР в злополучном 1937 году. Альтман вернулся еще раньше – в 1931-м.

Жене Грановского Александре Вениаминовне Азарх пришлось выбирать между мужем и оставшейся в Москве любимой сестрой Раисой и родными. Она предпочла вернуться в Москву и вскоре, попав под трамвай, потеряла ногу. Преподавать в театральный техникум она приезжала на костылях. Протез носила редко – это было слишком болезненно.

Алексей Михайлович Грановский умер в Париже в марте 1937 года в возрасте 47 лет. В советской печати его имя, если и упоминалось, то только негативно, а я помню, сколько было благоговения в голосе старых еврейских актеров, когда в узком кругу произносилась фамилия «Грановский».

ГОСЕТ – ТЕАТР МИХОЭЛСА

После возвращения еврейского театра из Германии в Москву, новым художественным руководителем был назначен Соломон Михайлович Михоэлс. Он превратил театральную школу при ГОСЕТе в четырехгодичный театральный техникум наравне со всеми другими театральными учебными заведениями Москвы. И здесь тоже стали обязательными для изучения такие предметы, как марксистско-ленинская философия, политэкономия, история Коммунистической партии.



Михоэлс в роли Короля Лира

К счастью, в основном, студенты по-прежнему занимались актерским мастерством, ритмикой, танцем, сценическим движением, языком идиш, дикцией, историей еврейского и европейского театров. «Невозможно быть хорошим актером, не имея знаний и культурного багажа», - говорил Михоэлс.

Меня всегда удивляло то, как моя мама, дочь сапожника из еврейского местечка в Белоруссии, знала оперу, балет, русскую и мировую литературу, русский и европейский театр... Техникум стал неотъемлемой частью национального еврейского театра и крупнейшей еврейской театральной школой в мире. Здесь преподавали Александра Вениаминовна Азарх, Эфраим Борисович Лойтер, Вениамин Львович Зускин, Моисей Исаакович Гольдблат, Сарра Давидовна Ротбаум. А

директором техникума был Моисей Соломонович Беленький, который, как и Александра Вениаминовна Азарх, учил моих родителей, а через много лет и меня, уже в Шукинском.

В середине 30-х годов, когда мама была принята в театральный техникум, в Советском Союзе было уже восемь еврейских театров, в которых работали выпускники московского еврейского техникума. Помимо еврейских театров в Москве, Киеве, Харькове и Минске, открылись еврейские театры в Одессе, Биробиджане, Ташкенте, Сталиндорфе (городе немцев Повольжья), в Семфирополе, Житомире, Днепропетровске, Баку, а в конце 30-х, после раздела Польши и оккупации Прибалтики государственные еврейские театры открылись (правда, на очень короткое время) во Львове, в Черновцах, в Вильнюсе, в Каунасе, в Риге... И актёров было достаточно, и зрителей.

...Мои родители жили в актерском общежитии на Трифоновке, когда ведущим актерам ГОСЕТа вместе со званиями заслуженных артистов и повышением зарплаты стали давать квартиры в престижных домах на улице Горького и на Арбате. В доме на улице Станкевича стали освобождаться комнаты, которые заселяли молодые еврейские актеры, а также не евреи и не актеры. Молодым супругам Сиротиной и Лахману выделили аж две крохотные комнатки площадью 7 и 8 квадратных метров в самом конце коридора на третьем этаже. Какое же это было счастье иметь, наконец, свой угол!

В 1934 году, на глазах студентов еврейского техникума шли репетиции шекспировского «Короля Лира». Король – Михоэлс. Шут – Зускин. Постановщики – Сергей Радлов и Михоэлс. Перевёл трагедию на идиш Самуил Галкин. Художник – Александр Тышлер. Премьера была сыграна 5 февраля 1935 года. Пятнадцатилетняя Нехамма очень хотела сыграть роль младшей дочери Лира Корделии. Но роль досталась другой актрисе. Потом были спектакли «Разбойник Бойтре», «Хершеле Острополер» (это была первая режиссёрская работа Зускина и очень удачные актёрские работы Ильи Рогалера и Исаака Лурье).

Борис Голубицкий

Санкт-Петербург, Россия



Уроки Эфроса

Анатолий Васильевич всегда был одет по-рабочему: брюки-джинсы, рубашка без галстука, свитерок. Он появлялся откуда-то из глубины сцены и сразу начинал показывать кому-нибудь из артистов его рисунок. Показ был самым главным способом работы В пьесе «Директор театра» Игнатия Дворецкого (на этой постановке я был его последним стажёром) есть такой эпизод: режиссер объясняет и показывает актрисе сцену из «Норы» Ибсена. И артистка должна затем это сыграть.

Николай Волков репетировал режиссера, Ольга Яковлева актрису. И вот он показывает им обоим весь их рисунок, каждый штрих, каждую деталь поведения. У Норы там монолог. Он проиграл его весь почти без слов, слова заменял междометиями, вскриками, кое-что говорил по тексту. Показ был феерическим, блистательным – гениальным. И предельно ясным, как казалось из темноты зрительного зала.

Отчаяние Норы, ее загнанность в угол, безвыходность положения – полное поражение он показал. Но актриса стояла в углу сцены, смотрела исподлобья и недружелюбно.

А после показа произнесла: «И вот это г... я должна сыграть?» – «Оленька, поверь, это будет замечательно, я знаю!» – уговаривал он.- «А я не знаю – почему я должна так это играть?!» И он снова начинал показывать, еще лучше прежнего. «Не знаю, не уверена. Мне надо подумать». «Ты попробуй, ты только попробуй, увидишь – это будет хорошо!»

Но актриса не сдавалась. И не из-за упрямства или плохого характера – просто повторить его показ сразу на этом уровне ей было невозможно.

Репетиция закончилась. На другой день снова репетировали эту сцену, он снова показывал, несколько меняя рисунок. Актеры уже увереннее пробовали. Он бежал в зрительный зал и смотрел оттуда – что получается?

Потом летел на сцену и показывал следующий кусок. Сцена из «Норы» была настоящим украшением этого не слишком удачного спектакля, последнего его спектакля в театре на Малой Бронной. Я тогда подумал : «Господи, как хорошо бы он поставил «Нору» ! Вот и ставил бы ее. А не эту откровенно слабую пьесу!» Но он был верен своему выбору. И напророчил – в конце спектакля режиссер там погибает...

Тогда смутно, а теперь, спустя десятилетия, более отчетливо улавливаю его мотивы. Атмосфера в театре накалилась – подогреваемые директором Коганом артисты выступили против Эфроса, там были его артисты и его ученики. Нормально разговаривать стало невозможно. И он ухватился за эту пьесу, чтобы на языке искусства деспорить, дообъясниться и с артистами, и с директором – со всеми, даже с собственным сыном, который был художником спектакля, но на репетиции не приходил, сидел в своей мастерской и писал какие-то портреты. Ничего не получилось.



Анатолий Эфрос // russia-ic.com

Пока он ставил спектакль, директор ставил свой – за кулисами. Я оказался невольным участником интриги.

Буквально через день после появления в театре меня вызывают к директору. Прихожу в кабинет к назначенному времени – там двое: директор Илья Коган и заведующий труппой Григорий Лямпе /физик Рунге из «Семнадцати мгновений весны» /. Коган, огромный тучный мужчина, сидит за столом, объясняет мне, что это кабинет Михоэлса и что он сохранил обстановку. А Лямпе – единственный сохранившийся артист Еврейского театра. С Лямпе мы знакомы – вместе с Броневым он приезжал в театр, где я работал. Там шел спектакль «Сказки Старого Арбата» и руководство приглашало Броневого выступить в роли Христофора, а Лямпе играл эпизодическую роль толстячка.

Директор дружелюбен и лучезарен, говорит, что много слышал обо мне, следит за моим творчеством по рассказам и рецензиям. И – приступает к делу. Суть сводится к тому, что стажировка у Эфроса ничего мне не даст, что заниматься мною никто не будет и что самым правильным с моей стороны будет написать заявление о нежелании стажироваться у этого режиссёра, а он, как председатель совета директоров, поможет мне перейти в любой театр. Лямпе молчаливо подтверждает всё. Понимаю его присутствие – нужен свидетель разговора. Бывший помощник Вышинского хорошо знает дело. Вежливо благодарю начальство за внимание и заботу и обещаю подумать. Выхожу из кабинета с ощущением выкрученных рук. Вот, значит, как ведётся обработка! Как-то мрачно подумалось, что все участники сцены, включая отсутствующих Эфроса и Броневого, – евреи.

На премьере спектакля Коган стоял в фойе и радушно встречал зрителей. Я был в стороне и тоже встречал своих. Появился Эфрос и молча прошел мимо. Коган протянул ему руку: «Здравствуйте, Анатолий Васильевич!» Тот что-то буркнул, а руки не подал. «Вы что – не хотите подать мне руки?» И небольшого роста Эфрос сделал какой-то немыслимый разворот вокруг огромного директора и как-то неловко из-за спины протянул ему руку. Ощутимая конвульсия пробежала по нему. Я вспомнил, как он хватался рукой за сердце и за горло, когда ему не давали ключ от малого зала, где он со студентами своего режиссерского курса ГИТИСа репетировал сцены из «Бури» Шекспира для Рихтеровских вечеров в музее изобразительных искусств, как он кричал в телефонную трубку на этого директора и как дрожала его рука, когда ключ ему всё же дали...

Но директор оказался прав – мною действительно никто не занимался. В первый день нашей встречи во дворе театра Эфрос занимался своими синими «Жигулями». Он был без пальто, хотя конец ноября, холодно. Из окон дома раздавались звуки фортепьяно – Рихтер жил здесь. Я представился, он едва взглянул на меня и продолжал возиться с машиной. Предложил ходить на репетиции – и всё. И я ходил на

репетиции в театре, на занятия в ГИТИСе, на его публичные выступления в ВТО и на режиссерскую лабораторию, даже ездил за ним в Ленинград, где он давал незабываемый мастер-класс и читал куски из ещё не опубликованных книг. Это были настоящие уроки, о которых я мечтал.

Первые репетиции за столом шли как-то вяло. Эфрос скучал, говорил мало и редко. Актеры – Яковлева, Броневой, Волков, Грачев – разбирались в тексте, между собой почти не общались, вопросов не задавали. Было ощущение, что все ждут чего-то, выхода на площадку, может быть, вот тогда начнется работа. Часто кто-нибудь отсутствовал. Тогда за него читал Эфрос и сразу становилось интереснее. У него был поразительный голос – не слишком сильный, немного высоковатый, но модуляции какие-то нездешние, они завораживали, уводили в космос. Во многих спектаклях его голос звучал по радио – кажется, этим он давал актерам настрой, задавал тон. Вот и за столом он делал то же самое: подсказывал интонацию будущего спектакля.

Однажды он объявил перерыв, все ушли курить, он один сидел за столом и вглядывался в текст через свои битые очки. Подошла немолодая актриса и попросила отпустить ее сегодня пораньше, так как вечером трудный спектакль. «А какой?» – спросил Эфрос. Она назвала. «А Вы разве его не видели?» – «Нет. Я пришел смотреть, увидел декорацию и – ушёл.» Вечером я разглядывал декорацию перед началом спектакля и затем смотрел его – досмотреть не было сил...

Занятия в ГИТИСе были интереснее. Педагогами на курсе работали Анатолий Васильев и Ольга Яковлева. Фактически курс разделился на две группы – Эфроса и Васильева. Я бывал только на занятиях мастера. Разбирали пьесу Толстого «Живой труп». Студенты показывали свои отрывки, потом он делал замечания, которые записывал по ходу на маленьких листочках. Эти маленькие листочки всегда были под руками. Иногда он выходил куда-то и тогда Яковлева разъясняла суть студентам, не стесняясь в выражениях. Эфрос же проявлял чудеса терпения. Но на одного студента он всё же обрушил гнев. В отрывке Федя Протасов открывал бутылку шампанского. Желая приблизиться к правде жизни, режиссер дал настоящее шампанское. Пробка вылетела в потолок – Эфрос тут же остановил показ. Он кричал страшно. Он был оскорблен. Я думал, он побьёт этого студента...

Другие занятия были связаны с «Бурей». Планировались только два актера: Юрский в роли Просперо и Вертинская – Ариэль. Всё остальное делали студенты. По каким-то причинам Юрский не смог участвовать. И тогда Вертинская взяла на себя обе роли, сыграла блестяще. Этот спектакль стал легендой Декабрьских вечеров в музее имени Пушкина, он снят и неоднократно показан по телевидению. Среди последних работ

Эфроса это безусловная победа, а для студентов-режиссеров – настоящее «боевое крещение». Они выступали здесь и как исполнители ролей, и как режиссеры отдельных сцен и этюдов. Их увлеченность работой просто зашкаливала. Особенно заметен был Борис Юхананов, бесспорный лидер, будущий руководитель театра имени Станиславского. И хотя уже наметился раскол на приверженцев Васильева и эфросовцев, в этой работе они выступали единым фронтом. Судьба как будто подсказывала Эфросу путь, по которому он мог бы пойти – создать новый театр с молодыми и верными артистами, начать всё заново, как когда-то в Ленкоме. Но – «неумолим конец пути», всё вышло совсем не так...

В заглавной роли директора театра выступал Леонид Броневой, артист яркий, обаятельный, но всегда несколько манерный, и с очень непростым характером. Он не раз публично заявлял: «Эфрос ненавидит меня! Он всегда дает мне роли негодяев.» Но ведь Христофор Блохин, например, вовсе не негодяй, да и директор театра личность сложная и противоречивая. А ненависть как проявляется? Эфрос занимал Броневого во многих своих спектаклях и фильмах, именно здесь пришла к актеру слава, еще до Мюллера. Но так или иначе – Броневой был лидером актерской оппозиции Эфросу в театре.

Драматург Виктор Розов рассказывал, как он отговаривал Эфроса переходить в театр на Таганке и как тот возражал ему : «Я многому научился. Я могу работать даже с врагами.»

На одну из сценических репетиций не пришли многие актеры. Один Броневой ходил по сцене. Появился Эфрос, помреж доложила, что Волков отпущен, Яковлева больна, Грачев на съемках, есть только Броневой. «Что, Анатолий Васильевич, будем отменять?» – спросил Броневой, как мне показалось, с некоторой надеждой. «Нет, – ответил Эфрос, – будем репетировать вдвоем. Пройдем все ваши сцены, я вам подыграю.» Три часа они репетировали. В жизни своей я не видел более прекрасной репетиции! Это было какое-то упоение театром, взаимопониманием, партнерством. Они импровизировали, подсказывали друг другу, находили новое. Из зрительного зала, где я сидел в абсолютном одиночестве, казалось, что два верных товарища священнодействуют в поисках совершенства. Репетиция закончилась, они поблагодарили друг друга и разошлись. Впоследствии Броневой говорил, что он тоже не советовал Эфросу уходить на Таганку, а вскоре и сам перешёл в Ленком...

На премьере спектакля в апреле 1984-го уже было известно, что Эфрос принимает Таганку и что вместе с ним туда идет Ольга Яковлева. Я подошел к нему поздравить с премьерой и попросил: «Можно ли мне продолжить стажировку у Вас?» Он ответил: «Я хотел бы, мне о Вас

хорошо говорил Дворецкий. Но министр Зайцев объявил, что на Таганке у меня стажеров не будет.» И мы распрощались...

Дальнейшее хорошо известно. Он поставил на Таганке несколько спектаклей, я смотрел их. Там было много выдумки, много темперамента, но не было света, который он всегда излучал, не было ощущения какого-то особого воздуха, перенасыщенного кислородом, даже озоном. И он плакал в своем новом кабинете: «Кажется, я разлюбил театр!» Что может быть страшнее для великого режиссера? А потом он умер – 13-го января 1987-го года. Жизнью заплатил за трагическую ошибку, от которой мы его не уберегли.

Мне министерство любезно предоставило право выбрать театр для дальнейшего прохождения стажировки. Можно было пойти к Ефремову, уехать к Товстоногову или отправиться в Ленком. Я выбрал последний вариант – в обратном направлении прошел дорогу Эфроса восемнадцатилетней давности. И дух его еще витал там – в актерах. Меня определили к Глебу Панфилову на спектакль «Гамлет». Состав был первоклассный: Янковский, Чурикова, Абдулов, Збруев, Козаков, Корецкий. Панфилов часто надолго уезжал, мне выпадало счастье репетировать с этими артистами. Збруев буквально бредил Эфросом, вспоминал его поминутно. Козаков недавно расстался с Эфросом, был им ужален. А Корецкий /Электрон Евдокимов из лучшего, на мой взгляд, ленкомовского спектакля Эфроса «104 страницы про любовь» / просил сделать с ним какую-нибудь внеплановую работу – как при Эфросе. Но – это уже тема для другого рассказа...

У Анатолия Васильевича была одна странная привычка: время от времени он взъерошивал пятерней ёжик волос на голове. Все знали эту его привычку и подтрунивали над ней – особенно в актёрских капутниках, весьма популярных в те времена. Жест был действительно смешной и узнаваемый, я наблюдал его не раз. И однажды мне показалось, что я догадался о природе этого жеста: ёжик на голове был его антенной, на которую поступала божественная информация. И когда ёжик опадал, он взбивал его, чтобы поток не прерывался. Он был нездешний человек...

Элеонора Мандалян

Лос-Анджелес, США



Кинообзорение от Элеоноры Мандалян. The Promise – наследие магната-филантропа

В мире кино на подходе не совсем обычный голливудский фильм – как минимум, политически проблемный. Имя ему The Promise («Обещание»), и путь его к зрителю из-за этой самой его проблемности основательно затянулся. Приуроченный к столетию Геноцида армян – 24 апреля 2015 года, – он был завершен в срок, но выпустить на экраны его не рискнули. Лишь в сентябре 2016 года в Торонто, на 41 Международном кинофестивале (TIFF) состоялся его внеплановый показ, завершившийся пятиминутной овацией в зале. После того, как уже в этом году был брошен двухдневный пробный камень предварительного показа в США, на фильм градом посыпались резко отрицательные отзывы, что заставило прокатчиков заволноваться и снова придержать выпуск «заведомо провальной картины».

«70 000 человек оставили отрицательные отзывы на IMDb после первого просмотра, – с возмущением объявил Майк Медавой, один из продюсеров фильма. И добавил: – Такое физически невозможно. В кинозале просто не бывает столько мест».

Всего же после трех публичных просмотров было получено более 86 000 негативных отзывов – по количеству больше, чем на полноценный прокат самого кассового фильма года «Finding Dory». Отзывы сопровождались оценкой фильма в одну-две звездочки, то есть самым низким рейтингом.

Проведенное своего рода расследование выявило, что отзывы эти были намеренно сфальсифицированы представителями турецко-азербайджанской аудитории, яростно выступающей, как известно, против самого факта существования геноцида армян, а потому стремящейся умышленно занизить рейтинг «Обещания», дабы он не дошел до широкого зрителя. То было вполне ожидаемое и далеко не первое давление в замаскированной форме, осуществленное через интернет, в частности – на Twitter и в IMDb – крупнейшей в мире базе данных о кинематографе.

Но продюсерская компания Open Road Films не побоялась приобрести права на прокат Promise в США. «Мы с гордостью добавляем к нашему 2017 году эту эпическую историю любви на фоне переломного периода в мировой истории, – сказал ее исполнительный директор Том Ортенберг. – Promise отличается первоклассными актерами и первоклассным кинопроизводством, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться этим престижным фильмом со зрителями всей страны».

The Promise стал осуществленной мечтой (увы, посмертно), исполненным «обещанием», данным самому себе и своему народу удивительнейшим человеком – Кирком Керкоряном, крупнейшим меценатом и филантропом. Имя его общеизвестно. И уж тем более оно известно каждому армянину.

Миллиардер, магнат, изощренный финансовый игрок (на пике взлета – в 2007-м, его состояние оценивалось в \$18 млрд), создавший за свою долгую жизнь мощную финансовую империю, в которую вошла чуть ли не половина всех отелей и казино, построенных им в игорном раю Невады, за что его величали «Отцом Лас-Вегаса», «Королем Лас-Вегаса», «Бароном Лас-Вегаса». А когда «короля» не стало, Лас-Вегас, прощаясь с ним, украсился портретами своего кумира, каждый – во всю высоту отелей-небоскребов. (Зрелище – шоку подобное.) Еще при жизни он превратился в «живую легенду мирового бизнеса», в эталон порядочности и успеха.

Керкорян умел не только лучше других делать деньги, но и щедро делиться ими, оставаясь при этом в тени и не принимая никакой благодарности. Несмотря на то, что он родился и прожил всю жизнь в Америке, каждой клеточкой своего естества он был армянином, стремившимся принимать самое активное участие в развитии своей исторической Родины. Но советские власти ему в этом отказывали. Зато после того, как Армения стала независимой республикой, остро нуждающейся в помощи, и особенно – после разрушительного Спитакского землетрясения, для Кирка открылось широкое поле деятельности.



Шарлотта Ле Бон в роли Аны

На перечисленные им сотни миллионов долларов были отремонтированы и построены новые автотрассы, горные туннели, целые улицы многоэтажных домов, культурные объекты. Он стремился жертвовать деньги анонимно, чтобы те, кому он помогает, даже не знали его имени. Сколько его ни просили власти Армении, он не позволил ни один построенный на его деньги объект назвать в его честь.

С 1969 года Керкорян начал свое внедрение в голливудское кинопроизводство, скупая акции MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). А к 1996-му добавил к ней United Artists, Columbia Pictures и 20 Century Fox. Как подлинный сын своего народа, Керкорян не мог смириться с исторической несправедливостью – с тем, что потомки Османской империи, загубившей жизни полутора миллионов армян и заставившей полмиллиона чудом выживших рассеяться по свету, упорно не желают признавать сам факт широкомасштабного и жесточайшего преступления. Керкорян давно вынашивал идею в наглядной форме – через художественный фильм – рассказать ярко, эмоционально, языком искусства о геноциде, о выносливости и неистребимости человеческого духа, о том, через что довелось пройти его народу в те страшные 1915-1923 годы.

И он не только вынашивал, но и сделал все, чтобы его идея осуществилась. С этой целью через свою корпорацию Tracinda он основал производственную кинокомпанию Survival Pictures (с логотипом в виде цветка незабудки, где пять лепестков символизируют части света, по которым разбросало бежавших от геноцида армян) и перевел на нее 100 миллионов долларов. Таким образом, The Promise стал самым

дорогим фильмом в истории кинематографа, профинансированным частным лицом.

Кирк Керкорян успел запустить фильм в производство, принимал активное участие в подготовительном периоде и подборе актеров. Будучи глубоким старцем, он дожил-таки до назначенного срока выхода фильма. Только вот фильм так и не был показан. 15 июня 2015-го. За два года до своего столетия и нынешней премьеры, великий меценат скончался.

По просьбе Керкоряна, Survival Pictures возглавили два преданных ему человека – Эрик Израелян и Энтони Мандекич. Израелян к миру кино вроде бы отношения прежде не имел. Он – врач с тройным медицинским образованием, работающий в UCLA и являющийся членом Медицинского совета Калифорнии. Но как армянин по крови и по духу и как близкий друг Кирка он не только принял его предложение, но и пожелал стать одним из продюсеров «Обещания». Продюсеров, помимо Керкоряна и Израеляна, у фильма несколько: Майк Медавой, Уильям Хорберг, Дениз О'Делл, Ральф Уинтер.

Mike Medavoy – опытнейший американский кинопродюсер 76 лет, родившийся в Шанхае. Корни родителей-евреев уходят в Одессу. Лауреат премии «Оскар» (за фильм «Чёрный лебедь»), Medavoy работал со Стивеном Спилбергом и Фрэнсисом Фордом Коппола и был в составе многих съемочных групп, выпускавших всемирные блокбастеры, начиная с такого фильма, как «Пролетая над гнездом кукушки». О том, что Медавого живо волнует право человека на жизнь, говорит уже тот факт, что он принимал участие в создании шестичасового мини-сериала, а затем и художественного фильма по роману «Проклятое фортепьяно» – о преследуемых евреях из оккупированной фашистами Европы, ищущих в Китае убежища.

Щедрейший благотворитель и меценат, Керкорян всю жизнь был необычайно скромнен во всем, что касалось его лично. И в этом последнем, заключительном проекте, которому он придавал огромное значение, он снова пожелал остаться «за кадром», согласившись после долгих препирательств с друзьями-продюсерами на упоминание своего имени в фильме лишь в самом конце титров, мелким шрифтом.

«The Promise – фильм, посвященный армянскому народу, – подчеркивает в своем интервью Патрисия Глейзер, одна из исполнительных продюсеров фильма, бывшая бессменным адвокатом и представителем Кирка многие годы. – Все мы, кому г-н Керкорян поручил создание этого фильма, чувствовали огромную ответственность перед ним, перед всем армянским народом и человечеством в целом,

сознавая, что должны на самом высоком уровне во всеуслышание заявить о содеянном, о необходимости защиты прав человека».

The Promise – полнометражный (продолжительностью 2 часа с четвертью) художественный фильм, в котором задействованы голливудские и иностранные актеры первой величины, отмеченные самыми высокими кинонаградами.

Главных героев в фильме три: оscarоносные Кристиан Бейл, сыгравший американского фотокорреспондента Криса Майерса, и Оскар Айзек, в роли турецкого армянина-студента Майкла Погосяна, и канадская актриса и фотомодель из Монреаля, Шарлотта Ле Бон – в роли армянской художницы из Парижа, Аны.

Кристиан Бейл (The Fighter, American Hustle, The Dark Knight) – англо-американский актёр с широким диапазоном ролей, от Art house до высокобюджетных голливудских блокбастеров. Наиболее хорошо известен как исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана (2005-2012).

Оскар Айзек, он же Оскар Исаак – американо-гватемальский актёр и певец («Внутри Льюина Дэвиса», «Самый жестокий год», «Из машины», «Люди Икс: Апокалипсис», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Для полного интернационала добавим к ним таких актеров, как Джеймс Кромвелл (США), Марван Кензари (Голландия-Тунис), Жан Рено (Франция), Шохрех Агдашлу (США-Иран), Анджеला Сарафян (США-Армения).

Не отстают от актеров по части наград, известности и национального разнообразия и члены съемочной группы. Автор картины – Теренс «Терри» Джордж (Terry George) – ирландский сценарист и режиссер, обладатель Оскара при трех номинациях (Hotel Rwanda, Reservation Road, The Shore). Сценарий к «Обещанию» Терри Джордж писал в соавторстве с Robin Swicord, американской сценаристкой, известной по фильмам: «Мемуары гейши», «Маленькие женщины», «Практическая магия», «Жизнь по Джейн Остин», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и т.д.

Снимал фильм Хавьер Агирресаробе, многоопытный испанский кинооператор, последнее время сотрудничающий с Голливудом, обладатель шести премий «Гойя». А музыкальное сопровождение обеспечивал композитор Габриэль Яред, бейрутский еврей, автор музыки для европейских и американских кинофильмов, для балетов, радио и телевидения; обладатель одного Оскара при трех номинациях.

Внесли свой вклад в саундтрек The Promise и музыканты Крис Корнелл и Серж Танкян. Корнелл, известный американский гитарист, композитор и вокалист, написал, в частности, для фильма песню, объясняющую его название. В ней есть такая строфа: No matter the price,

a promise to survive, persevere and thrive and dare to rise once more. («Обещание выжить, неважно, какой ценой, выстоять и процветать, и, презрев опасность, возродиться вновь»). Правда, в официальном трейлере закадровый голос заканчивает презентацию фильма в ином ключе: «Обещание: Мы отомстим, оставшись в живых». Не знаю, кто придумал эту фразу, а только армяне никому мстить не собирались. Не в их это натуре.

Надо сказать, что *The Promise* – совместное производство США и Испании; фильм снимался в Южной Европе, включая Португалию и Канарские острова.

Ну и традиционно о сюжете. Фотокорреспондент Associated Press Крис Майерс (Кристиан Бейл) прибывает в османскую Турцию из Парижа с заданием освещать в прессе геополитические проблемы находящейся на грани распада империи. Вместе с ним в Константинополь приезжает Ана (Шарлотта Ле Бон) – талантливая художница- армянка, много лет жившая в Париже. Крис влюблен в эту очаровательную, утонченную девушку.

Микаэл (Майкл) Погосян (Оскар Айзек) – молодой сельский аптекарь. В его селе Сирун («Красивое»), на юге Турции, некогда являвшемся частью исторической Армении, турецкие мусульмане и армянские христиане жили бок о бок веками. Через быт села героя и Константинополь зрителям ненавязчиво демонстрируется мирное сосуществование религиозных и этнических меньшинств в Османской империи – здоровая конкуренция между турками и армянами в мелком бизнесе, минареты и конические купола древних армянских церквей соседствуют в ландшафте...

Майкл приезжает в Константинополь учиться на врача, чтобы обогатить свое село новейшими методами медицины. Он останавливается у двоюродного брата отца, местного торговца. И практически тут же судьба сводит его с Аной, которая согласилась учить рисованию дочь дяди. Взаимное притяжение вспыхивает между ними с первого взгляда. Оба мужчины, Майкл и Крис, оказываются соперниками... Это, так сказать, мирная составляющая сюжета. Но очень скоро всем троим станет не до романтических переживаний. Судьбы троих героев разворачиваются на фоне масштабных событий Первой Мировой Войны и внутреннего кризиса Османской империи, задумавшей раз и навсегда покончить с этническими и религиозными меньшинствами в своей стране, с армянами – в первую очередь. 1914 год. Константинополь, космополитический центр Ближнего Востока, яркий и древний город на берегах Босфора, вот-вот будет ввергнут в хаос.

Майкла как студента призывают на военную службу, но ему удается уклониться от мобилизации. Обманчивое спокойствие в начале фильма меняется взрывоподобно. Майкл, Крис и Ана волею судьбы не только становятся очевидцами кровавых зверств, но и вынуждены бороться за собственные жизни.

Майкл попадает в лагерь за то, что попытался вызволить из тюрьмы своего дядю. Сбежав из лагерей, он добирается до своего села, чтобы помочь близким укрыться от резни и депортации. Они прячутся в лесах. Турецкие солдаты убивают его семью и всю деревню. В живых чудом остается только его мать. Соблюдая историческую справедливость, в фильме показаны и положительные персонажи с турецкой стороны, дружелюбно настроенные к своим друзьям-армянам и пытающиеся помочь им уцелеть во время разгула геноцида.

Погромы распространяются по всей стране. Жестокость, кровь, беспредел. Целые деревни убитых и замученных. Трупы, сбрасываемые в реку. Массовые казни.

Бредущие неизвестно куда сироты. Насильственная депортация мирных жителей. Причем понятие «депортация» для Османской империи имело совсем иной, коварный смысл. «Депортируемых» не выдворяли из страны – их сгоняли в длинные вереницы и под конвоем гнали как скот в пустыню, на верную смерть по дороге или в конце пути – от истощения, избиений и надругательств.

Движимый праведным гневом, Крис стремится запечатлеть на пленке зверства, творящиеся вокруг, и переправить фотоматериалы в Associated Press, чтобы там, в Америке, могли увидеть происходящее в Турции. Так, через призму восприятия героев фильма, оказавшихся в гуще роковых событий, авторы перелистывают самые страшные, самые скорбные страницы не только армянской, но и всей мировой истории, – геноцид в Османской империи. Все это должно заставить зрителя содрогнуться, осознать весь ужас человеческой жестокости, сделать для себя вывод, что такое не должно повториться нигде и никогда, ни с каким народом.

А дальше Оборона горы Муса-Даг – главная и практически единственная попытка армян оказать вооруженное сопротивление османским палачам. Муса-Даг, высокая гора у Средиземного моря на юге Турции, некогда была частью Киликийской Армении. В том страшном 1915-м жители шести близлежащих деревень, не подчинившись приказу властей о лжедепортации, взобрались на эту гору и дали героический отпор турецким войскам, продержавшись 53 дня. Но силы их и боеприпасы были на исходе. От полного истребления их спасли военные суда (четыре французских и одно английское), заметившие с моря вывешенный на горе флаг. Благодаря им 4048

выживших армян были эвакуированы в египетский город Порт-Саид. Дабы не обойти стороной эту важную веху истории, авторы фильма вплели в нее судьбы своих героев.

Майкл и Ана с большой группой повстанцев отбиваются от османской армии на горе Муса-Даг, а французский флот уже спешит им на помощь...

«Обещание» – далеко не первая и не единственная попытка рассказать средствами кинематографа о геноциде в Османской империи. Самым удачным и самым известным считается фильм «Майрик» («Мама» по-армянски), французского кинорежиссёра армянского происхождения Анри Вернойя, (Франция, 1991), в котором снялись Омар Шариф, Клаудиа Кардинале и Ришар Берри. Кстати, за участие в фильме Турция запретила Омару Шарифу въезд в свою страну.

В 1970-х MGM приобрела права на экранизацию знаменитого исторического романа австрийского писателя еврейского происхождения, Франца Верфеля, «Сорок дней Муса-Дага», переведенного на 38 языков. Но турецкое правительство пригрозило MGM начать всемирную кампанию травли, если фильм выйдет на экраны. Крупные кинокомпании, такие как MGM, получающие основную прибыль от мирового проката, не могут позволить себе проигнорировать подобного рода угрозы. И производство фильма было остановлено.

В 1982 году по роману Верфеля одноименный фильм («Сорок дней Муса-Дага») снял американский режиссер Саркис Мурадян, армянин из Ливана. Увы, фильм почти тут же сгинул.

Другой армянин, на сей раз из Каира, канадский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Атом Эгоян, в 2002 году выпустил двухчасовой художественный фильм о геноциде. Фильм был назван по имени библейской армянской горы: «Арагат». Естественно, турки предприняли все меры, чтобы воспрепятствовать его показу на Каннском кинофестивале и провалить в прокате. Пострадавшим оказался не только режиссер картины, но и ее дистрибьютор – Migatax. Под шквалом негативных писем его веб-сайт рухнул. Несмотря на то, что «Арагат» получил массу наград в Канаде и в других странах, он тоже был предан забвению.

Был еще фильм «Гнездо жаворонка» (Италия, Франция, Болгария, Испания, Великобритания, 2007), снятый братьями Паоло и Витторио Тавиани. Турция и ее премьер Эрдоган напрямую вмешались в производство фильма, используя угрозы и «настоятельные рекомендации». В результате фильм получился беззубый, слащавый, с

реверансами в адрес Турции и «сглаженный», вплоть до искажений исторической правды, что вызвало протесты у армян всего мира.

В Голливуде Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне, независимо друг от друга, вынашивали идею снять фильм о кровавой резне, учиненной Османской империей над своим христианским населением, но, как сообщалось в прессе, под давлением турецких лоббистов, так и не реализовали свой замысел.

Остается надеяться, что «Обещание» избежит печальной участи своих предшественников. Историческая кинодрама Кирка Керкоряна должна появиться в кинотеатрах США 21 апреля, а в мировом прокате 28 апреля. Уже в самих этих датах прослеживается некая скрытая тенденция «не дразнить быков» – не 24 апреля, а рядом, чуть «до» и чуть «после».

Цалий Кацнельсон

Нью-Джерси, США



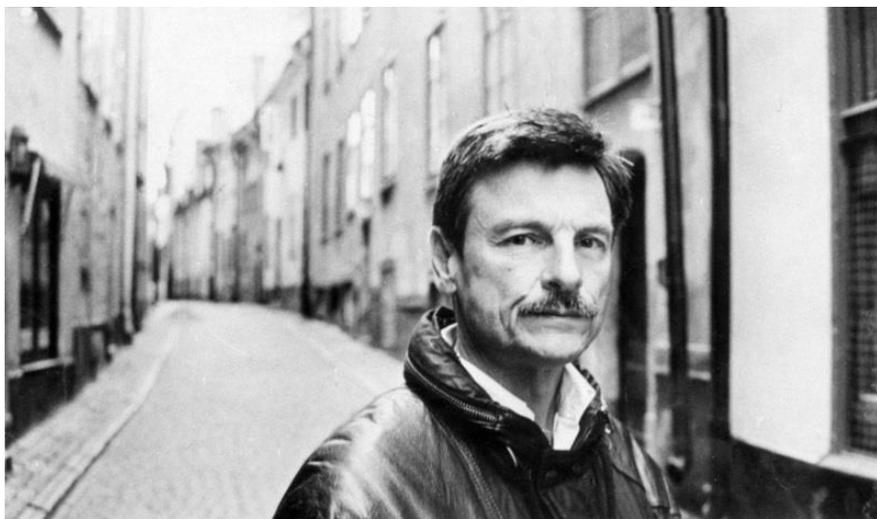
Андрей Тарковский. «Ваяние из времени». К 85-летию Андрея Тарковского

4 апреля исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского. Тонино Гуэрра, Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Анджей Вайда дали высочайшие оценки творчеству Тарковского-режиссёра. И у себя на родине, в России, Тарковский пользуется популярностью как режиссер, но не как реформатор и новатор в кинематографе (с горечью и стыдом за родину не могу не вспомнить, что российское признание пришло к нему трагически поздно).

Но кроме 7 с ½ фильмов у Тарковского есть теоретические работы, собранные в одну книгу, многократно изданную на Западе. Впервые на немецком (в 1986-ом), а затем в 1987-ом на английском языке была опубликована книга Андрея Тарковского «Sculpting in Time: Reflections on the Cinema» («Ваяние из времени: размышления о кино»).

В эту книгу вошёл ряд статей, написанных еще в России, а также за рубежом. 20 лет спустя эта книга была издана и в России под названием «Запечатлённое время» – таков был и заголовок статьи Тарковского 1967-го года.

«В чем же суть авторской работы в кино? Условно ее можно определить как ваяние из времени. Подобно тому как скульптор берет глыбу мрамора и, внутренне чувствуя черты своей будущей вещи, убирает все лишнее, кинематографист из «глыбы времени», охватывающей огромную и нерасчлененную совокупность жизненных фактов, отсекает и отбрасывает все ненужное, оставляя лишь то, что должно стать элементом будущего фильма, то, что должно будет выясниться в качестве слагаемых кинематографического образа».



Далее А.Тарковский пишет:

«Я до сих пор не могу забыть гениальный фильм, показанный в прошлом веке, фильм, с которого все и началось, — «Прибытие поезда». Этот всем известный люмьеровский фильм был снят просто в силу того, что были изобретены съемочная камера, пленка и проекционный

аппарат. В этом зрелище, длящемся всего полминуты, изображен освещенный солнцем участок вокзального перрона, прогуливающиеся господа и дамы и поезд, приближающийся прямо на камеру из глубины кадра. По мере того, как поезд приближался, в зрительном зале начиналась паника: люди вскакивали и убегали. Мне кажется, вот в этот самый момент и родилось кино. Это не просто техника или новый способ репродуцирования мира, нет. Родился новый эстетический принцип.

Принцип этот заключается в том, что впервые в истории искусства, впервые в истории культуры человек нашел способ непосредственно запечатлеть время. И одновременно — возможность сколько угодно раз воспроизвести это время на экране, повторить его, вернуться к нему. Человек получил матрицу реального времени. Увиденное и зафиксированное время смогло теперь быть сохраненным в металлических коробках надолго (теоретически — бесконечно).

Именно в этом смысле впервые люмьеровские фильмы таили в себе зерно нового эстетического принципа. Сразу же после них кинематограф пошел по мнимо художественному пути, который был ему навязан, — по пути наиболее верному с точки зрения обывательского интереса и выгоды. В течение двух десятилетий была «экранизирована» чуть ли не вся мировая литература и огромное количество театральных сюжетов, кинематограф был использован как способ простой и соблазнительной фиксации театрального зрелища, кино пошло тогда по ложному пути, и нам нужно отдать себе отчет в том, что печальные плоды этого мы пожинаем до сих пор. Я даже не говорю о беде иллюстративности: главная беда была в отказе от художественного использования единственно ценной возможности кинематографа — способности на целлулоидной пленке запечатлеть реальность времени.»

А.Тарковский полагал, что образ, создаваемый фильмом, не должен быть простым соединением кадров, собранных в определенной последовательности и развивающихся во времени. Он считал, что доминирующим фактором при создании образа фильма должен быть ритм, а не соединение кадров. Ритм — ядро поэтического фильма. Но идея Тарковского, касающаяся ритма, в противоположность Эйзенштейну, — это кинематографический ритм как некоторое движение внутри структуры фильма, а не временная последовательность кадров.

Следовательно, главная особенность поэтического фильма — процесс *ваяния извремени* в противоположность *монтажу аттракционов* Эйзенштейна.

В то время как процесс создания фильма для Эйзенштейна был процессом интеллектуального и концептуального сопоставления

различных изображений, для Тарковского *время* из времени представляло собой метод, при котором кадры спонтанно объединялись в самоорганизующуюся структуру. Тарковский отвергал принцип *взаимодействия концепций (монтаж Эйзенштейна)*, считая, что фильм – это выражение сущности мира, и создание фильма – это создание своего мира.

Для Эйзенштейна фильм был «нарезкой» кадров, в то время как для Тарковского – это поток времени, определяющий методику работы над фильмом. Поэтому *время* в фильме должно быть чем-то более значимым и истинным, должно выходить за пределы событий на экране и в данном кадре, становиться объектом непосредственного восприятия, а не просто временными рамками конкретного эпизода. Этот подход весьма отличен от *монтажа аттракционов*, создаваемых компоновкой отдельных кадров; структурные элементы фильма должны вызывать ассоциации со многими понятиями, заставляя зрителя производить некоторую интеллектуальную работу.

Метод *монтажа аттракционов* дает эффект некоего толчка, побуждая зрителя к пониманию определенных идей и понятий, ритмы времени Тарковского позволяют видеть жизнь в ее сущности, в ее движениях. Кроме того, это поэтическое выражение материального мира может выйти за пределы намерений художника и восприниматься по-иному каждым зрителем. В школе Тарковского кинорежиссер выражает свою философию жизни, в противоположность созданию новой версии восприятия действительности.

Эйзенштейн считал *движение* и *место* отличительными особенностями кино в противоположность театру. Монтаж – это метод компоновки фильма, при котором изображения расчленены на отдельные фрагменты и затем собраны в необходимом режиссеру порядке, чтобы достичь определенного ритмического эффекта.

Эйзенштейн рассматривал монтаж как основание художественного кино (*искусство фильма*). «*Монтаж аттракционов*» (термин, введенный самим С.Эйзенштейном) показывает объекты, идеи и символы в столкновении, для того чтобы оказать интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. Фильмы, сделанные Эйзенштейном в 20-е годы в соответствии с его теорией «*Монтаж аттракционов*», и прежде всего «Потемкин», были полны жизни и поэзии. Тарковский и многие выдающиеся режиссеры современного кино интуитивно шли путем, обозначенным А.Тарковским как ‘путь более глубокого постижения жизни’.

Что касается образов, то А.Тарковский вспоминает японскую поэзию: *Старый пруд.*

Прыгнула в воду лягушка.

Всплеск в тишине.

Или:

*Срезан для крыши камыш.
На позабытые стебли
Сыплется мягкий снежок.*

А вот еще:

*Откуда вдруг такая лень?
Едва меня сегодня добудились...
Шумит весенний дождь.*

Если с этой точки зрения посмотреть на самый, казалось бы, сложный его фильм «Зеркало», то можно увидеть, что всё в этом фильме просто, и не надо искать каких-то таинственных моментов. Эпизоды мирной довоенной жизни, воспоминания главного героя – всё это соединено воедино, слеплено ваятелем Тарковским в одно целое.

Также и в «Сталкере». Все просто, только не надо разгадывать его символы, вот что говорит Тарковский об этом:

«Меня часто спрашивали, что такое «зона», что она собою символизирует, и высказывались немислимые догадки. Я прихожу в состояние бешенства и отчаяния, слыша такие вопросы. «Зона», как и всё в моих фильмах, ничего собою не символизирует: «зона» это «зона», «зона» это жизнь, пройдя через которую, человек либо ломается, либо выстаивает. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различить главное и преходящее».

Далее А.Тарковский пишет:

«За последнее время мне приходилось много выступать перед зрителями, и я заметил, что когда я утверждаю, что в моих фильмах нет символов и метафор, то аудитория всякий раз выражает свое недоверие. Меня снова и снова с пристрастием выспрашивают о том, что означает в моих фильмах дождь, например? Почему он переходит из фильма в фильм, почему повторяется образ ветра, огня, воды? Я прихожу в замешательство от таких вопросов... Дождь, огонь, вода, снег, роса, поземка — часть той материальной среды, в которой мы обитаем, правда жизни, если хотите.»

Что касается места А.Тарковского в мировом кинематографе, то об этом не стоит и говорить, это – бесспорно. Феллини, Брессон, Антониони, Довженко, Параджанов, Бунюэль, Хичкок – великие мастера, каждый по своему. Но их объединяет то, что ко всем им можно

применить теорию Тарковского о «ваянии из времени». «8 ½» и «Амаркорд» Феллини, «Затмение» Антониони – все они отвечают закону «ваяния из времени». И в этом величие А.Тарковского не только как режисера, но и как теоретика киноискусства мирового масштаба.

P.S. Когда эта статья уже была закончена, я посмотрел на канале «Культура» документальный фильм «Робер Брессон и Андрей Тарковский. Диалог посредством изображений».

«Ваяние из времени» продолжается, покуда живо Кино. Ибо «живое кино – это запечатлённое время».

Ирина Чайковская

Б.Вашингтон, США



«Дантов Рай» режиссера Андрея Кончаловского

О фильме «РАЙ»

Несколько недель назад на российском ТВ был наконец показан разрекламированный фильм Андрея Кончаловского «Рай» (2016). Ждала его с нетерпением, все же он получил Серебряного Льва в Венеции, да и вообще те кадры, что крутились в рекламных роликах, вызывали интерес.

Обе героини были «настоящими», о Вики Оболенской обстоятельно и драматично написала Людмила Оболенская-Флам, о Матери Марии и ее непростых религиозных исканиях – Ксения Кривошеина.

Обе писательницы – по-человечески мне близкие и далеко не чужие нашему журналу. И вот – фильм, а дальше... тишина. Не услышала о нем более или менее цельных суждений – пересказ сюжета, и только.

Где мнения критиков? Почему, фильм, получивший высокую награду Венецианского фестиваля, почти не обсуждался, прошел как не было?

Мне кажется, я знаю ответ. Фильм сложный. Над ним нужно думать, он не сразу дается в руки. Боюсь, что и я не смогу дать полноценной рецензии. Попытаюсь рассказать о своем понимании картины.

Итак, «рай». Слово это ключевое. От него бегут все дорожки. Где-то в середине фильма прозвучат прозрачные, как кристаллы, терцины Данте, и я уловлю знакомое: «Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate» – в переводе Михаила Лозинского: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Эта надпись была над воротами Дантова Ада; с полным правом могла она быть и над воротами Освенцима, Трешлинка, Бухенвальда, лагерях «уничтожения», практически не оставлявших своему «контингенту» шанса выжить.

И хотя на воротах Освенцима-Аушвица висела лицемерная надпись «Труд освобождает», а Бухенвальда – циничная «Каждому свое», всякий сюда прибывший осознавал, что попал в Ад, из которого не выбраться...

Но я начала со слова «рай», а пришла к «аду». И эта амбивалентность рай-ад постоянно присутствует в картине Кончаловского.



Мать Мария

Однако скажу несколько слов о сюжете. В центре фильма русская эмигрантка княгиня Ольга Каменская. Это собирательный образ, в Ольге

воплотился национальный тип русской женщины, его не могут стереть и нивелировать никакие титулы; особенно это становится понятным в тех жутких обстоятельствах, в которые она попадает. Сначала – парижская префектура, допросы дознавателя-коллаборациониста, крики пытаемого рядом товарища по Сопротивлению, потом – фашистский лагерь. Мы не знаем точно какой, но по интенсивности работы крематория и газовых камер, а также по упоминанию венгерских евреев, которые прямо из вагонов идут в газовые камеры, – это похоже на Освенцим. В 1944 году Эйхман похвалялся, что уничтожит миллион венгерских евреев.

Сюжетная линия романтична – на первый взгляд. Ольгу замечает прибывший в лагерь с инспекцией молодой аристократ-эсэсовец



Оболенская Вера (Вики) /chtoby-pomnili.com/

Хельмут. Когда-то в счастливые довоенные годы, в Италии, он встретил ее на курорте – и даже был ею приближен, но на утро после свидания она уехала, и сколько бы он ей ни писал, – не отзывалась. И вот теперь...

Редкий талант у актрисы Юлии Высоцкой. Вот она на кадрах пленки, найденной Хельмутом на чердаке его дома, он возит эту пленку с собой – это его рай, застывшие и длящиеся кадры его счастья. Итальянский полдень, солнце, море – и группа дам и кавалеров, кружащихся в

хороводе, среди которых она, пленительная русская, в большой шляпе, еще не ставшая княгиней, но уже влюбившая в себя русского князя...

И вот она же, в лагерной униформе, с суровым и безучастным лицом, пробирается среди земельных отвалов, таких же полосатых полумертвецов, свирепых конвойных и собак. Совсем другая. И положение ее во вновь возникшем любовном дуэте другое – она прислуга, полурабыня, хотя Хельмут ее любит и она уже не хочет есть, когда по вечерам возвращается в барак. И однако, когда Хельмут приглашает ее посмотреть старые кадры и она видит себя, прежнюю, чем она может ответить на его недоумение из-за отсутствия у нее на лице радости? Та жизнь – как промелькнувший сон. Сейчас – другая. И в этой новой жизни она приходит к нему для уборки, стирки и всяческого «обслуживания»...

Говорю о сюжете, но с самого начала режиссер показывает, что дело не в нем, – дело в человеческих характерах. Перед нами трое. Француз Жюль, немец Хельмут и русская Ольга. На протяжении картины мы слышим исповедь каждого из них. Причем понятно, что их уже нет на свете, это исповедь ТАМ. Каждый рассказывает о важном, сокровенном. У истинного француза Жюля, работника префектуры, сотрудничавшего с оккупантами и убитого французскими антифашистами, мысли о сыне и своем счастливом браке перемежаются с досадой на то, что не успел переспать с русской княгиней...



Ольга – Юлия Высоцкая. Кадр из фильма

Характер Хельмута гораздо сложнее, он аристократ из старинного рода, нацистская идея привлекает его возможностью построить рай для

немцев, униженных Версалем, обедневших, как он считает, по вине евреев. Их он ненавидит особо, считая причиной всех бед Германии.

Если уничтожить евреев – рай для немцев будет построен. Хельмут – фанатик, боготворящий Гитлера и поддерживающий идею сверхчеловека. Этот симпатичный эсэсовец во всем опирается на закон, он избавляет от лагеря родственницу своего дворецкого, ибо она еврейка только *на четверть*, а по закону преследуются те, у кого *половина и больше еврейской крови*.

И вот о чем я подумала в связи с этим персонажем.

Сколько таких Хельмутов породила русская революция – фанатиков идеи, ненавидящих аристократов и мечтающих очистить мир от помещиков и попов. А те, кто чинил «революционные суды» по законам чрезвычайного времени?! Тройки, выносящие «справедливые» приговоры «врагам народа». Сколько в этих Тройках было не просто сломленных и испуганных людей, а таких вот Хельмутов, фанатиков, четко исполняющих букву несправедного закона, далекого от всего человеческого и божеского.

Рядом с Хельмутом показан еще один немецкий офицер – Дитрих. Оба сыграны превосходно, кстати, немецкая и французская речь в фильме звучит намного чаще, чем русская. Дитрих побывал на Восточном фронте (Хельмут тоже там был, но всего 5 месяцев), и похоже, сломался. Актер показывает нам человека на грани безумия, его мучат галлюцинации, он стремится уйти от ужаса того, что его окружало на фронте и окружает здесь, в лагере, с помощью алкоголя и наркотиков.

Два друга, Дитрих и Хельмут, кончали славянский факультет одного университета. Хельмут писал диссертацию по Чехову – и вот друг рассказывает ему, что в газовой камере этого лагеря погибла бывшая невеста Чехова, Дуня Эфрос; ей было 67 лет. А что бы сказал Чехов, если бы узнал, что творится в мире? Не поверил бы...

У Дитриха есть свой ад – это то настоящее, которое сводит его с ума, в немецкий рай Хельмута он не верит, ибо не может он быть хорош одновременно и для детей аристократов, и для детей булочников. Но есть у Дитриха, как и у Хельмута, свой «райский уголок». Он вспоминает ночные студенческие споры – и наступившее утро, с цокотом женских каблучков по асфальту... Его лицо светлеет от воспоминаний – вот то единственное радостное, что у него осталось. Актер, играющий Дитриха, как мне показалось, очень талантливо сыграл своего героя.

Есть свой «райский уголок» и у Ольги. Женщина, сидящая перед камерой и обнажающая перед нами свою душу, наголо обрита. У нее бледное изможденное лицо, на котором живут глаза. Вообще Юлия Высоцкая себя не щадит, потому и образ получается не придуманный, не

игрушечный, а очень взавправдашный, как и тот лагерь, что нам показан в фильме. Страшный. Черно-белый. Крикливо-отвратительный. Или молчащий. Юля вспоминает светлую комнату, где на полу трава – по ней можно ходить босиком (в лагере у нее украли ботинки, и ей пришлось ходить босиком по подмерзшей земле), вспоминается ей отец, поднявший ее на руки. Это детство. А оно для многих из нас ассоциируется с раем; в детстве мы не боимся смерти – мы бессмертны.



Хельмут – Кристиан Клаусс. Кадр из фильма

В фильме есть несколько шоковых сцен, которые не отпускают и требуют разгадки. Вот кабинет Жюля, в который привели на допрос из камеры русскую княгиню. Она просит его отпустить пойманного полицией соратника по Сопротивлению и взамен – предлагает себя. Причем делает это необычно – поднимает платье. Шок.

Старшая по бараку, некая Роза, скрывающая свое еврейское происхождение, предлагает Ольге ее «приласкать» – за сигареты или помаду... та соглашается...

Сильные и очень бьющие по нервам сцены.

В кабинете Рейхсфюрера Гимmlера (не узнала в этой роли Виктора Сухорукова!), который призывает к себе подающего надежды аристократа-эсэсовца с тем, чтобы отправить его ревизовать коррупцию в концентрационных лагерях (!), Хельмуту вдруг становится не по себе. Он идет в ванную – и его рвет.

Я долго думала, почему. Эта сцена снята в мистическом ключе. Рейхсфюрер словно колдует над Хельмутом, рассказывая ему о планах

Гитлера: сделав свое дело, тот думает уйти на покой, уступив дорогу молодым. Уж не почувствовал ли себя Хельмут преемником фюрера?

Есть в фильме и вполне мистическая сцена, когда в лесу, выйдя из машины, Хельмут видит какие-то надвигающиеся на него тени и даже вынимает пистолет. Эти тени сродни тем, что увидел Жюль на прогулке в лесу возле дома; правда, выйдя из тумана, они превратились в живых партизан и застрелили его прямо в присутствии сына. Еще они напоминают тех евреев, которые вылезают из-под земли и окружают галлюцинирующего Дитриха. Кончаловский применяет здесь символику, назову ее «символикой возмездия». Мне вспоминается волос жертвы в «Хижине дяди Тома», от которого никак не мог избавиться жестокий рабовладелец. Этот волос запомнился мне на всю жизнь...

И наконец, самая важная и тоже шоковая сцена. Конец войны приближается. Хельмут добывает для Ольги паспорт для совместного побега – и рисует ей картину будущей жизни в Парагвае, в Новой Германии, основанной его дедом. Это еще один «рай» для отчаявшегося сердца – темные кипарисы, луна, любимая женщина, смазывающая ему плечи кремом...

И вот тут Ольга, осознавая, что спасение возможно, падает перед ним на колени и начинает бормотать в полубреду какие-то безумные речи: «Как же хорошо ты придумал! Я тебя люблю. Я поняла, вы имеете право делать все, что вы делаете. Вы совсем другие. Вы великая нация. Высшая раса». Хельмут кричит ей: «Что ты несешь? Это все ложь!». Он стонет как раненый зверь: «Боже!»

Сцена с двойным дном. Ольга, впавшая в раж от счастья и готовая оправдать тех, кто ее поработил (своеобразный Стокгольмский синдром), и Хельмут, который своим грядущим побегом зачеркивает право называться «сверхчеловеком». В этой сцене заложены и динамит, и иронический подтекст. Каждое слово Ольги бьет по Хельмуту, осознающему, что он НЕ ТОТ, кем бы хотел быть.

Конец фильма все расставляет по своим местам. Оба никуда не убегут – и Дитрих напрасно будет ждать Ольгу с паспортом, переданным ему другом. Хельмут кончает с собой, он уходит из жизни Сверхчеловеком, не сдавшимся борцом за идею.

А Ольга... она тоже погибает. Она идет в газовую камеру за ту самую еврейку Розу, старшую по бараку, которая теперь заболела и не может работать. У Розы в России осталась дочь, и здесь в бараке на ней висят два малыша, когда-то спасенные Ольгой от фашистской облавы.

Трудно забыть этот кадр: толпа наголо обритых людей, увиденных со спины, идет в газовую камеру. И Ольга, пишущая немеющей рукой на

холодной стене: Оля. Последний взгляд – на одинокое дерево позади двора – и она смешивается с толпой...

Не знаю, нужно ли было давать «голос с неба», когда Господь возглашает: «Тебе нечего бояться, входи!» В общем-то мы это поняли и без подсказки.

Часть 6

Наука. Прошлое и настоящее



Михаил Голубовский

Беркли, Калифорния, США



Ландшафт науки и споры о гомеопатии

Эта статья посвящена гомеопатии. Лично я большая ее поклонница, гомеопатия многожды вызволяла меня из беды, в то время как аллопатия часто провоцировала новые недуги. Сегодня гомеопатия официально запрещена в России – Меморандумом академиков_она объявлена лженаукой. Уж не очередное ли это гонение на генетику или кибернетику, столь привычные отечественным пенатам?!

И.Ч.

В феврале 2017 г. временная экспертная группа Комиссии РАН по лженауке опубликовала Меморандум, где решительно отнесла гомеопатию к лженауке. Это вызвало бурю возражений в обществе – и среди врачей-терапевтов, которые применяют подходы гомеопатии, и среди пациентов, успешно пользующихся гомеопатическими лекарствами. Работая долго в области генетики и истории науки, я хочу показать шаткость положений и выводов Меморандума. Во многих изданиях СМИ они преподносятся как мнение всей российской академии. А это неверно. Споры о гомеопатии дают интересную возможность обсудить более общие представления о статусе и развитии науки.

Наука с ее испытанными методами – мощный источник знаний о природе и человеке. Но наука может вести и к неоправданным экстраполяциям, к «убеждениям чувств», способных затмить доводы

разума, вплоть до научных суеверий. Это убедительно показал биолог-эволюционист, философ и историк науки Александр Александрович Любищев (1890-1972). Его статьи и эпистолярный на данную тему собраны в посмертной книге «Наука и религия» (С.- Петербург 2000). Имя Любищева стало известным после посвященной ему повести Даниила Гранина «Эта странная жизнь». Люди старшего поколения, возможно, помнят и яркую статью математика, логика и культуролога Юлия Шрейдера «Наука – источник знаний и суеверий» (Новый Мир, 1969, № 2).

Наука не единственный источник знаний о мире и человеке. Ее дополняют религиозно-философское знание и искусство. Достоевский страдал от наследственной эпилепсии и поведал о необычном состоянии психики за минуты перед припадками. *«Ощущения жизни, самопознания почти удесятерились в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом, все волнения, все сомнения, все беспокойство как бы умиротворялись разумом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясней, как бы гармонической радости и надежды, полное разума и окончательной причины».* Перед этим личным мистическим откровением неуклонные сторонники «доказательного» знания о человеке и медицины вынуждены смиренно преклонить колени. Здесь не работают привычные статистические методы. Следует принять это уникальное личное свидетельство за важную истину о психике человека. Вспомним и признание Эйнштейна: *«Достоевский дал мне больше, чем любой научный мыслитель, чем Гаусс».* Поразительна взаимная дополняемость науки и искусства.

В каждом периоде развития науки можно условно выделить три взаимопроникающие ветви: а) магистральные теории и методы, б) альтернативные, маргинальные, как бы на обочине и в) традиционные, куда относятся наблюдения, опыт и память многих поколений. Почти все, что мы сегодня едим, – счастливый результат традиционной селекции растений и животных. Индейцы Америки ввели в культуру кукурузу, картофель, томат, подсолнечник, табак, батат. Медики Индии времен *аюрведы* («знание о жизни»), 2500 лет назад, знали более 700 видов лекарственных растений. Миропонимание древних авторов были далеко от современного. Оно явно находилось *«в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств».* Однако, именно такие требования к науке предъявляет текст Меморандума, отвергая теорию и практику гомеопатии.

Проследим на примере вакцинации связь традиционных представлений и научных. В Индии и Китае тысячу лет назад открыли

защитные свойства прививок от переболевших оспой людей здоровым (вариоляция). При этом, однако, была опасность смертельного заражения. Изучение традиционного опыта, фактов устойчивости к натуральной оспе у доярок, болевших в легкой форме коровьей оспой (пустулы на руках), привели биолога и врача Эдварда Дженнера (1749-1823) к озарению и открытию: прививка коровьей оспы людям вызывает устойчивую защиту при заражении человеческой оспой. Лондонское королевское общество отказалось опубликовать в своих «Трудах» в 1798 г. краткое сообщение Дженнера о его дерзких опытах, поскольку *«оно сильно расходится с устоявшимся знанием»*. Знакомый аргумент. Тогда ученый напечатал брошюру о своем открытии. Вскоре ему удалось убедить общество об открытии безопасного метода защиты от оспы. Уже в 1800 г. прививки стали обязательными в английской армии и флоте. Однако механизм иммунитета оставался неясным долгие десятилетия.

Спустя 80 лет Луи Пастер открыл мир микробов и методы их культивирования. В опытах на животных он случайно обнаружил защитное действие ослабленных культур обычно смертельных бактерий и вирусов. С тех пор вакцинация стала универсальным методом создания иммунитета ко многим инфекционным болезням. Сам термин был предложен Пастером в честь открытия Дженнера (*vacca* – по латыни корова). Вакцинация спасла и продолжает спасать миллионы жизней. Недавно объявлено о получении вакцины против малярии. Но и Пастер поначалу столкнулся с недоверием и пессимизмом. Когда в 1873 г. он баллотировался в Академию медицины, то был избран большинством всего в один голос. В мемуаре о Пастере известный писатель Борис Хазанов, врач по образованию, так объяснил причины скепсиса.

Пастер был химик, и его гипотеза о сходстве открытого им микробного брожения органических веществ с явлениями в человеческом организме, тогдашним корифеям медицины казалась кощунством. Сейчас даже трудно представить, что до Пастера хирурги мыли руки не до, а после операции. А до операции – чего ж их мыть? – ведь руки «чистые». Венский врач Игнац Земмельвейс еще в середине 1850-х тщетно пытался убедить врачей в родильных домах, где свирепствовал сепсис, мыть руки перед операцией. Но тогдашнее врачебное сообщество было глухо. Земмельвейс кончил жизнь в психбольнице.

Лишь главный хирург госпиталя в Эдинбурге Джозеф Листер (1827-1912), прочтя статьи Пастера и проникшись его открытием, ввел на рубеже 1870-х жесткие правила антисептики: непременно стерилизация

всех инструментов, мытье рук до и после операции и работа в стерильных перчатках. Смертность при операциях резко снизилась.

История науки знает и обратные случаи, когда твердо установленный научный факт со временем оказывается неинтересным или некорректным. В 1914 г. У.Т.Ричардс получил Нобелевскую премию за точное определение атомных весов. С тех пор его результаты никогда не оспаривались. Однако, после открытия изотопов, которые входят состав многих природных элементов в разных соотношениях, ценность подобных расчетов резко изменилась. И в 1932 г. другой нобелевский лауреат Фредерик Содди, иронически заметил: подобные точные расчеты представляют интерес не более, чем анализ среднего веса коллекции бутылок, из которых одни полные, а другие в той или иной мере опорожнены. Стало очевидно: существует обратная зависимость между точностью и правильностью. В стремлении к высокой точности можно утратить правильность, полноту описания того или иного феномена. То есть попросту не увидеть леса за деревьями.

В истории науки повторяется один любопытный феномен. В каждый период ее развития ученые полагают себя стоящими на позиции твердого знания, лишённого догматизма. Но проходит некоторое время, и их идейные дети обвиняют отцов в недалёковидности и упрощениях. А затем, в свою очередь, подвергаются сходному обвинению со стороны своих идейных детей. Сопоставим в этом смысле полярные познавательные установки, которые высказали в 1975 г. двое видных ученых – биофизик и молекулярный биолог М.В. Волькенштейн и А. А. Любищев.

М.В. : То, что однажды добыто наукой, останется навсегда. Познание движется неравномерно, но поступательно. Попытки возрождения уже опровергнутых представлений имеют лженаучный характер. Да, бывали случаи в истории науки, когда первоклассные открытия не получали признания крупных ученых. Сейчас такие случаи становятся редкими, ибо научные методы развиты всесторонне. В ходе развития науки не возникают «мутации», поворачивающие ее вспять.

А.А. : Возможен и другой взгляд на развитие науки. Ее прогресс не сводится к накоплению достоверных истин, а связан со сменой целых систем научных и философских постулатов. Прошлое науки – не кладбище с могильными плитами, а собрание недостроенных архитектурных ансамблей, многие из которых были незакончены не из-за порочности замысла, а из-за несвоевременного рождения проекта или чрезмерной самоуверенности строителей. Каждый период смотрит свысока на предыдущий и высказывает против него то, что впоследствии будет сказано о нем самом. Слишком соблазнительно уверовать в правоту сегодняшних научных концепций, в то, что,

наконец, здание науки покоится на безупречном фундаменте и нуждается лишь в планомерной достройке.

Посмотрим, как эти полярные взгляды соотносятся с ходом развития генетики. Термины *ген*, *мутация*, *генотип*, *фенотип*, *геном*, давно вошли в общекультурный обиход. Они кажутся четкими и строго научными. Между тем, становление этих понятий полно извивов и парадоксов. До сих пор их понимание у разных биологов варьирует. Термин *ген* в начале XX века ввел датский биолог Вильгельм Иогансен (1857-1927), как «удобное словечко» для создания двух других важных терминов – генотип (наследственная конституция) и фенотип (все признаки и свойства организма). Иогансен до конца жизни не связывал ген с каким-то материальным носителем в клетках. Однако, Томас Морган уже в 1915 г. материализовал ген.

Он установил, что гены соответствуют определенным участкам хромосом клеточного ядра и расположены в них в линейном порядке. Удалось проследить, как этот порядок нарушается под действием радиации, приводя к изменениям фенотипа. Хромосомная теория наследственности привела ко многим крупным успехам. Открытие в 1953 г двойной спирали ДНК – самовоспроизводимой молекулы в структуре хромосом – вбило «золотой гвоздь» в понимание феномена наследственности. Однако, ослепительный блеск этих открытий привел к соблазну детерминизма, к мысли, что все здесь уже в принципе ясно. Так, М.В. Волькенштейн высказал твердое убеждение, что *«нет смысла дискутировать по поводу закона ненаследования приобретенных признаков»*. Однако, такого закона в биологии не было, никто его не формулировал! Было лишь доминирующее убеждение среди большинства классических генетиков. Оно твердо сохранялось вплоть до 1980-х годов.

Однако, начиная с 1951 г. американская генетик Барбара МакКлинтон публикует серию взрывных исследований. Она находит у кукурузы «прыгающие гены», которые непредсказуемо меняют место в хромосомах, не подчиняясь никакой точной прописке. Были найдены мутации, связанные не с изменениями в структуре генов, а с внедрением в район их расположения мобильных элементов. Это приводило к резкому изменению генной активности, вплоть до ее глушения.

Более 25 лет данные и выводы МакКлинтон рассматривались как курьез, причуда, маргиналии. Они противоречили основному корпусу данных генетики, не лезли ни в какие ворота. При этом никто не подвергал сомнению авторитет и экспериментаторское мастерство МакКлинтон. Ведь до своего главного открытия она уже была выбрана в Американскую академию наук. Однако, за исключением трех-пяти генетиков, никто всерьез не принимал ее гипотезы, не стараясь даже

глубоко в них вникнуть. Действовал охранный механизм неприятия и отторжения непривычных данных.

Я называю это явление в науке – когнитивный иммунитет. Факты и гипотезы, которые резко выбиваются из основного русла (или мейнстрима – модный термин) обычно относят на обочину знания. Но вышло совсем как в Библии: камень, который отвергли строители, стал во главу угла. В начале 1980-х гг. мобильные элементы были найдены у самых разных объектов, их удалось материализовать на уровне ДНК и отслеживать их прыжки в хромосомах. Возникла новая мобильная генетика, и многие сложившиеся положения классической генетики подверглись ревизии.

МакКлинток была удостоена Нобелевской премии в 1983г. В юстиции нередко старые судебные дела подлежат пересмотру «по вновь открывшимся обстоятельствам». Открытие мобильных элементов привело к ревизии постулата о ненаследовании возникающих в ходе индивидуального развития признаков. Очевидно, представления Любищева о прогрессе науки оказались ближе к истине нежели жесткий детерминизм утверждений Волькенштейна.

Здесь важно акцентировать, что ревизия этой проблемы в ходе развития генетики ни в какой мере не имеет отношения к внешне сходным утверждениям «народного академика» Лысенко. Его деятельность привела к погрому советской генетики в 1948 г. Лысенко создал свою «мичуринскую генетику» и напрочь отрицал представления о генах и хромосомах. Взгляды Лысенко на проблему организм-среда были подобны уверениям Бурдюкова в комедийной миниатюре Гоголя «Тяжба». Мол, «у нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья, как будто отрезана и шерстью поросла. А ведь от незначительного обстоятельства: когда покойница рожала, подойди к окну баран и нелегкая подстрекни его заблеять».

После этой прелюдии вернемся к гомеопатии. Эту ветвь альтернативной медицины основал современник Дженнера германский врач Самуэль Ганеман (1755-1843). Основные принципы и методы гомеопатии таковы: «подобное лечит подобное», использование малых и сверхмалых доз при особом способе их изготовления, устремленность их действия на организм как целостную систему. Лекарственные средства гомеопатии на 70% основаны на лечебных травах. Метафорически основной принцип гомеопатии близок к тезису «яд в малых дозах – лекарство». Что прямо подтверждается в случае змеиного яда. Очевидно и сходство с вакцинацией – малые и ослабленные дозы опасных для здоровья инфекционных агентов, оказывают защитное действие.

Основная посылка авторов Меморандума состоит в том, что *«принципы гомеопатии и основанные на них средства и методы*

диагностики и лечения противоречат принципам доказательной (научно обоснованной) медицины, которые базируются на достижениях естественных и медицинских наук». Иными словами, признается только то, что основано на «доказательной» медицине. Подобный усеченный подход представляется некорректным. Само понятие «доказательности» тех или иных приемов и рекомендаций меняется со временем. Доказательны ли теории и практики нобелевских лауреатов? Конечно да, но не абсолютно.

В 1926 г. премия в области медицины была присуждена датскому микробиологу и патологоанатому Йоганессу Фибигеру за концепцию возникновения рака у крыс при заражении паразитической нематодой. Однако, это не подтвердилось. В 1949 г премию получил португальский нейрохирург Эгаш Мониш за *«открытие терапевтического воздействия лоботомии при некоторых психических заболеваниях».* В США в 1950-е годы были проведены тысячи операций. Побочные эффекты частичного удаления лобных долей оказались ужасающими, метод лоботомии полностью оставлен.

Полвека назад Любищев, приветствовал изучение народных лекарственных средств, отмечая, что полное пренебрежение к знахарству исчезло. «Сейчас и панты, и женьшень вошли в научную фармакопею. И я сам, по рекомендации врачей, в особенности после болезней или при утомлении, пользуюсь знахарскими средствами: аралия, лимонник – и с большим успехом», – писал он. Ныне в ландшафт современной медицины входит разнообразие альтернативных практик – гомеопатия, аюрведа, тибетская и китайская медицина, натуропатия, хиропрактика. Не противоположение и борьба, а комплементация и разумный симбиоз. В США в рамках федеральной системы здравоохранения (НИН) альтернативные методы и практики изучаются в Национальном центре комплементарной и интегративной медицины.

В 2000 г. бюджет центра был увеличен до 68 млн долларов, в 2001г. до 90 млн, в 2003 г. до 113 млн и в 2009 г. до 122 млн долларов. В 2009 г. около 50% американцев пользовались средствами нетрадиционной медицины. Аналогично в Британии, начиная с 1970-х, резко возрос интерес к гомеопатии. К ней ежегодно прибегают около 17% британцев. Большею частью, это образованные и состоятельные люди, а не те, кто верит шарлатанам. Гомеопатия имеет свою терапевтическую нишу – в основном недомогания общего характера – неврозы, депрессии, неспецифические аллергии, астма, мигрень, дерматиты.

В С.-Петербурге в Медицинском университете им. Мечникова есть кафедра традиционной медицины и гомеопатии. Ее профессорско-преподавательский состав включает двух докторов и пять кандидатов

меднаук. Глава кафедры Светлана Петровна Песонина на пресс-конференции, созванной спустя две недели после опубликования Меморандума, рассказала о своем 47-летнем врачебном опыте. Ее практика комплементарно сочетает подходы и методы классической медицины и гомеопатии, внимательный анализ динамики лечения, персональный выбор средств при лечении каждого пациента. Соображения и доводы Песониной мне, как биологу-генетику, представляются серьезными и убедительными. Полностью разделяю ее недоумение, почему врачи, использующие гомеопатию, профессионалы в данной области, не принимали участия в работе комиссии и выработке решения временной экспертной группы. Это как раз тот случай, когда нарушение этико-процессуальной процедуры приводит к некорректным решениям.

Частое возражение против гомеопатии таково. Среди рекомендуемых средств есть лекарства со сверхмалым уровнем разбавления, когда доля активного вещества составляет несколько молекул или теоретически оно вовсе отсутствует. Критики полагают, что позитивное действие таких средств связано не с препаратом, а с эффектом плацебо, т.е. с действием на уровне психотерапии. Однако, здесь стоит вновь обратиться к истории науки. В начале 1920-х годов в Военно-медицинской академии в Ленинграде обсуждались опыты проф. Николая Павловича Кравкова, основателя российской фармакологии (В 1920 г. он был избран в члены РАН по рекомендации И.П. Павлова). На оригинальной модели изолированных органов кролика Кравков установил фармакологическое действие такого разбавления некоторых веществ, когда в растворе находилось всего несколько молекул активного начала или теоретически их вовсе не было.

Оппоненты возражали, что это противоречит физике. Кравков париловал, что если, тщательно проведенные биологические опыты приводят к выводу о допущении элементарных частиц, меньших, чем молекулярные, то биолог вправе их допустить. Есть принципиальные отличия живых организмов от косной природы. Можно вспомнить, что живые организмы используют лишь один тип органических молекул-изомеров, которые вращают плоскость поляризации света влево. И этот важный факт отличия всех живых организмов впервые установил также химик Луи Пастер!

Современной гомеопатии вовсе не свойственно небрежение к знанию и методам магистральной медицины. Врачи-гомеопаты применяют свои методы врачевания и средства комплементарно к каноническим. Вызывает удивление и досаду агрессивность текста Меморандума по отношению к гомеопатии – вполне в стиле 1930-х годов и в духе памятных гонений на генетику. *«Ее применение в медицине*

противоречат основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие».

Это уже далеко за пределами всех рамок научной дискуссии и напоминает «апелляцию к городовому». Печально, что осененный именем Российской академии наук текст Меморандума, со столь ответственными выводами не обсуждался даже на заседании Комиссии по лженауке, не было никакого ее решения.

Есть основания полагать, что оно не было бы столь односторонним. Остается лишь посоветовать неколебимым ниспровергателям гомеопатии следовать давнему девизу: «Лучше зажечь одну свечу, чем 100 раз проклинать тьму».

Генрих Голин

Нью-Йорк, США



Герои и антигерои атомного проекта. Человек-легенда: Андрей Сахаров

Андрей Дмитриевич Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. В роду Сахаровых – несколько поколений сельских священников. Его прадед Николай Иванович Сахаров в течении 20 лет служил протоиереем в селе Выездное (теперь район Арзамаса), а потом почти 40 лет в Нижнем Новгороде (бывший Горький, где был заточён в течении 6 лет герой нашего повествования).

Дед Сахарова, известный московский юрист Иван Николаевич Сахаров, был до революции редактором сборника «Против смертной казни». И, наконец, отец Дмитрий Иванович Сахаров уже в советское время долгие годы проработал профессором физики Второго Московского Государственного Университета, переименованного в педагогический: МГПИ имени В.И. Ленина.

Физический факультет располагался вблизи Новодевичьего кладбища, в дореволюционном особняке. Многие годы связывали меня с институтом: кандидатская диссертация, главным оппонентом которой был профессор кафедры теоретической физики этого института Борис Михайлович Яворский, затем докторантура, многочисленные защиты диссертаций, где я выступал в качестве оппонента, совместные с работниками института статьи и книги, и, наконец, работа в качестве профессора МГПИ.

Мне посчастливилось сотрудничать с двумя из трёх корифеев института: заведующим кафедрой теоретической физики, бессменным главным редактором знаменитого журнала «Успехи Физических Наук» Эдуардом Владимировичем Шпольским и заведующим кафедрой методики преподавания физики Александром Васильевичем Пёрышкиным. Третьим был Дмитрий Иванович Сахаров. Его портрет, написанный маслом, висел в коридоре второго этажа. Он был хорошо известен как автор написанного ещё в дореволюционную эпоху сборника задач по общей физике, который был заново отредактирован и дополнен сыном- академиком. На протяжении многих лет этот задачник служил (и служит?) пособием для студентов- будущих преподавателей физики.

В стенах этого заведения можно сказать прошло детство будущего академика. Он с энтузиазмом целыми часами возился с оборудованием, проводил свои первые опыты в довольно хорошо оснащённых лабораториях. В школу Андрей Сахаров пошёл сразу в 7 класс. До этого он получил домашнее образование, сдавая экзамены экстерном в конце каждого года..

Своё высшее образование он начинал на физическом факультете МГУ, но его не закончил из-за начала Отечественной войны. 26 октября 1941года Андрей Сахаров вместе со студентами, аспирантами и преподавателями МГУ был эвакуирован в Ашхабад – тогда столицу Туркменской ССР.

Иосиф Самуилович Шкловский, известный астрофизик, член-корреспондент АН СССР и член многих иностранных академий, работавший в группе Зельдовича во время войны, а затем в Институте космических исследований, рисует нам портрет юного Сахарова, вспоминая о первой встрече с ним в вагоне, везущим студентов в

эвакуацию: «... Налево от меня на нарах лежал двадцатилетний паренёк совершенно другого склада, почти не принимавший участия в наших бурсацких забавах. Он был довольно высокого роста и худ, с глубоко запавшими глазами, изрядно обросший и опустившийся (если говорить об одежде). Его почти не было слышно. Он старательно выполнял



Андрей Сахаров, 1943

черновую, грязную работу, которой так много в эшелонной жизни...

Но вот однажды этот мальчишка обратился ко мне с просьбой, показавшейся совершенно дикой: «Нет ли у Вас чего-нибудь почитать по физике?» – спросил он почтительно «старшего товарища», т.е. меня. Первое желание было на БАМовском языке послать куда подальше этого маменькиного сынка с его нелепой просьбой. «Нашёл время, дурачок», – подумал я, но в последний момент меня осенила недобрая мысль. Я вспомнил, что на самом дне моего рюкзака лежала монография Гайтлера «Квантовая теория излучения».

Книга соблазняла возможностью сразу же погрузиться в глубины высокой теории и, тем самым, быть «на уровне». Увы, я очень быстро обломал себе зубы: дальше предисловия и самого начала первого параграфа я не пошел... Весёлую шутку я отчебучил, выдав мальчишке

Гайтлера, думал я... На фоне диких песен и весёлых баек паренёк тихо лежал на нарах и что-то читал. И только подъезжая к Ашхабаду, я понял, что он читал моего Гайтлера. «Спасибо», – сказал он, возвращая мне эту книгу. «Ты что, прочитал её?»- неуверенно спросил я. «Да, а что?» Я, поражённый, молчал. «Это трудная книга, но очень глубокая и содержательная. Большое Вам спасибо», - закончил паренёк. Мне стало не по себе. Судите сами – я, аспирант, при всем желании не мог даже прочитать хотя бы первый параграф этого проклятого Гайтлера, а мальчишка, студент 3-го курса, не просто прочитал, а проработал (вспомнилось, что читая, он ещё что-то писал), да ещё в таких экстремальных условиях».

Шкловский продолжает: «В апреле 1943г. я вернулся из эвакуации в Москву. В конце 1944 г. вернулся из эвакуации мой шеф по аспирантуре. Встретились радостно. Пошли расспросы, большие и малые новости. Между прочим шеф сказал: «А у Игоря Евгеньевича (Тамма) появился совершенно необыкновенный аспирант. Таких раньше не было, даже Виталий Лазаревич (Гинзбург) ему в подмётки не годится!».

«Как же его фамилия?». И в то же мгновение я вспомнил: это мог быть только мой сосед по нарам в теплушке, который так удивил меня, проштудировав Гайтлера. «Это Андрей Сахаров!». Я не видел его после Ашхабада 24 года. В 1966г. меня выбрали (с пятой попытки) в членкоры АН СССР. На осеннем собрании Академии Яков Борисович Зельдович сказал мне: «Хочешь, я познакомлю тебя с Сахаровым?» Еле протиснувшись через густую толпу, Я.Б. представил меня Андрею. «А мы давно знакомы», – сказал тот. Я его узнал сразу – только глаза глубже запали. Странно, но лысина совершенно не портила его благородного облика. В конце мая 1971 г., в день 50-летия Андрея Дмитриевича, я подарил ему чудом уцелевший тот самый экземпляр книги Гайтлера». Продолжу своё повествование. Диплом о высшем образовании Сахаров получил в Ашхабаде, проучившись там ещё один год, и завершил таким образом четырёхлетний сокращённый курс. В 1942 году после кратковременной работы на лесозаготовках, был направлен на работу в лабораторию военного завода в Ульяновске. Здесь он встретился с Клавдией Алексеевной Вихиревой, химиком по специальности.

Их совместная жизнь была необычайно счастливой, несмотря на все трудности и невзгоды, выпавшие на долю учёного. Ещё в Ульяновске у них родилась дочка Таня, в Москве в 1949 году родилась дочь Люба, а в 1957 году – сын Дмитрий. Семья жила в любви и дружбе. Для Сахарова была настоящей трагедией смерть супруги в 1969 году от рака.

В Ульяновске начинается его научная работа, близкая по тематике с теорией ядра. Свои неопубликованные статьи он пересылает академику



А.Д.Сахаров и И.В. Курчатов

Тамму с надеждой в будущем работать под руководством знаменитого физика. В 1945 году он возвращается в Москву и поступает в аспирантуру в Физический Институт Академии Наук СССР (ФИАН). Существует легенда, что путь Сахарова в науке преопределила случайная встреча Тамма с отцом Андрея Сахарова, который якобы сказал: «Игорь Евгеньевич, есть у меня сын Андрюша, он, конечно, не NN, но всё-таки поговорите с ним – вдруг из него выйдет толк».

Правда это или нет, но в конечном счёте Андрей Дмитриевич стал учеником Тамма. Весной 1947 года он подготовил кандидатскую диссертацию, но защиту отложили на несколько месяцев: Сахаров не смог сдать необходимый для соискателя учёной степени экзамен по марксистско-ленинской философии. В 1948 году в возрасте 27 лет он был включён в группу Курчатова. С 1950 года безвыездно работает в Сарове над созданием водородной бомбы. Следующие три года ознаменовались небывалым взлётом его карьеры. После успешного испытания первой водородной бомбы «Слойка» 12 августа 1953 года ему была присвоена учёная степень доктора наук, его избрали в Академию наук и он получил свою первую звезду Героя Социалистического Труда.

Наибольшим успехом Сахарова в военной тематике было создание и испытание Царь-бомбы в октябре 1961 года. Хотя инициатива создания её исходила от самих учёных, Сахаров во время посещения Хрущёвым Арзамаса-16 заметил руководителю страны, что баланс ядерного оружия между Западом и Востоком уже достигнут и вряд ли разумно строить ещё одну сверхбомбу, на что Хрущёв, загоревшийся идеей её создания, возмущённо ответил: «Существует только одна политика – политика силы. Я был бы таким же слюнтяем, как и Вы, академик Сахаров, если думал иначе».



С женой Еленой Боннэр

Присутствующие на встрече решили, что карьера коллеги закончена, однако Хрущёв решил оставить Сахарова руководителем работы за его талант и компетентность. Но в сознании Сахарова созрел перелом. Через несколько десятилетий он так вспоминал о годах своей работы «на объекте»: «После рабочего дня я приходил в коттедж Игоря Евгеньевича (Тамма-Г.Г.), и мы вели разговоры по душам.... Я однажды признался ему, как мне тяжело, мучительно сознавать, каким ужасным всё-таки делом мы занимаемся. Он очень чутко воспринял мои слова, хотя они и были для него неожиданными. Ведь нас захватывало ощущение масштабности, грандиозности дела, которым мы занимались».

Коллега Сахарова по Отделению теоретической физики Борис Михайлович Болотовский вспоминает: «В конце 50-х годов я услышал, будто бы за две недели до каждого испытательного взрыва Сахаров

запирается в своём кабинете и начинает вычислять, сколько калек и уродов появится на Земле в результате радиоактивного заражения атмосферы».

После успешного испытания Царь-бомбы в списке награждённых учёных фамилия Сахарова отсутствовала. Ему припомнили «смуту». Однако и на этот раз Хрущёв настоял на заслуженной правительственной награде и собственноручно прикрепил к пиджаку Сахарова третью золотую медаль Героя.

По-настоящему трения учёного с сильными мира сего начались значительно позже, в 1967 году, когда учёный выступил против гонки вооружений, в частности, против разработки средств защиты от баллистических ракет. Он написал конфиденциальное письмо руководству страны, в котором объяснил, что создание новых более мощных военных средств неизбежно приведёт к Третьей мировой войне. В этом же письме он просил разрешения выступить в прессе в открытой дискуссии. Брежнев проигнорировал это письмо и не позволил никаких публичных обсуждений.

В следующем 1968 году Сахаров закончил работу над своим политическим трактатом: «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», который начал распространяться в самиздате, а затем и в зарубежной прессе. Как следствие, он был отстранён от всех секретных работ и возвратился, по приглашению уже прикованного к постели Тамма, в свой родной ФИАН, где продолжал работать над фундаментальными вопросами теоретической физики.

В 1970 году Сахаров основал вместе с диссидентами Валерием Чалидзе и Андреем Твердохлебовым Комитет по правам человека, первую в Советском Союзе неправительственную организацию, боровшуюся с многочисленными нарушениями конституционных прав в СССР. Число людей, присоединившихся к Комитету, росло. Публичные акции на улицах, у зданий суда, милицейских участков, посольств зарубежных стран, привлекали внимание многих людей по всему миру. Комитет поддерживала Организация Объединённых Наций. Власти всеми средствами старались задушить это народное движение, первое за всю историю советского государства (не считая, конечно, гражданской войны).

Один из сотрудников теоретического отдела ФИАНа Владимир Иванович Ритус по этому поводу пишет о Сахарове: «Его выступления в защиту отдельных лиц... должны были отнимать у него много времени, энергии и нервов... У него просто не было чувства страха: главное – достижение цели, об ущербе собственной персоне он не думал. Другой раз я спросил его, почему он защищает такое-то дело, казавшееся мне

безнадёжным. «Если не я, то кто?» – спросил он. Да, у него были единомышленники, но только немногие из них сумели побороть в себе это чувство страха. Фактически он поступал так, как должен поступать нормальный человек, и своим примером учил нас этому».

Приведу ещё один эпизод, демонстрирующий его общественную позицию как учёного и гражданина. В далёком 1948 году в Москве прошла августовская сессия ВАСХНИЛ, на которой «разоблачили антинаучную суть буржуазной генетики» и клеймили позором учёных-генетиков во главе с Николаем Ивановичем Вавиловым – выдающимся биологом, родным братом президента АН СССР, физика Сергея Ивановича Вавилова. Возглавил эту позорную расправу академик Лысенко.

В это время Сахаров только включился в группу по разработке термоядерного оружия и был изолирован от внешнего мира своей сверхсекретной работой. Но пришли 60-годы, и Сахаров был одним из первых, кто дал честную и беспощадную оценку лысенковской «биологии». В 1964 году проводились выборы в Академии наук СССР. Лысенко выдвинул в академики своего ученика Н.И. Нуждина. На общем собрании Академии неожиданно для Лысенко разгорелся настоящий бой между сторонниками Лысенко и группой академиков, называвших «учение» Лысенко мракобесием, позорящим отечественную науку. Возглавили эту группу академики-физики.

Первым на собрании выступил представитель партийной группы членов Академии с предложением голосовать «за». Наступила очередь Сахарова. Приведу только заключительную часть из стенограммы его выступления: «... Что касается меня, то я призываю всех присутствующих академиков проголосовать так, чтобы единственными бюллетенями, которые будут поданы «за», были бюллетени тех лиц, которые вместе с Нуждиным, вместе с Лысенко несут ответственность за те позорные, тяжёлые страницы в развитии советской науки, которые в настоящее время, к счастью, кончаются (аплодисменты)». Один из сотрудников ФИАНа Сергей Иванович Сыроватский присутствовал на этом собрании и подробно его описал. Он рассказывает, что Сахаров упомянул в своей речи о тысячах генетиков, которых после сессии ВАСХНИЛ сняли с работы, о том, что многие из них подверглись преследованиям. А закончил Сахаров свою речь, по словам Сыроватского, так: «Пусть за Нуждина голосуют те, у кого руки обагрены кровью советской биологии». Этих слов в стенограмме нет. Возникает подозрение, что она смягчена и не приведены самые резкие высказывания Сахарова. Затем выступили Тамм и Зельдович, которые поддержали Сахарова.

Лысенко ждал своей очереди и несколько раз, нервно потирая руки, произнёс: «Уголовное дело!». Взойдя на трибуну, Лысенко назвал слова Сахарова клеветой. Председательствующий на собрании президент Академии наук СССР М.В. Келдыш отметил, что не разделяет точку зрения Сахарова и думает, что её не разделяет и президиум. Было видно, что Келдыш относился к Лысенко с опасением, а также, что Лысенко остался недоволен Келдышем. Однако при тайном голосовании Нуждин не прошёл. Результаты голосования: приняли участие 137 академиков; «за» было 23, остальные 114 – «против»! По общему мнению, речь Сахарова сыграла в этом решающую роль. Это было его первое гражданское выступление, которое можно расценивать как начало борьбы против попрания правды, чести и совести.

Партийная пресса ополчилась против Сахарова. Лысенко поддержал и Хрущёв. Но Сахаров продолжает борьбу с «сильными мира сего» и пишет письмо к руководителю страны, стараясь убедить его в своей правоте.

«Дорогой Никита Сергеевич!

Упоминание моей фамилии на пленуме ЦК КПСС дает мне смелость обратиться в Ваш адрес с некоторыми разъяснениями. В последнее время в мой адрес раздаются обвинения в клевете (со стороны «обиженного» Лысенко) и в некомпетентности...

...По поводу «клеветы». Я сказал только, что Лысенко несёт ответственность за самый мрачный и позорный период в истории советской науки (это лишь малая доля того, что я о нём думаю)... Но в целом пути лысенкоизма ещё на ногах нашей науки... Иоффе, Курчатов, Мандельштам, С.И. Вавилов взяли в своё время на свои плечи бремя ответственности за целые отрасли физики. В биологических науках одним из руководителей такого масштаба являлся великий учёный и патриот нашей Родины Н.И.Вавилов... Его гибель, гибель десятков других выдающихся учёных – несмываемое пятно на лысенкоизме...

К сожалению, в печати всё ещё встречается затруднения открытое обсуждение вопросов истории биологической науки в СССР. Даже многие руководящие партийные работники не знают этой истории. Но я убеждён, что общее оздоровление политической жизни в нашей стране означает неизбежный и скорый конец лысенкоизма.

30 июля 1964 г. А.Сахаров »

В 1972 году Сахаров женится второй раз на Елене Георгиевне Боннэр, активной участнице диссидентского движения в стране. Она – дочь видного работника Коминтерна Г.С. Алиханова, уничтоженного в 1937 году, перед войной училась на филологическом факультете в

Ленинграде. С первых дней войны оказалась на фронте, была контужена, но после непродолжительного лечения снова пошла на фронт в санитарный батальон. После войны закончила мединститут и работала врачом-педиатром.

В 1975 году Сахарову присуждается Нобелевская Премия Мира.

«Брежневские тучи» сгущаются, руководство ФИАНА в лице его директора академика Николая Геннадиевича Басова, грозит уволить Сахарова с работы. Наконец, после интервью газете «New York Times», в котором он выразил протест против вступления СССР в войну с Афганистаном, а чуть позже и заявления о провокации КГБ в московском метро (старшее поколение читателей помнит взрыв в одном из вагонов, совершённый «армянским террористом, недовольным советской властью»), чаша терпения властей была переполнена и Сахаров 22 января 1980 года был арестован и сослан в «закрытый» город Горький (ныне Нижний Новгород), недоступный для зарубежных посетителей.

В первые недели после этого советские газеты среди прочей брани писали, что Сахаров деградировал как учёный. В связи с этим приведу анекдот-быль, быстро распространившийся в академических кругах. Я уже писал о том, как проходило специальное заседание президиума, где была предпринята попытка лишить Сахарова звание академика.

Выступление Петра Леонидовича Капицы предотвратило этот «заказ» Брежнева. Другой академик – атомщик Анатолий Петрович Александров в кулуарах заседания на высказывание крупного партийного чиновника о Сахарове: «Как может быть он членом Академии? Он же давно не работает» ответил: «Знаете, у меня есть член, он тоже давно не работает, но я держу его при себе за бывшие заслуги!». На самом деле, несмотря на ужасную травлю, ученый продолжал успешно работать в области теории элементарных частиц и космологии. Так, в отчёте за 1981 год, направленном в отдел теоретической физики ФИАНа из Горького, Сахаров подробно излагает основные идеи новой работы о моделях осциллирующей Вселенной. Отчёт заканчивается словами:

«Работа ещё не оформлена и не вполне закончена. Предполагаю сделать это в ближайшее время. Надеюсь также, что решение волнующего меня вопроса о судьбе невестки даст мне возможность в ближайшее время вновь возобновить научное общение с моими коллегами из теор. отдела ФИАН. С уважением А.Д.Сахаров».

Отчёт датирован 16 ноября 1981 года, непосредственно перед началом его первой голодовки. Борис Львович Альтшулер – научный сотрудник теоретического отдела ФИАНа пишет в своих воспоминаниях: «Всё как всегда, точно рассчитано: написан отчёт, можно приступать к решению другой проблемы. А то, что это связано с риском для жизни, что эти дни

могут быть последними – это уже дело второе. Главное – положительный конечный результат. «Важно идти в правильном направлении, а когда упадёшь – это неважно». Понять эту фразу – значит во многом понять Сахарова...

В те дни теории ФИАНа постарались довести до сведения руководства информацию о широком международном признании пионерского вклада Сахарова в решение проблемы барионной асимметрии Вселенной. На ту же тему независимо было направлено открытое «Обращение в ООН» группы советских правозащитников. Так или иначе, но после того как в начале марта Академия наук США объявила бойкот советской Академии, высочайшим решением Сахаров был оставлен в ФИАНе, и сотрудникам теоретического отдела разрешили его посещать в Горьком». Шесть долгих лет ссылки он и Елена Боннэр были под наблюдением сыщиков, недоступные для зарубежной прессы. Несколько раз в знак протеста Сахаров объявлял голодовки. Первый раз в ноябре 1981 года – после отказа правительства разрешить выезд за границу невесты сына Боннэр к жениху. Состояние здоровья Сахарова и Елены Боннэр было критическим. И снова Пётр Леонидович Капица попытался облегчить участь своего коллеги. Он написал письмо Брежневу, и в тот же день оно попало на стол к «руководителю» страны. Приведу это небольшое, но эмоциональное послание.

«4 декабря 1981 г.

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Я уже очень старый человек, и жизнь научила меня, что великодушные поступки никогда не забываются. Сберегите Сахарова. Да, у него большие недостатки и трудный характер, но он великий учёный нашей страны.

С уважением П.Л. Капица»

Брежнев проигнорировал это письмо.

В 1984 году Сахаров предпринимает третью по счёту и самую продолжительную голодовку с требованием разрешить Елене Боннэр выехать за границу для операции на сердце. Учёный подвергся насильственному «лечению» врачами-психиатрами. 11 мая ему насильно ввели препарат, вызвавший у него микроинсульт. И, видимо, всё лето вводили психотропные средства. Почти месяц после выхода из больницы он не мог, не хотел работать, не подходил к письменному столу.

Приведу отрывок из письма Сахарова президенту Академии Наук СССР Анатолию Петровичу Александрову от 15 октября 1984 года с описанием насильственного кормления: «... 25-27 мая применялся наиболее мучительный и унижительный, варварский способ. Меня опять

валили на спину на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот... Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я её не проглочу. Всё же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку...».

В марте 1985 года Горбачёв приходит к власти. Проходит ещё полтора года, прежде чем новый руководитель страны просит политбюро КПСС вернуть Сахарова и его супругу из ссылки. Горбачёв позвонил в Горький и известил учёного, что он может возвращаться. Сахаров в этом разговоре с Горбачёвым сказал, что его возвращение недостаточно и необходимо освобождение всех политзаключённых! 19 декабря 1986 года Сахаров возвращается в Москву.



На съезде народных депутатов

В январе следующего года Сахаров уже участвует в работе международной независимой организации по исследованию глобальных проблем, созданной по инициативе вице-президента Академии наук СССР, физика Евгения Павловича Велихова. Он предложил Сахарову стать одним из членов Правления. Одно из первых начинаний этой организации было проведение в Москве международного форума «За безъядерный мир и выживание человечества» в феврале 1987 года. Состоялась встреча участников форума с Горбачёвым. Каждый из участников круглого стола обращался к Горбачёву с приветствием. Когда очередь дошла до Сахарова, он сказал: «Михаил Сергеевич, когда

Вы мне позвонили в Горький, я поднял вопрос о других политзаключённых. Сегодня я принёс с собой список этих людей», на что Горбачёв ответил: «Андрей Дмитриевич, мы не можем двигаться так быстро...», но попросил своего помощника взять этот лист. Через год Сахаров мог сказать: «Большинство заключённых освобождены».

Я привожу этот эпизод, чтобы читатель оценил чуткое внимание учёного к судьбам окружавших его людей. Он считал безразличие самым большим грехом и, несмотря на большую занятость и плохое здоровье, не отказывал людям в участии и помощи. Он становится героем и «глашатаем совести человечества», он награждается за свою правозащитную деятельность почётными званиями, медалями. В 1988 Европейский парламент учредил Сахаровскую премию за интеллектуальную свободу, а в 2006 Американское Физическое Общество учредило Сахаровскую премию учёным-физикам за борьбу за права человека. Восторженные толпы людей встречали учёного и борца за свободу в столицах мира, включая Вашингтон и Нью-Йорк, он беседовал с президентами и руководителями многих стран мира.

В марте 1989 года он был избран депутатом в Верховный Совет СССР. Помню его выступление на предвыборном собрании в московском Доме кино – скромное, искреннее, без лозунгов и пустых обещаний. Помню его зажигательное выступление за прекращение позорной войны в Афганистане под улюлюканье и возмущение зала. С большим энтузиазмом в последний год жизни он работал над проектом новой Конституции. Принципы плюрализма и терпимости были положены Сахаровым в основу политической, культурной и идеологической жизни общества. В его проекте гарантировались широкие гражданские права, запрещалась какая-либо дискриминация.

Ему не удалось увидеть распад Советской империи. 14 декабря 1989 года в одиннадцатом часу вечера Елена Боннэр, зайдя в кабинет Сахарова в их квартире, увидела мужа мёртвым, лежащим на полу. Смерть наступила от сердечного приступа.

Сахаров остаётся в памяти людей, в названии улиц, площадей, музеев, памятников по всему миру. Незабываемое впечатление оставляет статуя, стоящая во дворе ЛГУ имени Жданова – ныне Санкт-Петербургского университета. Сахаров изображён там во весь рост со связанными руками за спиной, как и полагалось заключённому.

Часть 7

Проза



Владимир Резник

Нью-Йорк, США



Дебют

Уроки музыки

1

– Сюда, сюда смотри! Здесь, видишь – решёточка такая. Как она называется? Ну? Сколько раз мы это проходили!

– Дизез...

– Да, дизез! Значит это не Ля, а Ля-дизез, и нажимать нужно не на беленькую, а вот сюда – на чёрненькую! Да не на эту – это бемоль! Запомни, тупица, сколько можно тебе повторять: бемоль слева – дизез справа от клавиши. Куда ты пальцем тычешь?!

И линейкой, тонкой хлёткой фанерной линейкой, производства Одесской артели учебных принадлежностей, по маленьким пальцам быстро, резко, так, чтобы не успел отдёрнуть, щёлк! А если после этого не убрал, не спрятал быстро под себя руки, то ещё раз и уже сильнее – шлёп!

– Да, Людмила Владимировна, мальчик очень музыкален. И впитывает быстро... Нет, нет, конечно, завтра мы выступать в филармонии и играть Моцарта не будем – ха-ха, это шутка... Пока займёмся техникой, гаммами и, конечно, руку поставим, не сомневайтесь – у меня огромный опыт.

Дрянь. Старая, облезлая и тощая дрянь. Впрочем, Руфь Марковна недолго морочила голову моей матери – уже через месяц занятий я, против своего обыкновения, не устроил визгливый скандал со слезами и истерикой, а тихо, набычившись, сказал: «Нет». Поражённая необычным поведением мать, также вопреки обычному сценарию наших отношений, поинтересовалась: «А почему?», и, получив в ответ давно скрываемую и

только стыдом удерживаемую правду: «Она бьёт меня по пальцам линейкой», – молча вышла. Больше Руфь Марковна в нашем доме не появлялась. Но с ней исчезло и пианино – мой первый и последний в жизни инструмент.

А приехал он на подводе. Приехал, должно быть, сам – я не помню вокруг ни одного человека, даже лошадь, запряжённую в неё, не помню, что странно, потому как интересовали меня тогда они куда больше людей. Помню только сухой, неяркий день, матово отблескивающий чёрный бок божества, вплывающего в дом, не касаясь крашенных кирпично-красным суриком половиц – пианино. Пианино! В рояле есть что-то жёсткое, мужское и страшное – это перекатывающееся Р-р-р в начале, эта зубастая пасть с распахнутой перекошенной гортанью и вскрытый живот со струнами-кишками внутри. То ли дело «пианино»: нежное итальянское игривое звучание – а ведь только что прочитан весёлый Пинокио, и соседка Нина: привезённая из Киева на лето, шестилетняя черноволосая хохотушка, отражается в полированной боковине уже одним своим таким музыкальным именем... Ни-на, Ни-но – это Пи-ни-но! Лакированное двухпедальное чудо фабрики «Красный Октябрь», арендованное предусмотрительной мамой только на три месяца, в единственном городском ателье проката, само приехало ко мне на телеге, само с неё слетело и, не поздоровавшись с остальной мебелью, заняло своё место, бесстыдно отбросив прикрывающие от царяпин одеяла и легко подвинув в сторону буфет с разнокалиберной посудой и конфетами, которые безуспешно прятали от меня на верхней полке, в нашей, на тот момент уже единственной с мамой комнате.

Одной своей стороной, четырьмя окнами, спрятанными весной за бело-розовым пахучим облаком, а летом за тёмной зеленью разросшихся старых вишен, дом выходил на огромный пустырь, который по базарным дням заполнялся телегами съехавшихся на ярмарку мужиков из соседних деревень, их лошадьми, мирно жующими сено из подвешенных под бархатные губы кормушек, визгом поросят в шевелящихся дерюжных мешках, обречённым мельтешением кур и антрактным гулом на том сочном западноукраинском жаргоне, в котором смешивались русские, украинские и польские слова, склеиваясь воедино универсальным, подстраивающимся под любую тональность идшем.

Дом был куплен пополам двумя сёстрами: моей бабкой и её старшей сестрой. Тогда там были ещё и мужа: мой молодой, не пропавший ещё без вести дед, и Меер – муж бабкиной сестры – Песи, но всё это было до... до, до-диез... до... до... До того, как увели на очередную войну и не вернули мужчин. Волны чужих войн перекатывались через город, сметая своим бессмысленным напором, а после и утаскивая при отливе за

собой, в безвозвратную глубину жилища, людей и их утлый уют, выстроенный из обломков прежних крушений. При очередном отступлении, а может наступлении – кто наступал?.. куда? – да кто ж сейчас вспомнит – дом сожгли, и вернувшийся с трудового фронта инвалид Меер – единственный выживший из огромного разветвлённого семейства мужчина, вместе с моей бабкой, оставшейся вдовой с двумя детьми, – отстроили его заново. Большой был дом, а может, это я был мал. К середине шестидесятых, когда мне и довелось там жить, от половины дома нам осталась одна комната и общая кухня (туалет был во дворе, а мыться можно было ходить в баню – раз в неделю). Остальные наши комнаты и часть двора были проданы новым хозяевам: денег на жизнь не хватало. Меер с Песей тоже продали часть из своей половины, но меньше, и были гордыми владельцами аж трёх комнаток и погреба – таинственного прохладного и загадочного подземелья, куда, увы, меня пускали только вместе со взрослыми, и никак до них не доходило, что лучшего места для игры в войну и не придумать.

2

К вечеру пришёл настройщик Владек: угрюмый поляк – трезвый и неразговорчивый. Меер, молча наблюдавший весь процесс выгрузки и размещения нового жильца, вынул вставные челюсти и неодобрительно цыкнул последним зубом: поляк – настройщик пианино – в этом городе?

Ми... ми-бемоль... ми... милый Меер! Все наши настройщики роялей лежат неподалёку: ты же знаешь тот ров за нынешней баней, на склоне, плавно уходящем к быстрому мутному Горыню. Вот там, у бывшей границы Славутского гетто они все и собрались последним клейзмеровским квартетом: и хромой, многодетный трубач Шмулик там, со всем семейством, и закончивший одесскую консерваторию и неудачно попавший своими тонкими пальцами под пьяное колесо деревенской свадьбы скрипач Осик, с тех пор с трудом удерживавший в покорёженной левой кисти лишь ключ для подтяжки струн, и братья-весельчаки Барамы – не было такого инструмента, на котором они не могли сыграть... все... все они там... там, там... Фа-фа-фааа.. подтянуть немного надо... все они там, и только мрачный Владек теперь стучит обкусанным ногтем по клавишам: ля... ля...

– Прошу паненка... пробуй – гарный инструмент.

Что тебе до этого, Меер? Что тебе, старый, почти глухой инвалид, обмотанный специальным медицинским бондажем, чтобы не вывалилась грыжа, со слуховым аппаратом в заросших серой шерстью ушах, до моего пианино? Какую музыку собираешься слушать? Дожить надеешься до времени, когда этот не твой детёныш сможет извлечь из

громоздкого лакированного ящика что-то такое, что пробьётся через твои навсегда задубевшие на Абаканском морозе перепонки? Постоял рядом, посмотрел, как я открыл крышку, как погрузил смело обе четверговые, добанные, с грязной каёмкой пятерни, не перекрывающие и пол-октавы, в черно-белое смешение клавиш, – и, повернувшись к моей матери, задумчиво сказал:

– А знаешь, Люся, – полезное дело. У нас в лагере музыканты хорошо жили.

3

– Да?

– Что?

– Тебя русским языком спрашивают, урод, – да?

– ?

Три ритмичных удара: один кулаком в лицо и два сапогом уже лежащего на полу, стараясь попасть в пах, в грыжу – про неё следователь в личном деле вычитал.

Он тогда ещё не умел сжаться в комок, подогнуть ноги, закрыть пах и заслонить руками голову и лицо – это он потом, в лагере научился... Ну, раз так, то, конечно, да. Да, бендеровец. Да, помогал. Да, подпишу. Еврей-бендеровец? А почему нет? Разнарядка пришла на бендеровцев – значит, будешь бендеровцем. Ну, некого взять ещё для выполнения плана: мужиков-то мало осталось. Вот десятку и посидишь. Не досидел... Рябой пахан сдох раньше, и Меер вышел через шесть лет, полной развалиной, без зубов, оглохший, но живой. И в святой для него день, следующий после Йом-Кипура по святости, – пятого марта, старик вечером обязательно наливал себе рюмку водки и, сняв с лысой головы кепку, выпивал без закуски, что-то шепча себе под нос. Молитвы? Проклятия?

На их половине дома, как только начинало темнеть, во всех их трёх маленьких комнатах загорались стосвечовые лампочки. Слепящий ярко-белый свет заливал все углы, омертвляя и без того едва живое пространство. На их половине пахло нафталином, тёплым ещё хлебом, который Песя пекла в огромной, занимающей полкомнаты печи, и разрушающимся человеческим телом. Я, ребёнок, боялся темноты. Старик Меер – сумрака, полутьмы. У меня была интуиция и генетический, пещерный инстинкт – у него опыт. Он знал, что они появляются из полумрака, из серого тумана – не из тьмы. Полная темнота не так страшна: за ней неизвестность и мизерная, но надежда! А про полумрак он уже знал всё. Помнил из пред и после революционных погромов те сгущающиеся сумерки, из которых приходит, возникает

ожидаемый и потому многократно умноженный на ожидание ужас... Из мрака может выйти огромное, клыкастое, со стекающей слюной существо иного, потустороннего или инопланетного мира – кого из выживших в лагерях можно напугать этим клоуном? Нет, подлинный ужас должен быть антропоморфен. Из полумрака выйдет твой сосед – тот, с кем ты ещё вчера чокался в пивной старого Шлёмы кружками с пивом. А в прошлом году его сын пришёл на день рождения к твоей пятилетней дочке, и они – эти малыши – так смешно вместе отплясывали фрейлахс, не разбирая ещё, кто обречён быть кем, какие кому назначены роли. Вот он-то и выйдет, материализуется из густого сумеречного тумана, и в руках у него будет не топор, а обычные ножницы, большие такие, садовые... И вот тогда-то станет по-настоящему страшно... и вот тогда-то и поплывёт над затаившимся местечком тот жуткий, сверлящий, от которого не спрятаться за обмороженными перепонками, вой.

А ещё он, как оказалось, любил музыку. Шестилетний, внеклассовый, презирующий чужое право собственности я беспрепятственно слонялся между двумя половинами дома, не видя разницы между «нашим» и «их», лез во все шкафы, тащил к себе любую понравившуюся вещь и так же легко расставался со своей. Так и наткнулся на половине Меера на ящик со старыми граммофонными пластинками. Тяжёлые чёрные диски (это был ещё не винил – шеллак) в шершавых коричневых конвертах с круглыми дырками, через которые виднелись тёмно-синие и зелёные кружки с надписями – а читать я уже умел – вызывали горячее желание тут же, немедля их испробовать. Сообразив, что это и зачем, я залез с ногами на стул, откинул крышку огромной радиолы Спидола, потыкал пальцами в жёсткие костяные клавиши, быстро нашёл, как включить проигрыватель, и поставил первую попавшуюся пластинку. Динамики в этом доме из-за глухоты хозяина были всегда включены на максимальную мощность, так что когда, подпрыгнув и противно взвизгнув, игла попала на бороздку, то весь дом (да и всю округу) заполнил «Э кранкер шнайдер» (Больной портной). Сбежались все: и мама, и Песя, и, конечно, Меер, ничего не услышавший издали, но заметивший странную панику. Выяснив, что произошло, он не ругался, он даже не дал женщинам выключить или убавить звук. Он просто выставил их из комнаты, сел рядом, и, приставив ухо почти к самому динамику, слушал один за другим эти хрупкие слепки, эти посмертные маски своей молодости, шипящие голоса из небытия, и я в первый и в последний раз, увидел, как из-под его закрытых век сочатся слёзы.

Я никогда не видел своих дедов. Мои родители, хоть и детьми, но застали их, а я вот своих дедов – только на старых, пожелтевших, обломанных по краям единичных фотографиях. Один из них – кадровый военный – был снят в будёновке с шашкой и пистолетной кобурой на боку. Второй – железнодорожник. Оба погибли осенью 1941го – «пропали без вести», как было написано в тех стандартных похоронках из семейных архивов. Кто тогда занимался убитыми в той кровавой каше осеннего отступления? Не вернулись и остальные мужчины призывного возраста в обеих семейных ветвях, и этот, практически глухой, лысый, коренастый инвалид, стал для меня олицетворением всего того, старшего поколения – дедом Меером. Он любил и баловал меня, прощал детские жестокости и шпанистые выходки и был единственным, кто действительно огорчился тому, что из дома увезли пианино.

Его сын, уже глубокий старик, доживает где-то у Великих Озёр, внуки и правнуки плодятся в Израиле, а они с Песей давным-давно лежат на «новом» старом еврейском кладбище в Славуте. Кладбище заросло диким вереском, лопухами и акацией, а к середине лета превращается в совершенно непроходимые джунгли, где легко потеряться без провожатого. Над их сдвоенной могилой образовался навес из переплетённых ветвей соседних деревьев. Там, в тёплом украинском небе, сплелись пышная акация и местный крупнолистный клён, и спят старики в зелёном шатре, наконец-то, укрывшим их от нескончаемой мерзости внешнего мира, которую не расхлебать ни детям их, ни правнукам. Запущенное, заброшенное кладбище. Лишь к немногим могилам: к тем, за которые присылают из разных уголков земли небольшие деньги на уход последние живые, ещё помнящие родственники, – приходит раз в год угрюмый мужик. Выдирает сорняки, расчищает плиту так, чтобы сделать фотографию (отчёт для плательщика), фотографирует и уходит, пощёлкивая большими садовыми ножницами.

А я повзрослел, перестал пугаться темноты и стал бояться серого полумрака. Даже машину легко вожу ночью, а вот для сумерек завёл себе специальные очки: без диоптрий, но с весёленькими жёлтыми стёклами, и как только опускается солнце к призрачной границе разделяющей миры, и наваливается на мою дорогу унылая серая тоска, надеваю их и включаю погромче музыку.

И... куплю я, пожалуй, себе пианино.

Жан Гали

США



Дебют

Однажды в полете

Эту историю мне рассказала моя жена. Она возвращалась домой, в Вашингтон, рейсом из Франкфурта. Ее соседкой в полете оказалась американка, из белых, лет сорока пяти. К их общей радости пассажир на место между ними так и не явился, и попутчица моей жены расположила на этом сиденье свою сумку. Сумка была не женская, на вид очень прочная, скорее хозяйственная, чем спортивная, не очень большая, но вместительная, и с металлическим замком – молнией.

Женщины познакомились и немного поговорили, американка назвала себя Мэри. Полет предстоял длительный и, чтобы убить время, моя жена, как обычно, начала искать на экране подходящий фильм для просмотра.

Через некоторое время к ним подошел стюард, предложив напитки. Мэри попросила два стаканчика со льдом, которые она расположила на столике перед собой. Затем, она выудила рукой из стаканчика несколько кусочков льда, и слегка приоткрыв замок – молнию на той самой сумке, сбросила лед прямоком туда. Далее она повторила эту операцию несколько раз. Причем проделывала она эту процедуру очень естественно и непринужденно. Действительно, ну что может быть необычного в том, что человек снова и снова складывает лед в свою сумку, после чего тщательно застегивает ее на замок?

Моя жена была заинтригована. Ее раздирало любопытство. Первое предположение, которое пришло ей в голову, – было то, что в сумке находится какое-то живое существо, может быть растение или животное, которое требует определенной низкой температуры, – льда для своей транспортировки и содержания. Но лед имеет обыкновение таять, значит в сумке в итоге должна скапливаться вода...

Затем она предположила, что это живое существо просто нуждается в воде для питья, но почему тогда используется лед, а не просто вода? Кроме того, рассуждала моя жена, животных принято перевозить в багажном отделении, а не в салоне самолета, хотя может это какой-то особый случай, исключение...

Далее, думала моя жена, в сумке ведь не может быть какая-то пища или еда, поскольку подбрасывание туда льда, – это весьма непродуктивный метод поддержания качества продуктов. И еще, если это животное, то почему сумка не меняет свою форму и не «шевелится», и совсем не издает никаких звуков?

И в конце концов, если в сумке находится клетка с животным, то почему сумка не принимает соответствующую этой клетке форму? Вопросов было больше, чем ответов.

Загадка состояла не только в том, что находится в этой сумке, но и в том, как невозмутимо и непринужденно новая знакомая моей жены проделывала этот фокус со льдом. Ничуть не смущаясь, она в который раз просила у стюарда льда, скидывала его в сумку, после чего, аккуратно закрывала сумку на замок.

Кого эта ситуация никак не удивила, так это стюарда. В очередной раз, услышав просьбу насчет льда, он очень вежливо сказал:

- Я прошу прощения, мэм, но я не думаю, что это очень хорошая идея.

Он явно намекал, что он знает, для чего Мэри нужен лед, и попросту давал ей понять, что он уж точно догадывается, какой напиток она неприметно им разбавляет... Далее, он говорил уже прямо:

- Знаете, многие думают, что это совсем не та доза, при которой людям может стать плохо. Но уверяю вас, я много лет летаю, это моя работа, и в конце полета вам будет очень дурно. Поверьте мне, я видел это много раз...

На, что Мэри очень спокойно отреагировала словами:

- Нет – нет, я в порядке, спасибо.

Время двигалось медленно, интересного фильма так не нашлось, и моя жена наконец-то решила. Извинившись заранее за свое любопытство, она спросила о том, что находится в сумке. Ответ был прост:

- Собака.

Моя жена переспросила:

- Собака? Действительно, в сумке находится ваша собака?

- Да, это собака, но не моя. Соседка глубоко вздохнула, улыбнулась и продолжила:

- Собака не моя. Она из Бейрута. И без питья ей никак нельзя. Я везу собак из Ливана. Одна со мной, остальные едут в багажном отсеке, надеюсь не замерзли там. Всего их пятнадцать.

Разговор становился занимательным.

- Наверное, это какие-то необыкновенные собаки, может какой-то особой ливанской породы? – продолжала любопытствовать моя жена.

- Нет. Самые обыкновенные собаки. Они безродные, беспородные, подобранные на улицах Бейрута.

Самолет летел из Франкфурта, значит, размышляла про себя моя жена, эта женщина летит из Бейрута в Вашингтон с пересадкой, может даже и не с одной пересадкой, и везет оттуда пятнадцать беспородных собак. Получается, что она перевозит в Америку обычных уличных бейрутских дворняг... Да, получается именно так. Но зачем? Должен же быть в этом какой-то смысл. Кому-то ведь это надо. Бизнес? Какой-токой бизнес на обыкновенных дворовых собаках? Или, не дай бог, – собак везут для использования их в качестве подопытных животных или приготовления экзотических кулинарных блюд? Ужасно! Мой бог! Кто в этом заинтересован? Интересно, интересно, – повторяла про себя моя жена, теряясь в догадках.

- Никому не надо беспокоиться, – невозмутимо продолжала говорить попутчица моей жены. – Собаки прошли все необходимые процедуры и контроль. Их всех вакцинировали, помыли, с ними работали ветеринары. Мы получили все разрешения местных властей, и на вывоз собак, в том числе. У нас есть специальный человек в Бейруте, который за все это отвечает и подготавливает собак к отправке в Америку.

- Вот как. Настолько все серьезно, действительно, – сказала моя жена в ответ.

И далее продолжила:

- Да, вот еще у меня вопрос. А зачем вы везете в Америку собак? Куда? Кому? Что с ними происходит потом, в Штатах?

Ответ последовал незамедлительно и был обескураживающим:

- Мы их раздаем. Людям. Всем, кто хочет завести собак. Первоначально собаки проходят адаптацию в нашем отделении приемника для животных. Мы их наблюдаем какое-то время, а затем, в итоге, мы их пристраиваем в хорошие семьи.

Моя жена задумалась. Так что ж это получается? – рассуждала она сама с собой. А получается, что сначала беспризорных собак отлавливают и собирают на улицах Бейрута. И делают это в очень даже далекой от Америки стране! Потом их моют, чистят, откармливают,

лечат, – таким образом, приводя собак в надлежащий порядок и вид, и далее, получив все необходимые разрешения, собак самолетом везут в Штаты, где их просто и бесплатно раздают в хорошие руки... Вот как-то так получается.

И ведь какие-то люди все это организовывают, тратят на это время, за все это платят деньги, и похоже, немалые деньги ... (!?)

Ее мысли нарушила собеседница:

- Вы знаете, проблема этих собачек заключается в том, что они родились не в той стране. Вот в чем дело. Но они ведь в этом ни виноваты. Вы же понимаете меня. Они там, на этих улицах, никому не нужны. Многие из них попросту не выживают и гибнут. Гибнут от холода и голода, да по разным причинам погибают, но прежде всего, потому, что они действительно никому не нужны. Ими никто не занимается. Ни официальные люди, кому положено, ни организации какие-нибудь по защите животных... Никто. Их никто не кормит, за ними никто не ухаживает, о них никто не заботится. У них нет дома, и нет никакой надежды на лучшее. Они же живые. Понимаете? Вот ведь какая вещь. Это очень серьезные проблемы там... В Бейруте.

Возникла пауза. Каждый думал о своем.

- Такие проблемы есть не только у собак, и не только в этой стране – думала моя жена, а вслух сказала:

- Да, Мэри, разумеется, вы рассказываете про очень серьезные вещи. И да, это не вина этих собак. Они действительно родились не в той стране или не в то время... Может, со временем там все и наладится.

- Не думаю, что что-то может измениться к лучшему – сказала Мэри. – Сколько раз я там бывала, знаете, все одно...

Опять возникла пауза.

Уже, подлетая к Вашингтону, попутчица жены приоткрыла сумку и показала моей жене собаку. Это была обыкновенная, маленькая, ничем не примечательная дворняжка, разве что худющая и вся какая-то дрожащая. Вид у нее был явно усталый и виноватый. При этом Мэри, поглаживая собаку, приговаривала:

- Я взяла ее с собой, в сумку, потому что у нее совсем мало шерсти, вдруг будет мерзнуть в багажном отсеке. Там ведь холодно.

И уже в аэропорту Вашингтона, при получении багажа, моя жена увидела свою попутчицу снова. Она с кем-то говорила по телефону. Возле нее стояли три багажные тележки, уставленные клетками с собаками.

- Да, мать. Мы с тобой уже почти семнадцать лет в Америке. Но американцы, наверное, никогда не перестанут нас удивлять. – Сказал я своей жене, после того как она закончила пересказывать мне эту историю.

Мне вдруг вспомнилось, как однажды я был крайне изумлен, наткнувшись на статью в американском научном биологическом журнале, которая называлась примерно так: «Особенности сексуального поведения японской перепелки». Я тогда подумал: «Ну зачем американцам надо тратить силы, время и средства на исследование тонкостей сексуального поведения перепелки, живущей в далекой Японии? Неужели у них других проблем нет?»

Евсей Цейтлин

Чикаго, США



Осень светлого мальчика. Из старой тетради

Чтобы узнать другой народ, не обязательно съезжать с ним пуд соли. Многое может открыть литература. Пушкин, Толстой, Лесков, Достоевский открывают нам старую Россию; Диккенс — Англию, Сервантес — Испанию, Рабле — Францию. Конечно, разные века, разные ступени цивилизации уводят человека вперед или возвращают назад, но главные черты национального характера переживают время.

Я читал «Повесть о светлом мальчике» Степана Сарыг-оола и, кажется, шел по Туве.

Видел реки, луга, горы; табунщиков, охотников, шаманов; свадьбы и похороны; мудрых и веселых стариков; нетерпеливых влюбленных; быстро подрастающих детей. Герои книги казались живыми людьми. Среди них выделялся светловолосый мальчик. У него рано умерла мать; он скитался по чужим людям, много раз едва не погиб в дороге, пас скот, был поваренком. Потом вырос, выучился, стал литератором, народным писателем Тувы.



Степан Сарыг-оол

Опытный сказитель первой же фразой устанавливает ритм рассказа. «Говорят, лошади знакомятся через ржание, а люди узнают друг о друге через разговор» — так начал Сарыг-оол повесть своей жизни (Перевод М. Ганиной). Мне же он сказал в первую нашу встречу — и тоже с подкупающей непосредственностью: «Я не писатель».

Что он имел в виду? То, что так и остался в литературе учеником? То, что жизнь всегда выше ее отражения?

Я не спросил Сарыг-оола об этом, не стал испытывать его искренность. Он и так был на редкость открыт. (Степан Агбанович верил в то, что люди не случайно встречаются на дорогах жизни).

Позже мне немало поведали его письма, еще больше — книги. Потому попробую сейчас рассказать о самом трудном. О размышлениях старого литератора, завершающего круг бытия.

Он стал писать о себе, когда дорога, поднимающаяся в гору, повернула вниз. Люди пели песни на стихи Сарыг-оола, произведения его входили в школьные хрестоматии. Но все чаще он просыпался ночью, ворочался, ходил по комнате. Спать не давала неродившаяся книга.

О чем она должна быть? Он знал. О Туве. Но ненаписанные страницы похожи на невыпавшие снега — их не поторопишь. Слова непропетой песни чувствуешь сердцем и все-таки никогда не предскажешь.

Известно: если хочешь правдиво сказать о своем народе, попробуй сначала бесхитростно рассказать о себе. Об одном из тысячи ручейков, впадающих в море.

Он сел за письменный стол и вывел: «Я родился в год Курицы, в последний месяц осени, семнадцатого дня, в час Овцы». В этой фразе был ключ не только к его судьбе, но и к жизни старой Тувы. Ведь автору сразу пришлось объяснять:

«Раньше у нас летосчисление, годы рождения, даже время суток считалось по-иному. Например, сутки делились пополам, из них двенадцать часов относилось ко дню, а двенадцать — к ночи, и каждый час имел свое название. Первый назывался Мышь, второй — Корова, третий — Барс, четвертый — Заяц, пятый — Дракон, шестой — Лошадь, седьмой — Змея, восьмой — Овца, девятый — Обезьяна, десятый — Курица, одиннадцатый — Собака и двенадцатый — Свинья». Так же считали годы. День рождения приходил к человеку через двенадцать лет.

Он стал лучше спать ночами. Но вставал с зарей, садился за стол, придвигал к себе бумагу.

Сарыг-оол познал не сразу осознаваемую тяжесть своего ремесла: трудно говорить об обыкновенном. А жизнь народа — сплошь будни: нужно ухаживать за скотом, печь хлеб, толочь ячмень и просо, выделывать шкуры, шить одежду; праздники редко — несколько раз в год. В том и талант писателя, думал он, надо найти точку наблюдения, откуда обыкновенное видится иначе — резко, по-новому.

Сарыг-оол взглянул на древний мир глазами мальчика, потом юноши. Это дерзкий взгляд открывателя. Неважно, что все давным-давно открыто.

Человек впервые выходит за порог юрты. Он еще плохо держится на ногах. Мир щедр и прост. «Было ясное летнее утро, я увидел желтую плоскую степь, высокие горы, покрытые тайгой, а над ними голубое небо». Через много лет он вспомнит и свой испуг, свой крик: «Мама!» И то, как мать, отбросив кувшин с молоком, бросилась к нему: «О сыночек мой, какой храбрец! Быстрый мой! Орел настоящий!» Тогда же он разглядел иначе и лицо матери — «широкое и прекрасное, как вся Арыг-Бажинская степь. До этого дня,— скажет герой,— я был просто бочонком для молока и только теперь почувствовал в первый раз великую силу любви и красоту моей матери, почувствовал, как я сам ее бесконечно люблю. С этого дня я себя помню».

У писателя и его героя хорошая память. Память одного человека в литературе становится памятью народа, запечатлеваясь в истории.

Канта поражали две вещи: звездное небо над головой и нравственный закон в себе. Тайны звездного неба люди постигают тысячелетия. Тайны жизни души не менее сложны, но ими порой пренебрегают. Как закладываются в человеке любовь к Отчизне и совесть, порядочность и скромность, мужество и долг? Настоящий писатель

может многое сказать от этого. Сарыг-оол наблюдал за своим светлым мальчиком: тот рос, погружаясь в обычаи народа. Этика была растворена здесь, как соль в море.

У каждого народа свои обычаи, думал он. Обычаи порой кажутся странными, но над ними не надо смеяться. Над ними надо размышлять. Обычаи — это тоже память, более живая, чем дворцы, монументы. «У тувинцев,— писал Сарыг-оол,— считается дурной приметой... одинокое житье, когда все уже откочевали, а кто-то остался на старой стоянке. Страшно становится жителям такой юрты. Не только людей, но и ни одного животного вокруг не осталось: ни человек не крикнет, ни собака не тявкнет,— тишина, страшная тишина одиночества». Человек без традиций тоже одинок. И кто знает, какое одиночество непереносимее!

Столетиями люди проходили школу народной мудрости; уроки давали легенды, песни, поверья. Уроки не были догматичными — звали постигать сложность жизни. «Один — в себя загляни, с людьми — за словом следи»,— процитировал мне Сарыг-оол тувинскую пословицу. Ему нравилась здесь диалектика: нужно уметь понимать себя, нужно не торопиться судить мир. Столетиями люди в одних и тех же ситуациях вели себя одинаково. Обычаи часто определяли поступки, поступки — характер. Конечно, речь не о тех традициях, которые унижали, нивелировали личность.

Кочевье формировало быт тувинцев: пищу хранили в кожаных мешках, множество продуктов делали из молока. Но обычаи продиктовали и другое.

Даже самые суровые люди знают, что такое нежность; самые мужественные не могут бесконечно сжимать в кулак чувства. Однако каждый народ по-своему выражает сокровенное. К примеру, тувинцы, испытывая нежность, вдыхают запах кожи и волос любимого человека. Перед первой стрижкой мальчика родственники нюхают его голову, срезают по небольшой пряди, а ему дают подарки. В этот день ребенка сажают на почетное место, кладут в его чашку лучшие куски мяса. Почему день первой стрижки останется для мальчика среди лучших дней жизни? Он почувствовал себя личностью, ощутил тепло добра...

Книга писателя не должна стать ни фольклорной тетрадью, ни справочником по этнографии. Между сказаниями, описаниями обычаев в повести Сарыг-оола билось юное, ранимое сердце.

Вот вместе с мальчиком мы попадаем на праздник шагаа. У тувинцев шагаа вроде Нового года, только в начале марта. К шагаа готовятся задолго. Моют и чистят все, что можно вымыть и вычистить,— даже изображения богов. Развешивают в юрте фигурки животных. Всю ночь молится лама. Молодежь устраивает веселые игры. Люди зазывают друг друга в гости. В каждой юрте варится мясо. Нередки состязания на

лучшего едока; чтобы позлить скупцов, идут соревноваться к ним. В шагаа обращаются к богу с просьбой. Обратился и мальчик: «Кому попало не давай обижать меня, не оставляй живот мой без пищи, не давай мерзнуть моим ногам и телу без одежды и обуви...» Больше он не знал, о чем просить бога.

Сарыг-оол подробно опишет и длинный, как спектакль, ритуал тувинской свадьбы. А читатель не может забыть: это выдают замуж юную подружку героя. Колобродит свадьба, она действительно напоминает постановку — трагическую: любовь потерянно, одиноко бродит среди праздничных юрт.

Еще раньше мальчик увидит лицо смерти, древний похоронный обряд: «Возле юрты поставили шесть шестов с флажками, один, на котором изображена бегущая священная лошадь, возле самой мамы. Теперь в юрте шумно, ламы хором читают, бьют в барабан и тарелки. Перед разукрашенными изображениями богов в медных чашах еда, зажженное масло: провожают мамину душу... На кострах варят много вкусной пищи, все ласково говорят о маме, гладят меня по голове. Хорошо маме, весело, не одиноко...»

Потом мальчик еще раз встретится с мамой. Случайно. Печаль приведет его на горное кладбище. Там он увидит среди флажков что-то белое. «Это была мама. Шелковый хадак, покрывавший ее лицо, слетел, унесенный ветром, длинные волосы разметались по земле... Это уже не была моя мама. Куда ушла, кто унес ее красоту, ее нежность,— куда все подевалось?..»

Люди идут к истине через страдания. Страданием они подтверждают и вечные нравственные законы. У Сарыг-оола была возможность проверить это на себе. По преданию, человек, родившийся в год Курицы, «не опаздывает и не обгоняет свое счастье». Увы, не обгоняет; хорошо хоть, что не опаздывает.

Нравственность воспитывает правда, считалось в народе, ибо «нет узла крепче двойного, нет слова сильнее правдивого». Считалось также: год Курицы — правдивый год. Мне немало рассказывали о бескомпромиссности Сарыг-оола, о том, с каким достоинством он шел дорогой литературы.

Чтобы утверждать правду, необходим характер. В стихотворении, посвященном Пальмбаху, Сарыг-оол писал, что тот помог отрезать пуповину при рождении тувинской поэзии. О нем самом можно было сказать то же. Например, в сороковые годы у Сарыг-оола был блокнот с фамилиями ста шестидесяти молодых литераторов, на которых он возлагал надежды и которым помогал. Однако Сарыг-оол мог сказать начинающему автору, написавшему роман об отстающем колхозе: «Такая книга не нужна. Лучше подготовь об этом толковую статью».

Еще труднее самому утверждать правду на листе бумаги. Сарыг-оол смеялся: «Некоторые писатели очень не хотят огорчать читателя, напоминать ему о трагических сторонах жизни. А этого не боялись даже сказители, с которыми могли расправиться чиновники и нойоны».

В «Повести о светлом мальчике» сказитель вдруг вспомнит время Большого Голода. Четыре года в аалах не лаяли собаки, люди варили сбрую, кожаные вещи. Некоторые спасались тем, что иногда выпускали пиалу-две крови из ноги лошади, а затем кровь варили.

Сказитель был психолог. Он видел время через человеческие лица, рассказал вот такой случай. К одному старому охотнику приехала в гости дочь из соседнего аала. Не увидев сестренку и братьев, не стала спрашивать родителей: наверное, умерли. Отец пошел за дровами, мать за водой для чая. Молодая женщина заглянула в чашу, в которой родители готовили ужин и которую отец при ее появлении убрал; в чаше плавала детская рука... Женщина выскочила из юрты, бросилась к коню и в ужасе ускакала домой. Чего добивался сказитель? Он хотел, чтобы его сородичи не отворачивались стыдливо от собственной истории, помнили не только героическое, знали, до чего может дойти человек с помутневшим от голода рассудком. Знали: так было.

На что способны люди? Этот вопрос волновал не только мальчика. Волновал он и писателя, одинаково далекого как от иллюзий, так и от пессимизма. Он не вел ни с кем спор. Даже с собой. Он просто оглядывал дорогу жизни. Его память тоже сохранила не только доброе, но и дурное, не одни светлые, но и черные дни.

Память героя повести сохранила «большое судилище»: чиновники объявили, что будут судить конокрадов, а решили расправиться с непокорными. «Чего только мы там не повидали! — воскликнет Сарыг-оол потом.— До сих пор все стоит перед глазами! Видели, как хлещет жертву по щекам ремень — это называлось «шагай». Видели четырехгранную палку «манзы», которой били людей по ногам. Голого человека сажали на битый щебень; вкладывали между пальцами деревянные палочки и стягивали пальцы ремнем; засыпали глаза рубленным конским волосом, надевали на шею деревянный хомут, сажали между бревнами, подвешивали вниз головой над дымящимся очагом... Какие причудливые, изощренные пытки может придумать человек для человека! Вопли замученных до сих пор звучат в моих ушах».

Скот, поймет мальчик, убивают гораздо гуманнее — сразу, внезапным ударом. Людей же после пыток приводят в чувство — потом все начинают сначала. «Одно радовало меня, то, что, оказывается, человек куда сильнее и выносливее животного. Истязают его, мучают подолгу, тело почти мертво, но дух не сдастся, борется за свое человеческое. Что

же помогает людям переносить такие муки? — спрашивает себя мальчик.— Гнев, чувство достоинства?.. Чувство своей правоты и ненависть к несправедливо обвиняющим?..»

Вопросы не разрушают, а закаляют душу. Если у человека есть мужество смотреть жизни в глаза.

Сарыг-оол писал книгу и молодец. Он шел обратно по собственным следам. Путь оказался долгий. Не меньше, наверное, чем расстояние вокруг земли. Шел между аалами и кочевьями — то с песней, то с плачем, то просто припомнив юные думы. Отыскивал следы своих ног в родном Тор-гальке — на высоких скалистых горах, в долинах, на пастбищах, на пахнущих юностью сенокосных лугах. Он ясно читал свои следы, как читал на снегу «письмена» зайца. Порой так же дивился: чего же искала здесь эта бедная голова?

Писатель, идущий за юностью, может написать книгу, может — небольшое стихотворение. Поэтическая строка легко заменяет страницы описаний. Вот и предыдущий абзац — это, в сущности, подстрочник стихотворения Сарыг-оола «Мои следы».

Писатель заканчивал книгу о юности и понемногу старел. Уже стал герой слушателем партийной школы, солдатом народной армии, умирал восстание феодалов. Еще не стал поэтом. Это — за пределами книги. Говорят, что поэтами рождаются. Может, и так. Но надо еще научиться прислушиваться к своей душе, научиться различать и откидывать слова-пустышки. В повести он мог бы написать и об этом.

Мог вспомнить, как, волнуясь, держал в 1934-м газету с первым своим стихотворением; как спустя три года вышел их первый коллективный сборник; как литературный кружок, где он был председателем, выросал в Союз писателей Тувы.

В книге можно было изобразить юношу, ночами сидящего над переводами с русского. Особенно много он и его друзья, молодые поэты, сделали в канун столетия со дня гибели Пушкина. Они переводили поэта другого века, другого типа мышления, с другими приемами стихосложения. А думали при этом о гармонии, психологизме, точности детали. За переводы тогда ничего не платили, но это ничуть не мешало. Сарыг-оолу самому захотелось перевести книгу Груздева о Горьком, наконец, горьковскую прозу... Долго работал над рассказами «Макар Чудра» и «Девятое января»: многое здесь напоминало его собственную неприкаемую жизнь. Он уходил в горьковский текст, а, отдыхая, вспоминал сутуловатую фигуру Алексея Максимовича: видел его нередко на Тверском бульваре, случалось, и на вечерах в КУТВе. «Я вчера был в Коммунистическом университете трудящихся Востока,— прочитает Сарыг-оол спустя много лет у Горького.— Вышла там тувинская женщина, у которой ноги крепче телеграфного столба; она

черт знает сколько на этих ногах простоит... Она политически организованный человек, который распоряжается русским языком довольно свободно, умеет даже такие колкие словечки вдвинуть в свою речь».

Это была Анна Намбраловна Доржу — первая тувинская фельдшерица. Из статьи литературоведа М. А. Хада-ханэ, встречавшейся потом с А. Н. Доржу, я узнал, о чем с ней тогда говорил Горький. Жалел, что не может видеть национальную шубу, в которой приехала тувинка: шубу отдали на склад, а там, скорее всего, выбросили. Жалел еще, что так мало знает о Туве.

...Встречались два народа, две культуры. Стремилась понять друг друга.

У Сарыг-оола тоже были такие встречи. Вглядываясь в следы своей жизни, он видел рядом следы друзей-писателей — Семена Гудзенко, Степана Щипачева, Михаила Исаковского, Семена Данилова...

С годами следов становилось все меньше. Они уже не мелькали, не разбегались в разные стороны — выстраивались один за другим.

Я, естественно, не знал Сарыг-оола в юности. А в старости он стал суховат, подтянут, глаза были добры и чуть печальны — даже когда Сарыг-оол смеялся. Печаль в глазах не всегда признак того, что человеку плохо; иногда это память о давних тревогах.

В книгах Сарыг-оола находили излишнее увлечение национальной спецификой: то было время, когда за интернационализм пытались выдать национальную безликость; зазорным считалось носить тувинские костюмы, играть на народных инструментах. К счастью, это время тоже прошло.

Горечью была пронизана и жизнь его сердца. Девушка, о которой Сарыг-оол рассказал в повести, убежала сразу после свадьбы домой, но потом покончила с собой. История эта походила на сюжет романа, только в жизни, в отличие от литературы, каждый сюжет оплачен человеческой болью. Сарыг-оол был в это время в городе. Он писал любимой письма, однако один из немногих аальских грамотеев, сам влюбленный в девушку, «редактировал» их при чтении, а однажды сказал: «Сарыг-оол от тебя отказывается». Она утонула. Боялась, что не выдержит, и перед самоубийством привязалась косами к камню.

Рана до конца не зажила, лишь затянулась; он женился. Жена умерла через несколько лет.

Он почти физически ощущал рок. Его перестала радовать даже природа — родные реки, горы, воздух напоминали об утратах. Сарыг-оол уехал в Москву, на Высшие литературные курсы. Там медленно, после трудной разлуки, к нему возвращались стихи. Подстрочники делала Мария Давыдовна Черноусова — веселая женщина, которая не любила говорить о себе. Случайно он узнал ее историю: во время войны

была медсестрой в госпитале, муж погиб на фронте; во время эвакуации госпиталя на глазах у Марии Давыдовны в соседний вагон, где ехали двое ее детей, попала бомба.

Они обрели друг друга не потому, что два горя, как и две радости, притягиваются. Любовь была поздняя и, спасибо судьбе, счастливая. Три десятилетия Мария Давыдовна делала подстрочники переводов Сарыг-оола. В подстрочниках обнажается мысль и чувство, многие стихи Сарыг-оола о любви.

Мелькали дни. Жизнь, как написал он однажды, словно свадебный поезд, проносилась мимо. Наконец пришла осень. Осенью видится лучше. По-прежнему «усыпаны чистым просом высокие небеса». Но падают листья, шумные кроны сада перестают закрывать дорогу. Хорошо видишь и то, что осталось за поворотом, и то, что ожидает тебя впереди.

Мы познакомились с Сарыг-оолом за несколько лет до его смерти. Он был по-особому спокоен, понимал: его песня в основном уже пропета; какой она получилась, судить не ему. Признался: любит по утрам отправляться на базар, который находится рядом с его домом. Сюда приезжали со всей Тувы, приходили многие горожане — не только за продуктами, но и поговорить со знакомыми. Конечно, его узнавали, радостно улыбались.

А дома, на столе, лежали белые листы бумаги. Ненаписанные страницы по-прежнему походили на еще не выпавшие снега.

Григорий Яблонский

Сент-Луис, США



Новый Дориан

- Ну что, Серёжа, удержат ли большевики государственную власть? И будет ли у нас *незабываемый 1990-й?* – спросил я.

Был как раз февраль 1990-года. Мы стояли у окошка маленькой однокомнатной квартиры и смотрели вниз – с высоты второго этажа, на группки демонстрантов, медленно идущих по присыпанному снегом Столешникову. Они двигались к улице Горького. Были видны необычные лозунги «Долой кремлёвскую мафию», «Партия, дай порулить», «6-ая статья – позор». Люди то разворачивали лозунги напоказ, то сворачивали, по-видимому, уставая нести. Самым странным был лозунг «Зверей-на свободу, коммунистов – в клетку» с неразборчивым продолжением. Наверно, это был лозунг партии, защищавшей животных

- Ну что, удержат? – повторил я вопрос.

Серёжа вспыхнул: «Конечно, удержат. Куда они денутся? Ты бы ещё спросил просуществует ли Советский Союз до 1984 года. Существовал и будет существовать»

Мой московский друг Серёжа-Серж, в прошлом математик, был радиожурналист и, по совместительству, политический пророк. Иногда он ошибался в своих предсказаниях, но для пророка это – не препятствие.

- Вот ты говоришь, *незабываемый 1990-й*, а почему, знаешь? – более спокойно проговорил Серёжа.- Нет? А потому, что в этом году – ровно сто лет «Портрету Дориана Грея».¹⁶

¹⁶ Для тех, кто не читал или читал, но не помнит. «Портрет Дориана Грея» - мрачный цветок мировой литературы. Художник Холллуорд рисует портрет фантастически

Я улыбнулся. Серж был известным фанатом этой книги. Она была его библией.

Это нас разделяло. У моего поколения была другая библия. Её Ветхий Завет назывался «Двенадцать стульев», а Новым Заветом был «Золотой телёнок».

И на этот раз Серж не собирался скрывать свой фанатизм и цитировал лорда Генри, не зная удержу.

- Молодость! Молодость! В мире нет, ничего ей равного! – восклицал он, подымая бокал с плодово-ягодным вином.

- Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым! – ехидно вставлял я.

– Благие намерения, – отзывался Серж, – это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет счёта.

И добавлял:

«Руководствоваться рассудком – в этом есть что-то неблагодарное. Это значит предавать интеллект».

Я ничего не имел против лорда Генри и Дориана. Просто я был однолюб. В моей душе место уже было занято Остапом Бендером. Я защищался тремя заповедями:

- Живите проще, и к вам потянутся люди!

- Вы не в церкви, вас не обманут!

- Финансовая пропасть – самая глубокая в мире, в неё можно падать всю жизнь!

Сержа это бесило.

- Как ты не понимаешь? – вскричал он. – У тебя же есть вкус! Твой Остап да и весь этот одесский юмор – это же просто попытка сделать пошлость привлекательной.

- А твои дориановские афоризмы чего стоят? – возражал я. – Деление женщин на накрашенных и ненакрашенных... «Женщины – декоративный пол»... Разве это не пошлость? И вообще афоризм – это суррогат мудрости.

- Сам придумал? – поинтересовался Серж.

прекрасного юноши Дориана. Портрет буквально околдовывает художника и самого юношу. Под влиянием своего нового друга лорда Генри, провозвестника «нового гедонизма» (молодость и вечные наслаждения), Дориан выражает желание всегда оставаться таким, как на портрете. Так и происходит. Идут годы. Дориан не стареет внешне, предаваясь наслаждениям, порокам и, в конечном счёте, совершает преступление, убивает художника. А вот портрет катастрофически стареет, отражая уродливые изменения души Дориана. Дориан пытается уничтожить роковой портрет, но умирает сам, становясь презренным старцем, а портрет сияет вечной юношеской красотой молодого Дориана.

- Сам, – ответил я как можно более скромно.

- Тоже афоризм, – определил Серж.- Ничего ты не понимаешь. У лорда Генри не афоризмы, а новая философия. Нам до неё расти и расти. А женщинам давно пора сказать правду.

Перед нами на столе появилась бутылка Агдама.

- Серёжа, давай я тебе прочитаю, – сказал я примирительно. И прочитал:

«Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта,
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась»

- Полная чушь! – высказался Серж.

- Серж! Побойся Бога! Это Ахматова!

- Ну и что ! Ахматовская чушь! «Дориан Грей» – гениальная сказка, а это женский бред!

Никакие портреты после смерти не меняются. Я в это не верю!

- А я верю! – Я повысил голос. – Во-первых, у меня самого в юности был такой опыт.

- Видение,- иронически заметил Серж.

- Во-вторых, может быть, это психологический эффект. Под впечатлением от смерти человека люди могут по-другому воспринимать его портрет...

- Эффекты, – проворчал он, но уже более спокойно.

Вообще-то, у нас ещё был пищевой спирт, но пить его как-то не хотелось.

- А знаешь что, – вдруг сказал он. – Позвоню-ка я Коркину.

Я знал Коркина со слов Сержа. Коркин был его давний знакомый, московский портретист, не такой известный, как Глазунов или Шилов, но вполне успешный.

- Привет, Коркин! – сказал Серж. Это он уже звонил. – Узнал? Ага! Тут мы сидим с сибирским другом и заспорили. Вот ты много людей нарисовал. После смерти портреты изменяются или нет ?

Серж закрыл телефон рукой.

- Говорит, изменяются, – растерянно сказал он. – Говорит, берите пузырь, приезжайте, покажу и докажу.

Он положил трубку и – не без колебаний – вытащил из шкафа, из-под одежды, бутылку армянского коньяка «Наири». Через полчаса мы уже были на Соколе в мастерской Коркина. По дороге мы протрезвели, и я узнал о Коркине намного больше. Оказывается, он – портретист лишь для денег, а так вообще он был абстракционист и выставлялся ещё на бульдозерной выставке, а потом стал концептуалистом. В самиздатных и тамиздатных статьях его называют концептуалистом спиритуальным или мистическим, кто как.

Родом он из Саратова, в Москве лет 20, не женат, а детей у него много, то ли восемь, то ли девять. Навещает их постоянно. И рисует, рисует...- в разном возрасте. У него даже выставка портретов была –«Мои дети». Говорят, как только новый ребёнок рождается, он говорит «Я его н-н-нарисую». Присловье у него такое. Заикается немного.

Коркина я представил невысоким, скупым на слова, с рыжей бородкой и смурной ухмылкой.

Таким он и оказался.

- Ну н-н-н-начали,- сказал Коркин, когда «Наири» встал в центр стода. Было заметно, что начал он намного раньше.

Выпили.

- Про портреты расскажи, – заторопился Серж. Мне показалось, что он немного нервничает, ожидая чего-то значительного или даже экстраординарного, что могло бы поколебать его мировоззрение.

-П-п-ппогоди,- сказал Коркин.

Выпили по второй и по третьей.

Коркин резко встал и пошёл в соседнюю комнату. Через минуту он вернулся с двумя полиэтиленовыми пакетами, медленно развернул их, вынул два портрета и показал нам их издали. На левом и правом портрете был изображен один и тот же человек, но портреты несколько отличались. И мы узнали этого человека, мы хорошо знали его.

Это был...Константин Устинович Черненко, покойный Генеральный Секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Оба портрета абсолютно правдиво отражали непроходимую тупость Константина Устиновича. Был даже лозунг «Превратим Москву в цветущий Усть – Константинополь!»

Но была и некоторая разница между портретами.

На левом портрете Константин Устинович был одет в строгий чёрный пиджак, на котором красовались три звезды Героя Социалистического Труда.

На правом – пиджак был полосатый, звёзд Героя не было, только орденские планки.. Кроме того, на портрете были интересные символы. В левом низу был нарисован большой зелёный лист. Через правый угол протекала бурная река со скалистым берегом, а над рекой нависало

хмурое небо. Рядом с рекой лежала открытая книга с надписью «История КПСС» К ногам Константина Устиновича был брошено нечто, напоминавшее платок.

Мы с Сержем, конечно же, были в недоумении, но Коркин в немногих словах смог объяснить нам эти портреты, и вообще, эстетическую стратегию своего выживания.

Левый портрет был *базовый*, так сказать, «официальный» и писался он *до смерти* выдающегося человека. Такие портреты Коркин готовил заранее по фотографиям.

После смерти задача состояла в том, чтобы найти *дальнего вхожего*, то-есть дальнего родственника, вхожего в семью усопшего. Опыт, или скорее открытие Коркина, в том и состоял, что это – лучшая стратегия продажи портрета. С *дальним вхожим* всегда можно договориться, он должен быть главной опорой, и его надо найти в первые 20 дней после смерти. Конечно, рекомендации мэтров тоже были полезны, тут Коркин был очень благодарен Александру Максовичу Шилову, ученику Лактионова Александра Ивановича. А дальше – при удачном раскладе – предстояло встречаться с *ближними* и показывать им портрет, который *до смерти*. И всегда, всегда требовали изменений, а два главных требования такие: чтоб был *человечный человек* и чтоб *вехи жизни*.

В случае Константина Устиновича большой зелёный лист отражал его работу в Молдавии.

Бурная река со скалистым берегом и хмурым небом – это Енисей с красноярскими «Столбами». В Красноярске Константин Устинович долгое время руководил марксистско-ленинской пропагандой (символ – открытая книга у реки). Что касается платка у его ног, это был не платок, а чалма. В 30-х годах Константин Устинович в течение года сражался в среднеазиатском погранотряде и уничтожал басмачей.

Вот так, – заключил Коркин свой недлинный рассказ. – Изменяются п-п-портреты после смерти. Не м-м-могут не м-м-меняться.

Ну что ж, наш с Сержем спор был решён, и я думаю, что в мою пользу. Я был удовлетворён.

Мы закончили «Наури», и тут Сержа несколько развезло.

- Скажи, Коркин, ты ведь концептуалист? – спросил он довольно-таки развязным тоном.

- К-к-концептуалист, – подтвердил Коркин и добавил: «М-м-мистический».

- А мог бы ты написать концептуальный портрет коммунизма?

- М-м-мог бы, – отвечал Коркин. - Только со словами.

- А вот представь, что коммунизм умер...

- С-с-сдох, что ли? – уточнил Коркин

- Ну, сдох – с неодобрением повторил Серж. – Тогда твой портрет изменится? Ты как думаешь?

- К-к-конечно... все п-п-портреты *после смерти* изменяются. А иначе к-к-как продать?.

Это – конец истории.

А я вот что думаю, дорогой читатель...В жизни нет места мистике, или, осторожно скажем, мало для неё места, а результат ведь один и тот же. *После смерти* все портреты изменяются, и тут уж ничего не поделаешь...

Майя Гельфанд

Ришон-ле-Цион, Израиль



Заметки на полях от Майи Гельфанд. Обгорелый жетон

Они давно заприметили друг друга. Трое израильтян, приехавшие вместе с женами провести две недели на восточно-европейском курорте. В перерывах между процедурами и солевыми ваннами они сухо здоровались, слегка кивнув головой. На долгих и пышных обедах посылали многозначительные взгляды, украдкой заглядывая друг другу в тарелки. На очень полезных для здоровья прогулках периодически раскланивались, любезно улыбаясь и пропуская вперед. Пока, наконец, в один ненастный вечер, когда за окном завывал ветер, а в окно хлестал совершенно декабрьский, по израильским меркам, дождь, все трое не

встретились в жарком, натопленном зале дорогой гостиницы. И так как они уже привыкли к кивкам/улыбкам/взглядам, то абсолютно естественно все трое расселись на трёх креслах, обитых красной тканью, вокруг маленького, полированного столика.

Старший из них курил трубку. В тяжелых боях с местной администрацией он сумел-таки доказать, что он, как врач, ответственно заявляет, что дым от трубки не доставляет лёгким отдыхающих ничего, кроме удовольствия, а значит запрет на курение не него не распространяется. Другой, добродушный толстяк с усами, все время поглядывал по сторонам, посылая плутоватые взгляды официанткам, медсестрам, буфетчицам, массажисткам и секретаршам. А третий, по виду моложе остальных, носил брутальную черную повязку на глазу, чем вызывал у персонала страх и почтение, а у отдыхающих – явное любопытство.

- всю жизнь людей спасал, врачом работал, а теперь вот, отдыхаю. – То ли с досадой, то ли с усталостью сказал Курильщик.

- А я всю жизнь в авиации провел, – сообщил Толстяк. – Сначала на военном вертолете летал, потом на пассажирских самолетах. Теперь – заслуженный пенсионер.

Двое поглядели на Одноглазого.

- Я сорок лет в армии провел. Войну прошел. Глаз потерял. В танке, – сухо и деловито отпарировал он.

- Когда? – не выдержав испытания неизвестностью, спросил Толстяк.

- В 73-м. Танк горел, напарник погиб на месте. Меня спасли.

Доставили в госпиталь. Глаз удалили. Вот. – И он протянул маленький искореженный жетончик. – Вместе горели...

- Постой, постой! – Толстяк суетливо вытащил из кармана футляр, нацепил над усами очки, внимательно разглядел жетон. – Так это же я тебя в госпитале на вертолете переправлял. Еще думал, не успею, ты весь в крови, а лететь-то... а ты корчишься, стонешь...

- А ну-ка, дайте сюда! – Оторвался от трубки Курильщик. Повертел недоверчиво жетончик в руках. – Можно взглянуть? – осторожно приподнял повязку. – Похоже, что я тебя оперировал.

Трое поглядели друг на друга, потом на сморщенный жетончик. Обнялись, склонили головы и застыли в долгом молчании.

Ксения Кривошеина

Париж, Франция



Звуки. Четыре коротких истории

Я родилась в музыкальной семье, еще в пеленках, когда я плакала, мама меня клала на крышку рояля, чтобы успокоить: в это время одна из бабушкиных учениц разучивала арию, а бабушка сидела за фортепьяно. Говорят, я быстро засыпала. Из меня не вышло ни певицы, ни пианистки. Единственное, чего хотелось и о чем мечталось – стать балериной. Но и это сорвалось. Отец (ред: художник Игорь Ершов) готовился к оперной сцене, а в результате стал художником.

Он сделал правильный выбор, хотя долгое время оставался на развилке своих талантов. Трудно превзойти славу собственного отца – всю жизнь бы сравнивали: «А вот Иван Ершов пел лучше!» Да и сам папа говорил, что ему по натуре хотелось творить, исполнителем всю жизнь оставаться было бы невмочь. Характер художника-«одиночки», а не «коллективиста» определил его путь. Музыка продолжала пребывать с ним всю жизнь. Более того, рисовал он, слушая пластинки с Моцартом, Бахом, Шубертом и семейно любимым Вагнером. Утром пел арии в ванной, а наша собака, обладавшая абсолютным слухом, лежа под дверью подвывала ему на высоких «соль» и «ля».

Музыка помогла мне понять, что такое абстрактное мышление, выявить интуицию. Цвет и свет, в живописи сотканной из звуков, мы не всегда воспринимаем. И конечно, театр, опера, кулисы и гримерки с особым запахом пота, труда, нервов, оркестровая яма, куда меня приводили и сажали рядом с литаврами, которые хоть и били редко, но и этого хватало, чтобы оглохнуть, – потом пересадили к арфе. Бархатные обивки кресел, торжественность «царской ложи» в «Мариинке», где у

бабушки было постоянное место. Арии Германа, Ленского, Лоэнгина... И обязательно балеты, Филармония, другие залы. Я привыкла к постоянству звуков, научилась их различать не только в музыке, но и в поэзии и прозе, без них сразу оказывалась в некоей глухоте.

Родители общались с семьей Томашевских. Отец познакомился с Борисом Викторовичем, знаменитым пушкинистом, когда рисовал иллюстрации к «Медному всаднику». Помню, что он даже писал его портрет и с улыбкой замечал: «На вид такой тихий, скромный бухгалтер, а заговорит – и перед тобой действительно великий знаток стиха». С его дочерью Зоей отец дружил, часто они вместе бывали в концертах, ходили друг к другу в гости.

Я помню огромную квартиру Томашевских на канале Грибоедова, в знаменитом «писательском доме», полки книг, рояль, кожаные кресла, кабинет Б.В., темная столовая без окон, в центре огромный стол, абажур и по всему периметру стены гравюра – панорама Петербурга. На столе всегда стояли чашки и печенье, оранжевый абажур никогда не засыпал, гости шли постоянно на его огонек.



Нина Дорлиак и Святослав Рихтер //mus-mag.ru/

Это было в 1963 году, вечер, отец привел меня сюда на Светлой Пасхальной неделе. Вокруг стола сидело человек десять, возраст самый разный. Пасхальное угощение меня поразило, я видела подобную красоту впервые: несколько ароматных медового цвета куличей, несколько разных по цвету и украшению пасх, кутья (я тогда не знала, как она выглядит), тонкие ломтики ветчины и баранины, огромное блюдо с писанками (но какими!), водочка в графине и красное вино (из Гурзуфа)...

Приглушённо из соседней комнаты слышалась музыка, пластинка с классикой. Шел оживлённый разговор, вдруг отец нагнулся ко мне и тихо сказал: «Видишь даму напротив... это Ахматова». Она сидела совершенно молча, участия в разговоре не принимала, казалось, никого не слышала, потом отпила немного вина из бокала, поправила темную шаль (а может, это была кофта?). И вдруг Зоя громко, очень громко обратилась к ней: «Анна Андреевна, хотите я положу вам кулича и пасхи?!». Меня этот резкий крик удивил, а Ахматова улыбнулась и кивнула головой.

Потом я узнала, что она плохо слышит. Разговоры за столом стихли, а я от неожиданности не могла собрать мысли... Прошло минут пять, звук посуды, вилок, ножей и стаканов опять перемешался с оживлённой беседой, но Ахматова в разговоре не участвовала. Один раз она нагнулась к своей соседке, пожилой и красивой женщине, и что-то ей сказала. Это была Ирина Николаевна Томашевская.

Ахматова была совершенно такой, как на своих последних фото, и голос у нее, видимо, был таким, как в записях, когда она читает стихи. Неужели возникнет соблазн и кто-то воскликнет: «Просим почитать!» Слава богу, этого не случилось, и когда немного умолкли разговоры, таким же голосом, как на пластинке, она спросила: «Зоя, а когда приезжает Святослав Теофилович?» (имелся в виду Рихтер)

Отец, немного нагнувшись к столу, чтобы из-под абажура было виднее Ахматову, опередил ответ Зои: «Мне мама сообщила, что Ниночка звонила ей и они приедут на следующей неделе». Нина Львовна Дорлиак некоторое время брала уроки у моей бабушки и всякий раз, приезжая с Рихтером в Ленинград, приходила к ней в гости. А сами они поселялись на это время у Томашевских. Рояль, стоявший в соседней комнате, так и назывался «рихтеровским». Он проводил за ним часы, и на период его пребывания отменялись все гости и визиты «на огонек». Жизнь в квартире затихала.

У Рихтера были свои странности. Впервые увидев его акварели и пастели, я была поражена, насколько они своим лиризмом и прозрачностью не похожи на львиную мощь этого сверхчеловека, но

потом поняла, что этот серебряный колокольчик живописи есть потаённая часть его души. Когда он играл Шуберта, захватывало дух от полноты живописного полотна, легкость порхания рук над клавишами превращалась в волшебные переливы, комок подступал к горлу, обильно текли слезы.

Он был в общении тихим и застенчивым человеком, и иногда мне казалось, что он был заложником своего прошлого. В Москве С.Т. сам показывал мне свою коллекцию живописи, очень любил Роберта Фалька и Василия Шухаева, на стенах несколько работ Петра Кончаловского и Дмитрия Краснопевцева. Запомнились мне красные цветы Владимира Яковлева. Я тогда не знала, что он страдал нервным расстройством. Во время своих мировых турне Рихтер всегда ходил в музеи и, конечно, был избалован вниманием дарителей, Оскар Кокошко и Пикассо подарили ему свои работы. В советские годы Рихтер щедро помогал неофициальным художникам, делал это без шумихи и особой помпы. Теперь его собрание находится среди личных коллекций Пушкинского музея в Москве.

Нина Львовна была связующей нитью между ним и внешним миром. Я думаю, что если бы не она, то он даже не очень бы понимал, что такое «окружающая действительность». Наверное, когда Господь создает таких людей, он обязательно задумывает заранее верного помощника, прекрасно понимая, что без сопутствия эти райские цветы просто затопчет стадо баранов. Ахматову спас Бог, рядом с ней долгие десятилетия было выжженное поле, одиночество, она жила надеждой на освобождение сына из тюрьмы, друзей было мало, но их помощь и верность спасала.

Думаю, что она, как и Надежда Яковлевна, не пускала в свой круг «кого попало», хотя обе они прекрасно знали своих стукачей. Она умерла в 1966 году и все-таки увидела освобождение сына, Сицилию и Оксфорд, почитателей, молодых единомышленников (И. Бродский, А. Найман...) они были светлячками перед будущим рассветом, тьма, в которой она жила после смерти Сталина, постепенно рассеивалась и, наконец, Ахматова обрела прижизненную славу. Она снова увидела свои издания стихов, а не переводов, которыми ей приходилось кормиться десятилетиями. «Реквием» стал гулять в самиздате уже при ее жизни, но долгие годы она читала его только людям, которым доверяла и сразу сжигала страницы! Впервые в печати он появился только в 1987 году в журнале «Октябрь», и этой публикацией мы обязаны Зое Борисовне Томашевской.

Молчание Ахматовой в тот Пасхальный вечер, было физически «громким»!

Через три года ее не стало. В день похорон город накрыл сильный снегопад, мороз, даже не верилось, что стоял март. Сохранились фото этого дня. После отпевания в Ленинграде, гроб привезли на Комаровское кладбище, длинная, скорбная процессия, на белом снегу – казалось, что все люди одеты в черное, слова прощания, много, очень много разных лиц, даже порой несовместимых. В последний момент, перед спуском гроба, неожиданно выглянуло солнце. Помню, как рыдал Виктор Платонович Некрасов, помню и отца, одного из тех, кто нес этот гроб. Ее смерть стала большим потрясением, все понимали, что уже никогда и никто не сможет стать ей заменой в нашей культуре.

Вероятно, шел 1969 год, не помню, весна или осень, но точно могу сказать, что я уже побывала на выставке Н.И. Альтмана.

Отец волновался и говорил, что мы все впервые увидим работы этого художника собранными вместе. Выставка проходила в Союзе Художников (ЛОСХе). При подходе к Союзу мы увидели большую толпу, еле протиснулись к входу, отец показал свое удостоверение члена СХ, и нас пропустили. Потом был второй этап попадания наверх, к Большому залу, и мы долго стояли на лестнице, видимо, ждали юбиляра. Альтману исполнилось 80 лет. В какой-то момент, народ отпрянул к стене, освободив проход, и я увидела маленького человека, который шел, опираясь на руку высокой и красивой женщины. «Это Он и его жена Ирина Щеголева», – сказал мне отец. Она была немолода, очень красива, и, когда проходила мимо, я ощутила запах дивных духов и шуршание переливчатого лилового платья. Не знаю почему, но мне казалось, что Альтмана давно уже не было в живых, – и вдруг он здесь.

Единственное, что я знала по репродукциям, – это его портрет Ахматовой; большинство, конечно, и пришло увидеть его на этой ретроспективной выставке. Наконец, нас впустили, но отец сказал: «Начнем не с Ахматовой, а с его ранних рисунков». Узнать такого Альтмана я не ожидала: Ленин сидит, Ленин пишет... Ленин в гробу; Луначарский сидит... и все остальные товарищи. Пошли дальше, было много карикатур на посетителей «Бродячей собаки», пейзажи и вот в центре зала Она – сине-желто-зеленая Ахматова!

Отец подошел к Альтману, поздоровался, поздравил, представил меня. Они обменялись двумя–тремя словами, сзади напирала толпа желающих общения, мы отошли. Я знала, что папа рисует его портрет и ходит к нему домой (этот рисунок-литография до сих пор хранится у меня, с надписью Н.И.А.). Через год Альтман скончался, и его тело упокоилось рядом с Ахматовой на Комаровском кладбище.

Каждый раз, когда я приезжала в Москву, Нина Львовна приглашала меня зайти к ней, расспрашивала и сама рассказывала. Сейчас я была приглашена на ужин. За мной заехал Митя Дорлиак (их приемный сын), он лихо управлял красной импортной «гачкой» на бешеной скорости – в центре, и милиционеры не свистели! Мы долетели до Рихтеров, поднялись в лифте, вошли на половину Нины Львовны, в гостиной накрыт стол. Но сначала задуман небольшой концерт; будет играть Святослав Теофилович и читать Дмитрий Журавлев. Они дружили. Приглашенных человек десять, мы устроились в зале рядом, тут рояль, ждем еще гостей, звонок в дверь, Нина Львовна идет открывать, слышна иностранная речь, возвращается в комнату с двумя японцами. Концерт начинается чтением Журавлева: несколько текстов Зощенко, стихи Пушкина и вдруг «в память об Анне Андреевне»:

Он и праведный, и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей...

Потом Рихтер садится за рояль, кажется, играет Грига... Все это длится минут сорок пять.

Аплодисменты, встаем, и медленно перетекаем в гостиную, на стене висят постели, стол уже готов нас принять. Я подошла к Журавлеву и спрашиваю: «Скажите, а что связано у Анны Андреевны с августом?»

Он несомненно понял, что по молодости я не все знала и ответил: «Ахматова очень боялась и не любила месяц август, считала его роковым для себя, имела к этому все основания, поскольку в августе был

расстрелян Гумилев, арестован ее сын Лев, и в августе вышло известное постановление о журнале «Звезда».

Нас рассаживают.

«Митя сядет рядом с вами, он будет показывать, как и чем есть», – Нина Львовна сказала это мне без улыбки. Она вообще была не улыбочивой, но большой доброты. Японцы зачирикали между собой быстро-быстро, и неожиданно из глубины квартиры, там где была кухня, появился третий япоша в черном длинном фартуке; на вытянутых руках он нес огромное блюдо, которое водрузил на горящий мангал в середине стола. Только тогда я заметила, что вместо вилок и ножей у каждой тарелки лежат палочки. Ну вот, дорогие друзья, это сейчас вам не в диковинку есть восточную кухню со всеми причиндалами, а тогда, в конце 60-х, мне и не снилось подобное.

Видимо у меня все отразилось на лице, и Митя хихикнул:

«Не трусь, покажу, как надо».

«А кто эти япошки, и что это за мясо?»

«Это главный импресарио Рихтера, он прилетел сегодня утром из Токио и привез в подарок мясо быков, которых поят пивом... Их моют sake, трут массажными щетками и столетиями пасут на пастбище у города Кобе... А теперь смотри и повторяй за мной».

Митя расщепил палочки, подхватил тончайший сырой лепесток мяса, окунул в кипящее масло и отправил в рот.

Я, к своему удивлению, проделала тот же трюк и не опозорилась. Обжаренный кусочек был не похож на отбивную котлету.

Некоторые гости, видимо, тоже были новичками в манипуляциях с палочками.

«Это мясо самое дорогое в мире, один килограмм стоит бешеных денег», – продолжал Митя.

«Слушай, а у нас ведь тоже можно разводить таких быков».

«Да, действительно, пива много, а вместо sake водкой мыть...», – Митя хмыкнул и одним глотком запил райское наслаждение.

Нина Львовна, прощаясь, спросила меня: «Ксения, вы ведь наверняка слушаете «Мадригал» в Ленинграде? Вам нравится?»

Как же это могло не нравиться! Андрей Волконский открыл нам неведомый мир звуков Средневековья и Возрождения. В Москве музыкант и композитор слыл «опальным князем», эту таинственность он на себя всячески напускал, особенно при знакомствах с хорошенькими девушками, от которых отбоя не было, а еще ходили слухи, что «Мадригал» – это идеологическая диверсия». На самом деле, Волконский собрал замечательный ансамбль певцов (каждый из них владел и музыкальным инструментом), и задача его была в том, чтобы эту вековую как бы «засушенную» музыку спеть и сыграть так, чтобы она оказалась живой и «возрожденной» для современного человека. Очень таинственно выглядели певцы и декорация, это была придумка Бориса Мессерера – старинные кресла, канделябры, на сцене темно, мерцание свечей, дамы в длинных бархатных платьях...

В мае 1965 года я была на первом концерте «Мадригала» в Филармонии. Мне казалось, что Большой зал не вмещал всех жаждущих, галерка стояла, здесь был весь Ленинград!

В один из дней я забежала к Зое Томашевской. Она меня провела в кабинет Бориса Викторовича и усадила на кожаный диван. Со стены на меня смотрел знаменитый Ахматовский рисунок Модильяни, знаю, что Зоя Борисовна отдала его Ахматовой

Рыжий кот сразу запрыгнул мне на колени.

«Я должна скоро выйти ненадолго, а ты, если позвонят в дверь, открой. Жду Андрея Волконского. Поговори с ним...»

Я взяла книжку с полки, попыталась вникнуть, но мысли как-то разбегались, неожиданное знакомство волновало. Действительно, скоро в дверь позвонили. Открыла, стоит высокий человек, вылитый Сальвадор Дали, прошли в комнату, я объяснила, что Зоя скоро вернется.

Наверное, он заметил мое смущение, потому что сразу заговорил о чем-то легкомысленном, а потом: «Я вам сейчас покажу фотографии Дагестана» и вынул из потрепанного портфеля альбом. «Вот здесь я хожу километрами по горам, а это мой дом, он на высокой скале, я его купил и хочу туда уехать насовсем, жить и сочинять музыку можно только в горах, в полной тишине поднебесья... Шум реки и водопада – это звуки, которые я сразу записываю... моя музыка состоит не из банальных мелодий, хотя я много пишу и для кино, но это для денег, настоящее могу писать только там...». Мы сидели на диване очень близко, у него на коленях альбом, чтобы лучше рассмотреть, я наклонялась поближе, а рыжий кот все норовил залезть между нами. Андрей пытался его сбросить, но ничего не получалось, видимо, этот кожаный диван был его законным местом. Фотографий было много, но какие-то однообразные, хотя дом на вершине скалы поражал.

«А как же вы туда добираетесь?»

«О, это целое путешествие! И пешком, и на плоту по быстрой реке, иногда на ослике по скалистой дороге...», – рассказ изобилует робинзоновскими деталями и явно был соотнесен с моей молодостью.

Зоя вернулась через час и предложила чаю. Но Андрей попросил другой напиток. Не помню что, но была закуска и оживленный разговор уже не о Дагестане, а о концертах и планах «Мадригала».

Я вскоре встала.

«Мне тоже пора!» – заторопился Андрей. Мы попрощались с Зоей, вышли на лестничную площадку, где несмотря на писательский дух, вечно пахло кошками и помойными ведрами. Как ни странно, но лифт работал, а я надеялась, что мы будем спускаться пешком. Лязг железных дверей, кнопочек в темноте этой клетки не различить, где тут вниз, а где вверх, побыстрее бы сообразить.

Ну да, он, конечно, стал приставать. Скорость лифта казалась катастрофически допотопной.

Зоя мне вечером позвонила: «Как ты? Все в порядке?»

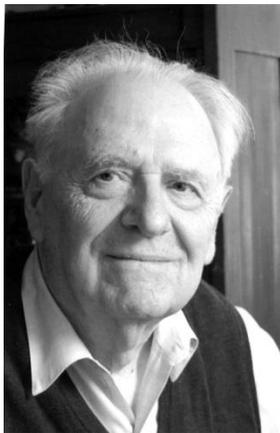
Между девушкой и «опальным князем» обошлось отшучиванием.

Знала бы я тогда! А ведь даже не подозревала, что Андрей дружит с Никитой, моим будущим мужем, и что мы, после нашего брака в 1980-

ом, поселимся под Женовой, у Татьяны Г. Дерюгиной-Варшавско, и Андрей будет к нам часто приезжать в гости.

Сергей Голлербах

Нью-Йорк, США



Жужа

В пятидесятые годы в Нью-Йорке был у меня приятель Коля, мой однолесток и тоже родом из России. Потом он нашел работу в Калифорнии и туда переехал. В течение нескольких лет мы посылали друг другу поздравления к праздникам, но потом переписка как-то сама собой прекратилась. Прошло лет сорок, и вдруг Коля снова появился в Нью-Йорке, нашел меня, и мы встретились.

Поначалу, конечно, посмеялись, смотря друг на друга – постарели, пополнели, облысели. А потом, сев закусить и выпить, стали вспоминать былые годы, кто жив, кто уже помер, и так далее. Коснулись немного и личной жизни, и вот тут Коля сказал мне: «Знаешь, у меня был серьезный роман с одной американкой, хочешь расскажу?» Видно было: ему хотелось со мной поделиться своими воспоминаниями. Постараюсь передать этот рассказ в точности.

- Ты знаешь была у меня в молодости одна слабость, – сказал мне Коля, – меня привлекали таинственные, одинокие женщины. Конечно, это было такое мальчишество – я приласкаю, пойму, помогу. Сейчас от этого отучился, но тогда не мог удержаться. Встретил я одну брюнетку,

скромную, сдержанную и, видно, одинокую. Стал за ней ухаживать. Звали ее Сюзан, то есть Сузанна, библейское имя.

Она сказала мне, что ее родители тоже из восточной Европы, из Венгрии, детьми были привезены в Америку. И уменьшительное от имени Сюзан по-венгерски – Жужа. Это мне очень понравилось, и я стал называть ее Жужей, Жуженькой. Она не протестовала. А потом и полный роман начался. Помимо ее одиночества, меня привлекало и то, что у Жужи не было никаких капризов, уловочек, на все она смотрела трезво и не без иронии, иногда мрачной.



Рисунок Сергея Голлербаха

Сказала мне, что рано вышла замуж, детей не было, лет через пять развелась с мужем и теперь ходит к психоаналитику. «Зачем?» – спросил я ее. «Как зачем? Чтобы узнать, какие подсознательные силы мотивируют мои поступки. А ты у психоаналитика бывал?»

Я рассмеялся и ответил, что я сам знаю, кто я, и рассказывать свои душевные тайны постороннему человеку, которому за это еще и платить нужно, не собираюсь.

Жужа посмотрела на меня со снисходительной улыбкой и, видно, подумала: он ведь русский из Советского Союза, откуда он может знать о Фрейде и о его теориях. Имя Фрейда было мне знакомо, но я книг его не читал. «Не читал и горжусь,» – как говорил один мой знакомый.

Мое незнание Фрейда Жужа мне простила и решила пополнить мое образование, сделать меня более развитым. Я на это согласился, даже забавно было узнать об Эдиповом комплексе, о либидо и обо всяком другом. Я, как говорится, вошел в роль, слушал с интересом и делал вид, что начинаю во все это верить.

И вот дернуло меня ей как-то сказать: «Жужа, чего ты все еще ходишь к своему «шринку» (так, как ты знаешь, американцы с насмешкой называют психоаналитиков), брось его и мы вместе будем друг друга анализировать. И это будет так интересно!» И вот, представь себе, она своего «шринка» бросила, сказала, правда, что он протестовал, говорил ей, что она еще не долечилась.

И вот мы начали наши сессии психоанализа. О чем только мы не говорили! Об эгоизме, его границах и может ли человек делать что-либо без доли эгоизма. Мы говорили о Добре, Зле, о человеческих эмоциях, агрессии, о правах и обязанностях. Много спорили, иронизировали, подсмеивались друг над другом, но, в общем, было интересно.

Мы не жили вместе, у нее была своя квартирка, у меня своя. Встречались по субботам и воскресеньям, и даже провели двухнедельный отпуск на берегу океана. Жужа славная была женщина, но внутри нее сидело какое-то беспокойство, она все время что-то искала, что-то надо было ей до конца понять. И вот мне это вдруг стало мешать. Нехороший это пример и я, конечно, никогда этого Жуже не говорил, но так щенок кружится на месте, стараясь поймать кончик своего хвоста, будто поймав его, он чего-то достигнет.

Жужа своим женским инстинктом почувствовала, что со мной что-то происходит, и я ей честно сказал, что этот вечный взаимный психоанализ мне стал в тягость. «Я знаю, почему ты это сказал. Ты это делаешь потому, что у тебя»... и так далее. Жужа посмотрела на меня сначала каким-то непонимающим взглядом, потом грустно улыбнулась, и мы стали, как говорится, выяснять наши отношения. Ни слез, ни упреков никаких не было, но мы решили дать друг другу отдых и не встречаться целый месяц, так и сделали.

Первые две недели я действительно отдыхал, но потом соскучился, и мы снова встретились. Но какая-то трещина уже образовалась, что-то было не то. И вот я как-то сказал ей: «Жужа, я тебя обманывал, мне не нужен этот мир подсознательного, эти ЭГО и ЛИБИДО, я – другой, просто увлекся всем этим, а теперь, прости, не могу».

Я увидел, как у Жуженьки моей взгляд как-то потух, она поняла, что это-конец. И вот если бы она расплакалась, устроила мне скандал, закричала «убирайся вон! « то, пожалуй, было бы легче. Нет, Жужа сказала: «Хорошо, проверим себя еще раз, не будем встречаться целый год». И мы расстались. Я до сих пор считаю, что виноват перед нею, но

обманывать себя и ее – это же еще хуже. И этот чертов психоанализ я просто возненавидел, хотя и понимал, что это глупо.

Расставаться с Жужей мне было тяжело, но одновременно это было и облегчение, никаких больше анализов и вопросов. Шли месяцы, и я встретил одну русскую девушку, веселую, без всяких поисков. Стал за нею ухаживать, но осторожно. С ней было легко, так легко, что я на ней жениться решил.

И вот тут-то, к концу года, получаю письмо от Жужи. Дорогой Ник, как мы договорились, мы могли бы встретиться и поделиться нашим опытом за прошедший год. Что мог я ей ответить? Написал, что благодарю за память, с благодарностью вспоминаю проведенное вместе время, но я сейчас стал другим и собираюсь жениться на русской. Прости, не осуждай, еще раз спасибо и так далее. Через месяц я женился, но, конечно, возникли проблемы другого рода, не буду о них говорить. Потом я с нею развелся. Жужу мне жаль, она, конечно, снова к своему «шринку» ходить стала. Коля вздохнул и замолчал. Потом сказал: «Ты прости, старик, что надоел тебе моими рассказами, мне пора идти». Мы обнялись и попрощались. Коля сказал, что он будет в Нью-Йорке еще неделю и перед отъездом позвонит. Но, конечно, не позвонил.

Стоял август месяц, и в середине декабря получаю вдруг открытку с пальмами: «Привет с Багамских островов! Рад был встрече с тобой, всех благ! Коля».

С тех пор ничего о нем не знаю, но его рассказ о Жуже я хорошо запомнил, и вот почему: он заставил меня задуматься о ролях, которые мы играем в жизни. Ведь сказал же Шекспир, что наша жизнь есть сцена, мы на ней актеры, у нас есть выходы и уходы и в течение жизни мы играем разные роли.

Про актера, который может воплощаться в разные роли, играть разных людей, говорят, что он замечательный актер. Но это на сцене. А в жизни? Не обман ли это? Отзывчивые люди, которые легко могут стать на точку зрения другого на какое-то время, не обманщики ли они? Где границы отзывчивости, а также поисков себя? Что такое цельные личности? Одна моя знакомая говорила, что цельные личности часто бывают дураками, причем есть простые дураки, а также убежденные дураки и даже величавые дураки.

Я знал одного такого. «Я – человек твердых принципов, – возвещал он всем присутствующим, – и меня всякие заумные идеи изменить им не могут. Такой я человек». Да ну тебя с твоими принципами! – хотелось ответить ему. С другой стороны, вечно ищущие люди – это вечная неудовлетворенность, вечное беспокойство. Если же они находят то, что им нужно, то это или религия или идеология, и тут возникают новые опасности.

Я пришел к убеждению, что психоанализ – современная версия исповеди. Верующие люди исповедуются кто раз в год, кто раз в месяц, а то и чаще. Заботятся о спасении души своей, так же как и те, что бегают к психоаналитикам. И те, и другие все внимание сконцентрировали на себе, то есть стали сугубыми эгоцентриками. Наконец, а я-то кто сам? Актер в поисках целостности? Ох, сложно все это.

Вспомнил, что Коля сказал мне: «Жужа на четыре года старше меня была, и сейчас, значит, уже – глубокая старушка. Если еще жива». И мне стало ее жаль. Что было бы, если я бы ее встретил? Стал бы я вторым Колей? Впрочем, хватит всяких рассуждений, надо жить, пока живется.

Яков Фрейдин

США



Судьба Музыканта. Документальный рассказ

Он ловко забросил свой нехитрый багаж на верхнюю полку, оставив внизу лишь кожаную походную сумку. Легкий стук и, не дожидаясь ответа, дверь купе с рокотом соскользнула вбок. В проёме стоял хмурый проводник, исподлобья разглядывая единственного пассажира.

-Билетик предъявите...

Подумал: «Как они всё называют уменьшительно: билетик, тарелочка, кушеточка. Эдакая сервильность...» Пошарил в кармане дублёрки, вынул бумаги. Отдал.

-Чайку не желаете? — спросил проводник.

-Да, конечно, будьте любезны, — сказал Лев и протянул проводнику доллар.

Проводник удивлённо взглянул на странного интеллигента, но радостно схватил и упрятал драгоценную бумажку – в том 1993 году давали за неё аж 500 рублей!

-Да я мигом, вы пока устраивайтесь, – сказал он уже приветливее, – никого к вам не подсажу, один поедете! Только вы вот что, дверь держите на запоре. Вот тут. А то сами знаете, времена нынче лихие, банды всякие гуляют. Наш поезд, бывает, грабят...

«Красная стрела» отошла от причала московского перрона и покатила на север, к Питеру, увозя гостя из Америки. Был он далеко не молод, перевалило за 75, но бодр, активен и непоседлив. Не был в России более 10 лет и приехал повидать родню и друзей. Он запер дверь, положил в чай шесть кусков сахара, размешал. С молодости пристрастился к сладости. Длинные тонкие пальцы музыканта обняли ажурные бока тёплого подстаканника, отогреваясь после московского мороза. Вынул из сумки чистый лист бумаги, карандаш. Задумался.... Колёса весело отстукивали ритм, совсем как тогда, давным-давно, в той далёкой стране, где он родился, где прошло детство и из которой навсегда он уехал пятьдесят семь лет назад.

В начале прошлого века, когда кровавыми волнами покатались по всей России еврейские погромы, многочисленную семью Тышковых подняло с мест, понесло по свету, закружило и разбросало по разным странам.

Два брата Арон и Борух уплыли в Америку, за ними последовал их племянник Соломон с двумя сёстрами Софьей и Генриеттой. Генриетта в Америке вскоре вышла замуж за Джо Сутина, двоюродного брата знаменитого художника Хайма Сутина.

Третий брат Иосиф остался в России и стал известным актёром, взяв себе псевдоним «Посадов». Его вместе с женой и малолетними детьми в 1943 г. убили немцы. А четвёртый брат Самуил, уехал на Дальний Восток, в Харбин, небольшой тогда город на севере Китая. Там он женился и 14 января 1917 г. у них родился сын Лев.

Старая Россия в годы гражданской войны и красного террора напоминала буйно помешанного самоубийцу. Побушевала в конвульсиях и померла. Однако её крохотный аппендикс, отделившийся от большого тела ещё до катастрофы, сохранился, даже расцвёл и зажил своей изолированной жизнью. Жизнью иной, особенной, но всё же так похожей на старое доброе время! Этот аппендикс существовал в Китае, а точнее в Харбине, куда хлынули, спасаясь от красных и белых, толпы разного люда: служащие КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), аристократы, ремесленники, врачи, музыканты – в массе народ

образованный и предприимчивый. Впрочем, прибыли так же уголовники и прохиндеи всех мастей. В Харбине эта криминальная публика селилась в районе под соответствующим названием «Нахаловка». Советская Россия открыла в Харбине генеральное консульство и торговое представительство, начиненные чекистами и шпионами, тесно кооперирующимися с населением «Нахаловки».



Двоюродные братья: Ананий Шварцбург и Лев Тышков (Харбин, 1925). У одного впереди — Колыма, а у другого Северный Урал.

Однако через несколько лет Шиферблат покинул Харбин – он получил приглашение стать дирижёром токийского симфонического оркестра. Пригласил его виконт Хидемаро Каноз, младший брат премьер-министра Японии и сам великолепный музыкант и композитор. Прибыв в Токио, Шиферблат рассказал Каноз про необычно талантливого парнишку, и тот организовал официальное приглашение правительства на переезд Лёвы в Японию для учёбы.

В конце мая 1932 года отец усадил сына в роскошное одноместное купе поезда «Восточный экспресс», шедшего на Мукден, а сотрудник японского консульства, пришедший проводить «важного» пассажира, вручил ему необходимые документы за подписью премьер-министра. И вот застучали колёса, увозя 15-летнего Льва Тышкова всё дальше сначала на юг, потом на восток к морю. А затем на пароходе – к островам восходящего солнца, где ему предстояло четыре года жить и учиться в доме маэстро Шиферблата. Все эти далёкие события он

вспоминал, сидя у столика в купе «Красной стрелы», летевшей к Питеру, и всё, что помнил, записывал для своей будущей книги.

Было уже совсем поздно, и сон накрыл его своим заботливым одеялом. Он задремал под гипнотический стук колёс, положив голову на свои записи. Разбудила его внезапная и резкая остановка поезда. Выглянул в окно. Тьма, лишь снежинки бились об оконное стекло. За дверью слышались крики, беготня по коридору. Он заметил, что ручка дверного запора медленно поворачивается. Кто-то осторожно отпирал снаружи. Лев быстро погасил свет, притаился. Дверь приоткрылась, в проёме полыхнуло лезвие яркого света, протянулась чья-то рука и стала нащупывать выключатель. И вот тут проснулся в нём защитный инстинкт старого эка. Своими музыкальными пальцами Лев схватил бутылку нарзана, ударом о край столика отбил горлышко и со всех сил вонзил осколок в руку, шарившую по стене. Раздался вопль, рука отдёргнулась. Опять крики, беготня по вагону. Потом всё стихло, поезд тронулся и уж без приключений докатил до Питера. Утром пришёл проводник и сказал:

— А нас ведь этой ночью опять хотели грабануть, но что-то их спугнуло...

Лёве отвели просторную комнату в роскошном особняке Шиферблата на окраине Токио. Прислуживал и виртуозно колдовал на кухне китаец Чен-сан, владеющий французским, японским и английским языками. В строго определённые часы – колокольчик на завтрак, обед и ужин. А между ними – непрерывные изнурительные занятия. Как коршун, учитель прислушивался через стены к звукам Лёвиной скрипки, и если чем-то был недоволен, громко ругался, а то и приходил в ярость. Однажды так разбушевался, что спустил Лёву с лестницы, разломав на куски скрипку. Заставлял играть и разучивать на память самые сложные произведения скрипичного репертуара. Это была тяжёлая, но и увлекательная учёба. На отдых времени оставалось мало, но всё же учитель иногда давал деньги на карманные расходы, и услужливый Чен-сан возил его на машине по всему городу.

Лев делал большие успехи и уже через полгода стал солировать с симфоническими оркестрами Японии и приехавшими на гастроли оркестрами из Европы и Америки. Часто играл концерты в самых больших токийских залах. В газетах печатали хвалебные рецензии. На сольных концертах ему аккомпанировала миниатюрная и глянцевая, как фарфоровый божок, пианистка Мива Кай, ученица великого пианиста Лео Сироты. В те годы в Японии гастролеровали многие знаменитые музыканты и артисты. Лёва бывал на концертах Вертинского, Шаляпина, Крейсера. Выдающийся скрипач Ефрем Цимбалист,

услышав лёвину игру, сказал, что ему надо ехать в Америку и продолжить там образование в филладельфийском институте Кёртиса.



Лев Тышков перед концертом в Токио (1936)

Вызвался всё организовать и помочь с переездом. Лев был в восторге, но его ревнивый учитель пришёл в ярость и сказал, что ни за что его в Америку не отпустит. Лев всё же написал отцу в Харбин с просьбой позволить ему уехать с Цимбалистом.

В то время японцы захватили Манчжурию и Харбин. Они, как безумный самурай, полоснули ножом по крохотному русскому аппендиксу. Жизнь в городе стала приходить в упадок. Бизнесы разорялись. Культурная жизнь затихла. Процветала лишь «Нахаловка», превратившись в сплошной публичный дом. Народ уезжал – кто перебирался в Шанхай, а у кого были деньги и связи — в Америку. Кое-кто даже подумывал о возврате в Советский Союз. Слухи из СССР были тревожными, но никто толком не знал и не понимал, что там происходит. Лёвина подружка детства Рая Бочлен, чьи родители были родом из Одессы, написала Льву в Токио, что она с родителями и братом решила ехать в СССР. Лёвин отец к тому времени владел аптекой и дела

его под японской оккупацией шли к разорению. Он тоже подумывал об отъезде из Харбина. Идея переезда Лёвы в Филадельфию ему не нравилась совсем. Самуила опять тянуло на родину и он боялся, что никогда больше не увидит сына, если тот уедет в Америку. Он ответил Лёве отказом.

Весной 1936 года советский посол в Японии Юренев пригласил Лёву на первомайский банкет в посольстве. Шиферблат был категорически против любых контактов с советскими, но строптивый Лёва приглашение принял. На банкете посол поднял тост за его здоровье и сказал, что по мнению советского правительства (подразумевая Сталина), такой талант, как Лев Тышков, должен продолжить своё образование в Московской консерватории, и посольство готово в этом оказать всяческое содействие.

Лев написал об этом отцу, и тот воспринял идею возвращения в Россию с большим энтузиазмом. Учитель был возмущён, называл это самоубийством и предрекал всяческие ужасы и беды, но всё же дал рекомендательные письма к профессорам Московской консерватории. Лёва вернулся из Японии в Харбин, и советской консул выдал ему и всей семье бесплатные билеты на проезд до Москвы.

Как и 12 лет назад, они опять двинулись на запад с куда большим комфортом, радужными надеждами, но и с какой-то неясной тревогой в душе... Вместе со Львом в Москву ехал его двоюродный брат и друг детства Ананий (Нана) Шварцбург, талантливый пианист, большой весельчак и гуляка.

Московская консерватория в те годы переживала расцвет. Лёву сразу приняли в класс профессора Абрама Ильича Ямпольского, выдающегося скрипичного педагога, а Нану — в класс профессора Игумнова. Нана однако, в отличие от своего двоюродного брата, больше интересовался поэзией, новыми друзьями, девочками. А вот Лёва полностью погрузился в занятия на скрипке и готовился к сольному концерту в Большом Зале Консерватории. И всё же это была весёлая студенческая жизнь. Им было по 20, и молодые люди, выросшие в другой стране, в атмосфере свободы, не видели и не понимали окружающей их зловещей обстановки, были беззаботны, самоуверенны и наивны. Рано или поздно это должно было себя проявить. И проявилось.

Однажды, было это летом 1937 года, Льву принесли телеграмму от Мивы Кай, которая планировала остановиться в Москве на пару дней, проездом из Варшавы в Японию. Она хотела повидаться с Лёвой. Тёплым вечером в назначенный час он ждал её у входа в консерваторию. Подкатила шикарная машина с флажками, на которых было изображено оранжевое лучистое солнце. Оттуда вышли несколько японских

дипломатов во фраках и крохотная белолицая Мива в традиционном кимоно – не слабое зрелище для Москвы тех лет. Молодые люди бросились друг к другу и обнялись под ошарашенными взорами прохожих. Японцы направлялись на концерт Гилельса и пригласили Льва в свою дипломатическую ложу. Потом, после концерта, он проводил Миву до посольской машины и просил передать письмо своему учителю в Токио. Никто не обратил внимания, что их фотографируют.

Его взяли 1-го декабря, среди бела дня, прямо в консерватории. Два чекиста с цинковыми физиономиями быстро обыскали и повели Льва вниз к выходу, под испуганными взглядами студентов. Привезли на Лубянку и впихнули в камеру до предела набитую арестантами, отловленными по Москве за день. На другой день ему дали лист бумаги, ручку и велели написать автобиографию. Показали фото с Мивой у посольской машины, а затем увезли в тюрьму на Таганке, откуда и начались все его круги ада.

Чтобы сломать эмоционально, сначала его бросили в одиночку, где на кандалах висел прикованный к стене окровавленный человек с безумными глазами, ещё живой. Стоял невыносимый смрад. На другой день перевели в общую камеру, в которой людей было как сельдей в бочке. Ещё повезло – арестанты были сплошь политические, а уголовник только один. Место новичка было у параша. Шёл нескончаемый человеческий круговорот. Одних уводили, других добавляли. Ежовская мельница перемалывала людей 24 часа в сутки. Он ждал вызова на допрос несколько дней. Но дни эти оказались бесценной школой, спасшей ему жизнь. Опытные сокамерники учили: будут бить – защищай почки, уклоняйся чтобы не изуродовали, а главное – подписывай всё. Не подпишешь – той же ночью получишь пулю в затылок. Такие вот правила игры.

Первый допрос. Тёмный кабинет. На столе зелёная лампа, в углу занавеска, у которой на стуле сидит полуголый угрожающего вида детина. Льва усаживают перед столом. Одноглазый, с черной пиратской повязкой следователь поднимается, медленно снимает ремень и наотмашь бьёт Льва пряжкой по лицу:

-Японская сволочь!

Детина у занавески поднимается со стула.

-Ничего, — говорит ему следователь, — я с этим сосунком сам управлюсь. – Будешь признаваться, что шпионил в пользу Японии или мне с тобой по-другому поговорить?

Памятуя камерные уроки, Лев, утирая кровь с лица, вяло отвечает:

-Пишите, что хотите...

-Вот так-то лучше, — довольно говорит следователь и после очередной порции мата сочиняет «признание», что Лев был завербован в Японии врагом советской власти Шиферблатом и передавал ему секретные сведения через связную Мива Кай. Лев всё подписывает, его уводят в камеру, а на следующий день объявляют приговор — 10 лет лагеря и 4 года ссылки. Везунчик.

В те дни по приказу Ежова брали многих харбинцев и шанхайцев. Молоденькая Рая Бочлен, её брат и отец себя шпионами не признали и после зверских истязаний были отвезены на Бутовский полигон и там расстреляны. Та же участь постигла тысячи других возвращенцев.

А потом был долгий изнурительный этап на восток. На свердловской пересылке его ждал сюрприз — в камеру ввели партию новых эзков и среди них он узнал своего двоюродного брата Нану. Встреча друзей на пересылке была недолгой — Нану отправили на Колыму, а Льва в Ивдельлаг, что на севере Свердловской области. Снова им довелось увидеться, когда Лев стал доцентом Свердловской консерватории, а Нана — художественным руководителем Красноярской филармонии. Но до этого надо было ещё выжить и прожить почти 20 лет.

В лагере Лев был отправлен на общие работы, так что вместо смычка и скрипки держал в руках кирку и тачку. Сил физических не хватало, норму часто выполнить не мог, а потому получал заниженную пайку. В лютые морозы трижды был брошен в ледяной карцер, откуда его с обмороженными ногами и без сознания выволакивали ээки, отпаивали кипятком. Кличка ему была «скрипач-придурак», ибо, чтобы не сойти с ума, занимался самогипнозом и постоянно проигрывал то в уме, то веткой на полене скрипичные партии. В те самые дни, когда он уж совсем доходил от обморожений и голода, получил от отца посылку с весьма «нужными» в лагере вещами: выходной костюм, белоснежные рубашки, лаковые концертные туфли и шёлковые платки. Наивность отца была безгранична. Сволок он эти ценности в лагерную швейную мастерскую, за что схлопотал ещё 20 дней карцера. И не выжить бы ему там, но повезло — начальнице КВЧ (культурно-воспитательной части) приглянулся красавчик-интеллигент. Она договорилась с начальством, чтобы снизили ему карцер до 10 дней, сняли с общих работ и направили работать «по специальности» на престижную должность — чистить картошку, дрова колоть, воду для кухни носить. Синекура! 35 лет спустя автор этих строк был поражён, как его тесть виртуозно колот дрова для шашлычного огня. Колот — как на скрипке играл.

Между тем, Самуил отчаянно боролся за сына — писал письма, прошения, взятки давал, стоял в бесконечных тюремных очередях. И ведь совпало удачно — его бесчисленные прошения плюс кампания

нового главы НКВД Берии по исправлению «ошибок» расстрелянного Ежова. Репрессии пошли на убыль, многих освободили из лагерей. В



Лев Тышков. Первый год на воле. Свердловск, 1947

декабре 1940 г. Льву сократили срок с 10 до 5 лет, а через два года он вышел на «свободу». Вышел-то он вышел, но оставалось ещё 4 года ссылки и уехать из Ивдельлага ему не позволили. Стал он там вольнонаёмным руководителем художественной самодеятельности. Лишь после войны, в 1946 году, то есть через 9 лет после ареста, получил он разрешение съездить по делам в посёлок Тавда на Урале, проездом через Свердловск.

В лагерной телогрейке, со следами от споротого номера на спине, с судимостью в паспорте по 58-й статье, до Тавды он не доехал, а в нарушение всех правил сошел с поезда в Свердловске. Прямоком с вокзала, прячась по подворотням, направился в филармонию к главному дирижёру оркестра Марку Израилевичу Паверману. Тот дал Льву скрипку и попросил что-нибудь сыграть. И ведь не пропали даром занятия на полене – услышав его игру, Паверман и директор филармонии Л. Р. Листовский немедленно зачислили Льва в группу первых скрипок, а директор велел в своём кабинете поставить для него раскладушку. Люди эти с риском для себя покрывали «врага народа» –

потом ещё лет пять ежемесячно получали они грозные предписания, чтобы Тышков в течении 24 часов покинул Свердловск. Кто знает, как удавалось им это всё улаживать?

А дальше жизнь стала потихоньку устраиваться. В Свердловск перебрались родители, Лев закончил консерваторию, получил диплом и впоследствии стал доцентом в той же консерватории. Женился, родились дети: дочь Ира и сын Миша. В 1955 г. он получил бумаги о полной реабилитации. Вместе с друзьями-музыкантами Мирчиным, Цомьком и Терей Лев Тышков основал струнный квартет им. Мясковского и объездил с ним на гастролях всю страну – от Прибалтики до Колымы, хотя за границу их пускали на гастроли только в соцстраны. Ну и разумеется, много преподавал в консерватории. Ученики нежно любили его. Их умиляла его деликатность, артистизм и при каждом случае – поклоны по-японски. Свердловский босс Борис Ельцин вручил ему диплом заслуженного артиста РСФСР.

Одна из учениц Льва вышла замуж за большого начальника, что-то вроде партийного секретаря Киргизского крайкома. Однажды, был это уже год 1975, он получил от неё письмо: «Лев Самойлович, дорогой, приезжайте в гости. У нас в горах Тянь-Шаня своя дача. Горные пастбища. Приезжайте, попьёте кумыс, подышите горным воздухом. Окрепните. Что Вам всё время работать?»

А и в самом деле, почему бы не поехать? — подумал Лев и отправился покупать билет на самолёт.

Но билета ему не продали, сказали, что это считается приграничная зона (с Китаем), а потому сначала надо взять разрешение в управлении милиции. Пошёл он в милицию, подал заявление. Вежливо там объяснили, что в течение месяца он получит ответ. В милиции люди точные и действительно, ровно через месяц он получил от них открытку: «Отказать». Ошарашенный Лев бросился на приём к начальнику. Сказали: ждать. Ждал, но не принял его начальник. Снова записался на приём. И опять не принял. На четвёртый или пятый раз милицейская секретарша сказала:

-Ну что вы всё ходите! Не разрешат же вам. Какие вы все наивные, ну прям, как дети малые! Не понимаете, что ли, сами: вы же репрессированный, ну как вас можно к границе подпускать?

Лев оторопел:

-Но ведь в 55-м меня полностью реабилитировали!

-Ну да, — сказала девица, — в 37-м всех репрессировали, в 55-м всех реабилитировали. Верить вам всё равно нельзя.

На том и кончилось.

В 1977 г. мне невероятно повезло — я с женой Ирой, дочкой Льва Тышкова, тоже скрипачкой, и малолетним сыном Ромой, смог уехать из СССР. Через пару лет поселились мы в американском штате Коннектикут, знаменитым усадьбой Марка Твена и Йельским университетом. Много сил приложили, чтобы вытащить Льва



Лев Тышков перед концертом (Свердловск, 1956)

Самойловича с женой и сыном к нам. Не стоит тут об этом писать — другая тема. Сами они прекрасно понимали, что из Свердловска их не выпустят. После аварии с сибирской язвой в секретной лаборатории и афганской авантюры, этот уральской город вообще закрыли для выезда. Пришлось Тышковым переехать в глухой, богом забытый городок Мга, что недалеко от Питера. Культуры меньше, зато шансов на выпуск больше. Там и заявление в ОВИР подали. Сработало. В 1982 г. им разрешили выехать по израильской визе. Когда ехали через границу, на таможне отобрали всё, что хоть какую-то ценность имело, — скрипку, ноты... Мстить надо неблагодарным, что покидали чудную страну, давшую им такую счастливую жизнь!

Лев приехал в Америку, когда было ему уже 65 лет – время, когда многие выходят на пенсию, но ему виделась совсем другая жизнь, полная работы и музыки, и он был счастлив. В нём росло не совсем им самим осознанное чувство, что надо догнать и наверстать те девять лет молодости, что были жестоко вычеркнуты из его жизни. Без музыки он жить не мог. Ирина отдала ему свою запасную скрипку, и он в своей квартире занимался каждую свободную минуту, хотел быть в форме. Он не пропускал ни одного концерта, что часто проходили на музыкальном факультете Йельского университета. Английский язык вернулся к нему, хоть не говорил он на нём без малого полвека, со времён японской жизни.

Профессиональных связей в Америке у Льва не было, в музыкальном мире Запада его имя никто не знал, но нашлись старые знакомые и друзья по прошлой жизни. Он восстановил контакты с ранее уехавшими в Америку замечательными музыкантами Ниной Бейлиной, Бэллой Давидович, Альбертом Марковым, которые жили в Нью-Йорке. Ездил к ним в гости, они приезжали к нему в Коннектикут. Иногда вместе музицировали. Друзья его ободряли и говорили, что пока есть силы и светлая голова – надо двигаться вперёд. Шутили даже, что по статистике ведущая причина смертности – это выход на пенсию.

Ирина в те годы много играла, в том числе и в симфоническом оркестре Бриджпорта. Она рекомендовала отца главному дирижёру Густаву Мейеру. Маэстро Мейер дирижировал многими оркестрами — от его родного Цюриха до Пекина и Сан-Пауло, так что знал толк в хороших музыкантах. Он встретился со Львом и был совершенно им очарован сначала как человеком, а, прослушав его игру, и как скрипачом. Дирижер предложил Льву работать в его оркестре, и в течение последующих нескольких лет, отправляясь на репетицию или концерт, Ирина на своей машине заезжала за отцом, и они вместе ехали в Бриджпорт или другие города, где они выступали.

Льва тянуло посмотреть мир, и вместе с женой он стал путешествовать. Первой страной, куда он поехал, был Израиль, а потом уже по Европе – Лондон, Париж, Мадрид. Перед приездом в Америку из СССР, он несколько месяцев жил в Риме, так что Италию тоже повидал. А когда СССР развалился, дважды съездил в Россию – скучал по друзьям, коллегам и родным. Мечтал поехать и в Японию. Ему казалось, что вот приедет он туда, пройдёт по тем самым улицам, зайдёт в знакомые дома, и так сможет вернуться в молодость. Но не сложилось. В те годы мне по делам работы приходилось летать в Токио и Лев мне советовал, что в городе посмотреть и куда пойти. Там я делал много фотографий и по возвращении ему показывал и рассказывал, что видел и

какая она, Япония, сейчас. Но он мало что на снимках узнавал – с тех далёких лет, пройдя через разрушительную войну и восстановление, японская столица сильно изменилась и почти ни одного здания, которое он помнил, я не нашёл, за исключением старого концертного зала Согакудо, где он когда-то выступал с концертами. Наверное хорошо, что туда сам не поехал – в молодость вернуться у него бы не получилось...

Однажды кто-то сказал ему, что в Нью-Йоркской библиотеке, что на 5-й Авеню, в нотном отделе работает волонтером старая японская пианистка Мива Кай. Лев страшно разволновался, жена Люба наутюжила его лучший костюм, надел он галстук-бабочку, сел на поезд и поехал в Нью-Йорк. Там от станции до библиотеки пешком минут десять. Пришёл. Расспросил, где можно найти Мисс Кай. Указали ему на маленькую японку, похожую на постаревшего Будду. Лев подошёл, тронул её за плечо. Она оглянулась:

-Мива, — сказал Лев, — ты меня помнишь?

Подняла голову, внимательно взгляделась. Не узнала.

Смотрела, смотрела – но так и не вспомнила. Много что помнила — как концерты в Японии давала, как на конкурс в Варшаву ездила, даже как в Москве остановку делала и на концерте Гилельса была. А вот его не вспомнила...

Вернулся Лев домой потрясённый, заперся один в спальне, долго об этом говорить не мог...

А когда подошла к концу его непростая жизнь, в мае 2003 года он тяжело умирал в клинике Йельского университета. В его воспалённом мозгу смешались страны, времена, языки. Он кидался к запертому окну чтобы вырваться на свободу и кричал на милых американских медсестёр, что пытались его удержать: — Прочь, вертухай!

Вот такая жизнь....

Вера Чайковская

Москва, Россия



Прорыв. Из триптиха «Кружение времени»

В рассказе мне хотелось «воспарить» над ситуацией двух незаурядных людей, замечательного искусствоведа Нины Дмитриевой и блистательного философа Михаила Лифшица (у которого она училась в ИФЛИ в конце 1930-х гг.), через чьи сердца трагическим вихрем прошла история и культура всей нашей страны.

- Вот уж не думала, что буду с вами спорить о Краке. Это как о Леонардо спорить, – достаточно ли для нас хорош!

Ее узенькие светлые глазки сузились еще сильнее от язвительной улыбки, которая обручем охватила все ее маленькое, бледное личико. Очки в тяжелой темной оправе мелко подрагивали, словно тоже гневались и язвили.

Она перехватила его взгляд, эпикурейски-брезгливый, и подумала за него, словно могла читать эти его нехорошие, оскорбительные для нее мысли:

– А подурнела она за эти двадцать пять лет. В войну где-то в Чухломе прозябала с дочкой, письмо ему оттуда накатала вполне безумное, точно не он погибал во фронтовом окружении, а она в своей Чухломе. Письмо ожидало его в учебной части расформированного к тому времени института. Впрочем, и студенткой не была хорошенькой. Разве что живой, умненькой, но и несколько неистойвой, – в духе боярыни Морозовой. А сейчас ее неистовство вполне расцвело...

Все это она подумала за него и не сомневалась, что угадала. Она так о нем подолгу думала все эти годы, что угадывала его мысли по мелким приметам, – слегка скошенному, ироничному взгляду, нетерпеливому постукиванию пальцами по столу, легкой полуулыбке, кривящей полные, чувственные губы. Как у фавна! Он-то, несмотря на лысую голову (что ему почему-то шло), оставался красавцем. Оставался в свои – сколько там ему? – лет на пятнадцать ее старше, кажется, и внуки есть. И жена – нестареющая красавица – философиня. Щеголяет в черном парике с проседью, как говорят, присланном его учеником-чехом из Праги. Там как-то побуржуазистее, помещанистее, да просто побогаче. Можно и косметику хорошую отхватить, и бумагу цветную для рисования. А ведь он – эстет и гурман. Она краем глаза порой наблюдала, как он на заседаниях, особенно скучных, что-то рисовал на красивых, серо-серебристых листах плотной бумаги хорошо отточенным, мягким черным карандашом.

Учился-то во Вхутемасе на художника. Это потом переметнулся в философы, не то гегельянского, не то марксистского толка.

– Коллеги, что вы все время спорите? – вклинился чернявый Вася Вехин, внешне напоминающий дьявола, но дьявола весьма прельстительного вида, – как в древнерусских сказаниях. Черные, как смоль, волосы и горячие черные глаза, статен, вальяжен и красноречив. Только все – вокруг да около, мысль затуманивается, чего она не терпела.

– Уже ведь выяснилось – и давно, что вы – антиподы. Григорий Яковлевич против Крака, Брака и Пикассо, вкупе с Дали. А вы, Люда, пардон, Людмила Эрастовна, – за них! Ну, и прекрасно! Ничего ведь от ваших споров не изменится! Шарик не остановится!

– Это вы напрасно! – по-детски весело рассмеялся Григорий Гусман. – За шарик не поручусь. Может и остановиться! Тысячу лет не останавливался, а в какой-то счастливый для космоса и не очень удачный для землян момент, – возьмет и остановится. Это как выскочить из заколдованного круга. Иногда удается!

– Разве? – снова подал голос Вася, лицом и интонацией изображая сомнение.

– Милый Вася, – ласково обратился к нему Гусман, – имейте в виду, – переспорить меня нельзя. Я владею секретным оружием.

– Закроем тему. – Заведующий отделом эстетики Алексей Алексеевич Пирогов, правоверный партиец, уже давно ничего не пишущий, кроме отчетов и докладных (выручали аспиранты, которые в статьях ставили его имя на первое место), – никогда не знал, как реагировать на такие споры. Вроде бы, теперь, в конце 60-ых, надо бы поддерживать все самое советское, проверенное и законсервированное. Оттепельные

настроения давно скукожились. Но в позиции Гусмана ему чудился какой-то подвох. Прямо-таки кукиш в кармане. Что-то вовсе не советское и не марксистское, то есть не марксистско-ленинское, давно апробированное и разошедшееся на непререкаемые изречения. А тут мерещилось что-то дикое, словно бы Маркс, но без бороды и без усов и высовывает вам язык, как Эйнштейн на известной фотографии.

На этом фоне взгляды Людмилы Мальцевой, конечно же, левые, казались все же более соответствующими текущему моменту, некоторому потеплению международной обстановки.

Еще помнился триумф американской выставки, прошедшей в Москве. А там и абстракция, и поп-арт. Обруганную кока-колу попробовали, – и не отравились. А в недавнее время выпустили альбом Крака с предисловием все той же Людмилы Мальцевой в солидном издательстве (лежал, говорят, лет пять), где она терпеливо объясняла запоздавшему во вкусах советскому зрителю, что такое абстрактный экспрессионизм, поп-арт и прочие новейшие западные течения. Крак Пирогову не нравился. Его цветные полосы на холстах раздражали. Сам бы он никогда не разрешил публиковать подобный альбом. Но раз он вышел, значит было, как прежде говаривали, «высочайшее распоряжение».

Мысли заведующего снова пошли по тому же, как выразился Гусман, заколдованному кругу...

А Людмила Эрастовна набрала в грудь воздуха и выпалила с девчоночьей безоглядностью:

– Вас бы, уважаемый Григорий Яковлевич, Бердяев поддержал: ему тоже не нравились новейшие западные художники, Пикассо, например. Виделось что-то дьявольское, бездуховное и крайне мерзостное.

– Не пугайте меня Бердяевым, – Гусман улыбнулся уголками рта своей загадочной улыбкой, памятной Мальцевой еще со студенческих времен. – Горошинка перца никогда не портила нашей марксистской похлебки! Напротив!

– Ни за что не поверю, что вы станете есть какую-то похлебку, – шепнул Вася Вехин на ухо Гусману. – Даже и с этой горошинкой!

Гусман снова рассмеялся и характерным движением коснулся лысой головы. Прежде он так приглаживал торчком стоящие волосы.

Терпение у заведующего истощилось. Он резко захлопнул папку с бумагами, что должно было означать конец заседания.

Гусман бодренько выше из комнаты, приобняв Васю Вехина за плечи и что-то веселое с ним обсуждая.

Несколько незаметных сотрудников отдела эстетики растворились за дверью, словно их и не было на заседании, а может, и вообще в жизни. Такое вот неоценимое свойство!

Заведующий остановил чуть задерживающуюся Людмилу Эрастовну.

– Мне бы хотелось, чтобы вы выступили у нас с докладом о Краке. Разъяснили, так сказать... Мне кажется, что некоторым сотрудникам... Да, некоторым... В нашем отделе марксистско-ленинской... Обратите внимание, не просто марксистской, но ленинской... Не место...

Пирогов перевел дыхание. Наконец-то ему удалось поймать и сформулировать свою мысль.

Пространство отдела необходимо было расчистить. И эта настырная Людмила Эрастовна могла ему помочь.

Она посмотрела на Алексея Алексеевича долгим невидящим взглядом сквозь запотевшие от ее разгоряченного дыхания очки:

– Если вы считаете, что мне нужно уйти, – то я готова!

Заведующий не ожидал такой реакции. Но мгновенно подумал, что кандидатов на выгон, действительно, двое. Эта будет еще похлеще Гусмана. Правдолюбка!

– Словом, пишите доклад. А мы заслушаем и решим.

Откашлялся, сухо кивнул и оставил помещение, сжимая в руке портфель с рабочими бумагами – ценнейшее свое достояние...

...Людмила Эрастовна Мальцева, как бы страстно она ни спорила с Гусманом, была ему бесконечно благодарна. Ведь Григорий Яковлевич вправил ей когда-то мозги. Да, но сейчас, сейчас он ее самый главный идейный оппонент. И от этого спора, как она была убеждена, кое-что зависит на «шарике». Во всяком случае, на его шестой части, как любят говорить в Советской России, кичась необъятным, немереным пространством. Но Бог мой, как же не освоено это пространство, дико, нецивилизованно, провинциально! И даже признанного всем миром Крака, – тут пытаются задолбать! И Гусман еще находит для этого философические обоснования!

Вот в докладе она и выскажет свое крайнее удивление его позицией.

...Она жила какими-то рывками, словно для нормальной размеренной жизни в ней не хватало внутренней энергии. В детстве была тихой забитой девочкой, которая делала все, что велют взрослые. Мать была завучем в транспортном училище, – крикливая и напористая. Обижала Люду почем зря. В любимчиках ходил младший брат, трус и лгунишка. Он на Люду ябедничал. Ее это возмущало, но не хватало внутренних сил, чтобы возмутиться вслух. Словно бы она спала, и это все во сне. Разве она живет? Она – некрасивая девочка с двумя тонкими косичками и в байковом платье, для нее слишком большом, в розовый цветочек. Ей не нравились ни эти косички, ни это старушечье платье. Но разве она живет? Это все какой-то блеклый сон с некрасивыми, крикливыми и несправедливыми людьми.

Впоследствии она даже думала, вспоминая свое детство, что, вероятно, были в ее роду какие-то очень простые и почти праведные люди,

полностью отрешенные от интересов быта, и что-то ей от них передалось.

Однажды она ощутила в груди горячую и яркую вспышку. В тот день она вышла к гудящему и дымящему возле их деревянного дома Рязанскому шоссе и случайно взглянула на небо.

Оно горело огнем, сияло, светилось, звало! Оно что-то ей пыталось выкрикнуть. И Люда, десятилетняя девочка, тихая незаметная троечница из московского предместья, словно что-то уловила, расслышала, поняла.

Словно ее озарило и до нутра пронзило этим закатным предвечерним сиянием. Ей плакать захотелось, но не от обиды, а неизвестно от чего. Она убежала в свой деревянный дом, где полно было соседей, забилась в чулан, облюбованный ею для жизни, и стала вглядываться в осколки зеркала, найденного ею на местной помойке. Вот это ее лицо? Узкие светлые глаза смотрели удивленно. Она некрасивая? Ее никто не полюбит? А разве не о любви ей сказало это мощное пламенное сияние? Не о чем-то самом сокровенном и настоящем?

Но и это сильнейшее переживание потом куда-то ушло, испарилось.

Странно, в эпоху энергичных комсомолок, бурных собраний, пионерских слетов, призывов, пламенных речей, бесконечной борьбы с врагами, – она жила тихо и по-прежнему, как во сне. И вся эта внешняя бурная возня словно бы ее не касалась. Она не лезла наверх, жила незаметно, и ее не трогали. Она почти что выпала из времени. Случайно, по какому-то наитию, поступила в элитный институт, где преподавали такие «нежизненные» (по выражению матери) предметы, как литература и философия.

И вот тут Гусман, читавший спецкурс по теории искусства, ее зажег, пробудил (как потом оказалось, – на свою голову). Чем? Философией? О, нет! Безумной горячностью своей «строгой логики», бесконечным обаянием дыбом стоящих черных волос и странной полуулыбкой в уголке губ.

Оказалось, что и в ней давно копилась какая-то бурная и страстная энергия. Что она любит линии, цветные пятна и слова. Что она может часами разглядывать человеческие лица в электричке и упивается внутренним ритмом, загадочным свечением, мощным напором какого-нибудь эрмитажного «Святого Себастьяна».

И еще она бесстрашно вступает за правду, ненавидит фальшь и ложь во всех их проявлениях. Но интуитивно она не лезла в политику, ощущая, что там не найдет того обжигающего «свечения», которое заново открыл ей Григорий Гусман, молодой преподаватель, напористый и умный каким-то особым, облагороженным чувством умом. И даже его марксизм был омыт такими чистыми струями ума, что

казался юным и прекрасным, почти столь же прельстительным, как при своем головокружительном начале.

Она посещала его лекции не только на своем, но и на параллельном курсе. И он, ну да, он запомнил эту невысокую, смущенную, неловко улыбающуюся студентку. Некрасивую. Умненькую. Все ее вопросы были по делу. Все ее учебные работы отличались отточенностью мысли и элегантностью формы. Откуда бы это?

Ей самой элегантности явно не хватало, что нельзя было списать только на бедность. Бедны были практически все студентки. Но как-то исхитрились походить на звезд немного кино в удешевленном варианте Элочки -Людоедки.

И он разочарованно смотрел на ее серенький, вытянутый, с широкими накладными плечами шерстяной жакет и бледное, серьезное лицо, почти закрытое большими очками.

Однажды она прочла эти его мысли столь отчетливо, что после лекции побежала к тете Гале, соседке по дому, портнихе с огромным стажем и, волнуясь и путаясь, попросила сшить ей что-нибудь «человеческое». Рассмешила Галину Степановну чуть ли не до слез. Та из каких-то своих закровов вытащила «старорежимное» платье, которое немного ушила и укоротила. Люда в нем стала походить на гимназистку с белым кружевным воротом у самого горла. Что-то от Веры Фигнер мерещилось Люде в его строгом и изысканном крое.

И на следующей лекции Гусман с удовлетворением отметил, что студентка с первого ряда, Мальцева, кажется, уже меньше доставляет неприятностей его капризному визуальному восприятию. Напоминает строгую Стрепетову в белом воротничке с портрета Ярошенко.

Он любил красивых нарядных девушек, а тут взгляд постоянно упирался в это некрасивое и непородистое лицо. И одета мешковато. Хотя и прежняя ее мешковатость как-то на него действовала, почти умиляла сиротским равнодушием к внешнему виду, столь для России свойственным...

...Он был особенный. Сначала она даже не понимала, в чем тут дело. Казалось, что то красное, пламенеющее сияние, увиденного некогда заката, – освещает его лицо. Потом к ней стал клеиться студент со схожим горячим блеском в глазах и диковиной чернотой волос. Эти приметы только усугубляли его непохожесть на Гусмана.

Но что-то общее все же было. Потом до нее донеслось, что и Анатолий (студент), и Гусман (преподаватель) – оба «космополиты». Словечко только входило в оборот, звучало еще «под сурдинку», чтобы после войны зловеще прогреметь.

Прошло бурное собрание, где Анатолий, избравший для курсовой тему по западному искусству, виновато шурился и лепетал что-то жалкое, а

Григорий Гусман, в белом костюме, вел себя надменно и переспорил всех своих обвинителей, которым не нравились его ссылки на буржуазных философов. Он был, как всегда, прекрасен и блистателен.

Анатолия отчислили, а Гусман, этот вечный любимец счастья, – продолжил читать лекции, правда, уже факультативно и на вечернем отделении. Изредка он с интересом взглядывал на сидящую впереди некрасивую студентку, Мальцеву, которая стала приходить на эти его вечерние лекции.

После того собрания она поднесла ему рыжий, солнечный ноготок. Сорвала его на глазах у всех с клумбы возле институтских ворот, догнала и поднесла. Ей тогда показалось, что он смутился, хотел поцеловать ей руку, но потом просто пожал. Анатолий был этой сценой так восхищен, что тут же сделал ей предложение. А Люда никогда не узнала, что подаренный ноготок Гусман поставил в стакан с водой и нарисовал яркой цветной пастелью, подписав под рисунком дату – 12 июня 1939 года.

В том же году Анатолий поступил работать на механический завод. Тогда же, в 1939, они поженились. У него было одно большое преимущество, на Людин взгляд. Он был из «космополитов», а всех космополитов Люда с того самого собрания обожала.

Стала звать его, как щенка, Атолл, а он дома ходил за ней по пятам. И смотрел огромными сияющими глазами преданно, тоже как щенок.

Она была «умной», а он оказался из тех редких мужчин, которые это опасное для женщин качество ценят.

Когда началась война, занятия прекратились. Да и сам институт, столь избыточно элитарный, был расформирован и никогда уже больше не возрождался.

Атоллу тут же призвали и он, уйдя на фронт, не написал ни одного письма. Видно, просто не успел, канув в неизвестности. Судя по всему, его эшелон разбомбили по пути на фронт, и даже документов никаких не осталось.

А Люду с маленькой дочкой Тamarой энергичная мать послала в городок под Рязанью, где жила бабушка. Брат какими-то неправдами получил бронь и остался с матерью в Москве, которую на сей раз не сдали.

В Борчанске Люда оказалась совсем в одиночестве, в бедственном положении неумелой мамыши, у которой, к тому же, ничего нет ни для ребенка, ни для собственного обихода.

Старая глухая бабка, сырая изба с пушкинским «разбитым корытом», непролазная осенняя грязь, отсутствие денег и вещей для обмена у местных на продукты, непрерывные склоки приехавших «эвакуированных», хамство, несправедливость и воровство на всех

этажах местного начальства, начиная от чиновника в отделе прописки – все это на Люду так подействовало, что она впала в какое-то сумеречное оцепенение, какое было у нее в детстве. Не жила, а прозябала, словно снился глухой сон о чужой жизни. Автоматически совершала какие-то действия, чтобы спасти Тamarу, редкостно выносливую и жизнелюбивую. Вот той хотелось жить! Однажды, уже совсем замерзая в нетопленной избе и не реагируя на плач Тamarы, Люда припомнила лицо Гусмана. Да и не лицо вовсе, а его пленительную полуулыбку – слегка подрагивающие уголки губ, – не то радуется, не то иронизирует, как античный курос или кора, открытые всему космосу со всеми его трагедиями. И словно ток жизни прошел по жилам – написать ему! Он спасет, выручит, оживит, как однажды уже спас и оживил! Куда писать? Она знала от одной сокурсницы, случайно оказавшейся в Борчанске, что Гусман ушел на фронт как военный корреспондент и, кажется, недавно вышел из окружения. Во всяком случае, его жена имела такое известие. И он был жив! Люда была несказанно рада, что он жив, словно сама жила его силой, его мужеством, его красотой. Он ее спасет!

Письмо было путаным и почти безумным. Она таких никогда прежде и никогда впоследствии не писала. Это было «письмо Татьяны», но Татьяны горьких и безутешных дней бесконечного хаоса, неверия в жизнь и полного отчаяния. Лишь надежда, о, нет, не на победу в войне, а на то, что Григорий Гусман действительно жив и отзовется, делало это письмо, хоть и не вполне любовным, но охваченным каким-то пылким и неистовым чувством.

Плачущую Тamarу развлекала в это время глухая бабка, которую Людмила упорно не признавала своей бабушкой. Совсем чужая, глупая, жадная – что в ней родственного? Впрочем, как и в матери, и в брате. Только Атолл давал ей жизненное тепло, но и Атолл исчез, растворился в недружелюбном холодном пространстве.

И когда на ее письмо местный почтальон, мальчишка в старой дедовской бескозырке «времен очаковских», – принес ей проштемпелеванный, измятый, проверенный военной цензурой конверт с ответом, – она даже не удивилась. Как не удивлялся ученик хождению Иисуса по водам.

Да ведь и ее письмо содержало заряд силы атомной бомбы, еще неизвестной тогда человечеству, и на него невозможно было не ответить. И он ответил. Лаконично. Строго. Осмысленно.

«Дорогая Люда! Я только что вышел из окружения. Рад был получить от вас весточку. Что-то вы совсем загрустили. Уверяю вас – мы еще встретимся и посмеемся нашим былым бедам! Ваш Григорий Гусман».

Он ее снова окрылил!

Мы встретимся, – написал он. И посмеемся! Она взглянула в треснувшее зеркало шкафа на свое бескровное, безвозрастное, одичавшее отражение. Где-то в сумке лежали крем и помада, подаренные Атоллом на ее прошлый день рождения. Услышала плач дочери. Вспомнила разговоры соседней, что в местной газетенке ищут машинистку и за это обещают паек.

В ней пробудился инстинкт жизни. Она побежала из избы хоть как-то устраивать свою и Тамарину жизнь. Ведь они еще должны были с Григорием Гусманом встретиться. И не там, в загробном сумеречном мире, дантовом Чистилище, которое она давно для себя облюбовала, а здесь, на Земле, на московской аллее, на Чистых, среди кленов и лип...

...Ох, не к месту и не ко времени случились пражские события! Гусман перестал получать письма от своего чешского «дорогого Марекка». А когда получил, то письмо было словно зашифрованное и все какими-то обиняками, хотя и Марек, и Григорий Яковлевич пражских событий не одобряли, но методы, сами методы борьбы с инакомыслием, как говорится, оставляли желать...

Люда возмущения не скрывала. Горячо высказывалась даже на заседаниях отдела при настороженном молчании безликого большинства. Даже смахивающий на дьявола Вася Вехов отсел от нее подальше и демонстративно отворачивался, когда она бурно и страстно выражала свою солидарность с чешской оппозиционной интеллигенцией. Но Вехов и от Гусмана отдалился, безошибочно вычислив, что тому теперь с его некстати оживленным марксизмом, – несдобровать. Он и от Гусмана прятался и отводил глаза при встречах в коридоре. В конце концов тот стал первым сворачивать в сторону, – все это ему было знакомо-перезнакомо.

Расширенное переиздание альбома о Краке срочно прикрыли. И теперь о докладе Мальцевой речи уже не шло.

Заведующий отделом без конца ходил на «консультации» с директором института, умелым чиновником, выплывающим при всех «прижимах». Вопрос стоял так: кого из двоих, Мальцеву или Гусмана, выгнать первым и с какой формулировкой?

Но все как-то само собой для Алексея Алексеевича Пирогова уладилось. Как говорится, малой кровью. Гусман сам подал заявление об уходе, и несколько лет, сидя без официальной работы, писал «в стол» памфлеты о западном искусстве, один ядовитее другого.

И Людмила Мальцева потихоньку утихомирилась. Альбом о Краке через несколько лет все же вышел, правда, в усеченном виде и с большими изменениями в авторских комментариях. Все свои силы она бросила на разоблачение массовой культуры (до которой Гусман был

большой охотник и даже указывал в ряде своих статей на низовые и профанные истоки всего мирового искусства).

Завязалась газетная полемика, которая редко приводит к чему-либо хорошему. К тому же, Гусман и впрямь владел «секретным оружием» – отточенной диалектикой. И одолеть его было невозможно.

Людмила Эрастовна взялась за писание умных и внятных книг для интеллигентного читателя – о Краке, о Пикассо, о Дали.

Когда-то Ахматовой казалось, что от ее встречи с Исайей Берлиным что-то существенно изменилось во всей эпохе. Такое же чувство было у Людмилы Эрастовны. Ей казалось, что она спорит не просто с Григорием Гусманом, она отстаивает для России «европейский путь», ведущий к прогрессу, к терпимости, к мировому объединению, к свету и радости.

Ее прежний кумир – Гусман – в этой ее борьбе превратился в какого-то реакционного старикашку, жуткого консерватора, пытающегося загнать Россию на какой-то особый путь уже отгремевшего и смешного учения...

...Однажды, уже во времена развала империи, Людмила Эрастовна Мальцева, немолодая, но подвижная сухошавая дама с нервным и чрезвычайно интересным, как бы освещенным внутренним светом лицом, в красиво на ней сидящем темно-синем брючном костюме, сшитом явно на заказ, шла в задумчивости по Чистым. Вечерело. Было начало осени. Под ногами уже хрустели листья. Дочка Тамары, недавно вышедшая замуж за российского «олигарха», как раз в эти дни ожидала прибавления в семействе. Муж отправил ее в немецкую клинику. Все российское уже давно не вызывало никакого доверия. Но Людмилу Эрастовну все это мало трогало. Общественное одичание последних лет привело ее в то полусонное, призрачное состояние, которое было с детства ей присуще. По-настоящему пылко и страстно она жила только в своих писаниях. И сейчас она шла, обдумывая очередную главу книги о Пикассо. Сказать правду, со временем ее стала раздражать эта его бесконечная изменчивость, словно бы он гнался за меняющимися вкусами богатеньких заказчиков и даже старался их опередить.

Что-то стало мешать ее размышлениям. Она подняла глаза: на небе сиял розово-красный, бурный, совсем не городской, с каким-то невероятным преувеличением, – закат.

- Закат? – подумала она, что-то смутное припоминая. И тут увидела идущего ей навстречу Григория Гусмана. Она не видела его много лет.

Он был все таким же сияющим и невыразимо прекрасным. Лысым? Или со стоящими дыбом волосами? Со своей необыкновенной полуулыбкой? Или с надменно сжатым ртом? Она ничего этого не успела рассмотреть. Главное – это был он!

И она кинулась к нему, как девчонка, со всем нерастраченным пылом однолюбки, Татьяны Лариной, которой, кроме ее Онегина, никто, ну совсем никто, не нужен. И даже бедный чудесный Атолл был только блеклой копией, подменой! А нужен лишь этот – необыкновенный, яркий, чудовищный, старый, облезлый, обладающий все тем же невыразимым обаянием!

Она наконец-то выскочила из заколдованного круга своей жизни – мыслей, рассуждений, логики, жалких слов!..

Незнакомый человек, совсем не похожий на Гусмана, глядел на нее с удивлением и испугом.

Она с трудом разомкнула руки, обхватившие его шею, покраснела до слез и на ходу, убегая, пробормотала извинение. Она ошиблась, простите.

И внезапно подумала, что и этот из «космополитов». Так что судьба, вероятно, неспроста ей его подбросила на безлюдной аллее Чистых прудов, приоткрыв какую-то смутную тайну. И теперь она будет ее разгадывать вплоть до Чистилища, где им двоим (она в это радостно, без всяких сомнений, совсем по-детски верила), – суждена новая встреча.

Павел Товбин

Сан-Франциско, США



Легенда ушедшего племени

Третий день солнце греет по-весеннему. Снеговик перед домом подтаял и втянул в плечи голову с морковным носом. Я прохожу между кустами, спускаюсь с пригорка. Передо мной широкая полоса снега с петлями чужих следов, затем темная вода и горы в тумане вдаль. Мои

собаки бегут впереди, краем озера. Один пес валяжен, склонен к созерцанию, что необычно для крупной немецкой овчарки; его подруга предана ему до последней шерстинки на хвосте, невероятно быстра, без двух передних зубов, потерянных в драке с огромным маламутом.

Вправо от нас меж двух гор разгорается ранний закат. Там, где краснеют облака, когда-то стоял Творец всего живого и раскладывал семена равными долями на огромном камне. Он высился над горами и над озером. Кожа его лица и рук светилась. Подул капризный ветер с востока, откуда приходит солнце. Семена разлетелись по всей земле, и от них пошли многочисленные народы. Увидел Творец: лишь малая горстка семян осталась у него. Их не хватит на сильное племя, которому не страшны враги. Взял Он эти семена – они поместились на ладони – и поселил маленький народ близ глубокого синего озера. Насадил по горам вокруг озера сосновые леса, пустил в них жить зверей и птиц. С гор в озеро спустились быстрые реки, по ним поплыли форель и белая рыба: вниз – к озеру; вверх – на нерест. А на деревьях выросли вкусные орехи. И всё ж беспокойно на душе у Творца живого, ведь совсем мало семян оставалось у него на ладони. Кто поможет охотникам найти зверя в голодные месяцы зимы, когда уже съедены запасы орехов, вяленой рыбы и желудей, но земля еще покрыта снегом? Кто предупредит о подступающем недруге, чтобы дать ему достойный отпор? Ведь знает Он, что с появлением людей на свете начались войны.

Вновь глянул Он и заметил, что пыль и чешуйки от кожи семян остались у него между пальцами. Встряхнул руками – с громким лаем побежали собаки за людьми вокруг голубого озера. Крепкогрудые, на широких лапах, не знающие страха и предательства. Обрадовался Творец, похвалил себя за мудрое решение и занялся другими делами, ведь земля была еще очень молодой.

Так рассказывали старики-хранители индейских легенд и традиций. Они знали, как появились реки и нетерпеливый южный ветер, тайну первого огня и повадки Гром-Птицы. От взмаха её крыльев трепетали деревья, трескалась и шла пузырями земля и сталкивались горы вокруг озера.

Следуя традиции, каждому ребенку клали на руки еще слепого щенка, чтобы они познали тот недолгий молочный запах друг друга. Щенки и дети росли вместе. Поздней весной, когда из долин между гор уходил снег, пробуждались быстрые ручьи и убегали к озеру, они катались в мокрой траве, радуясь, что пережили голодные месяцы и приближается пора изобильной пищи и весёлых людей, которая длилась все лето и осень.

В горах росли посаженные Создателем кедровые сосны, приносящие крупные орехи. Из орехов делали муку и запасали её на зиму. К моменту

созревания орехов в середине осени племя собиралось на свой главный праздник, продолжавшийся четыре дня, радуясь каждой минуте сытых солнечных дней и богатству земли вокруг них. Земля давала рыб, птиц и животных в пищу, ветки и сосновую кору для строительства зимних жилищ. На земле можно лежать на животе и чувствовать, как остывает к ночи трава и кусты, согретые солнцем. Или смотреть на снег на вершинах и на чистые звезды над озером. А потом можно окликнуть свою собаку, пойти к большому костру и танцевать долго, поджидая рассвет и начало сбора урожая орехов, перед которым полагалось совершить омовение для очищения тела и души в священном ручье, текущем из глубин пещеры среди берегов из голубой глины. Много позже и совсем другие люди найдут в ней серебро.

Зимой охотники уходили далеко в поисках следов, расставляли ловушки. Они умели подкрасться к осторожным оленям, знали с детства повадки антилоп и тетеревов. Собаки таились до времени в кустах, чтобы ветер не подхватил их запах и не спугнул зверей. Старики, дети и женщины ждали охотников с добычей. Им уступали место у огня и лучшие куски мяса, которые они разделяли со своими собаками. Потом охотники долго спали. Дым от огня уходил в отверстие в крыше. Собаки дремали подле своих хозяев.

В годы хороших урожаев в племени рождалось много детей; в худые годы к февралю или марту они часто умирали от истощения. Новые поколения собак бежали в поисках зверя. Меткие стрелы из веток дикой розы, как тысячу лет назад, быстро летели в цель и охотники вновь просили у Создателя прощения за отнятую жизнь.

Люди и собаки полагали, что надёжно укрыты от времени крутыми склонами и густыми лесами, пока однажды весной, незнакомые люди не вышли к озеру, перейдя через перевал, где еще лежал глубокий снег. Они проваливались по пояс и тащили за собой измождённых лошадей с поклажей. Пришельцы носили одежду с головы до пят, в отличие от полуголых охотников и женщин с обнаженной грудью, не знающих стеснения перед глазами природы.

- Почему они такие грязные? – сказал ребенок, прижимаясь к матери.

- Не приходи к ним, они совсем дикие. И почти голые – какое бесстыдство.

- А кто это с ними, мама? Похожи на волков. Мы таких нигде еще не встречали.

Мать мальчика не нашлась с ответом.

С приходом теплых дней, когда снег сошёл с перевалов, новые караваны стали достигать берегов голубого озера. Скот и лошади паслись на землях, где ранее обильно росли ягоды. Незнакомцы без стеснения опустошали чужие ловушки и, при попытке их вернуть,

застрелили двух охотников. Когда рассеялся пороховой дым, пришельцы подивились преданности незнакомых им животных, сидящих подле своих хозяев, и ушли с добычей к своим семьям, оставив убитых в лесу, где шумел скрытый кустами ивы ручей и на плоском камне на солнце дремала змея.

Горы и леса, которые, повинувшись Создателю всего живого, охраняли это маленькое индейское племя, стали всё больше открываться новым поселенцам. В скальных породах нашли золото. Шахты вгрызались все глубже в камень, сказочные состояния складывались и проигрывались в течение нескольких дней, а порой и часов. Леса стали заметно редеть. Кедровые сосны давали замечательную древесину, поэтому их вырубали и переправляли на новую лесопилку, не отведая вкуса орехов. Рядом с лагерями лесорубов поднялись дома, бары и даже тюрьма. Уже терпеливые мулы везли через перевалы почту, оружие, обеденные сервизы и платья от парижских портных. Близ того места, где когда-то стоял в раздумье Творец всего живого, к небу быстро поднялась церковь, соперничавшая в убранстве с публичным домом.

Попытки продолжать привычный образ жизни, сторонясь пришельцев, не удавались. Боязливые антилопы, распушив на груди шерсть от испуга, ушли первыми, а вскоре птицы и олени стали покидать приозерный край и охотники уже не могли найти добычу на расстоянии трех, четырех дней, даже недели быстрых переходов. Все чаще в городках у озера и в лагерях лесорубов стали появляться старики и женщины, просившие еду, но подавали им неохотно. Много проще было забыть об этой кучке достаточно грязных почти голых дикарей, которых лишили средств к существованию. К тому же, они не оказывали сопротивления, поскольку считали пришельцев всемогущими существами, борьба с которыми невозможна.

Уже через год ко времени осеннего праздника на месте сосен, полных орехов, оставались только пни в мелком кустарнике. Приближалась новая худая зима без всяких запасов муки, рыбы, вяленого мяса, когда многие старики и дети должны были умереть...

... Почта запоздала больше, чем на неделю. Уже прошли первые осенние дожди, дороги к перевалу размыло. Почтальон, он же телеграфист, начал разбирать письма в три часа пополудни в надежде на оплату за прошлый месяц. Получив наконец деньги, он решил, что пора пропустить стаканчик, хотя владелец бара через улицу поднял цену на четвертак против лета, ссылаясь на трудности доставки хорошего спиртного. К вечеру похолодало, ожидалась ранняя зима. Ночью разыгрался сильный ветер. Он раскачивал верхушки деревьев, пробегал по пустым зимним жилищам, которые уже начали зарастать травой. От их строителей остались лишь несколько расплетённых корзин, забытый

мяч из оленьей шкуры и круглые лыжи для глубокого снега. Позже стало известно, что они перевалили через горный хребет и на том их следы затерялись. Остались лишь несколько легенд и рукопись 140-летней давности в архиве университетской библиотеки, где пахнет старой бумагой. Автор старательно перечислял дифтонги забытого языка, но работа казалась незаконченной. Как удалось выяснить, последний носитель языка скончался от старости. Сохранился еще огромный камень, на котором равными кучками лежали семена, пока не подул восточный ветер.

Собаки, ушли вместе с ними, со временем расселились по всей земле. Некоторые, оставшись без хозяев, сбивались в стаи, бродили по лесам и возвращались к голубому озеру. Постепенно, движимые потребностью жить близ людей, они привыкли к чужим запахам пришельцев, к непривычным звукам их речи, хотя и сторонились непонятных им лошадей. Ничто более не напоминало о прежних обитателях приозерного края, их время на земле прошло.

Быстро темнеет. Облачно, луна не видна. Собаки набегались по берегу и идут рядом. Мы возвращаемся с прогулки в дом, построенный из кедровых сосен. Их пришлось сажать заново, но орехи на них никогда не достигают сочной зрелости. Когда наше время закончится, что останется после нас?

Соня Тучинская

Сан-Франциско, США



Приключения желтого чемоданчика

Бывают такие невыдуманные истории, сюжет которых, несмотря на его абсолютную подлинность, принадлежит к категории, именуемой в русском фольклоре «небывальщина да неслыхальщина». Одну из таких историй я и хочу вам рассказать.

Итак...

Она любила приезжать в Израиль зимой. На Хануку. Это был ритуал. Она сама его придумала. Каждая следующая свеча – в новом городе. И порядок городов был одним и тем же. Первая свеча – в доме друзей в Хайфе, последующие шесть – по одному и тому же маршруту в городах и поселениях Израиля, и, наконец, последняя, восьмая, – в ликующей толпе вокруг гигантской Ханукии у Стены Плача. В этой ритуальной неизменности маршрута была особая прелесть. А друзей в Израиле было у нее в ту пору так много, что с лихвой хватило бы не то, что на восемь – на двадцать восемь городов и весей. Всем и каждому из старых друзей по неизжитой советской привычке полагалось что-то вручить при встрече. Для всего этого сувенирно-подарочного хлама пришлось когда-то приобрести внушительных размеров чемодан, который не нравился ей еще в момент покупки – настолько эта громоздкая посуда не вязалась с ее более чем невыдающимся ростом.

... Не годится, ни к черту не годится зачин. В кои веки решилась написать рассказ от третьего лица, от имени абсолютно не похожей на

меня, – не в меру восторженной, по-детски эгоцентричной, утомительно бескомпромиссной, но, вместе с тем, чем-то неизъяснимо пленительной героини, – как тут же поняла, что «рожденный ползать, летать не может». Нестерпимой фальшью веет от всех этих «она», «ее», «ей». Так что, окончательно осознав скромные пределы отпущенных «ей» свыше дарований, «она» без лишних раздумий переходит на уютное обжитое привычное «я».

Итак...

Я до слез, «до детских припухших желез», до глупого желания залечь в израильский госпиталь с чем-нибудь мелким и неопасным, вроде сломанной ключицы, не люблю уезжать из Израиля. Вот и тогда, три года назад, сидя в такси на пути из Иерусалима в Бен-Гурион, я молчала, глотая слезы. Не хотелось говорить о «погоде» с таксистом, выходцем из Ирака или Ирана, хотя именно о погоде как раз говорили в ту зиму все. Иерусалим, из которого мы, стоя в пробках, никак не могли выбраться, лежал в снегу. О «погоде» не хотелось, а о своем девичьем... Вряд ли бы он понял, почему я постоянно возвращаюсь в эту безумную страну как домой, а домой, в «самый романтический город Америки», лечу как в комфортабельные гости. Выгружая из багажника мой заметно поистрепавшийся в бесчисленных поездках чемодан, таксист-мизрахи неожиданно заговорил по-русски, причем с обаятельным грузинским акцентом: «Женщина, зачем дыван стары за сабои возишь, а? Скажи мужу, что пуст тэбе женски чимоданчик купит.»

... Три года пролетели, как не было. И вот, мой новый, идеальных для женщины пропорций желтый чемоданчик фирмы «Tommy Hilfiger» отъезжает от меня в аэропорту на ленточном конвейере с продетой через ручку биркой «San Francisco-Toronto-Tel-Aviv». В этот раз, соблазнившись невиданной дешевизной билета, я летела в Израиль через Торонто, а мой приветливо посверкивающий яично-желтыми боками кейс уже без моего участия – прямиком в Тель-Авив. Вот и отлично, подумала я, провожая его взглядом, уже и название есть для моего следующего травелога: «Приключения желтого чемоданчика».

Вы замечали, что крупным неприятностям часто предшествуют мелкие? Видимо, для того, чтобы человек успел подготовиться. Так вот, в сан-францисском аэропорту я обнаружила, что забыла дома телефон, без которого лететь в Израиль было бы невысказано. Провожавший меня муж, отменив утреннее совещание на работе и сделав под проливным дождем еще одну ходку домой и обратно, привез мне телефон за несколько минут до окончания посадки. Вместо стандартного обещания

«скупать» и пожелания счастливого полета, он чужим голосом сказал, что устал быть при мне порученцем и что from now on, буквально с этой самой минуты, последствия моих бесконечных опозданий, забываний и

прочее, целиком ложатся на меня. Обдумать эту нелепую угрозу я решила уже в самолете. Посадка на рейс Сан-Франциско – Торонто заканчивалась, и надо было поспешать.

... «Канадцы приветствуют вас, независимо от вашей веры. Добро пожаловать в Канаду!» – многочисленные плакаты с этим воззванием развешаны в аэропорту Торонто с назойливой частотой. И главное, всем понятно, какой именно веры. Господи, и в отпуске никуда не деться от этого постылого агитпропа.

Со старбаксовским кофе в руке и кожаным рюкзачком-талисманом за плечами иду дожидаться посадки на Тель-Авив. Зал ожидания израильских рейсов отличается от всех других. Это специальный загон с дополнительной проверкой документов. Если зашел, выхода уже нет, кроме как на посадку. А я зачем-то зашла за три часа до нее. И везде по миру, где есть рейсы на Бен-Гурион, имеются такие выгородки. Еврейское гетто в аэропортах, запирающиеся ворота.... Знаю, что после Мюнхена... для нашей же безопасности, но слово «гетто» почему-то упорно всплывает и ухает где-то в области сердечной мышцы. Неожиданно на фоне общего гама слышатся звуки настоящего духового оркестра. Живую музыку даже издали ни с чем не спутаешь.

– Что за праздник? – спрашиваю у стоящей за стойкой AirCanada дамы в униформе, с бесцветным и чем-то с первой минуты неприятным мне лицом, – делегацию иностранную встречают?

- Первую группу беженцев, прямо сейчас, as we speak. Подарки будет вручать сам премьер-министр, – сияет в ответ неподдельным восторгом *униформа*. При мощном торсе, у нее безбровое, одутловатомучнистое лицо, с уныло свисающими по его периметру плоскими белесыми волосами. «Сколько их, идиотов непуганых, по всему свету. Вот и эта дура канадская чему радуется?», – мимоходом думаю я, с бабским злорадством успеваю заметить, что фирменная косынка, украшенная кленовым листком, с трудом сходится на ее отсутствующей шее.

...Да пошли они все к чертовой матери, думать еще об этих зомби. Хватит того, что я о них целый год писала – устраиваюсь в кресле с видом на летное поле, закрываю глаза и погружаюсь в предстоящее мне счастье. В Бен-Гурионе меня будут ждать подруги, побросавшие ради нашей встречи мужей в Питере, Мюнхене и Нью-Йорке. Начнем мы с трехдневной остановки на Мертвом Море, в белоснежной гостинице с турецкими банями, массажами, соляриями и прочими полезными душе и телу аттракциями. Завтра после заката начинается Ханука, и на маленькой площади перед гостиницей хасиды зажгут первую свечу. А на следующее утро после щедрого израильского завтрака с блинами, салатами, и пятью сортами селедки (наследие русско-украинских

первопроходцев), переодевшись в белые махровые халаты, мы спустимся к морю, а на другом, иорданском его берегу, будут угадываться в дымке Моавские Горы. И любясь этим библейским пейзажем, мы не сможем наговориться... А потом вместе рванем в Арад, там раскопали останки древней синагоги, или на Массаду, а оттуда и до заповедника Эйн -Геди рукой подать. В Эйн-Геди непременно надо сгонять, ведь с этими местами связана одна неизменно волнующая меня история. В глубине одной из пещер Энгадаина когда-то прятался от царя Саула молодой Давид с войском, и именно туда же в это время зашел по естественной нужде сам Саул, в поисках Давида прочесывающий со своими «тремя тысячами отборных мужей» ущелье Эйн-Геди. Соратники подбивали Давида убить врага, по совместительству – божьего помазанника и первого еврейского царя, не говоря, что родного тестя. А Давид послал советчиков куда подальше и лишь незаметно подкрался сзади и отрезал ножом край саулова плаща, чтобы потом предъявить его хозяину как доказательство, что, ты, дескать, меня подозреваешь во всем, столько раз пытался меня убить, а я мог, но не отомстил тебе, не ответил злом на зло. Старик, узнав об этом, ужасно растрогался, раскаялся в своих злодеяниях против Давида, а потом заплакал как дитя и сказал зятю: ты праведнее меня. Ну, до чего же славная, поучительная и в тоже время трогательная история...

Грезы мои прерываются объявлением посадки на Тель-Авив.

Отстояв в очереди, протягиваю паспорт и посадочный проверяльщику, по виду – молодому арабу крайне привлекательной наружности. Ему что-то не нравится в моем паспорте, и он подзывает начальницу, ту самую, белесую, с кленовым листочком на шее, и показывает ей мой как будто бы просроченный паспорт. Саркастически улыбаясь, тыкаю пальцем в «март 2017» – дескать, какой такой просроченный, диоптрии протрите, господи, еще целых три месяца в запасе. *Белесая*, глядя на меня с нескрываемой неприязнью – похоже, ей моя физиономия тоже не очень пришлась – подтверждает убийственную новость: в запасе должно быть шесть месяцев, считая со дня вылета, а не три, как у меня. Весть эта отзывается где-то под ложечкой тревожным предчувствием беды. Для дальнейших выяснений меня отводят в сторону, отлучая таким образом от очереди счастливых обладателей непросроченных паспортов.

- Вы никуда не летите, – говорит *белесая*, протягивая мне паспорт.

- Что значит, не лечу? Это не моя, а ваша ошибка. Если бы AirCanada не пустила меня на свой рейс еще в Сан-Франциско, я вернулась бы домой и заказала новый паспорт. А теперь вы обязаны доставить меня в конечный пункт назначения, то есть – в Тель-Авив, тем более, что мой

багаж уже летит туда прямым ходом. Отправляйте меня в Израиль, это моя страна, там разберутся, что со мной делать.

- You are lying, это не ваша страна, – с перекошенным от злобы лицом брызжет в меня слюной чиновница, от которой сейчас зависит моя отпускная судьба. – У вас американский, а не израильский паспорт. И багаж ваш никуда не летит, его сейчас снимут с рейса.

- К вашему сведению, Израиль принадлежит любому еврею, где бы он ни жил, а значит, и мне тоже. А вы тут, как я посмотрю, мусульман встречаете с оркестром, а евреев домой не пускаете, хотя ошибку первыми допустили вы, а не я. Но я все равно туда по-ле-чу-у-у... – с этими словами, в безнадежной попытке прорваться на посадку, иду на таран. Тетка раскидывает руки и ловким движением мощной грудной клетки отбрасывает меня в сторону от тающей на глазах очереди. С десяток оставшихся в ней пассажиров с немым изумлением взирают на эту сцену.

Тут до меня окончательно доходит, что никаких подруг я не увижу и что завтра в Бен-Гурионе они будут бесполезно сканировать глазами выходящих с этого рейса пассажиров, но меня с моим чудным желтым чемоданчиком среди них не будет, и что ни в какой Эйн-Геди мы вместе не рванем,... и что новый заграничный паспорт – это, наверняка, дело нескольких недель, а у нас израильских каникул – все про все – десять дней и ни днем больше...

От этих мыслей я прихожу в неопишное отчаяние и начинаю громко с захлебом рыдать, тыльной стороной руки размазывая по лицу черные подтеки туши. Потом отчаяние как-то самой собой переходит в столь же неопишемую ярость, и ярость эта всей своей неподконтрольной рассудку силой обрушивается на представительницу канадской авиалинии. Странно, но все происходящее я прекрасно видела как бы со стороны, что ничуть не повлияло на спонтанный характер моего неуправляемого, как весенний паводок, словоизвержения, в котором отчетливо были слышны выкрики: «you've just ruined my vacation» «this is your fault» «see you in court». Видок у меня в эти минуты был еще тот. Чумазая, как у кочегара рожка, опухшие от слез глаза, безобразно перекошенный в крике рот, не говоря о местечковом размахивании руками... За преступления, совершенные в таком состоянии, именуемом американским правосудием temporary insanity, в любой стране заметно снижают сроки...

Через минуту рядом со временно лишившейся дара речи *униформой*, на всякий пожарный скрывшейся за фирменной стойкой, возник ее смуглоликий подчиненный, который, надо отметить, лишь кротко внимал происходящему. Его появление означало лишь то, что посадка на рейс Торонто – Тель-Авив была закончена. Однако мое

помрачившееся от горя сознание расценило это как попытку сколотить на моих глазах мощный антиеврейский блок, что, в свою очередь, спровоцировало очередной приступ словесного энуреза.

«It's unfucking believable – пришельцев им мало, пришельцев они полюбили... Мало они вас, moronic idiots, по всему свету взрывают, а вы им плакаты повесили, музыку играете, подарочки дарите... верите, что поможет. Нет, нет, не поможет, они вас все равно будут взрывать, везде, – не размениваясь на мелочи, обличала я в непростительной политической наивности не только весь канадский народ, но и народы Европы в целом. Легко убедиться, что ничего предосудительного, кроме по-детски безобидного мата, в этой фразе не было, если, конечно, не рассматривать в качестве такового самоочевидные факты, то есть – правду. Тем не менее, на «взрывать везде» *униформа*, неожиданно проворно для ее веса, выбежала из-за стойки и, «постепенно багровея», заверещала, что я оскорбила ее коллегу-мусульманина, что в Канаде hate speech – это уголовное преступление, что на будущее она ставит меня на AirCanada No-Fly List и что сейчас она вызывает полицию. Во время этого демарша в двустовлке ее надежно подпертых щеками глаз занялись зловещие огонечки.

Слово «полиция» несколько отрезвило меня, и я, наконец, затихла. «А что это за шаги такие на лестнице?... А это нас арестовывать идут», – всплыла вдруг в моей насквозь книжной голове подходящая случаю цитатка. Ну да, та самая «веселость едкая литературной шутки», которую даже не с кем былов этой сомнительной компании разделить. У прибывшего на вызов полицейского мелодично позвякивали на ремне наручники, увидев которые я окончательно протрезвела и вспомнила, что не позвонила мужу. А он, бедный, сейчас, наверное, ужинает дома, в полной уверенности, что я лечу, а значит, у него в запасе десять дней гарантированного покоя. Ну, ладно, пусть хоть один вечер проведет спокойно. А завтра просто завалюсь со своим идиотским желтым чемоданом, и на кой только черт он мне понадобился, и скажу – картина Репина «Не ждали». Нет, лучше из Высоцкого – «Ну, здравствуй, это я». Нет, не годится... Надо на всякий случай из аэропорта предупредить звонком. Мало ли что...

У полицейского были седые висячие усы и добродушное лицо провинциала из русско-украинской глубинки и. заговори он со мной на одном из этих языков, я бы ничуть не удивилась, – Канада, все-таки. Но этого не случилось. Ведь жизнь не кино. После короткого разговора с *униформой* он не стал надевать на меня наручники, не обнаружив в моих действиях состава преступления. Несмотря на то, что этим он не дал осуществиться одному из девяти «блаженств», – «блаженны изгнанные за правду» – я ужасно обрадовалась решению канадского

стража порядка. Знакомство с местной кутузкой никаким образом не входило в мои отпускные планы.

Потом он вывел меня из «гетто», купил мне в автомате бутылку воды, протянул влажную салфетку для лица, успокоил насчет пустой угрозы с No-Fly List и, посоветовав впредь быть осторожней, наказал никуда не отлучаться, а ждать агента, которому он даст мои приметы и координаты.

«Агент» материализовался в образе средних лет негритянки с добрейшим, как в старых американских фильмах, лицом. Она медленно, ища меня глазами, продвигалась в нужном направлении, и безо всякой причины улыбалась всем и каждому, обнаруживая в широко распахнутой улыбке сплошные белые зубы. При ходьбе она по-утиному глубоко ныряла на одну сторону, что могло быть следствием врожденного вывиха бедра. В аэропорту Торонто калеке с ограниченной подвижностью поручили отвечать за безопасность пассажиров в условиях чрезвычайной ситуации, что подтверждалось надписью «Public Safety» на ее униформе. «Мы все, давно не замечая этого, живем в мире узаконенного абсурда, в огромной, от океана до океана, «Палате № 6». Бьюсь об заклад – ее взяли на службу, чтобы одним ударом заполнить какую-нибудь идиотическую квоту сразу по трем пунктам: черная-женщина-инвалид», – думала я, глядя на эту славную и ни в чем не повинную женщину.

Интересно устроен человек. У меня пропал отпуск, я не увижу дорогих мне людей, последний самолет на Сан-Франциско уже улетел, и я не знаю, где проведу эту ночь, не говоря о мелочевке, вроде первой ханукальной свечи или пещеры Давида. Все пропало, а я смотрю на агента-спасателя с врожденным вывихом бедра и пытаюсь представить, как в случае пожара или теракта, она бегом будет выводить или даже выносить людей из зоны бедствия. Потом я тупо вспоминаю плакаты, духовой оркестр, оголтелую поклонницу бородатых пришельцев, – вспоминаю – и явственно вижу довольную ухмылку Дьявола. И какая-то особая тревога, поверх моих собственных бед, не отпускает меня. Такое злостное нарушение разумного порядка вещей не может не кончиться катастрофой библейского масштаба для всего человечества... Нет, что-то со мной не так. Печалиться в отпуске о судьбах всего человечества, это хуже, чем паранойя. Это пошло. Похоже, надо завязывать статейки об этом кропать. Разве нету других тем? Жизнеутверждающих. Об охране окружающей среды, к примеру, или, скажем, конкретней, об охране суматранских носорогов, которых на безалаберной Суматре осталось не более 200 особей.

Мои печальные раздумья прерывает опознавшая меня, наконец, женщина-спасатель по имени Сара. Не знаю, удалось ли Саре за всю

свою карьеру спасти хотя бы одного человека, но то, что она стала моим персональным ангелом-спасателем – это факт.

...Через час я сидела в ресторане аэропортовой гостиницы, выбранной по ее совету, где, начисто позабыв о своих несчастьях, с необычайной быстротой расправилась с огромным стейком, запивая его прямо из запотевшей бутылки ледяным пивом. Оправдание разврату в виде обильного позднего ужина нашлось в том, что лучшего средства для восполнения потерянной за день нервной энергии просто не существует.

На мою удачу в Торонто был Американский Консулат. Поведавшая мне об этом Сара, велела, отоспавшись, поехать туда утром на такси, чтобы успеть выправить временный паспорт. «Hopeu», – сказала она, – «шансов у тебя немного, потому что если они не сделают тебе паспорт за один день, то это dead end: на уикенд все закрывается». До Сары дошли слухи, что в последнее время ни в одно посольство с телефонами не пускают, и она строго настрого наказала мне оставить свой в гостинице.

Вследствие ненормально разросшейся первой части моей истории, по второй придется пронестись галопом.

Наперекор строгому наказу Сары, я зачем-то взяла с собой телефон. Это можно объяснить тем, что после мужниных угроз в мою дурную голову намертво впечаталась команда, что телефон надо всегда держать при себе. Охранник, стоявший на входе в Консулат, спросил меня о цели моего прихода, а услышав ответ, озарился чарующей улыбкой и приветствовал меня замечательной триадой: Велком – Шабат Шалом – Хаг Ханука семаех. Он оказался израильтянином, работающим в Канаде по контракту. Это был хороший знак. Осмотрев мой рюкзак, израильтянин, не переставая улыбаться, предложил мне дилемму: либо навсегда расстаться с телефоном, либо навсегда (до понедельника) покинуть Консулат. Я не раздумывая выбрала первое. Телефон мой просто разбили молотком, и, когда я узнала о причине столь небывалого варварства, мне было трудно смириться с потерей. Оказалось, что в последнее время пришельцы взяли моду взрывать работников западных посольств через оставленные на секьюрити телефоны. Вот почему, чтобы ненароком не травмировать слишком ранимых гостей, отнимать телефоны стали на входе у всех, кто предусмотрительно не оставил их дома.

Навеки утраченный гаджет стал единственно печальным событием того дня. Все остальное лежало в диапазоне от радостного до восхитительного. Правда, заполняя анкету на временный паспорт, я не могла вспомнить свой SSN, номер под которым числюсь в общеамериканской базе данных, а фотографируясь на паспорт в

автомате – забыла снять очки. Принимающий документы клерк вежливо поставил мне на вид и то, и другое, но бумаги вместе с просроченным паспортом в окошко принял. «У меня рейс на Тель-Авив сегодня в 7 вечера. Есть ли шанс, что мой новый паспорт будет готов до закрытия?» – с замиранием сердца спросила я. «Ваш временный паспорт будет готов через полтора часа», – буднично ответил он и выписал квитанцию на оплату 120-ти долларов. На часах было 10 утра. Я задохнулась от радости. Вот, оказывается, «с чего начинается Родина». Господи, в какой прекрасной стране я живу! Мне хотелось задушить в объятиях своего соотечественника-клерка, но так как это было неосуществимо, я подошла к громадному пузатому «негру преклонных годов», тоже своему земляку, американскому охраннику Консулата, и уткнувшись в его необъятный живот (выше мне было не достать), повторяла как заведенная: thank you, thank you, thank you so very much... Вечером того же дня, проходя мимо *униформы* на посадку рейса Торонто -Тель-Авив, я весело помахала ей на прощанье своим новеньким синим паспортом, не забыв при этом высунуть язык...

... Стоило мне с моим желтым чемоданчиком появиться в холле гостиницы на Мертвом Море, как подружки набросились на меня одновременно с кулаками и с объятьями. На это способны только женщины. Почему ты не звонила? Твой телефон не отвечает. Где ты была? Муж твой сходит с ума, звонил в гостиницу, звонил нам. «Пошли обедать, я умираю с голоду», – сказала я. За обедом они узнали то, о чем теперь известно вам. Во всяком случае, тем из вас, кто нашел мужество добраться до последней страницы.

Если в этой истории со счастливым концом вы не обнаружили «чего-нибудь особенного», значит я не умею рассказывать истории. Но эту, в любом случае, надо довести до конца.

Выпавший из расписания день ничуть не изменил наших каникулярных планов. Мы зажгли вторую свечу. Побывали в Араде, поднялись на Массаду и добрались до заповедника Эйн-Геди. Там мы любовались диковинными растениями и животными. Видели развалины храма медно-каменного века. Подходили к ручью и водопадам Давида, а напоследок заглянули в ту самую пещеру... На иврите она называется «меарат Давид».

Виталий Шрайбер

Калифорния, США



Вслед Михаилу Козакову. Литий, натрий, барий, кальций...

1

В один из выходных дней 2010 года у себя дома в Mountain View я сидел у телевизора и по российскому каналу смотрел интервью с Михаилом Козаковым, показанное в связи с его семидесятипятилетием.

Вообще-то я – не очень большой любитель телевизионных интервью с популярными артистами. Далеко не все они интересны за пределами сцены или киноэкрана. Как собеседники многие из них банальны и скучны. К тому же за давностью лет воспоминания о лучших фильмах советского кино и игравших в них актерах изрядно поблекли. Что касается театра, то в Америке я вообще почти забыл, что существует такое явление природы как драматический театр, да еще такой, в котором актеры работают по много лет, публика их хорошо знает, а власти время от времени жалуют им звания заслуженных или народных. Однако в данном случае я сидел, смотрел, слушал.

Дело в том, что личность Михаила Козакова и его биография – творческая и человеческая – в свое время вызывали у меня, скажем так, несколько повышенный интерес, в какой-то мере сохранившийся до сих пор. О причинах этого интереса – чуть ниже. При этом с достижениями Козакова как театрального актера я, в сущности, был почти незнаком. Знал, что он ярко начал актерскую карьеру, в двадцать три года сыграв Гамлета в спектакле, поставленном Николаем Охлопковым в театре Маяковского (и почти одновременно главную роль в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте»). Потом он сыграл множество других

ролей на сценах нескольких московских театров. Но об этом я знал лишь понаслышке, поскольку жил в Ленинграде.



Михаил Козаков. 1001material.ru

Видел я, конечно, несколько кино- и телефильмов с его участием, но тоже далеко не все. Наибольшую известность в кино ему принесли роли отрицательных героев или персонажей комических, на уровне гротеска: жестокий циничный делец Педро Зурита в фильме «Человек-амфибия», хромой полковник в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя», виконт в водевиле «Соломенная шляпка» и т. п. Видимо, режиссеры, выбиравшие его на эти роли, усматривали в его красивой внешности что-то демоническое, и в то же время нечто не присущее «простому русскому» или «настоящему советскому» человеку. Мне-то как раз именно это в нем казалось интересным, однако завоевать признание и любовь массового кинозрителя, имея в активе роли злодеев, негодяев, циников или придурковатых аристократов, даже очень хорошо сыгранные, трудно. Роль Феликса Дзержинского в советское время конечно же считалась положительной, но сейчас мы можем и ее занести в разряд «злодейских».

Что мне нравилось безоговорочно, так это его режиссерские работы на телевидении. К примеру, «Покровские Ворота» и «Безымянная Звезда»

несомненно относились к числу лучших советских телефильмов. Еще он прекрасно читал со сцены стихи – Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Бродского. И в этом жанре тоже был одним из лучших. В Израиле к восторгу местной публики он ставил и играл пьесы на иврите. Всего этого уже достаточно, чтобы сказать, что Михаил Козаков был человеком разносторонне одаренным. Но он еще и написал несколько биографических книг, интересных, потому что ему было о чем рассказать, и подкупающих откровенностью, отсутствием ощутимого старания выпятив свои достоинства и достижения и скрыть грехи и проблемы. А проблемы и грехи были, и немало, ибо характер у него, судя по всему, был трудный, беспокойный, наверно даже можно сказать, непутевый. Что-то всю жизнь не давало ему покоя, он метался из одного театра в другой, от одного режиссера к другому, от одной жены к другой, из России в Израиль, потом обратно в Россию.

Книги Козакова читаются легко, что свидетельствует о литературном даровании, хотя сам он оценивал его очень скромно и заявлял, что считает себя в первую очередь актером, и лишь в последнюю литератором, даже называл себя «бумагомарателем». Наличие дарования, как и скромная самооценка в этом деле, становятся понятными, если учесть, в какой семье и каком окружении прошли детство и юность Михаила Козакова. Его отец, Михаил Эммануилович Козаков, был хоть и не очень выдающимся, но все же писателем; близкими друзьями семьи – Анатолий Мариенгоф, Евгений Шварц, Борис Эйхенбаум и Михаил Зощенко, а соседями – Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Ольга Форш и прочие обитатели так называемого «писательского дома» или, точнее говоря, «писательской надстройки».

2.

Тут, пожалуй, самое время вернуться, к телепередаче, с которой я начал рассказ. Главное, из-за чего я сидел перед телевизором, было не столько все сказанное выше, а то, где и как происходило интервью с Козаковым. А происходило оно не в помещении телестудии в Останкино, и вообще не в Москве, и не в помещении. Козаков и молодая женщина-журналистка, бравшая у него интервью, бродили, беседуя, по улицам Санкт-Петербурга, в районе, где когда-то жил Михаил Козаков до отъезда в Москву и где по соседству в детстве жил и я. И все эти улицы были мне до боли знакомы.

Погода была пасмурная, сырая, типично петербургская. Козаков был в пальто и кепке. Шея до подбородка замотана шарфом. На лице – примерно недельная щетина, то ли в соответствии с модой, то ли просто от небрежности; выражение лица хмурое – как у человека, который крепко выпил накануне и еще не успел опохмелиться. Словно

подтверждая мою мысль, он изъявил желание зайти в попавшийся по дороге то ли магазинчик, то ли кафетерий, в общем забегаловку. Журналистка послушно последовала за ним. Козаков купил стакан вина, тут же у стойки выпил и пояснил: «Я человек пьющий. Не пьяница, но пьющий». Где проходит тонкая грань между этими двумя понятиями, он не уточнил.

Они шли по набережной Канала Грибоедова, и мне было совершенно ясно, куда они направляются. Вышеупомянутая «писательская надстройка» находилась в доме на углу Канала Грибоедова и Чебоксарского переулка. Этот маленький – каких-нибудь пятьдесят метров – переулок другим концом упирается в Малую Конюшенную улицу. На этой улице с середины тридцатых годов и до 1958 года жили мои родители, а с момента рождения в 1944 году и я. Только тогда она называлась улицей Софьи Перовской, а параллельная ей Большая Конюшенная – улицей Желябова. (Имена террористов при советской власти были в почете. Изначальные дореволюционные названия были возвращены этим улицам в годы перестройки).

Между этими улицами стоит лютеранская церковь Петер Кирхе. Позади церкви находится школа. Эта знаменитая, старейшая в городе школа была организована в начале восемнадцатого века немецкой общиной с ведома и одобрения Петра Первого. Называлась она Петри-шуле, то есть школа Святого Петра.

В школе преподавали и читали лекции виднейшие ученые: физик Ленц (тот самый, из закона Джоуля-Ленца), филолог Греч (соратник Булгарина и гонитель Пушкина), химики Менделеев и Бекетов, физиолог Сеченов; учились Карл Росси, Модест Мусоргский, Петр Лесгафт, Даниил Хармс и другие выдающиеся личности. В годы первой мировой войны школа была переименована в Петер-шуле (тогда же, когда Санкт-Петербург переименовали в Петроград). Ну а в 1951 году, когда я пошел в первый класс, это была мужская средняя школа № 222. В том же здании, разделенном попалам, находилась и женская школа № 217, только вход в нее был не со двора, а с улицы Софьи Перовской (то бишь Малой Конюшенной).

В 1952 году 222-ую школу окончил и Михаил Козаков. Я тогда был мал, в школе его не видел и ничего о нем не знал. О том, что он здесь учился, я услышал спустя несколько лет, когда на экраны вышел фильм «Убийство на улице Данте», где Козаков сыграл свою первую роль (молодого красивого негодяя), принесшую ему известность. Об этом судачили в школе и в нашей квартире, а девушка – соседка, бывшая ученица 217 школы, вспоминала о том, как чуть ли не вся их школа была влюблена в Мишу Козакова. О том, что на канале Грибоедова «живут писатели», я знал уже и раньше, так как в параллельном классе учился

Володя Кетлинский, сын Веры Кетлинской, а по бульвару улицы Софьи Перовской часто прогуливались две одинаковые девочки – дочери-близнецы поэта Всеволода Рождественского.

В 50-е годы Вера Кетлинская была известна как автор книг «Мужество» о строителях Комосмольска – на – Амуре и «В осаде» о блокадном Ленинграде. Книги были очень правильно советские. Кетлинская была убежденной коммунисткой, первым секретарем ленинградского отделения союза писателей, получила Сталинскую премию. Это, впрочем, не спасло ее мужа от ГУЛАГА, а ее саму от неприятностей из-за отца – адмирала царского флота. Всеволод Рождественский получил еще дореволюционное воспитание и образование. Писать стихи начал тоже еще до революции, но с советской властью поладил и горькой участи многих поэтов Серебряного века избежал. Был патриотом своего города. Участвовал в Великой Отечественной войне. Стихи писал в классическом стиле, в основном лирические, но, на мой вкус, довольно скучные.

3.

Дом 9 по Каналу Грибоедова (бывший Екатерининский Канал) – обычный петербургский дом, каких немало в этом районе. Он был построен еще в восемнадцатом веке и принадлежал конюшенному ведомству. Тогда он был трехэтажным. В начале тридцатых годов достроили два верхних этажа и разместили там писательский кооператив. В разное время в общей сложности там проживали более двадцати писателей и литераторов. В надстройке были низкие потолки и коридорная планировка – двери всех квартир выходили в один длинный коридор. Писателям было удобно ходить друг к другу в гости.

Козаков и журналистка подошли к дому, свернули за угол в Чебоксарский переулок, вошли во двор, затем в подъезд и по лестнице поднялись в надстройку. Козаков позвонил, им открыли; он представился. Ходил по квартире, казавшейся маленькой и тесной, что-то узнавал – «здесь была моя комната, а здесь комната брата», что-то не узнавал. О чем он думал в этот момент, что вспоминал? Может быть, вспоминал как в гости к его родителям в эту квартиру приходили их друзья и соседи – талантливые писатели и литераторы. А может быть, вспоминал трудности и трагические события, выпавшие на долю семьи. Его мать дважды – в 37 и 48 годах – арестовывали и сажали в тюрьму. В общей сложности она провела в заключении несколько лет, в том числе год – в одиночной камере. Побывала в заключении и бабушка. Семье пришлось пережить смерть двух сводных братьев Михаила: старший брат погиб на фронте за два месяца до конца войны; среднего случайно, из-за неосторожного обращения с пистолетом, застрелил товарищ.

Серьезно болел отец, который, хоть и избежал тюрьмы, но попал в опалу, его книги не издавали, в семье не хватало денег на жизнь. «Век-волкодав» прошелся клыками и по другим обитателям надстройки; затравленный Ждановым, заболел и умер Михаил Зощенко.

4.

Когда они вышли из писательского дома, журналистка спросила:

- Ну, Михал Михалыч, куда теперь? Может быть зайдем в школу, где вы учились?

- Давайте в школу.

По переулку, они прошли на Малую Конюшенную. По дороге журналистка спросила:

- А как вы учились в школе, Михал Михалыч?

- В школе я учился очень плохо, – не задумываясь ответил Козаков.

- Наверно, вам была скучны математика и естественные дисциплины? Но уж по русскому языку и литературе наверняка у Вас были хорошие оценки? – журналистка не могла себе представить, чтобы человек, читающий наизусть Пушкина и Тютчева и поставивший телеспектакль по лермонтовскому Маскараду, где сам сыграл Арбенина, имел плохие оценки по русской литературе.

- Да нет, у меня были плохие оценки по всем предметам, – заявил Козаков с обезоруживающей откровенностью, затруднив продолжение разговора о школьных успехах. Явно не зная, что еще спросить, интервьюерша замолчала.

Тем временем они вошли во двор «моего» дома и подошли к дверям «моей» школы. Последний раз я входил в эти двери примерно полвека назад. Козаков, вероятно, еще раньше. Двери изменились мало, только табличка обновилась – на ней теперь, наряду с номером 222, появилось имя Петри Шуле. В вестибюле школы их встретила какая-то учительница, возможно, завуч. Козаков озирался по сторонам с видом человека, который ничего не узнает. Я тоже ничего не узнавал. То ли абберрация памяти, то ли там все действительно перестроили.

Его спросили, что он хотел бы посмотреть. Он ненадолго задумался, потом сказал: – Пожалуй, я зашел бы в кабинет химии.

Это было неожиданно. Похоже, что не только я, но и обе женщины – журналистка и учительница – были удивлены. Почему именно в кабинет химии? И тогда я подумал об учительнице, которая вела уроки химии в 222-ой школе в те годы, когда я там учился.

5.

Её звали Фаина Соломоновна Лебедева. Это была рослая статная женщина с умным и выразительным лицом. Было в ее облике что-то

притягательное, а также нечто властное, что заставляло самых отъявленных шалопаев прилично вести себя на ее уроках. Если кто-то начинал валять дурака или болтать, ей было достаточно только пристально посмотреть, изогнув бровь, в сторону нарушителя, и тот тут же становился тихим и смирным. Запомнилось как однажды, рассказывая, какие металлы способны вытеснять водород, а какие, наоборот, вытесняются водородом, она заставила класс хором повторять последовательность металлов в ряду их электрохимической активности, вроде как белый стих:

Литий, натрий,
Барий, кальций,
Алюминий, цинк, железо,
Никель, олово, свинец,

И мы покорно, как первоклассники, повторяли это за ней. Вообще предмет свой она преподавала прекрасно. Во всяком случае, я и еще двое моих одноклассников заинтересовались химией. Однажды я задержался после окончания урока, чтобы о чем-то ее спросить. В разговоре она сказала, что если химия мне нравится, она советует пойти во Дворец Пионеров и записаться в химический кружок. Я послушался и так и поступил.

Через некоторое время я стал чувствовать, что Фаина Соломоновна ко мне как-то благоволит. Не могу даже сказать, в чем это выразалось, отметок она мне не завывшала, но это и не требовалось – я и так учился хорошо; никогда вслух меня не хвалила, да и вообще расточать похвалы или фамильярничать с учениками не была расположена; но интуитивно я ощущал что она меня как-то выделяет. Я приписал это тому, что я – хороший ученик и проявляю интерес к ее предмету. Вскоре, однако, выяснилось, что была и другая причина.

Как-то раз в выходной день мы с отцом, откуда-то возвращаясь, шли через Площадь Искусств, и он вдруг сказал, что ему надо зайти проведать пациента. Отец был хирургом, довольно известным в городе. К нему часто обращались за помощью или советом, и, будучи человеком почти безотказным, он то и дело кого-то консультировал, лечил. Я хотел было уже отправиться домой один, но он предложил: «Зайдем вместе, это ненадолго, тут рядом, тебе, может быть, будет интересно». Я пошел за ним, мы вошли в какой-то подъезд по соседству с Малым Оперным Театром, поднялись по лестнице, папа позвонил. Дверь нам открыла... Фаина Соломоновна. Я слегка обалдел от неожиданности, а она как ни в чем не бывало: «Здравствуйте, Марк Григорьевич, проходите пожалуйста, здравствуй Виталик». В школе она никогда не называла ни

меня, ни других учеников по именам. Только по фамилии. Пока я соображал, что стало быть папин пациент – муж моей учительницы химии, мы вошли в большую комнату с окнами, выходившими на Площадь Искусств. Там нас встретил седоватый человек в очках. Не помню, как его звали по имени-отчеству. Фамилия его, естественно, была Лебедев. Сначала они с папой удалились в соседнюю комнату, где папа его осматривал, и я видел, что все внимание Фаины Соломоновны приковано к этой комнате; затем они вышли, папа сказал что-то обнадеживающее, и ее лицо просто расцвело. Потом нас угощали чаем с чем-то вкусным, а Лебедев, оказавшийся сотрудником Русского Музея, интересно о музее рассказывал. По тому как Фаина Соломоновна смотрела на мужа, каким тоном она с ним разговаривала, каким непривычно мягким становилось в эти мгновения ее лицо, даже мне, мальчишке, было ясно, что эта женщина обожает своего мужа.

Спустя примерно год после этого визита – я был в восьмом классе и собирался переходить в другую школу в связи с переездом нашей семьи в другую квартиру – Фаина Соломоновна вдруг на несколько недель исчезла. Ее заменяла другая учительница. Когда же она появилась, я поразился перемене ее внешности. Она страшно похудела, лицо потемнело, под глазами залегли черные тени, в еще недавно темных гладких волосах появилось много седины, глаза были какие-то потухшие. Я рассказал об этом дома. Папа помрачнел и сказал: «Лебедев умер».

Потом я перешел в другую школу, а спустя пару месяцев мои друзья из 222-ой школы рассказали, что Фаина Соломоновна умерла. Она попросту не перенесла смерти мужа. Детей у них не было.

Не так уж долго я учился у Фаины Соломоновны Лебедевой, но вспоминал ее значительно чаще, чем других школьных учителей. В школе, куда я перешел, учительница химии была слабой, ее уроки были неинтересными, но импульс, полученный от Фаины Соломоновны, сохранялся: я продолжал посещать кружок химии сначала во Дворце пионеров, потом при Технологическом Институте. Правда после окончания школы я поступил на физический факультет, однако в итоге моей специальностью стала молекулярная спектроскопия, а это такая область, где физика сильно пересекается с химией. Так что мои школьные занятия химией даром не пропали.

6.

Козакова привели в кабинет химии. Он сел за один из столов. Огляделся. Кабинет, разумеется, выглядел не так как 50 или 60 лет назад. Тогда, по моим воспоминаниям, он скорее был похож на

университетский, чем на школьный кабинет. Козаков помолчал, как бы сосредотачиваясь. А потом забормотал:

Литий, натрий,
Барий, кальций,
Алюминий, цинк, железо,
Никель, олово, свинец

Услышав это, я уже почти не сомневался, что он учился у Фаины Соломоновны. И дело не только в том, что именно этот квазистишок запомнился и мне. Этот семидесятипятилетний человек прожил бурную жизнь, заполненную множеством событий – радостных, печальных и трагических. В школе, по собственному признанию, учился плохо, профессионально с химией не был связан, и вообще был человеком сугубо гуманитарного склада. Почти 60 лет непрерывно загружал свою память сотнями сложных драматургических и поэтических текстов. И если все же в каком-то уголке его памяти сохранился этот стишок и вообще его потянуло в кабинет химии, это что-нибудь да значит. И, скорее всего, это связано с учителем, который вел уроки химии в его классе.

Телепередача окончилась, а я сидел и думал, как бы проверить, работала ли Лебедева в 222-ой школе в те годы, когда Козаков там учился. В воспоминаниях Козакова, насколько я помнил, она не упоминается. Без особой надежды я набрал в Интернете «Фаина Соломоновна Лебедева». И тут же нашел воспоминания некоего Олега Евгеньевича Глухова, окончившего 222-ю школу на пять лет позже Козакова (и, стало быть, примерно на столько же раньше меня).

Глухов пишет: «Моя учительница химии была классным руководителем Козакова. Его любимой учительницей. У нее был потрясающий старинный кабинет, пропитанный духом Менделеева, еще дореволюционное помещение». И далее: «Как-то раз раз на уроке химии произошла следующая мизансцена. Идет урок, и в один момент входит в класс Михаил Козаков с огромным букетом цветов. Он идет через весь класс, в трех метрах от Фаины Соломоновны Лебедевой он встает на колени и последние три шага проползает на коленях. И вручает ей букет цветов. А потом Козаков пригласил Фаину Соломоновну и весь наш класс на спектакль, где он играл Гамлета».

Вот это да! На коленях полз! Ничего не скажешь, артист! Скорее всего, однако, помимо склонности к театральным жестам, у Козакова были и более весомые причины вставать перед классной руководителем на колени и дарить ей цветы. Классные руководители, особенно женщины, зачастую больше всего общались и возились именно с плохо успевающими учениками и иногда испытывали

к ним какие-то чувства сродни материнским. А ученик Козаков был к тому же весьма обаятелен. Рискну предположить, что Фаина Соломоновна проявляла снисходительность к его плохой успеваемости, возможно, даже спасала от исключения из школы или оставления на второй год. Ведь она была достаточно умна, чтобы почувствовать, что перед ней не просто лодырь и разгильдяй, а незаурядная личность, которая именно в силу своей незаурядности плохо укладывается в общепринятые нормы учебы и поведения. А если дать волю фантазии, то можно предположить, что и на юного Козакова могло действовать своеобразное обаяние этой умной и сильной женщины, и что, когда он добился успеха, ему захотелось предстать перед ней уже не отстающим учеником, а принцем Гамлетом.

Характерно, что в памяти этих двух людей – известного актера Михаила Козакова и совершенно неизвестного мне Олега Евгеньевича Глухова, так же, как и в моей памяти, ярко запечатлелась одна и та же личность – учительница химии. Не литературы, не истории, а химии. А между тем, школьный курс химии – не самый увлекательный предмет. Значит, более важным была личность, сила ее воздействия или обаяние. Но что такое обаяние? Какие флюиды исходят от обаятельного человека?

Здесь, в Америке, слово chemistry часто используется для обозначения взаимного расположения или притяжения двух людей. Встретились два человека, и между ними возникла chemistry (или, наоборот, не возникла). Большинство, вероятно, полагает, что chemistry – просто слэнговое словечко, идиома. Известно, однако, что любовное (сексуальное) влечение действительно связано с действием определенных гормонов и других химических соединений. Может быть взаимное интеллектуальное притяжение тоже сопровождается некой химией, и отношение преподаватель – ученик или артист – зритель тоже? Если есть химия жизни, химия любви и уже кое-что известно о химии памяти, то вероятно есть и химия обаяния, изучив которую можно будет понять, чем отличается наша химическая реакция на обаятельного человека от реакции на заурядного.

Сергей Кузнецов

Б.Вашингтон, США



Memento mortuum tuum...

Одно только и остаётся в нынешнем моём, довольно-таки невразумительном положении: «роскошь человеческого общения». Вчера снова два часа проболтали с Эзрой. Казалось бы, о чём мне, сыну учителя, внуку раввина, профессору психиатрии, рассуждать с простым кузнецом, необразованным, словно дитя природы, притом на 24 года меня старше – а в нашу пору и десять лет целую эпоху составляли. Когда говорю «старше», подразумеваю тамошний год рождения. Здесь-то все мы – молодцы удалые, удалцы молодые: кому тридцать, кому сорок, а некоторым дамочкам так и по восемнадцать («Токи-токи из гимназии», говаривали в пору моей предреволюционной юности). Проще сказать, с каким возрастом сам себя отождествляешь, на те года и выглядишь. Не считая детей... только это совсем уж печальная история...

Возвращаясь к Эзре, и знать-то я его в жизни не знал, даже не подозревал о его существовании. А вот поди ж ты, прилепились друг к дружке не на шутку: вызывают нас всегда вместе, да вроде как и не чужие мы теперь. И вовсе не таким оказался он простачком, как прикидывался. Пусть у Эзры всего только два класса хедера за плечами, и по-русски говорит – обхохочешься: путает, например, слова «дверь» и «зверь», потому что на идиш тоже похоже, «тюр» и «тир». Но смекалки у него, или, по-нынешнему выражаясь, интеллекта – хоть отбавляй. Мыслит Эзра интуитивными категориями, и зачастую прогнозы его – насчёт той, верхней жизни (впрочем, вполне возможно, как раз наоборот, нижней) – так вот, его предсказания сбываются чаще, чем мои

собственные. Особенно в вопросах, касающихся еврейского народа, иудаизма и Израиля: он свято чтит Тору, помнит наизусть длинные пассажи, и черпает оттуда свои ответы. Впрочем, у него и впечатления посвежее: он хоть и родился задолго до меня, но скончался пятью годами позже...

Контроля над нами никакого, да и не видать окрест никого, кто взялся бы оный контроль осуществлять. Иными словами, гуляй – не хочу, общайся вволю, с кем только душа ни пожелает, – ежели, конечно, удостоят. Поделюсь вот на радостях: в позапрошлый приход свершилось одно из важнейших событий... чуть было не сказанул – моей жизни... нет, не жизни, конечно, но всё равно, выдающееся событие! Удостоился аудиенции у самого Льва Николаевича Толстого! Святой человек, всех желающих принимает, в порядке живой, если позволите так выразиться, очереди. Крепко я нервничал, волновался, куда сильнее, чем в Ясной Поляне, – когда в комнату входил, под сводами которой писались «Война и Мир», или стоял у дивана, на котором Толстой родился. Но Лев Николаевич так по-доброму меня приветствовал, ласково так успокоил... и проговорили мы с ним всё время, мне отпущенное, покуда не приспела пора уходить... не от него уходить – в чёрный туман...

Сам-то Лев Николаевич никогда не уходит. Ибо в любой момент найдётся там, наверху, человек, который о нём думает, книгу толстовскую читает. Вступаешь в его пределы, и открывается такая картина: сидит Толстой в серебристо-голубой дымке, словно Господь Бог на облаке, в поддёвочке своей, с длиннющей белой бородою, весь в морщинах... знать, сам себя стариком ощущает. Захватывающе интересно побеседовали, о многом расспросить его удалось, особенно насчёт любимой моей «Крейцеровой сонаты». Потом перешли на вопросы, обоих нас горячо волнующие: воспитание подростков, выбор супруга, выбор профессии. Лев Николаевич интересовался моими научными разработками! Боже, какой чести я удостоился! Напоследок рассказал ему, как папу побили в местечке за то, что читал на чердаке «Анну Каренину» по-русски. Лев Николаевич очень смеялся! Снова заглядывать приглашал...

К глубокому моему изумлению, очередь к Толстому оказалась не такой уж и долгой. Воистину, иные времена, другие кумиры! Самая длинная очередь стоит к одному... вы не поверите, гитаристу! Мне даже и фамилию называли: Высоцкий. Но к нему-то, как раз, новички в основном рвутся, коих здесь тьма-тьмушая, оттого что каждый день их пока ещё вспоминают. А нас, старожиллов, всё меньше приходит... Некоторые давние собеседники мои по несколько лет уж не показывались...

Верно, дети их, или кто другой мыслями к ним обращался, сами уже здесь, некому больше вспомнить. Грустно делается, господа... А ещё, можете не сомневаться, длиннющие очереди к вождям: одни к Ленину норовят попасть, другие к Сталину. Однако ж, у этих приёма добиться – задача не из лёгких! Ленин, – тот, говорят, исключительно членов партии принимает, причём у кого партийного стажа больше, – вперёд идёт. Сталинские интересы пообширней... ну да мне с ним не о чем толковать! С меня и того хватило, что столкнулся нос к носу, лично с майором Копыловым, своим следователем! Гражданин майор, как ни удивительно, тотчас меня опознал, – и, представьте, струхнул не на шутку. Побелел, свинячья, раскормленная физиономия его, что называется, мучительно исказилась, жёлтые рысьи глазки забегали, заметались: куда б улепетнуть. Потом опомнился, осознал, что физическое взаимодействие здесь невозможно. Овладел собой, распрямился и задом, глаз с меня не спуская, отступил в боковой коридор. Этот самый страж социалистической законности, надменно-властный, равнодушно-жестокий, допрашивал меня еженощно в 48-м и в начале 49-го, незадолго до того, как я... как со мной... нет, не буду об этом, больно...

Сменю-ка, пожалуй, тему... поведаю о другой захватывающей встрече. Чтоб понятней было, начну с самого начала. Стоял октябрь 41-го, мы спешно отступали от Вязьмы. Вывозим два эшелона раненых: одним командую сам, другим – мой заместитель, капитан медслужбы Вася Башкирцев, черноволосый, пышущий здоровьем крепыш тридцати шести лет от роду. Вражеская бомбёжка настигает нас в 15 км от Вязьмы. Польшают вагоны, те, кто не могут самостоятельно передвигаться, гибнут в огне, остальных собираю, и мы пешком направляемся в Можайск. Ночь, адский холод, как на грех, полная луна. Я иду впереди, Вася сзади, а между нами хромают, стонут, ползут, проклинают жизнь, взывают о помощи около 900 раненых...

И вдруг целая стая вражеских самолётов. «Ложись!» – 900 человек рухнуло, а враг поливает дождём огня. Вот возле меня погибли трое, вторично ранены человек пятьдесят. Крики, муки, – ужас! Дж, дж... – свистят бомбы. Я прячу голову в грязь, я жду. «Только бы не голову!» Потом вспоминаю: «А ноги? Как же я без ног?» Поджимаю ноги. И ничего, ничего в мире мне не нужно, кроме целой головы и здоровых ног. Но вот стихла бомбёжка. Поднимаюсь: на губах, в ушах, в глазах – липкая, тяжёлая грязь. Впереди ещё 110 километров пути, и тут слышу: вражеские самолёты заходят по второму разу... Вновь ад кромешный... Наконец, улетел фашист. Встаю, делаю переключку своему увечному воинству. До ста погибших, множество тяжело раненых... а чуть в

стороне, на краю воронки, – Василий... Вася мой, без обеих ног, растерзан живот, вместо кишечника – кровавое месиво...

Как довёл я их тогда до Можайска – отдельный рассказ. Лишь в 47-м удалось выбраться в Ставрополь, к Васиной вдове. Начал было понемногу помогать им с сынишкой... Но сейчас о другом. Гуляем мы с Эзрой по бесконечным нашим, дымным пространствам и натываемся – на кого бы вы думали? На Ваську Башкирцева, собственной персоной! Целёхонького, невредимого и даже довольно-таки жизнерадостного, если уместно здесь это слово. В новеньком, с иголки штатском костюме-тройке, при галстук и в лакированных штиблетах. Бросились друг к другу, обнялись... я, чего греха таить, прослезился...

Теперь задумываюсь иногда: а не ради таких ли вот, душу раздирающих встреч всё оно тут и затеяно?

Не сказать, чтоб и эта история бодрила... Эдаким макармом далеко не уедешь: выше нос, больше оптимизма! Задача, доложу я вам, вполне выполняемая. Потому как, удивительное дело: ни неврозов не наблюдается у местного населения, ни психотических вспышек, ни депрессий. И это ведь, зачастую, – после трагической гибели! Поначалу непривычно было без пациентов: никто не испрашивает консультации, не поверяет симптомов, не празднует исцеления. Но я рад: довольно мы на Земле пострадали, хватит! Впрочем, отъявленные мерзавцы, может, и казнятся, как знать. Бежать им некуда, даже руки на себя не наложишь...

Итак, решено: говорим о весёлом! У нас иногда такие штуки приключаются, животики надорвёшь. Недавно, например, является в шкаурах один: кроманьонец! Бегаёт, косматый (и не слишком, прибавлю, благоуханный), копьём своим потрясает, лопочет невразумительное. Шарахается ото всех, по углам прячется. Ни расспросить, ни объяснить ничего – невозможно. Кто, откуда? Долго понять не могли, наконец, разведали. Оказалось, раскапывали в Тюрингии одну пещеру, откопали кремниевые орудия. Поскребли, вымыли, да и поместили в музей, честь честью. Подходит посетитель к витрине, наконечниками этими любитесь и думает: «Что за мастер был доисторический, голыми руками такие изделия отчебучил?» И вызывает своими мыслями нашего кроманьонца! И топчется тот, бедолага, средь здешней братии, сплошь выходцев из двадцатого да двадцать первого века, безо всякого смысла и толку. Хорошо, оказался сей лучший мир не без добрых людей: отыскали другого, похожего, – из Китая, правда, и годков этак на тышонку помоложе. Но что значат, по тем временам, одна тысяча лет или пять тысяч вёрст? Общаются теперь вовсю, не ведаю уж, на каком диалекте... один от другого не отходит.

Ну, заболтался... А нам ведь скоро на выход! Закатывается солнышко за славный город Бостон, опускаются на предместья прозрачные лиловые сумерки, вспыхивают золотом окна, с работы возвращается трудовой американский люд. Пора, стало быть, и Андриюшеньке за стол садиться. Внук наш любимый, доченьки моей и Эзрино сына сынок... после меня уже дети встретились. Мальчик он добрый... это ничего, это не очень опасно, что любит Андриюша за обедом чеколдыкнуть. По совести, конечно, еврейское ли дело – каждый день водку? Зато уж, первой рюмочкой непременно предков покойных помянет: нас с Эзрой и Фаню с Рахилью. Вроде ритуала это у него, Эзра говорит – вместо молитвы. Тут-то мы, всей мишпухой, и выходим... Супруга Андриюшку пилит, чтоб пагубную привычку бросал и навсегда с алкоголем завязывал. Так-то оно так, абстиненция лучше для него, здоровее, жить нашему мальчугану до ста двадцати! Только мы с Эзрой гадаем: а часто ль он тогда о нас вспомнит?

Ну что ж... что ж тут попишешь... Раньше ли, позже, а уходить нам всем навек, уже без возврата. В чёрный туман уходить, так мне представляется, сиречь, в никуда. Но Эзра только руки потирает, жилистые свои руки кузнеца-молотобойца, да посмеивается в курчавую бородку (далее – мой вольный перевод с идиш):

- Шеолом отделаться захотел, чистилищем? Экой ты, брат, шустрый! Нечто запамятовал: «Воздастся каждому по добродетелям его и грехам его!»

И подкрепляет сей многообещающий стигийский прогноз пространной цитатой из Торы...

Ирина Чайковская

Б.Вашингтон, США



Симонетта Веспуччи

О рассказе «Симонетта Веспуччи»

В 2016 году я прочитала присланную мне статью сотрудницы московского музея И. С. Тургенева Елены Михайловны Грибковой. В статье была выдвинута новая версия происхождения Варвары Богданович, в замужестве Житовой, воспитанницы матери Тургенева. Говорилось, что Варенька – дочь Сергея Николаевича Тургенева, отца писателя, красавца, умершего в 40 лет, и княжны Екатерины Шаховской. В свое время роман этот прогремел в московских дворянских кругах. Иван Тургенев рассказал о нем в своей повести «Первая любовь». Версия Елены Грибковой показалась мне очень правдоподобной, но не до конца обоснованной. У меня возникли вопросы, которые я передала Елене Михайловне через свою хорошую знакомую, бывшего директора Тургеневской библиотеки Татьяну Евгеньевну Коробкину. Татьяна Евгеньевна обещала вопросы передать, но через некоторое время мне сообщила, что Грибкова тяжело больна, а потом, очень скоро, – что она ушла из жизни. Вопросы остались со мной. Версия повисла в воздухе.

Я решила продолжить исследование Елены Михайловны, докопаться до ответов на свои вопросы и постараться обосновать выдвинутую версию. В сборе материалов мне помогли и Татьяна Коробкина, и директор музея Тургенева Елена Валерьевна Полянская, и директор музея–усадьбы Ясная Поляна Екатерина Александровна Толстая. Благодарна им за помощь! Статью, а вернее, целую книгу, пишу до сих

пор – по строчке в день, так как времени на «свою» работу очень мало. А вот рассказ написан быстро и спонтанно. «Симонетта Веспуччи» – рассказ о драматических женских судьбах. В основе его – судьба Вареньки Богданович, приемной дочери Варвары Петровны Тургеневой, с 17-летнего возраста, со смертью «барыни», оказавшейся в очень тяжелой моральной и материальной ситуации.

Мне было важно проследить цепочку женских судеб – Симонетта Веспуччи – Екатерина Шаховская – Варенька Богданович... В этой цепочке Полина Виардо выступает как некий противовес всем перечисленным женщинам, она другая – и по судьбе, и по типу – и скорее, напоминает мать Тургенева. Меня могут спросить о мере правды в рассказе. Все что касается фактов – достоверно, остальное дело интуиции и творчества, это не хроника, а художественное произведение.

Буду признательна, если читатели ЧАЙКИ, с которыми я всегда делюсь своими писаниями, откликнутся на этот рассказ и выскажут о нем свое суждение.

Ирина Чайковская

Симонетта Веспуччи

Он не знал, что впереди у него не осталось времени. Надеялся, что вывернется, что болезнь как-нибудь однажды возьмет – и исчезнет. Правда, он уже пережил возраст своих родителей, те умерли рано, отец в сорок лет от мочекаменной болезни, маменька в шестьдесят три, скорей всего, от дурного своего нрава и характера. Но нынче и медицина посильнее, да и он еще довольно крепок – совсем недавно пропадал по целым дням на охоте со своей Дианкой, в ведро и ненастье скитался по нехоженным лугам, увязал в болотах. К тому же, он давно живет в благословенной Франции, это тоже плюс, климат помягче, люди поприветливей, не сравнить с хмурой, равнодушной к человеку родиной.

Болезнь однако томила, особенно по ночам, боль в груди не давала пошевелиться, перевернуться на бок – приходилось колоть морфий.

Эту ночь он провел, слава богу, без морфия, но не спал. В полудреме представлялась ему Италия времен Ринашименто, божественный Боттичелли, женская обнаженная фигура – Венера, рождающаяся из морской пены, и она же в виде Флоры, чуть юнее и беззаботнее лицом, в цветах и травах, разбрасывающая розы на своем пути. Какая-то мысль уплывала, не давала себя схватить. Он стяхнул дрему, открыл глаза.



Иван Тургенев. Акварель К.А. Горбунова. 1838

Тени на потолке сложились в виде латинской буквы S. Он тотчас вспомил имя – Симонетта, Симонетта Веспуччи. Красавица, провозглашенная на рыцарском турнире, проводимом братом Лоренцо Великолепного, Джулиано, *la bella di Firenze*, прекрасная блондинка, прибывшая к флорентинскому двору из провинциальной Лигурии, где, по слухам, родилась в местечке с символическим названием Портовенере. Замужняя дама, юная, живая, наверное, писала стихи. Сразу обратила на себя внимание – даже строгий, девственно неприступный Боттичелли не устоял, все его женские модели имели лицо Симонетты, все были белокуры, юны, тонки и изящны. Что до Джулиано Медичи, младшего брата правителя, поэта и беззаботного философа, то тот просто потерял голову... Преследовал ее, чужую жену, своею любовью, победив на турнире, во всеуслышанье – посвятил свою победу ей, Симонетте. Скорей всего, за это и поплатился, когда в 25 лет был убит в церкви Санта-Мария -дель-Фьоре заговорщиком, с говорящей фамилией Пацци.¹⁷

¹⁷ Сумасшедшие (итал.)



Флора. Фрагмент картины Сандро Боттичелли «Весна»

Тени на потолке лежали густо, до утра было далеко. Он попробовал повернуться, застонал и остался лежать на спине, в этом положении боль можно было терпеть. Кто-то много лет назад говорил ему о Симонетте, кто-то из Италии, показывал копии боттичеллиевской Флоры, то ли это был русский, то ли... Малоросс – он вспомнил, – это был малоросс, родом из Закарпатья, даже не малоросс, а русин, странный, небольшого роста человечек в зеленой венгерке, с кожаным чемоданчиком в руке. Приезжал сюда, на улицу Дуэ 50, проездом из Италии в Россию, в середине 1870-х...

Он лежал, боясь пошевелиться, и старался припомнить тогдашний разговор. Сидели в гостиной на огромном зеленом диване, раньше над ним висела картина Теодора Руссо, пришлось ее продать, как и все любимые картины, чтобы помочь дочери Полинетте, когда муженек ее разорился и она убежала с детьми в Швейцарию. Это было его любимое место, его холостяцкий приют, где все было по его вкусу и размеру. Мадам Виардо редко здесь появлялась, хотя порой он был бы рад с ее помощью избавиться от докучного посетителя. А посещали его чуть не каждый день – ищущие правды российские разночинцы, студенты,

художники, медички... Многие просили о помощи – денежной или словесной, и он как мог помогал, бывали и иностранцы – слава его уже гремела в мире.

Гость, его звали Эммануил Иванович Грабарь, хорошо говорил по-русски, хотя, по его словам, выучил язык самоучкой. Никогда не живя в России, он туда стремился как на свою заветную родину, был настоящим русофилом, ненавидел Австро-Венгерскую монархию, под властью которой, как он говорил, томилась его родная Галитчина, с кружком сочувствующих составил тайный противоправительственный заговор, был открыт – и с трудом избежал тюрьмы, скрывшись сначала во Франции, а затем в Италии. Там, в Италии, – сказал он, со значением глядя в глаза собеседнику, – *с ним и началась эта история.*

– Какая история, любезный Эммануил Иванович? – слегка испугался хозяин.

Гость был настолько мал и хлипок, что совсем не подходил на роль заговорщика, сокрушителя основ. Уж не фантазер ли или чего доброго слегка спятивший на своей идее? Таких среди соотечественников было много, он их побаивался. Правда, были среди них и такие гиганты, как Петр Лаврович Лавров или Герман Александрович Лопатин. Этих двоих, людей умных и высокообразованных, он выделял, их сумасшествие было сущностным, оно не бросалось в глаза.

Галичанин, все так же пристально глядя на собеседника, отвечал:

– Да, видите, стал я скучать, жена с детьми в Закарпатье, я один в чужом краю. Служил я воспитателем у малолетних детей Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато. Имение у него наикрасивейшее, под самой Флоренцией, природа, статуи, краса да и только, но меня больше библиотека его привлекала, с русскими книгами. Нашел там ваши сочинения, Иван Сергеевич, – и ими от душевной моей туги спасался. Одна вещь особенно мне на сердце припала.

– Какая же?

– Повесть ваша «Первая любовь».

– Вот никогда бы не подумал, что человека вашего склада, политического заговорщика, привлечет эта тема. Что же вам там понравилось?

– А княжна, молодая княжна Зинаида Засекина, – простодушно отвечал гость, – и понизив голос, почти шепотом, продолжал. – Она очень напомнила мне одно изображение, одну картину. Я видел ее в галерее Уффици. Знаете, Иван Сергеевич, о чем я?

Станный гость ждал ответа, а в голове у хозяина снова мелькнуло: не безумен ли собеседник, но, скорей всего, он просто верит в сверхъестественные силы писателя, способного проникать в психические бездны других людей.

- Нет, Эммануил Иванович, не смогу угадать вашу загадку, сами скажите, заинтриговали.

- Ну как же, как же, вы же автор...Ведь вот, смотрите, – гость потер лоб и проговорил нараспев как стихи: «... в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия». Или вот еще, он начал не вдруг, но потом проговорил не сбиваясь: «... я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки и слегка растрепанные белокурые волосы... и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними...» Разве это не Флора с картины Боттичелли? Ведь точно она.

Из кожаного портфельчика гость достал листы со своими зарисовками.

- Поглядите, Иван Сергеевич, копии мои дурны, но даже по ним можно видеть, что и Венера, и Флора у Сандро Боттичелли – это один женский тип. Все она, везде она, гарная дивчина, чародейка Симонетта Веспуччи. Идеал великого Сандро, его первая и последняя любовь. Да вы про то сами все знаете. Он повернулся к собеседнику всем своим маленьким телом, вперил в него острый немигающий взгляд. – Могу я,



Варвара Богданович-Житова

Иван Сергеевич, задать вам прямой вопрос? Я, собственно, ради него к вам пришел.

Спрашиваемый поежился как от сквозняка. Что за вопрос? О чем? О Симонетте Веспуччи? При чем тут она? Какое отношение имеет она к его повести? По обыкновению, ответил уклончиво:

- Смотря какой вопрос, Эммануил Иванович, на некоторые прямые вопросы я ни прямо, ни косвенно не отвечаю.

- Мой вопрос совсем легонький. Кто была ваша Симонетта Веспуччи, Иван Сергеевич?

- Вы говорите про «Первую любовь»?

- Именно про нее.

- А для чего вам это знать, уважаемый Эммануил Иванович?

Вышло не слишком учтиво, обычно он не позволял себе с посетителями таких резкостей, но тут что-то в нем зыграло.

Собеседник отвел взгляд и покраснел.

- Вы правы, Иван Сергеевич, это праздное любопытство, благодарствуйте и извиняйте.

Поговорили о дальнейших планах гостя. Оказалось, что он уже завтра отправляется в Россию. И конечный пункт у него ни Москва, ни Петербург, а Рязанская губерния, уездный городишко Егорьевск. Он уже списался с тамошним школьным начальством, будет преподавать французский и немецкий в местной прогимназии. Дети и жена прибудут в Егорьевск, когда он окончательно устроится. С родиной своей души, Россией, он встретится в ее неприметном уголке – тем лучше. У него широкие планы, горячие надежды, наконец он увидит то, ради чего рисковал жизнью.

Хозяин снова поежился и, улыбнувшись на прощанье, попросил уходящего написать о первых впечатлениях. Тот обещал. На этом они простились.

Днем все было как обычно: умыванье чужими руками, утренний стакан молока, посещение врача, почта с письмами из России и прочих стран, мучительные попытки написать что-то в ответ, снова молоко – в день ему было прописано 11 стаканов, потом бессмысленный день в постели, когда радость приносят только звуки, доносящиеся снизу, от Полины, в часы ее занятий с ученицами. В полдень на минутку забежала Клоди, обдав свежестью январской морозной улицы, запахом духов, прелестью очаровательной тридцатилетней француженки, удачно вышедшей замуж, но не боящейся флирта и легких приключений. Ее и младшую дочь Полины, Марианну, он любил как своих дочек, даже больше; его родная дочь Полинетта и вполнину не была ему так близка;

что до Поля, в котором многие находили сходство с ним, – оба относились друг к другу настороженно, даже предубежденно, что не помешало ему подарить подрастающему, подающему надежды музыканту скрипку Страдивари. Девочек Виардо он также обеспечил приданым, да и этот дом на улице Дуэ, где он жил на правах квартиранта, куплен был на его деньги. Полновластной хозяйкой дома была однако Полина, и это нисколько не противоречило его собственному желанию, что бы по этому поводу ни говорили его русские друзья.

Днем ему думать не хотелось. Зато ночью, когда Полина оставила его одного в компании ночника и колокольчика, он снова вернулся к вчерашним мыслям. К той странной встрече и вопросу незнакомца: «Кто она, ваша Симонетта Веспуччи?»

Ее имя в их семье было предано забвению. Матушка запретила о ней упоминать – ни устно, ни в письмах. Екатерина Шаховская. Княжна Катенька Шаховская. Матушка уничижительно звала ее «поэтка», так как она писала и печатала в журналах стихи и поэмы. Романтическая душа. До сих пор ему непонятно, как такая девушка, в которую нельзя было не влюбиться и которая легко могла покорить и женить на себе любого встреченного ею мужчину, как она стала любовницей женатого человека, его отца. Безоглядность юности? Любовь, разрушающая моральные преграды и условности света? А отец? Разве он не понимал, что губит эту молодую жизнь? Сейчас ему кажется, что отец попросту не успел. Умер раньше, чем смог что-то сделать для своей любимой... Умер в сорок лет. Знал ли он, что у его связи были последствия? Что у княжны был от него ребенок? Конечно, знал. Знала ли об этом матушка? Бесспорно. Она не была глуха и слепа, будучи старше отца и не обладая прикательной внешностью, матушка не могла рассчитывать на его верность, но хотела хотя бы соблюдения приличий. Между тем, отец поселился отдельно, словно и не было у него жены и сыновей, сплетни и толки о его связи долетали до ушей соломенной вдовы, долетали и до них с братом. Было ему в ту пору пятнадцать, и он ничего не понимал ни в жизни, ни в любви; сказать по правде, он и сегодня, на краю жизни, понимает в них не намного больше. Катя Шаховская. Сама весна и радость, сероглазая, светловолосая, живая – дивная, умершая в 22 года, как та, которую любил гениальный художник...

Поразительным образом все события того печального времени слились в один нитяной клубок, который вдруг стал разматываться с невероятной быстротой.

Лето 1833 года, когда родители объединились на даче возле Нескучного, как потом оказалось, только для того, чтобы через месяц окончательно разъехаться – матушка обнаружила, что отец тайно

встречается с возлюбленной; *его* поступление в университет, перевод в Петербург, отъезд матушки – одной – на лечение за границу, неожиданная смерть отца, отцовы похороны в отсутствии жены, даже не подумавшей поспешить к осиротелым детям и вернувшейся только через восемь месяцев после похорон. Все это как картины какого-то кошмарного и чужого сна следовало одно за другим и не доходило до его сознания. Как всякий юнец, он не хотел тогда думать о мраке и смерти, прогонял от себя морок, уходил в свои сферы – поэзию, науки, латынь...

Отец умер в 1834, матушка вернулась в 1835, а через год, в 1836, умерла княжна Шаховская. Правда, была она уже не Шаховская, а Владимирова. Даже до него, тогда студента, казалось, полностью отключившегося от всего происходящего, доходили слухи о ее катастрофическом замужестве – ее избранником стал бедный вдовец-чиновник, служащий почтового департамента, без имени, без денег, без положения. На что еще могла она рассчитывать после истории с отцом?

Все в этой судьбе напоминало о роке и пахло смертью и тленом. Но было в ней и другое – был росток новой жизни, зеленый внешний росток, несший семя его отца...

Следующий день прошел как и предыдущий. Болела спина от лежания, но перевернуться по-прежнему было невозможно из-за возникающей тотчас резкой боли. Он старался не стонать и «не мучить окружающих» своими просьбами.

Утром за ним ухаживала сиделка, днем, как правило, приходила Полина. Она поднималась к нему, оставляя другого страждущего, – несчастного Луи, своего престарелого мужа. Вот уже восемь лет, с тех пор как его разбил инсульт, этот бывший живчик обездвижел. Даже когда был он здоров, выдержать его нескончаемую болтовню, его галльскую потребность удивить собеседника, его вечные шуточки – было тяжело.

Он терпел Луи Виардо, даже выказывал дружелюбие – исключительно ради Полины. Муж, будучи на 23 года ее старше, всегда был для нее немножко «папа», и это при том, что смотрел ей в рот и плясал под ее дудку. Сейчас Луи был парализованный инвалид и изматывал окружающих тяжкими стонами и бесконечными жалобами на все – на плохих врачей и горькие лекарства, дурной сон и отсутствие аппетита... В первую очередь доставалось Полине.

Сегодня она пришла совершенно вымотанная. Села возле его постели и задремала. В ее присутствии он всегда чувствовал прилив сил, она давал ему уверенность, что все будет хорошо. Сейчас, задремавшая и не

способная защитить даже себя, Полина была вдвойне ему дорога. Он по-новому вглядывался в ее черты: склоненное на грудь бледно-оливковое лицо, темные веки, тяжелые, сходящиеся на переносице брови, начинающие сесть черные завитки возле ушей. Ближе к старости ее черты стали менее резки, приобрели величавость и покой. Он любил в ней все, ему нравилось, что она не была красавицей, не отличалась веселостью и беззаботностью, не умерла молодой, как ее старшая сестра, великая Малибран. В ней был характер, была воля, редкий мужчины мог ей противостоять. Этим она напоминала его матушку. Но у матушки не было дара, не было той божественной искры, которая, вселяясь в женщину, делает ее неотразимой.

Ночью он продолжал разматывать клубок, связанный с незнакомцем. Месяцев через пять после его посещения, весной, пришло от него письмо, где в обратном адресе значился Егорьевск Рязанской губернии. Разрезая конверт, *он* постарался представить, что будет в этом письме. Конечно же, разочарование, полнейшее разочарование в той реальной России, какую мог увидеть прибывший из Европы восторженный русофил, жалобы на дикость нравов, на нищету и отсутствие элементарных удобств, а также на директора и воспитанников, констатация повального невежества и бескультурья населения... Он был больше чем уверен, что ничего другого в письме не будет. И... ошибся.

Его странный гость писал, конечно, о бедности жителей Егорьевска и о бытовых неудобствах, но главным в его письме было не это. Он попал в Россию в январе, окунулся в русскую зиму и описывал свое первое впечатление от снега, мороза, метели, а потом от внезапной февральской лазури, когда вдруг, на недавно хмурой и суровой высоте, проглянуло солнце и небо очистилось и заголубело. Кроме природы, тронула его доброта русских людей, помогавших ему, иностранцу, в обзаведении, квартирная хозяйка принесла ему овчинный тулуп и шкалик «для сугреву», столоваясь у нее, он узнал вкус настоящей русской еды – ржаного хлеба, грешневой каши, квашеной капусты, соленых грибков и чая утром, днем и вечером.

Но больше всего поразило автора письма то, что имя писателя, которого он любил и выделял, чью повесть «Первая любовь» знал почти наизусть, не только не забыто в мелком уездном городишке, но вознесено на небывалую высоту. Он, по счастливой случайности, познакомился с некой особой, дающей уроки музыки и иностранных языков. О, это удивительная особа, она уже не столь молода, лет сорока, весьма образованна и держит себя с редким достоинством, хотя по всему видно, что живет ей нелегко. Так вот, эта дама, узнав, что он в Париже виделся с создателем «Первой любви», просияла и сказала, что он обязательно должен ее навестить, так как в ее доме представлен

настоящий музей Ивана Сергеевича. Она продиктовала ему адрес съемной квартиры, в которой жила с мужем и дочерью. Выждав из вежливости несколько дней, в ближайшее же воскресенье – а оно выдалось по-настоящему майским, солнечным и теплым – он отправился по указанному адресу в гости к Варваре Николаевне – так звалась его новая знакомая.

Варвара Николаевна встретила его весьма беспокоино, несколько раз просила дочку – тихую белокурую девушку – сбегать во двор, чтобы предупредить кого-то о чем-то. Когда водила его по своему «музею», все оглядывалась на окошко, выходящее на улицу. По стенам их убогого жилища были развешаны портреты Ивана Сергеевича, один портрет особенно привлекал глаз – на нем писатель был еще очень молод и совсем не похож на себя сегодняшнего. Хозяйка сказала, что этот портрет был прислан из Германии самим Иваном Сергеевичем в подарок матери, а та однажды в гнев бросила его об пол, так что стекло разбилось на множество осколков. Когда гнев Варвары Петровны улегся, пришлось заказывать новое стекло. Был здесь и ее портрет в медальоне слоновой кости – грузной, с застывшими резкими чертами. На другом медальоне, поменьше, была изображена прелестная молодая девушка, с букетиком конвалий¹⁸ за корсажем белого платья. – Кто это? Хозяйка помедлила: – Не узнаете? – Вы? – А вы думали кто? – А я думал... женщина, которую Иван Сергеевич любил. Получилось, как всегда у него, невежливо. В письме после этого шло многоточие.

Конец письма был скомкан. Было написано, что со двора внезапно донеслись крики и брань, хозяйка побледнела, а Надя – так звали ее дочь – побежала во двор и привела в дымину пьяного, вырывающегося из девичьих рук тучного неопрятного человека, который оказался мужем Варвары Николаевны. Гостю пришлось срочно ретироваться. Хозяйка, со страданием на лице, выбежала за ним на крыльцо, извиняясь за «Дмитрия Павловича»: в воскресенье, когда не на службе, он любит посидеть в местной распивочной.

- Может, вы во вторник придете? – муж будет на службе, часа в три-четыре, я вам еще кое-что покажу, – в голосе слышалась мольба. На том и расстались.

Следом за первым письмом, с небольшим промежутком, пришло второе.

В нем говорилось, что Алевтина Филипповна, хозяйка апартаментов, в котором жил галичанин, сказала ему про мужа Варвары Николаевны: «Не пара он ей. Она на фортепьянах играет и на разных языках изъясняется, а он околоточный в полиции, да и пьяница; слышно, что

¹⁸ Конваллии – ландыши (с укр.)

скоро его за пьянство прогонят со службы. А коли прогонят, тогда ей с девчонкой совсем придет каюк». На вопрос, почему такая культурная и образованная дама вышла за необразованного пьяницу, Алевтина Филипповна отвечала, что чужая душа – потемки и она в чужую жизнь не лезет.

Во вторник, после некоторого колебания, он пошел в гости к Варваре Николаевне. В этот раз все было по-другому, она никуда не спешила, угощала его чаем, играла на пару с дочкой этюды Клементи на стареньком разбитом фортепьяно. Он спросил, откуда у нее такой интерес к Ивану Сергеевичу и такая близость к его матери. Оказалось, что она с самого детства воспитывалась в доме Варвары Петровны и, не имея родителей, была ею удочерена.

– А куда, простите, делись ваши родители? – задал он бестактный вопрос. Она замялась и даже, кажется, покраснела. Тут автор письма сделал приписку, что и сам обладает этим не приличным его возрасту свойством – краснеть по всякому поводу... Он, поняв свой промах, хотел было своротить на что-то другое, но Варвара Николаевна к этой теме вернулась и сказала, глядя не на него, а на свою дочку: «Надюша знает, и я ни от кого не скрываю: считаю Варвару Петровну, по ее отношению ко мне, своей настоящей родительницей. Она мне и брильянты дарила, и как куколку наряжала, и был у меня экипаж для выезда, и учителя были – танцев, музыки, немецкого языка и французского. Варвара Петровна так своих сыновей не баловала, как меня, Ивану Сергеевичу из-за того, что жил за границей, вообще в деньгах отказала. А со мной было иначе. Тогда думалось, что все это – подготовка для будущей светской приятной жизни, а как теперь понимаю, – средство, чтобы заработать на хлеб насущный. Вот даю теперь за гроши уроки местным гимназистам – обучаю музыке и языкам. Она помолчала, а потом, все так же глядя на дочку, завершила свой горький рассказ: «Когда Варвара Петровна умерла, – мне было 17 лет, с тех пор моя судьба переломилась, покатилась под горку».

Сумная¹⁹ настала минута, все как-то задумались, приуныли. Но тут Варвара Николаевна улыбнулась и сказала неожиданно весело, с каким-то задором: «Так вы полагаете, что девушка с ландышами могла вызвать любовь Ивана Сергеевича?» С этими словами она взяла с полки журнал – это был «Современник» за 1844 год – и стала читать оттуда тихим проникновенным голосом. Это было стихотворение, ей посвященное.

Когда в весенний день, о ангел мой послушный,
С прогулки воротясь, ко мне подходишь ты
И, руку протянув с улыбкой простодушной

¹⁹ Сумная – грустная (с укр.)

Мне подаешь мои любимые цветы,
С цветами той руки тогда не разлучая,
Я радостно прижмусь губами к ним и к ней...
И проникаюсь весь, беспечно отдыхая,
И запахом цветов, и близостью твоей...

Галичанин счел неуместным цитировать все стихотворение, которое, его создатель, Иван Сергеевич, знает и без него. Сам он переписал стихи к себе в тетрадь, туда же, куда записывал свои ощущения после прочтения «Первой любви».

На прощанье Варвара Николаевна вынула из стоявшего на фортепьяно стакана букетик ландышей – и протянула гостю: «Возьмите, Наденька поутру собрала их возле дома – это вам на память». От цветов шел нежный запах. Он сжал их в руке.

Конец этого письма, как и предыдущего, был непропорционально куцым. В последней фразе сообщалось, что мужа Варвары Николаевны буквально на следующий день после памятной встречи выгнали со службы, и теперь он целыми днями торчит дома и пьет горькую.

С некоторых пор каждую ночь ему кололи морфий. В ту ночь он от морфия отказался, морщась, повернулся на спину – и замер. Боль тоже замерла. Но внутренняя, более тяжкая боль души, была при нем, не уходила. Письма галичанина его растревожили. Лежа с закрытыми глазами, в полудреме, он пытался вспомнить стихи, которые посвятил девочке-отроковице, чей звонкий голос, взгляд серых глаз, милая улыбка так напоминали ему его первую любовь, Катю Шаховскую.

В памяти всплывали, казалось, давно забытые, сорок лет назад написанные строчки:

Гляжу на тонкий стан, на девственные плечи,
Любуюсь тишиной больших и светлых глаз,
И слушаю твои младенческие речи...

Да, речи были младенческие, Вареньке шел в ту пору одиннадцатый год, крошка, влюбленная в него как в старшего брата и глядящая на «Жана» с обожанием. А он, он видел в ней ту, ушедшую. Поразительное сходство. Вареньку, или Биби, как называла ее Варвара Петровна, принято было считать «грехом» Андрея Берса, в молодости служившего у них в семье домашним врачом. Берс однако внимания к ней не проявлял, практиковал и жил своей обособленной жизнью в Москве, приезжая на охоту в Спасское, на ребенка не смотрел, разве что хранил выписанный Варварой Петровной на его имя вексель в 15 тысяч серебром, предназначенный для девочки. Берс всегда помогал матушке в ее денежных делах.

В полусне-полубодрствовании он мучительно припоминал, было ли у него подозрение, что здесь что-то не так. Что не Берс отец Биби и что такое поразительное сходство девочки с княжной Шаховской не случайно?

Гляжу тебе в лицо с отрадой, сердцу новой,

И наглядеться я тобою не могу...

И только для тебя в душе моей суровой

И нежность, и любовь я свято берегу.

В год написания этих стихов он встретил Полину. И устремился за нею в Европу. За нею и ее мужем. А Россия и все то ужасное, что было с ней связано, – судьба несчастной княжны, смерть отца, самоуправство и жестокость матери, картины крепостной деревни – все это, он думал, осталось позади. Но вот он лежит – и вспоминает, и прошлое совсем рядом, только протяни руку. И сердце саднит от того, что был он тогда жесток и несправедлив. Да, жесток и несправедлив.

Когда в 1850 приехал на похороны матери – после стольких лет жизни в чужой стране и чужой семье, после тисков безденежья и отвратительного существования в качестве «приживала» в семье Виардо, он приехал в Москву как наследник одного из богатейших состояний. Что на него тогда нашло, почему он заподозрил в этой тоненькой семнадцатилетней большеглазой барышне, после смерти матушки оставшейся в полном одиночестве и без всякой защиты, коварную интриганку, мечтающую поживиться матушкиным наследством? Почему все сделал, чтобы выгнать ее из дома, даже и брату не дав ее приютить?

Да, они с Николаем решили честно отдать ей деньги, завещанные Варварой Петровной. Но когда? *После замужества*. А пока выплачивать проценты. Почему они не подумали, как будет жить эта юная душа после случившейся в ее жизни катастрофы?

Два года назад, приехав в Россию на открытие памятника Пушкину, на какой-то встрече в Дворянском собрании он увидел устремленный на него взгляд. Женщина в темном платье, еще не старая, но с бледным, до чрезвычайности измученным лицом, пробивалась к нему через плотный человеческий ряд:

«Иван Сергеевич, вы меня помните?» Он не помнил и смотрел на нее с испугом. «Это же я, я, Варвара Лутовинова-Богданович, теперь Житова. Вспомнили?» Эта женщина – Варенька? Это та самая Биби, которая собирала для него ландыши? Он заволновался, как когда-то в юности, когда не знал урока. С чем она пришла? С незажившей обидой? Со своим горем?

- Иван Сергеевич, дорогой, как я рада, – женщина вглядывалась в него – и слезы текли по исхудалым щекам. Как же я рада, что встретила вас хоть на склоне лет. Вы... вы меня простили?

Тени ушли с потолка, забрезжило утро. Он дотронулся до своего лица, оно было мокрым. Внезапно снизу до него донеслась мелодия, он узнал голос Полины, она часто теперь пела по утрам.

Слов разобрать он не мог, но мелодия была радостная, призывная. Он подумал, что зима совсем скоро кончится – и наступит весна. Та самая, что приходит в образе прекрасной девушки, в цветах и травах, разбрасывая розы перед собой. Может быть, весной ему полегчает – и он начнет писать рассказ, который пригрезился ему во время его зимнего лежания, его название он уже знает – «Симонетта Веспуччи».

Часть 8

Поэзия



Елена Антипычева

Москва, Россия



Дебют

Одно стихотворение. Уйдя из матерьяльного в астрал

Уйдя из матерьяльного в астрал,
За хвост кометы пробуя схватиться,
Чтоб в звёздах, наподобие зеркал,
На толику осколка отразиться,
Я выдумала собственный свой мир
Взамен того, где тоже ложь. Однако,
Ведут не только к Знакам Зодиака.
Передо мной весь космос. Караул,
Составленный из ангелов, крылами
От удивленья даже не взмахнул,
Наоборот, по-дружески кивнул
Мне, вышедшей из сна в одной пижаме
Сюда, где та же мгла вокруг светил,
Где Этот мир мне Тот не заменил.

Виктор Райзман

США



Из Эмили Дикинсон. Я не могу жить с Вами
(перевод с английского)

Эмили Элизабет Дикинсон (1830-1886) – американская поэтесса, рассматривается критикой как один из величайших американских поэтов.

Я не могу жить с Вами
«I Cannot Live With You» by Emily Dickinson

Нет, жить я с Вами не смогу,
Ведь это будет жизнь в чулане,
И ключ у сторожа в кармане,
И сухари с водой в углу.
Как чашка та, из юных дней,
Забытая домохозяйкой.
Фарфор из Севра импозантный
Куда нарядней и модней.
Я с Вами вместе не умру,-
Из двух один в слезах и с дрожью
Глаза закрыть другому должен,
А это Вам не по нутру.
Я не хочу через окно
Смотреть, как мёрзнете Вы в стужу,
Мне ключ от двери будет нужен,

Но сторож спит уже давно.
Туда нам не взлететь, увы,
Где агнцы райские пасутся,-
Благословенья Иисуса,
Я знаю, не дождётесь Вы.
Раз Вы не верите в Христа
(У вас в других пророков верят),
Разъединяющие двери
Сильней, чем страсть и красота.

I cannot live with You

I cannot live with You –
It would be Life –
And Life is over there –
Behind the Shelf

The Sexton keeps the Key to –
Putting up
Our Life – His Porcelain –
Like a Cup –

Discarded of the Housewife –
Quaint – or Broke –
A newer Sevres pleases –
Old Ones crack –

I could not die – with You –
For One must wait
To shut the Other's Gaze down –
You – could not –

And I – could I stand by
And see You – freeze –
Without my Right of Frost –
Death's privilege?

Nor could I rise – with You –
Because Your Face
Would put out Jesus' –

That New Grace

Glow plain – and foreign
On my homesick Eye –
Except that You than He
Shone closer by –

They'd judge Us – How –
For You – served Heaven – You know,
Or sought to –
I could not –

Because You saturated Sight –
And I had no more Eyes
For sordid excellence
As Paradise

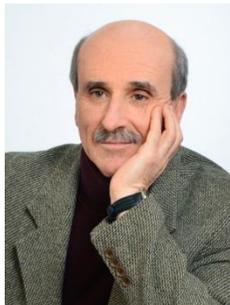
And were You lost, I would be –
Though My Name
Rang loudest
On the Heavenly fame –

And were You – saved –
And I – condemned to be
Where You were not –
That self – were Hell to Me –

So We must meet apart –
You there – I – here –
With just the Door ajar
That Oceans are – and Prayer –
And that White Sustenance –
Despair –

Владимир Спектор

Бад-Зоден, Германия



Одно стихотворение. Запах «Красной Москвы»

Запах «Красной Москвы» -
середина двадцатого века.
Время – «после войны».
Время движется только вперёд.
На углу возле рынка –
С весёлым баяном калека.
Он танцует без ног,
он без голоса песни поёт...

Это – в памяти всё у меня,
У всего поколенья.
Мы друг друга в толпе
Мимоходом легко узнаём.
По глазам, в коих время
мелькает незваную тенью
И по запаху «Красной Москвы»
В подсознание своём...

Евгений Сливкин

США



Одно стихотворение. Колыбельная

Вверх под купол к обернутым фольгой планетам
бутафорские крылья уносят в полет:
негритенку, что станет советским поэтом
колыбельную в цирке Михоэлс поет.

И великой страны белозубый подкидыш
улыбается линзе Френеля²⁰ в лучи,
и безумного Лира шекспировский идиш
так певуче и ласково-нежно звучит...

Звезды цирка, дождем золотым осыпайтесь,
из восторженных рук вырывайте цветы;
спите, зрители, спите и не просыпайтесь –
оставайтесь в стахановской шахте мечты!

²⁰ Сложная линза, используемая в осветительных устройствах (прим. редактора)

Валерий Скобло

Санкт-Петербург, Россия



***Два стихотворения. Вот мы вышли на первую
линию***

Вот мы вышли на первую линию.
Впереди – никого. Позади
Только елки и сосенки в инее.
Как колотится сердце в груди!

Точно в юности – дерзко и весело,
Словно старость – совсем не резон.
Безнадежно в январское месиво
Зарывается наш гарнизон.

Поредевший отряд... Поколение...
Безысходно вмерзая в пургу.
Проигравший свое наступление,
Но не сдавший знамена врагу.

Под конец июня зацвел жасмин,
Повезло – не в большом, так в малом.
Я в саду и на свете совсем один,
Не нужны мне советчики даром.

Не нужны врачи, не нужна родня,
Да их, честно сказать, и нету.

Я бы целое царство отдал за коня,
За волшебную Сивку эту.

Я – один. Так и прожил я жизнь свою.
Жизнь была без затей простая.
И порадует вечным своим «пью-пью»
Лишь малиновка, прилетая.

Я готов ко всему... Не скажу, что рад,
Но без крика уйду, без стога...
Да вот понял, вдыхая густой аромат,
Как ничтожна моя оборона.

Это белое... шепчущее вокруг...
Самой высшей июньской пробы...
Обойдется – мне показалось вдруг.
А с чего бы?.. – подумал. С чего бы?

Но жасмину чужды в сиянье дня
И надежда моя и сомненье.
...А от грустных мыслей отвлек меня,
Хоть на краткий срок... на мгновенье.

Лариса Миллер

Москва, Россия



Два стихотворения. Не думай – «быть или не быть»

Не думай – «быть или не быть»,
Вопрос не в этом.
Ты думай, где бы свет добыть,
Чтоб жить со светом,
И чтобы свет не угасал
Ни на минуту,
И чтобы он тебя спасал
В любую смуту.
Чтоб, окажись ты в роковом
Мгновенье трудном,
Ты мог в кармашке боковом
Или нагрудном
Вдруг обнаружить не ключи,
Не рукавицы, -
А то, что может, как лучи,
Сиять и литься.

Но если долго жить, то доживёшь до боли,
Хронической, тупой и до печальной доли,
И до потери сил, и радостей, и света.
И всё же, признаюсь, хочу дожить до лета,
А, ежели Бог даст, то до поры осенней,
А если быть ещё немного откровенней,
То я вообще хочу дороги беспредельной
И бесконечных дней, и жизни бессмертной,
И голубых небес, и солнца золотого,
И выхода хочу из тупика любого.
И я уже почти, поверьте, научилась
Справляться с тем и с тем. И, чтобы ни случилось,
Любить окрестный мир и дней любить проточность.
И всё ж прошу судьбу не проверять на прочность
Меня, хоть я давно выносливостью славлюсь.
А вдруг случится то, с чем я уже не справлюсь.

Часть 9

Детский альбом



Лилия Зыбель

Сан-Франциско, США

Веселый портной (Сказка)

В некотором царстве, а точнее, королевстве, жил-был веселый и добрый портной. Он придумывал и шил замечательные наряды. И все, кто потом носил шитую им одежду, становились добрыми, веселыми и красивыми. Нечего и говорить, что все жители королевства просто обожали его.

Однажды вечером он трудился над очень важной работой. Приближался главный праздник лета – Праздник Цветов, и надо было сшить костюм для маленького принца. Неожиданно кто-то постучал в двери. «Войдите!» – крикнул портной. Дверь открылась, и на пороге показалась Баба-Яга. Она вошла в комнату и сразу уселась на стул.

- Зачем пожаловала? – обратился к ней портной.

- Я тоже хочу красивый наряд! – заявила Баба-Яга. – Такой, какой носят настоящие принцессы!

Портной удивился:

- А зачем тебе такой наряд?

- Если я его надену, то превращусь в красивую веселую принцессу. Меня пригласят в королевский замок. Я проживу там немного, а потом попрошу приехать в гости принца, который живет за тридевять земель в тридесятом царстве.

- И что будет дальше?

- Он придет, а я превращу его в жука или в червяка. Вот будет потеха!

- Нет, – покачал головой портной, – у тебя слишком злые мысли, я не буду шить тебе наряд принцессы.

- Ах, так? Тогда ты станешь пауком и всю жизнь будешь плести свою паутину!

Баба-яга вышла и хлопнула дверью. И в тот же миг портной исчез, а в углу появился лохматый паук, весь опутанный серой паутиной. А на всех улицах и в парках города все цветы печально опустили головки.

На следующее утро, едва проснувшись во дворце, в своей кровати, маленький принц стал звать папу-короля. Папа-король зашел в спальню и спросил:

- Что случилось, мой мальчик? Чем ты расстроен?

- Мне приснился страшный сон – будто Баба-Яга превратила веселого доброго портного в паука!

И он заплакал.

Король сразу же вызвал слуг и велел им немедленно отправиться к портному и привезти его во дворец. Слуги бросились выполнять приказ. Вскоре они уже были у нужного дома. Постучали в дверь. Но никто не ответил им: «Войдите!» Они постучали еще раз. Опять тишина. Тогда они приоткрыли дверь, заглянули внутрь и увидели такую картину. На столе – куски материи, ножницы, швейная машинка. А в углу – большой мохнатый паук, и слезы капаят из его глаз.

Вернувшись во дворец, слуги доложили об увиденном. Король не просто рассердился, он страшно разгневался: кто смеет превращать его подданных в пауков?! Кто посмел вмешаться в сладкий сон маленького принца?! Кто решил испортить праздник жителям королевства?! После недолгого раздумья он велел вызвать к себе Уважаемого Доктора.

Уважаемый Доктор был старенький, невысокого роста, но носил большие очки и знал всё на свете. А если чего-то не знал, то на этот случай у него имелась большая-большая, толстая-претолстая книга, которая называлась Медипедия. Два помощника возили ее повсюду за доктором на специальном столике на колесах. А еще двое помогали эту книгу перелистывать. Представ перед королем, Уважаемый Доктор снял шапочку и поклонился:

- Чем могу служить Вашему Величеству?

Король рассказал доктору о несчастье, случившемся с портным. И спросил:

- Можно ли сделать что-нибудь, чтобы опять превратить паука в нашего доброго веселого портного?

- Сейчас посмотрю, – ответил доктор.

Он стал листать свою книгу с помощью помощников, пока не дошел до главы, где говорилось о превращениях.

- Осталось найти нужное место, – сообщил он. И через минуту уточнил: – Значит, так: если человек сам превратился в змею, то ничто не поможет. Если его превратили в змею, тоже ничего сделать нельзя. Еще невозможно вернуться к человеческому облику из мухи и слона. А из паука можно!

- Замечательно! – воскликнул король. – Вот и сделайте его опять человеком!

- Но для этого надо изготовить лекарство.

- Изготовьте, – сказал король. – К вечеру справитесь?

- Ваше Величество, сначала я должен найти все составные части и точно отмерить каждое. На это уйдет два дня, ведь таких частей ровно 237. И если нужно пять полных ложечек вишневого варенья, а у меня

получится немножко меньше, или возьму клубничное варенье вместо вишневого, то лекарство не подействует. После этого надо всё смешать и варить два дня и две ночи.

- Ничего себе! – удивился король. – Это же получается четыре дня! А Праздник Цветов начинается через три дня и открывать его должен маленький принц в новом костюме!

- Ваше Величество, я попробую. Я буду очень стараться, но не знаю, успею ли.

Во дворце установили специальный телефон для связи с Уважаемым Доктором. Возле телефона дежурил очень хороший телефонист.

Прошел первый день. Телефон молчал. Прошел второй день. Телефон молчал. Закнчивался уже третий день, а телефон всё еще молчал. И когда на часах оставалась одна минута до 12 ночи, раздался звонок:

- Приезжайте, всё готово, – прозвучал в трубке усталый голос доктора.

В дом портного отправилась вся королевская свита. Они выстроились в два ряда, и король велел начать превращение.

Доктор взял бутылочку с лекарством, опустил в нее кисточку и помазал спинку, брюшко, лапки и головку пауку. Затем попросил короля, принца и всех уважаемых придворных сказать вместе: «One, two, three!» И –

О, счастье! – перед ними опять стоял веселый, добрый портной! Все поздравляли друг друга с таким чудесным превращением. А портной попросил салфетку – вытереть слезы. Конечно, каждый из присутствующих, включая короля и принца, тут же протянул ему салфетку.

И никто не знал, что по счету «Three!» за темными лесами и синими морями Баба-Яга вдруг превратилась в червяка. Мимо летела ворона, увидела червяка и склевала его.

Между тем, все придворные и доктор отправились по домам. А портной принялся за работу. Всю ночь он трудился над костюмом для сына короля. И когда наступило утро, маленький принц вместе с веселой и нарядной толпой детишек из разных городов прошел по аллеям огромного парка, где начинался Праздник. И все цветы – красные, синие, белые, фиолетовые, желтые – открывались навстречу солнцу и приветливо кивали головками. И дети в своих разноцветных нарядах были похожи на цветы, а цветы на детей.

Хорошо, когда лето, и солнце, и праздник!

Игорь Калиш
Нью-Йорк, США

Два стихотворения. За лето голосую – «за»

За лето голосую – «ЗА!»

За лето голосую – «За!»
Со мной согласна
Стрекоза,
Гроза,
Роса,
Комар,
Жучок
И на скамейке старичок,
И малышня в песочнице,
И у лотка цветочница,
И тёплый ветер,
И прибой,
И крепкий рыжик под сосной.
И даже эхо вОрит где-то:
-И я,
И я,
И я за лето!

Урок плавания

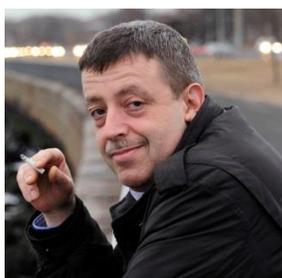
Лягушка учила
Малютку щенка:
- Высокая кочка
Нужна для прыжка.
Смелее!
Прыжок и пльиви как лягушка!
(щенок почесал задней лапой за ушком).

Утятя сказали:
- КРЯ, КРЯ! Что за шутка?
За нами пльиви
Как заправская утка!

Урок проходил
В воскресенье на даче.
Залаял щенок и
И поплыл по-собачьи.

Владимир Резник

Нью-Йорк, США



Бумка (Рассказ)

Теперь уже все мои знакомые знают, что у меня в морозилке живёт полярный медведь. Небольшой такой, сантиметров тридцать, но взрослый – не медвежонок. Я долго скрывал это, но потом мне надоело каждый раз выдумывать объяснения, откуда и почему у меня всегда найдётся мороженое для гостей – и я стал говорить всем правду. Не все, конечно, верили – а мне-то что? Не веришь – не ешь свежеприготовленное, нежнейшее, облитое молочным шоколадом мороженое, обёрнутое в серебряную фольгу с фирменным знаком: белым медведем в голубом круге. Бумка – так зовут моего жильца – утверждает, что это портрет его дедушки, который и изобрёл этот рецепт. Ну, дедушка это или бабушка, по рисунку я определить не могу, но мороженое очень вкусное и я страшно рад тому, что однажды вечером, открыв морозилку, чтобы достать и приготовить себе на ужин последнее, что там оставалось – рыбные палочки, – увидел там Бумку. Он уютно свернулся калачиком на нижней полке, и, когда я, открыв дверцу, уставился на него – приоткрыл один блестящий коричневый глаз и молча посмотрел на меня. Я, не говоря ни слова, смотрел на него. Так прошла целая минута. Потом Бумка закрыл глаз, зевнул во всю пасть и сонно пробормотал: «Ну, если сказать ничего не хочешь, то закрой,

пожалуйста, дверцу – а то жарко очень». Так мы и познакомились. Да, кстати, рыбных палочек в морозилке не оказалось – Бумка их съел, а мне пришлось поужинать булкой и сладким чаем. С тех пор мы так и живём: я покупаю ему рыбные палочки – его любимое лакомство, а он мне готовит мороженое. Молоко, шоколад и сахар, конечно, покупаю я. Есть ещё пара секретных ингредиентов, которые я тоже приношу, но Бумка категорически запретил мне о них кому бы то ни было рассказывать. Иногда он исчезает, говорит, что пойдёт погулять и пообщаться с родственниками, но всегда оставляет мне запас: пять – шесть брикетов пломбира. Его нет неделю, другую, и я уже начинаю волноваться, не случилось ли чего – и просматриваю разделы происшествий во всех газетах, но потом он появляется – и я вздыхаю с облегчением.

Жить с ним не просто: он оставляет следы мокрых лап на паркете; капризничает, если рыбные палочки оказываются не той фирмы; возмущается, когда я раз в месяц пытаюсь разморозить и почистить холодильник. А ещё требует выключить отопление – и мне приходится заворачиваться в толстый плед, когда мы с ним вечером усаживаемся у телевизора, – забирает у меня пульт и переключает на каналы, где показывают животных. Ничего другого смотреть он не хочет. Впрочем, однажды, случайно, включив какое-то популярное телешоу, он громко смеялся, а после сказал, что такое он уже раз видел в клетке у мартышек, когда недолго жил в зоопарке.

А ещё иногда, в холодные зимние ночи, когда все собачники уже увели своих любимцев спать в их нагретые у хозяйских ног постели, мы с Бумкой выходим погулять. Мы идём рядом и тихо беседуем безо всяких поводков и ошейников: ведь мы равны, мы друзья.

А почему «Бумка» – ведь на самом деле, белые медведи обходятся без имён – да потому, что сейчас каждый, кто заведёт себе белого медведя, так обязательно назовёт его Умкой. Вот я и решил назвать своего иначе, тем более что он так смешно бумкает в морозилке: напевает себе что-то под нос, когда готовит мороженое, – ну, просто настоящий Бумка!

Юлия Комаровская

Ученица 6-го класса школы № 44» г. Перми, 13 лет

Лето светлое, разноцветное

Лето светлое, лето красное,
Беззаботное и прекрасное
К нам пришло опять после долгих дней
Через снегопад и поток дождей.

Летом солнышко светит жаркое,
Ветер ласковый, небо яркое,
Облака плывут как кораблики,
Заливаются трелью зяблики.

Лето звонкое, многоликое,
И жужжит оно, и чирикает,
Шелестит листвою как монистами,
Скачет бликами золотистыми.

Лето щедрое, лето сытное,
Зреет ягодой аппетитною.
Крепким колосом колыхается,
Сладким яблоком наливается.

Вьётся пчёлами энергичными
Над полянами земляничными,
И грибным дождём орошает лес,
Светит радугой на него с небес.

Летом в отпуск все собираются,
И каникулы начинаются,
Ждут нас новые впечатления,
Путешествия, приключения.

Лето красное, лето светлое,
Лучезарное, разноцветное,
Раньше времени не скрывайся с глаз,
Красотой своей дольше радуй нас!

Часть 10

Юмор



Григорий Яблонский

Сент-Луис, США



Михаил Голубовский

Беркли, Калифорния, США



Крым наш!

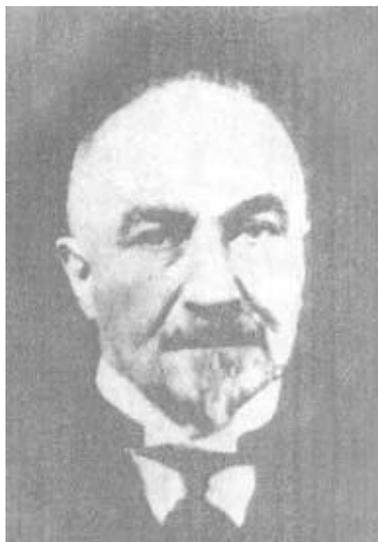
Некоторые думают, что Крым – это полуостров в северной части Чёрного моря, который с северо-востока омывается Азовским морем. Не только.

Соломон Самойлович Крым был премьер-министр Крымского краевого правительства в 1919 году.

Он родился в 1867 г в Феодосии в старинной караимской семье. Отец его тоже был Крым, но Самуил Авраамович, педагог и общественный деятель.

Соломон Самойлович Крым проявил себя как выдающийся учёный-агроном. Он окончил Московский университет и Петровскую земледельческую и лесную академию. Теория виноградарства была главной областью его интересов. Работа Крыма «Новый способ сохранения винограда и его физиологические основы» (1907 г.) сохраняет свою актуальность до сего времени. Возглавив

сельскохозяйственное общество в Крыму, он многое сделал для развития садоводства и виноградарства края.



Соломон Самойлович Крым, 1930-е годы

В дореволюционной России Соломон Крым был членом Государственного Совета и Государственной Думы Российской империи первого и четвёртого созывов от Таврической губернии, возглавлял Таврическое губернское земство. В 1917 году Временное правительство назначило его своим комиссаром по заведованию отделом Министерства земледелия.

Наконец, 15 ноября 1918 года Крым стал премьер-министром и министром земледелия Крымского краевого правительства. В это правительство Крыма вошли известные деятели кадетской партии, оказавшиеся в Крыму: В.Д. Набоков, отец Владимира Набокова, М.Винавер, Н.Богданов... Была ликвидирована цензура, принят закон о свободе собраний и политических партий. Правительство пыталось создать в Крыму свободное демократическое государство, в котором будут обеспечены права на самобытную культуру всех населяющих Крым национальностей. В апреле 1919 г. в Крым вошли большевики, и Соломон Самойлович Крым и другие члены правительства эмигрировали на корабле французской эскадры.

Трудно перечислить все начинания Соломона Самойловича. Он основывал стипендии, финансировал деятельность Карадагской научной станции, археологические раскопки на полуострове, издательскую деятельность.

В Феодосии Соломон Самойлович соседствовал и дружил с великим художником-маринистом Иваном Айвазовским. Составляя своё завещание, Айвазовский обратился за советом к Соломону Самойловичу. Картинная галерея Айвазовского стала исключительной собственностью города Феодосии. Главное дело его жизни – создание Таврического университета. Ещё в 1916 году он создал проект этого университета, поддержанный выдающимися учёными того времени, Вернадским, Ольденбургом и другими

В июле 1918 года С.С.Крым был избран председателем и постоянным членом Попечительского совета университета. Торжественное открытие университета состоялось 14 октября 1918 года в Дворянском театре Симферополя.

В годы гражданской междоусобицы университету выпало стать главным научным центром всего региона. Здесь работали учёные с мировой известностью – Вернадский и Обручев, Палладин и Струве. Здесь начал свою преподавательскую деятельность Игорь Евгеньевич Тамм, будущий нобелевский лауреат, известные биологи А.Г.Гурвич и А.А. Любищев.

Даже эмигрировав во Францию, Соломон Самойлович поддерживал университет и другие научные учреждения Крыма. Во Франции Соломон Самойлович прожил новую жизнь. Удивительное дело, бывший премьер-министр стал учиться в возрасте 57 лет (!). Он окончил высшую сельскохозяйственную школу в Монпелье, учился в лицеях в Тулузе и Бордо. И работал по профессии: был управляющим в поместьях на юге Франции. Признание вновь пришло. С октября 1926 года он – председатель Союза русских агрономов в Париже. Он читал лекции на Русских сельскохозяйственных курсах во Франции, как эксперт-агроном совершал поездки в Палестину и в Англию. За заслуги по развитию французского садоводства Крым получил звание «шевалье дю мериж агриколь».

И конечно же, общественная работа. В 1923 г. Крым основал в Париже Караимское общество во Франции, был его председателем, а затем – почётным председателем.

Он стал заниматься и литературной работой и издал книгу «[Крымские легенды](#)» (1925 г.)

А вот факт из его жизни того периода, который характеризует его как человека.

Другом Соломона Самойловича был выдающийся русский политик Владимир Дмитриевич Набоков. Как уже упоминалось, он был министром юстиции в Крымском земском правительстве, которое возглавлял С. С. Крым.



Дача Стамболи. Photo:Kamelot

Набоков был убит в марте 1922 ультра-правым террористом. Это стало страшной трагедией для сына Набокова, талантливого молодого поэта Владимира Сирина, будущего великого писателя Владимира Набокова, автора «Лолиты» и «Защиты Лужина». У молодого Набокова были и личные причины для трагедии. Была расторгнута его помолвка с невестой, Светланой Зиверт.

В этой ситуации Крым пригласил поэта пожить и поработать в его поместье Солье-Пон, где он был управляющим. Для Набокова это приглашение было очень кстати. Как и герой его будущего романа «Подвиг», Набоков занимался простой работой – собирал черешню, абрикосы, персики. И писал...писал..., создав две пьесы в стихах и выйдя из тяжёлого жизненного кризиса.

В 1930-х годах Крым по болезни покинул Париж и последние два года жизни жил в собственном имении под Тулоном (Маронье Комб), которое назвал «Крым». Здесь он и умер 9 сентября 1936 года. В Феодосии на караимском кладбище ещё при его жизни был установлен кенотаф над предполагаемой могилой (на территории дачи Стамболи).

В 1993 году одна из улиц Симферополя названа его именем.

Деятельность Соломона Самойловича Крыма можно определить одним словом: благотворитель.

Крым наш!

Некто Гадюкин

Санкт-Петербург, Россия

Я служу на границе

«На границе тучи ходят хмуро», но парни в зелёных фуражках всегда на посту.

Я служу на границе. Граница расположена в огромном городе. Кто-то скажет: «Как граница могла оказаться в городе?», но я не стану ему отвечать, это секретная информация.

Каждое утро, поцеловав жену и сына, я отправляюсь на службу.

- Береги себя, – говорит жена, подавая бронжилет. – Без надобности не рискуй. Помни, что у тебя есть мы.

Нырять из трамвая в трамвай, из троллейбуса в троллейбус, поменяв несколько маршруток чтобы избавиться от возможного «хвоста», я оказываюсь в итоге у неприметного здания с невзрачной вывеской «Прачечная» над входом. Безостановочно дёргая головой и двигаясь зигзагами, стараясь не попасть в прицел снайперской винтовки (стрелять по мне вроде некому, но бережёного бог бережёт), проскальзываю внутрь.

Прохожу в раздевалку. Здесь уже толкуются бойцы сегодняшнего наряда. Нахожу свой персональный шкафчик, снимаю штатское, облачаюсь в военную форму. Направляюсь в караульное помещение, получаю оружие. Пора на инструктаж.

Замполит докладывает о международном положении, кратко излагает текущую ситуацию в горячих точках, напоминает о растущей угрозе со стороны сомалийских пиратов, об опасности исламского терроризма, о попытках дестабилизировать обстановку в нашей стране управляемыми извне бандами дальнбойщиков.

Замполита сменяет дежурный начальник пограничной заставы.

- Оружие проверили? Награды, документы сдали?

- Так точно!

- Приказываю заступить на охрану внутренней государственной границы.

- Есть!

- Есть!

- Есть! – отвечаем дружно, многоголосно.

Вот так вот. Все знают о внешних рубежах нашей родины, пролегающих

в горах, лесах и пустынях, а вот о внутренних мало кто слышал... Проходим на позицию, рассредоточиваемся по своим местам – «секретам». Подключаемся к боевым компьютерам. Табельное оружие – персональные мышки приведены в состояние «к бою». Начинаем защищать границу.

Блогер «Вася» пишет в Сети:

«Доколе наши чиновники будут воровать? Может, хватит терпеть, братцы?».

Отвечаю:

«Заткнись, мразь! Вали в госдеп, там сегодня вашим зарплату дают».

Подпись: «Просто рабочий человек».

Вот ещё одна недовольная: «Расходы на медицину сокращают. В поликлинике № 56 почти всех врачей уволили». Подпись: «Лисёнок».

Отвечаю:

«Быть не может. Сам хожу в эту поликлинику. В прошлом году сделали капитальный ремонт, завезли новое оборудование. В этом – набрали дополнительно тридцать врачей и сто пятьдесят медсестёр».

Подпись: «Пенсионерка Бормотухина».

«Не могу получить место в детском саду. Очередь на три года вперёд».

«Маша».

«Враньё! Вчера обратилась в районо, предложили на выбор десять разных садиков». «Молодая мамаша».

«Остановил гаишник. Оштрафовал за непристёгнутого ремнём пуделя».

«Водила Гера».

«Кончился бензин на трассе. Позвонил в полицию. Через три минуты привезли полную канистру, помогли залить в бак, деньги за бензин не взяли. Вот это стражи порядка, я понимаю!».

«Автолюбитель».

«В университете «за так» ни один экзамен не сдать. Специально валят».

«Цветной Глюк».

«Наши препода – лучшие в мире! Отцы – студентам. Сыны – науке».

«Будущий доцент».

«Кто знает, куда можно на работу устроиться? Полгода не могу найти достойного места».

«Безработный с высшим образованием».

«Да ты лодырь! Я неделю назад разместил резюме, завалили звонками. Уже на следующий день вышел на работу».

«Без пяти минут Директор».

«В магазинах цены растут непрерывно. Как жить?».

«Лера Ломакина».

«По каким магазинам ходите? В тех, где я бываю, сплошные скидки».

«Довольный Потребитель».

Отстреливаюсь. Отстреливаюсь. Отстреливаюсь. А как иначе? Ведь я служу на границе...

Илья Криштул

Москва, Россия



Страничка юмора от Ильи Криштула.

Богач, бедняк...

Про Юрку и Леонида

Юрка жил на Севере в покосившейся избе, которая отапливалась дровами. Дрова Юрка брал там же, в избе, отчего она постоянно уменьшалась. Водопровода в избе не было, электричества тоже, был телевизор и Юрка смотрел его долгими вечерами. Телевизор был похож на трёхлитровую банку и показывал солёные огурцы и иногда помидоры. И скотины у Юрки не было, даже жены. Была раньше собака по кличке Собака, но ушла от такой жизни в тайгу, где и сгинула на болотах. Юрка ходил туда, искал, но нашёл только много ягод, которые продал на станции проезжающим поездам. Деньги Юрка потратил с толком – купил водки, сигарет, ну и там по мелочи – ещё водки и сигарет. Потом, спрятав покупки под кровать, Юрка налил себе стакан и вышел на крыльцо. Мимо прошло стадо коров, лето, потом соседка баба Таня и осень. Надо было идти растапливать печку, но Юрка всё не уходил с крыльца. Что-то в жизни неправильно, думал Юрка, но что? Может его жизнь уже прошла мимо, как это стадо коров? И после неё тоже остались следы в форме лепёшек? Или всё ещё можно изменить? Мысли уносились в холодное небо, сталкивались там с падающими

звёздами и исчезали, Юрка замёрз, зашёл в избу и сел смотреть телевизор с огурцами. А потом он лёг и уснул.

Леонид жил в Москве, в Лондоне и по выходным в Ницце. Работал он хозяином нефти какого-то края, названия которого так и не научился выговаривать. Хозяином нефти Леонид стал случайно – пошёл в баню с одним большим человеком, а тому прямо туда позвонили, мол, нефть нашли, а чья она, непонятно. Кому отдавать? А в парилке, кроме Леонида, никого. Большой человек посмотрел на Леонида и отдал ему эту нефть. Только попросил делиться иногда, ну и денег на всякие нужды государственные давать. Леонид исправно делился и его за это никто не трогал, даже очень серьёзные люди «не-скажу-откуда». А сейчас Леонид лежал на палубе своей яхты, пил вино, смотрел на звёзды и, если звезда падала, загадывал желание. Мимо прошли «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», острова Французской Полинезии и десять лет жизни. Леонид допил вино, загадал последнее желание и уснул.

Проснулся Леонид далеко на Севере в Юркиной избе. А Юрка проснулся на яхте Леонида, в окружении пустых бутылок из-под вина. Леониду сначала всё понравилось – тишина, никаких «Мисс», только соседка баба Таня похмелиться просит, говорит, что под кроватью есть. Он даже в сельмаг как-то сходил, хотел купить ей вина, но вернулся расстроенный. Ну а Юрке тем более всё понравилось. Он в бар с палубы спустился и зажил там вместе с барменом. Жаль только, что телевизор у бармена не огурцы показывал, а какие-то двигающиеся картинки. А огурцов вообще не было, про помидоры Юрка и не спрашивал.

Прошло время. Немного, пять дней или три месяца. Леонид стоял на крыльце Юркиной избы и смотрел на небо. Он ждал падающую звезду, но на Севере звёзды падают реже, чем на Юге – боятся упасть в болото, передавить клюкву и утонуть, не принеся никому счастья. А Юрка стоял на палубе яхты Леонида и смотрел в никуда. Он ничего не ждал, он просто испугался, что баба Таня нашла его сокровище, спрятанное под кроватью, и похмелилась им. Вокруг был океан, Юрка не понимал, как он очутился на этой яхте и как ему добраться домой. А потом к нему подошли «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», стали ругаться, требовать обещанного Парижа и денег. Юрка с женщинами был суров и послал их, но не в Париж, а ближе. Он с женщинами всегда так разговаривал, без этого на Севере не проживёшь, там бабы непонятливые. Но «Мисс Мира» оказалась ещё непонятливее и залепила Юрке в ухо, а пока он падал в океан, стала звонить какому-то Руслану, что б он забрал её отсюда. Зато далеко на Севере баба Таня не ругалась и денег ни у кого не требовала. Она просто топор взяла и Леонида по голове тюкнула. Потом под кровать залезла и всё оттуда выпила.

Очнулся Леонид на своей яхте. Голова немного болела, но Леонид не стал обращать на это внимания. Он расплатился с «Мисс Мира» и с «Мисс Вселенной», высадил их прямо на марсельскую набережную, показал, в какую сторону Париж, отослал бабе Тане на Север ящик вина и велел капитану яхты поворачивать в сторону России. А Юрка проснулся далеко на Севере, в своей избе. Он вышел во двор, улыбнулся и пошёл к бабе Тане, делать ей официальное предложение. Баба Таня была с похмелья, поэтому предложение приняла и вовремя подоспевший ящик вина был выпит всей деревней под варёные яйца. А после свадьбы Юрка ушёл в тайгу искать нефть. И нашёл.

Прошло много лет. Леонид переехал в нефтяной край, поселился в простом доме и устроился работать простым нефтяником. Яхту он продал, нефть отдал обратно государству, а дома в Ницце и в Лондоне у него купил разбогатевший Юрка. Юрка, кстати, и нефть себе забрал – государству, видно, не пригодилось. На звёздное небо ни Леонид, ни Юрка не засматривались – у Леонида не было никаких желаний, а Юрке это не нужно было, он все свои желания сразу выполнял, без падающих звёзд. Вот только от жены он никак не мог избавиться, от бывшей бабы Тани, которую он светской львицей сделал. Да она уже и не бабой Таней была, а Танечкой, гламурным лицом страны. Такое вот лицо у страны оказалось, с накаченными губами.

И однажды прилетел Юрка в нефтяной край по каким-то пустяковым делам. Может, зарплату получить. А Леонид зарплату уже получил и, наоборот, улетал куда-то. Скорее всего в отпуск, в Турцию, «три звезды» и «всё включено», больше-то в России отдыхать негде. И чёрт дёрнул Юрку с простым нефтяником пообщаться. Вышел он из ВИП-зала на улицу, дошёл до общего здания, а там у входа Леонид стоит. Посмотрели они друг на друга... Долго смотрели, и только хотели на небо взглянуть, как тут Танечка прибежала с Юркиными охранниками. Такой крик подняла... Юрку в лимузин засунули, Леонида в самолёт без очереди... А с неба как раз две звезды слетели... И долго так летели, будто ждали чего-то, но ни Юрка, ни Леонид их уже не видели. Да если б и увидели, что б изменилось? У Леонида, правда, при виде Танечки одно желание появилось, но он быстро одумался, а Юрка свою нефть всё равно никому бы не отдал. Ни Леониду, ни государству. Танечку бы отдал, но... Танечка эти звёзды увидела и всё своё загадать успела. Так что Юркиных денег и нефти на её век хватит. А счастье...

А счастье далеко на Севере осталось, в болотах с клюквой, но никто из них об этом не знает... И, как это часто бывает, никогда не узнает...

Сведения об авторах

Анна Андреева (р. 1929, Белоруссия). Всю войну провела в немецкой оккупации. Сразу после войны переехала в Ленинград учиться в торговом техникуме и работать, чтобы помочь семье. В Ленинграде вышла замуж за военного летчика, которого перевели по службе в Узбекистан. Работала в школе учителем. После распада СССР вернулась в Петербург, где проживает в данный момент.

Елена Антипычева Родилась в Подмосковье, живет в Москве, стихи пишет с семи лет. С отличием окончила Московский государственный областной университет, факультет русской филологии. Печаталась в двух студенческих сборниках и в одном маленьком сборнике литературной студии «Орфей» при МГУ. Литературный дебют в ЧАЙКЕ.

Марина Бондарюк (Москва). Окончила филологический факультет МГУ. Работала в журнале «Пионер». Там же в 1965 году опубликован первый рассказ «Венская чашечка». В 2002 году в журнале «Юность» был напечатан роман «Прощайте, перелётные птицы». Вместе с мужем, писателем Геннадием Красухиным, в 2010 году выпустила в США (издательство «Franc-Tireur») книгу «Прошло и осталось».

Анатолий Валюженич Заслуженный энергетик СНГ, Почетный энергетик Казахстана, Ветеран энергетики Казахстана. С середины 1960-х гг. углубленно занимается литературной темой «Маяковский и его окружение». Автор книг «О.М.БРИК: Материалы к биографии», «Лиля Брик – жена командира. 1930 – 1937», двухтомника «Пятнадцать лет после Маяковского», биобиблиографического романа «Феномен Лили Брик». Живет в Казахстане.

Лев Визен. Окончил Московский Горный институт. Первый сборник очерков – «Дела студенческие» – был выпущен «Молодой гвардией» в 1960-м. В 1964-м в ЖЗЛ вышла его книга «Хосе Марти» – единственная беллетризованная биография национального героя Кубы. В 1975-м – спецкор «Нового Времени» во Вьетнаме. С 1978-го – в Канаде. Работал на стройке, стелил паркет, водил такси и рефрижераторы. Ушел в бизнес. Олигархом не стал, но полной независимости добился. Живет в Виктории, Канада.

Жан Гали. Родился и вырос в Алма-Ате. После окончания биофака Казгосуниверситета, закончил аспирантуру и защитил диссертацию в Москве по специальности молекулярная биология. Работал в биологических лабораториях Москвы, Алматы и Галле (Германия). Занимался бизнесом, работал главой представительства американской компании в Казахстане. В международной европейской программе содействия странам СНГ – ТАСИС, занимал позиции менеджера проектов и, позднее, работал в качестве Национального директора программы ТАСИС в Казахстане. Работал в Университете Дж. Мейсона, международных проектах, частных американских компаниях. Литературный дебют в ЧАЙКЕ. Живет в Мэриленде, США.

Майя Гельфанд. Профессиональная домохозяйка. В перерывах между выходением замуж и рождением детей, получила две степени в Тель-Авивском университете – по киноведению и философии. В редкие моменты,

где-то между приготовлением обедов и вышиванием гобеленов, пишет рассказы, сказки и стихи на русском и иврите. Автор постоянной рубрики журнала ЧАЙКА «Заметки на полях». Живет в Тель-Авиве.

Генрих Голин. Окончил физико-математический факультет в 1961 году в Баку, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Автор восьми книг и более 100 статей в советских и иностранных научных изданиях. С 2006 года по настоящее время – профессор (Graduate School of Education, Tougo College). Живёт в Нью-Йорке.

Сергей Голлербах (1923, Детское (Царское) Село). Живописец, график, художественный критик и литератор. В 1942 г. был вывезен немцами на работы в Германию. С 1946 по 1949 учился в Мюнхенской академии художеств, в которой учились многие русские художники. Член Американской академии художеств. С 1949 года живет и работает в Нью-Йорке.

Борис Голубицкий. Режиссер, заслуженный деятель искусств России. С 1987 по 2012 художественный руководитель Орловского Государственного академического театра имени И.С.Тургенева. Преподает в Российском Государственном институте сценических искусств (С.-Петербург). Живет в С.-Петербурге.

Михаил Голубовский (р.1939). Генетик, историк и популяризатор науки, эссеист. Окончил кафедру генетики Ленинградского университета, доктор биол. наук. Работал в Академгородке (Новосибирск), Петербурге, Австралии, во Франции, разных университетах США. Автор книги: «Век генетики: эволюция идей и понятий» (СПб. 2000). Живет близ Беркли, Калифорния.

Игорь Домбек (Исай) (р. 1924, Ростов-на-Дону). 21 июня 1941 года окончил 10 классов и поступил в Военно-Морское инженерное училище им. Дзержинского. В июле того же года направили в действующую армию. В первом же бою был ранен и попал в нацистский плен, откуда удалось бежать только в 1944 году. С 1945 по 1950 года был студентом Ленинградского театрального Института. Затем служил в Театре им. В.Ф.Комиссаржевской, Ленинградской Областной Филармонии, Ленконцерте, где выступал с сольными литературными программами. С 1990 года живет в Германии.

Борис Казинец (р. Москва). Народный артист Грузии, актер Тбилисского русского академического драмтеатра им. Грибоедова, художественный руководитель театра «Русской Классики», штат Мэриленд. Живет в Б.Вашингтоне, США.

Цалий Кацнельсон родился в Белоруссии, во время войны. Окончил Казанский химико-технологический институт. Более тридцати лет проработал ведущим конструктором в одной из организаций в Казани. Получил несколько авторских свидетельств. В 1995 году эмигрировал в Америку. Публикует свои статьи в американской русскоязычной прессе («Вечерний Нью-Йорк», «Russian Baazar», альманахе «Лебедь», журнале «Чайка»). Живет в штате Нью-Джерси.

Дарья Кашина (Киев). Окончила Институт русского языка им. А.Пушкина в Москве. Русскоязычный журналист на Украине, печатается в российских изданиях, дебютировала и постоянно печатается в журнале ЧАЙКА. Ведет рубрику «Калейдоскоп новостей». Автор книги «Папа», в которую вошли ее интервью с детьми известных людей. Живет в Киеве.

Ксения Кривошеина. Художник, публицист, исследователь творчества Матери Марии (Скобцовой). Автор многочисленных публикаций во французских и российских изданиях. Редактор православного сайта «Parlons d'Orthodoxie». Живет в Париже.

Илья Криштул (Москва). Окончил Педагогический институт, работал учителем. Лауреат нескольких литературных конкурсов, автор двух книг юмористической прозы. Постоянный автор журнала ЧАЙКА, ведет в нем колонку сатиры и юмора. Живет в Москве.

Сергей Кузнецов (р. 1952, Москва). Закончил Биофак МГУ, работал в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР. В конце 80-х написал несколько пьес, одна из которых, «...И Аз воздам», с 1990 по 1994 г. шла в Малом театре в Москве. С 1992 года живет в США, работает в Национальном Институте Здоровья. Живет в Большом Вашингтоне.

Ася Липидус (Москва). По образованию математик, закончила мехмат МГУ. 10 лет проработала в Институте Теоретической и Экспериментальной физики, в Нью-Йорке 20 лет работала в области финансового моделирования на Уолл-стрит. Живет в Нью-Йорке, США.

Яков Лотовский (р. 1939). Закончил Литинститут им. Горького. Был членом СП Украины. Опубликовал книги: «Семнадцать килограммов прозы» (Москва, 1991), «Подольский жанр» (Филадельфия, 1998), «Рассмотрим мой случай, или Резиновый трамвай» (Филадельфия, 2007). Публиковался в журналах «Интерпоэзия», «Вопросы литературы», «Зарубежные записки», «Радуга», «Слово-Word», «Вестник». Лауреат лит. конкурса радиостанции «Немецкая Волна» (1991, Кёльн, Германия). Живет в Филадельфии, США.

Элеонора Мандалян (Москва). Журналист, писатель. По образованию скульптор. Кандидат наук. С 1994 живет в США. Работала литературным редактором в русскоязычном альманахе «Панорама» и вела в нем свою рубрику «Непознанное». Постоянный автор и член редколлегии журнала ЧАЙКА. Ведет рубрики «Кинообозрение Элеоноры Мандалян» и «Америка глазами россиянина». Живет в Лос-Анджелесе.

Вадим Массальский (р. 1964, Одесса). Журналист, писатель, работает на медиакомпании «Голос Америки», член редакции журнала ЧАЙКА по связям с общественностью. В 2017 году издал сборник исторических миниатюр «Американская мечта по-русски». Живет в Александрии (США).

Лариса Миллер (Москва) Российский поэт, прозаик, эссеист и педагог. Автор более 13 сборников поэзии и прозы. Книги переведены на английский и итальянский языки. Член Русского ПЕН-центра (с 1992). Постоянный участник Алманахов журнала ЧАЙКА. Живет в Москве.

Александр Половец (р. 1935, Москва) Прозаик и публицист, автор сотен публикаций в американской и российской периодике, одиннадцати книг, член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра. Президент Американского культурного фонда Булата Окуджавы. В США с 1976 года. Живет в Лос-Анджелесе.

Елена Пацкина. Окончила Московский авиационный институт по специальности инженер-экономист. Автор нескольких книг стихов и серии «Беседы с мудрецами» (более семидесяти персонажей, начиная от Эпикура, Демокрита и других античных авторов до Курта Воннегута, Агаты Кристи и пр.). Нередко помогает журналу ЧАЙКА в качестве дизайнера. Живет в Москве.

Виктор Райzman (р. 1934, Одесса). Инженер-металлург, доктор технических наук. В 1991 году эмигрировал в США. Стихи публиковались в альманахах и различных периодических изданиях. Финалист конкурсов поэтов Русского Зарубежья «Пушкин в Британии-2009» (Лондон) и «Эмигрантская лира-2010» (Брюссель).

Яков Ратманский (р. 1936, Киев). В 15 лет – киномеханик в кинотеатре, в 16 – токарь на заводе. Лучшие 4 года жизни проплавал в морфлоте. Был электриком, водолазом и редактором стенгазеты, потом институт, серьезно увлекся живописью, графоманством и кинолюбительством. С 1993 года в Америке. Научился шить и стал портным, был вторым оператором на русском телевидении в Кливленде, своя студия «Jacob Video Studio».

Владимир Резник. Родился в Сибири, жил на Западной Украине – откуда, собственно, и корни семьи, потом в Ленинграде, а из него, превратившегося к тому моменту в Санкт-Петербург, в 1994 году выехал в США. Сейчас живет в Нью-Йорке. Получил хорошее техническое, но так и не пригодившееся в жизни высшее образование. Нет. Не был. Не состоял. Не привлекался. Участвовал, но отделался лёгким испугом. Менял города, страны, профессии, перевоза за собой растущую семью и чемодан с рукописями. Тяжёл стал чемодан. Пора его облегчить... Дебютная публикация в журнале ЧАЙКА.

Виктор Родионов. По рождению сибиряк. Служил в Группе советских войск в Германии. Главная часть жизни прошла в Прибалтике. Остальная – в США. Образование – юрист-международник. Профессия – журналист. Работал в молодежной прессе и ТАСС. В США с 1992 года. Сотрудничает с изданиями России, Латвии, Германии, Нью-Йорка, Сизэтла, Денвера, Чикаго, Вашингтона, Балтимора. Постоянный автор журнала ЧАЙКА. Живет в Луисвилле, Кентукки (США).

Ирина Роскина. Окончила в 1971 г. романо-германское отделение филологического факультета МГУ. С 1972 г работала в Иностранном отделе Госфильмофонда СССР и по совместительству синхронным переводчиком кинофильмов. В 1990 году переехала в Израиль, где работала в Иерусалимской библиотеке Гуманитарных и Общественных факультетов Еврейского университета. Кроме своих произведений, публикует в журнале рукописи и переписку своей матери, литературоведа и редактора Натальи Роскиной, и переписку родственников из семейного архива. Живет в Иерусалиме.

Михаил Синельников (р. 1946, Ленинград). Поэт, переводчик, эссеист, исследователь литературы, составитель многих антологических сборников и хрестоматий. Академик Российской академии естественных наук, Петровской академии и турецкой Академии поэзии, лауреат Премии Ивана Бунина, Премии Антона Дельвига, Премии Арсения и Андрея Тарковских и еще ряда российских и иностранных премий. Стихи переводились на многие иностранные

языки и отдельными книгами вышли в Черногории, Румынии, Японии. Живет в Москве.

Александр Сиротин (Москва). Журналист, писатель, в прошлом актер. Сотрудничает с американскими русскоязычными газетами и журналами, радио и телевидением. Автор сборника рассказов «Москва – Нью-Йорк, далее везде». Постоянный автор и член редколлегии журнала ЧАЙКА. Живет в Нью-Йорке.

Валерий Скобло (р. Ленинград, 1947). Поэт, прозаик, публицист. Сборники стихов «Взгляд в темноту» (1992), «Записки вашего современника» (2011), «О воде и воле» (2015), «За тайной печатью» (2017). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012). Живет в Санкт-Петербурге.

Евгений Сливкин (р. 1955, Ленинград). Закончил ВТУ по специальности инженер-механик, а затем Литинститут. С 1993 г. в США. Защитил диссертацию о генезисе и вариациях образа средневекового рыцаря в русской литературе XIX в. Преподает в университете Денвера. Автор четырех сборников стихов, около двух десятков статей по русской литературе XIX – XX веков.

Ольга Соловьева. Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет. Защитила две кандидатские диссертации – кандидат физико-математических и юридических наук. Интересуется театром, модой и не только. В журнале ЧАЙКА публикует рецензии на современные постановки в питерских театрах, пишет заметки о городе и его жителях в своей рубрике «Записки на коленке». Живет в Санкт-Петербурге.

Роман Солодов Роман Солодов (р.1944, Москва). Окончил МАИ, затем ВГИК. В России занимался научно-популярным кино, сценарист. Член СК. В 1991 году эмигрировал в США. Работал на радиостанции «Свобода», получил профессию технолога по радиоизотопной медицине. Автор четырех романов в семи книгах, повестей, рассказов и многочисленных статей. Ведет в ЧАЙКЕ раздел политики. Живет в Нью-Джерси.

Владимир Солунский (р. 1937, Харьков). Физик, доктор физ-мат наук, профессор. Организатор и лектор русскоязычного поэтического общества в своем штате. В журнале ЧАЙКА ведет рубрику «Поэтический альбом». С 1998 живет в Милуоки, США.

Ефим Сомин (С.-Петербург). В Америке с 1979-го года, в Бостоне с 1980-го. Закончив карьеру в computer science, он занимается лицедейством в кино, театре и ТВ, изучением языков и переводами с них поэзии, а также, время от времени, писаниями об экзотических местах и событиях. Живет в Бостоне.

Владимир Спектор (р. 1951, Луганск). Поэт, публицист, член Союза журналистов, редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант» и научно-технического журнала «Трансмаш». Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы. В результате необъявленной войны на Украине вынужден был покинуть родной Луганск. Ныне живет в Германии. Один из постоянных авторов Альманаха ЧАЙКА.

Павел Товбин. В США уже почти три десятилетия – первые четыре года в Нью-Йорке, остальные в Сан-Франциско. Последние пятнадцать лет преподаю в режиме онлайн финансы и экономику в университетах США и в Европе. То, что

писал когда-то очень давно, мною забылось. Тем немногим, что написал, и тем, что, надеюсь, еще напишу, я обязан моей жене – моему строгому редактору, ревнителю чистого русского языка.

Соня Тучинская. Родилась и выросла в Ленинграде. С большим трудом и по абсолютному недоразумению закончила там один из технических вузов. В прежней, доэмигрантской жизни – инженер-электрик. Последние 25 лет живу в Сан-Франциско. Первые годы работала в Jewish Vocational Services. Потом, в погоне за длинным рублем перешла в software industry. Рассказы, эссе, публицистика и переводы с английского – в «Звезде», «Неве», «22», «Нота Бене», «Лехаим», Слово/Word, «Панораме», «Еврейском Мире», «Форвартсе», на сетевом Портале «Заметки по еврейской истории» Берковича, включая сайт «7 Искусств».

Лазарь Фрейдгейм. Инженер, кандидат технических наук, автор более 100 научных работ, изобретений, патентов. Работал в ювелирном бизнесе, в туристическом агентстве, в большой фармацевтической фирме. Публикуется в журналах, газетах и интернет-изданиях. С 1991 г. живет в Сан-Диего, Калифорния (США).

Яков Фрейдин (р. 1945, Свердловск). Кандидат технических наук, специалист в медицинской электронике и биокибернетике. В 1977 эмигрировал в США. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам (Handbook of Modern Sensors). Автор книги воспоминаний «Adventures of an Inventor». Недавно опубликовал дебютную книгу художественной прозы на основе рассказов, напечатанных в журнале ЧАЙКА. Живет в Сан-Диего (Калифорния).

Евсей Цейтлин (р. 1948, Омск). Эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Кандидат филологических наук, преподавал в университетах историю русской литературы и культуры. Дважды эмигрировал: в 1990-м в Литву, в 1996-м в США. Редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Начиная с 1968 г. публикуется во многих литературно-художественных журналах и сборниках. Автор многих книг. О книге Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» не перестают спорить в разных странах и на разных языках. Член редколлегии журнала ЧАЙКА. Живет в Чикаго.

Вера Чайковская (Москва). Прозаик, художественный критик, историк искусства, кандидат философских наук. Первая премия за прозу на международном литературном конкурсе в Италии (Анкона, 1997). Лауреат премии им. Катаева за повесть «Уроки философии» в журнале «Юность» за 2013. Диплом Академии художеств за книгу «Три лика русского искусства 20-го века: Роберт Фальк, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов», М., 2006. Живет в Москве.

Ирина Чайковская (Москва). Писатель, критик, публицист, драматург. Автор десяти книг и многочисленных статей в российской и зарубежной периодике. Лауреат премии журнала «Нева» за 2015 год в номинации критики. Главный редактор журнала ЧАЙКА. Живет в Большом Вашингтоне.

Виталий Шрайбер. Родился в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) Государственного Университета. Много лет работал на физическом факультете и в НИИ Физики Университета.

Доктор физико-математических наук. В качестве приглашенного исследователя работал в университетах Польши и Германии. С 2004 года живет в Калифорнии. Работает в одной из компаний Силиконовой Долины. Помимо статей чисто профессионального характера и по истории науки, публиковал небольшие рассказы и заметки мемуарного, полемического и юмористического содержания.

Григорий Яблонский. Доктор химических наук, литератор. В 1960-80 годы работал в Новосибирском Академгородке и Туве. С 1995 года – профессор Washington University in St. Louis и Saint Louis University, Missouri (США), почётный профессор Гентского университета (Бельгия). Автор 7 книг по химической кинетике и катализу и более 200 научных работ. Печатался в различных литературных изданиях. Живет в Сент-Луисе, США.

Бенгт Янгфельдт (р. 1948, Стокгольм, Швеция). Известный шведский писатель, исследователь и переводчик-славист. Хорошо знавший Лилию Брик, он впервые полностью опубликовал их с Маяковским переписку. Книга вышла на русском языке в Швеции в 1982 году. В его книге о Маяковском «Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг» (М., 2009) поражает обилие не публиковавшихся ранее материалов. Бенгт Янгфельдт был другом и переводчиком Иосифа Бродского, написал о нем книгу «Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском» (М., 2012). В 2014 году на русском языке вышла книга Янгфельдта «Рауль Валленберг», в которой впервые дана полная биография этого неординарного человека и рассказано о его смерти в тюрьме КГБ. Живет в Стокгольме.